НЕВА 8
ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА
2014

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Наталья КРОФТС
Стихи • 3

Елена КРЮКОВА
Беллона. *Роман* • 7

Евгений ПОПОВ
Стихи • 118

Владислав ФЕДОТОВ
В клинике Остроумова. Надкушенное яблоко. *Рассказы* • 121

Марина ГАРБЕР
Человек без прошлого. *Стихи* • 132

ПУБЛИЦИСТИКА

Адам КУЗНЕЦОВ
Украинская смута глазами Клио • 138

КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

Владислав БАЧИНИН
«Тайна беззакония уже в действии». *Философский триптих.*
I. Окаянное столетие и экзистенциальная катастрофа
гуманитарного сознания • 144

Николай НАБОКОВ
Старые друзья и новая музыка. Глава из книги.
Перевод и примечания М. А. Ямщикова.
Подготовка публикации, вступительное слово
Евгения Белодубровского • 155

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Год культуры. Вера Зубарева. Тайна сада. *Об одном стихотворении Беллы Ахмадулиной*. **Искусство чтения**. Юлия Щербинина.

12+

Эхотекст как воля и представление. **Правда художественная и историческая**. Наум Синдаловский. Великие бастарды. *Правда и мифы рожденных вне брака*. **Пилигрим**. Архимандрит Августин (Никитин). Российские паломники у святынь Греции. *Хождение за пять морей. Продолжение. Начало см.: Нева. 2014. № 7*. **Дом Зингера**. *Публикация Елены Зиновьевой*. • 181–254

Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке Министерства культуры
и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации

Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы» запрещена

Электронную распечатку рукописей присылать
на почтовый адрес журнала (191186, Санкт-Петербург, а/я 9)

Рукописи не возвращаются и не рецензируются

Главный редактор
Наталья ГРАНЦЕВА

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я :

Наталия ЛАМОНТ
(*ответственный секретарь, коммерческий директор*)

Александр МЕЛИХОВ
(*зам. главного редактора*)

Маргарита РАЙЦИНА
(*контент-редактор*)

Ольга МАЛЫШКИНА
(шеф-редактор молодежных проектов)

Игорь СУХИХ
(*шеф-редактор гуманитарных проектов*)

Елена ЗИНОВЬЕВА
(*редактор-библиограф*)

Дизайн обложки **А. Панкевича**
Макет **С. Булачевой**
Корректор **Е. Рогозина**
Верстка **М. Райциной, Л. Жуковой**

© Журнал «Нева», 2014

Наталья КРОФТС

* * *

Мне не уйти из психбольницы.
Ты в ней — и вот она в тебе —
клокочет, рвется на страницы
и шарит лапой по судьбе,
куда б тебя ни заносило —
в край небоскребов или скал —
ты возле солнечной Мессины
увидишь бешеный оскал
чудовищ — нет, не тех, из книжек —
своих, придуманных тоской,
толпой, тебя несущей ближе к
безумью дней, к огням Тверской.
И будто все отлично с виду:
умыт и трезв, идешь в театр —
но чувствуешь: с тобой в корриду
весь день играет психиатр.
Или в музеях строгой Вены
бредешь меж статуй героинь —
а врач решит — и резко в вены
введет любовь, как героин.
...
Спокойней — в домике с охраной,
решеткой, каменной стеной,
где мне зализывают раны —
чтоб не осталось ни одной,
где нет ни долга, ни заботы,
ни вин, ни бед... Халат надеть,
и от субботы до субботы
на подоконнике сидеть,
и издали смотреть на лица
толпы, на улицу в огне.
А рядом Гоголь отразится
в забитом намертво окне.

* * *

Зажмурится ветер — шагнет со скалы.
Спокоен и светел тяжелый наплыв

Наталья Викторовна Крофтс родилась в 1976 году в Украине, в г. Херсоне. Окончила МГУ им. Ломоносова и Оксфордский университет. Публикации в журналах «Новый журнал», «Новый берег», «Интерпоэзия», «Юность» и других. Английские стихи вошли в четыре британские поэтические антологии. Живет в Австралии.

предсмертного вала — он манит суда
на дно океана. Седая вода
врывается в трюмы, где сгрудились мы:
звереем — от запаха смерти и тьмы,
безумствуем, ищем причины...

Кричим: «Это риф — или мысль — или мыс —
бездушность богов — нет, предательство крыс...»
И крики глотает пучина.

Я ринусь на палубу, в свежесть грозы.
Пора мне.
Монетку кладу под язык —
бросаю ненужные ножны.

И плавно — сквозь ночь, как седая сова —
взлетаю с галеры — туда, где слова
понятны еще —
но уже невозможны.

ARS POETICA

Я ослеп. Измучился. Продрог.
Я кричу из этой затхлой бездны.
Господи, я тоже чей-то бог,
заплутавший, плачущий, небесный.

Вот бумага. Стол. Перо и рок.
Я (больной, седой и неизвестный).
Но умру — и дайте только срок,
дайте строк — и я еще воскресну.

*** * ***

Ты понимаешь: этот угар — последний.
Занавес. Акт четвертый написан глупо:
паспорт, билеты, куртку надеть в передней.
Свет погасить. Точка. Выносят трупы.
Мы это знаем. Но — как в античной драме —
мчимся к финалу. Жадно. Необратимо.
Неизлечимо. Страстно. Картинка в раме
раму ломает, рвется на волю — мимо
старых сюжетов, серых зевак; потоком,
пенным, неудержимым, несется к краю —
там, где губами... прикосновенье — током...
бешено... неуемно... и замираем.
И за минуту — боги — любую цену,
Что там? Билет экспрессом до преисподней?

...Дворник ворчит, опять отмывая сцену:
«Клюквенный сок — до жути густой сегодня».

* * *

Я уже не пойду за тобой.
Пахнет дымом. Морозно.
Повторяет уставший прибой:
«Слишком поздно».

Паутина, незримая нить
обрывается — медленно, странно,
словно нехотя. Грусть хоронить
слишком рано.

* * *

Все проще.
Гораздо проще.
Ну кто сейчас ставит размашистый, претенциозный росчерк
на яркой открытке из Падуи или, скажем, из Сан-Франциско?
Достаточно эсэмэской: «привет дорогой я близко».
Каких-нибудь девять часов полета
из этого фешенебельного болота —
и я в Москве,
где на Вернадского — снова ветер,
где снег заметает свет,
но тот фанатично светит,
где мы, скользя по лужам, со смехом бежим в кафе...

Палящим кольцом, все уже,
под кожей — аутодафе.
Господи, почему же
этот — один — так нужен —
ясно, неизлечимо,
без всяких «если» и «но».

Будто в старом кино —
мы — женщина и мужчина —
медленно, мед-лен-но
пьем капучино.

А если...
Все тоже проще.
Поймешь — не погиб гонец
в далекой солнечной роще,
почтовый голубь, устав вконец,
не сбился с пути,
не свергнут Гермес...
Но в каждом непосланном эсэмэс
холодом —
«Отпусти».

* * *

Ты, конечно, забудешь и странное это безумье,
непонятный, нежданный, смешной ураганový бред.
Ты вернешься в тот мир, где до слез надрывается зуммер
в телефоне пустом. И где найден удобный ответ

на вопросы «зачем», по каким неизвестным спиралям
нас несло через дни — чтоб, столкнувшись у края земли,
мы друг друга с тобой беззастенчиво, бешено крали
у стреноженных дней. И над нами шумел эвкалипт,

удивляясь неистовой страсти двуногих растений,
что пришли в этот лес — и расстаться почти не смогли.
Ты забудешь, любимый. И только останутся тени.
Две счастливые тени — у самого края земли.

Елена КРЮКОВА

БЕЛЛОНА

Роман*

Всем детям, пережившим войну.
Их глаза глядят на меня.

<...>

Глава вторая. Золото и медь [дневник ники]

17 января 1942 года

Мы очень плохо питаемся. У нас очень мало еды, и она все время кончается. Целый месяц уже у нас в шкафу нет гречки, риса и пшена. Перловки тоже нет. Город пустой и молчит. На улицах тихо так, как в больнице, когда тихий час. Я боюсь выходить на улицу. Баба Клава говорит — не выходи, а то убьют. Я все-таки вышла вчера. Иду и смотрю: люди навстречу мне идут. Но очень мало людей. Медленно шла женщина, в руках у нее была крошечная кастрюлька, там была еда. Я прошла мимо нее, и мне показалось — из кастрюльки пахнет картофельным пюре с мясом! И я повернулась и пошла за ней. Она оглянулась на меня через плечо, испугалась и пошла быстрее. И вдруг споткнулась и чуть кастрюльку не выронила. Но крепко в нее вцепилась, не уронила. Женщина поправила крышку, заправила волосы за ухо, оглянулась на меня и с ненавистью сказала мне: «Сволочь! Катись отсюда!» Меня никто и никогда так не называл. Теперь уже я испугалась и убежала. Бежала очень быстро, даже задохнулась.

И потом, когда подбегала к остановке улица «Добролюбова», зацепилась носком ботинка за штакетник, упала плашмя и расшибла обе коленки. Больно очень, заплакала. Домой пришла вся грязная, на коленках дырки и кровь запеклась. Баба Клава мыла мне коленки в тазу синим мылом и ругалась на меня. А потом сказала: «Садись-ка лучше ешь, я свекольник сварила из сушеной ботвы».

Молодец баба Клава, она осенью ботвы насушила, на всякий случай.

Трамваи по улицам давно не ходят. Автобусы тоже. Дым идет не из труб, а из форточек. Люди топят буржуйки, а котельные не работают. Лека Исакова пожаловалась мне, что у них буржуйка есть, ее папа принес с завода, а топить ее нечем — нет ни дров, ни угля. Еще Лека сказала: «Знаешь, Ника, у нас умер сначала дедушка Роберт, потом Митя, потом дядя Феофан, один за другим». Я сначала не поверила. Дядя Феофан был такой сильный, он нас с Лекой на плечах катал. Но Лека заплакала, и я все поняла.

---

* Журнальный вариант.

Елена Николаевна Крюкова родилась в Самаре. Прозаик, поэт. Член Союза писателей России с 1991 г. Профессиональный музыкант (фортепиано, орган, Московская консерватория, 1980). Окончила Литературный институт им. Горького (1989), семинар А. В. Жигулина (поэзия). Публикации: «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Нева», «День и Ночь», «Сибирские огни», «Бельские просторы» и др. Автор книг стихов и прозы (романы «Юродивая», «Царские врата», «Пистолет», «Врата смерти», «Dia de los muertos», Тибесткое Евангелие», «Русский Париж»). Работает с издательствами «ЭКСМО» и «Время» (Москва), ИД «Париж» (Санкт-Петербург). Лауреат премии им. Цветаевой (книга «Зимний собор», 2010), Кубка мира по русской поэзии (Рига, Латвия, 2012), премии журнала «Нева» за лучший роман 2012 года («Врата смерти, № 9 2012), премии Za-Za Verlag (Дюссельдорф, Германия, 2012; по результатам премии в 2013 году в Германии вышел книжный проект Крюковой из пяти книг), премии им. А. М. Горького (роман «Серафим», 2014). Живет в Нижнем Новгороде.

Мне стало очень, очень страшно. А вдруг у нас дома тоже все начнут умирать?

Я закрыла глаза и представила: вот я умерла, и лежу на кровати, не двигаюсь, и уже ничего не увижу и не услышу никогда.

И так мне стало жутко, что я закричала, а баба Клава просунула голову в дверь и кулаком трясет: что ты вопишь как оглашенная!

25 января 1942 года

Мне очень жалко маму. Она так старается, чтобы мы были сыты. Чтобы не умерли.

Собирает на задах, в проходных дворах, у Вяткиных сараев, лебеду, проворачивает ее через мясорубку, смешивает с размоченным кусочком ржаного и с водой и печет лепешки. Они противные, но если их хорошо посолить, их можно проглотить. И у тебя ощущение, что ты наелся.

Папа, когда приходит вечером домой, так печально смотрит на маму. А мама долго смотрит на пустую папину брючину, заправленную под специальную резинку. Бедная папина нога. Он никогда не говорил никому, как он ее потерял. Только мне. Его очень сильно били в тюрьме, и у него нога воспалилась, и образовалась гангрена, и из тюремной камеры его перевели в лазарет и там ногу отрезали. Я плакала, когда он мне это говорил. Когда никого дома не было, только я и папа, а он купил бутылку водки и сидел над ней за столом, как сыч, пил и плакал. А я сидела у его ног на маленькой скамеечке и плакала вместе с ним. И мы оба жевали селедку, кусочки селедки, очень вкусной, жирной.

Ну вот, зачем я про селедку вспомнила. Слюнки текут.

А слезы, как та селедка, соленые.

А теперь нас мама спасает. Ей на фабрике дают обед, так она заворачивает его в промасленную бумагу и нам приносит. Хорошо, что у нее есть рабочая продуктовая карточка. Я вижу, как мама худеет на глазах. Она часто обхватывает себя руками за локти и трясется, как будто замерзла. Я спрашиваю ее: «Мама, ты чего трясешься?» А она стучит зубами, я вижу, как ее знобит, но она улыбается и говорит мне нарочно бодро: «Никуля, у нас на фабрике не топят, цех холодный, стою, как Папанин во льдах!» И смеется через силу, а рот у нее коричневый, и зубы все почернели. Неужели это все-таки долго протянется? Впереди еще два месяца холодов и голода.

Я считаю, сколько времени мы голодаем. Получается, уже пять месяцев. Еда, которую мы едим, это не еда. Это один смех. Баба Клава шамкает: мы превратимся в железяки и гвозди, но мы не сдадимся! Я представила себе, как я — гвоздь и меня вбивают в длинную доску, бьют огромным молотом по голове. И захохотала, а баба Клава дала мне подзатыльник.

10 февраля 1942 года

Как я соскучилась по лету и теплу! Мне кажется, эта зима никогда не кончится. Вот как бы хорошо было сейчас открыть глаза и проснуться. За окном — лето и солнце, и школа закончилась, и можно собираться в деревню! Папа складывает дорожную сумку, мама гладит на гладильной доске яркие летние платья. Женя сидит с Мурлыкой на руках. Жене очень идут новые летние спортивные шаровары — мама сама ему сшила!

Я не проснусь никогда. Я никогда не сплю. Повернусь — и вижу: Женя лежит на кровати, у него лицо в виде треугольника, щеки ввалились. Перед новым годом он сильно простудился, ходил за водой к проруби, и его продуло в легкой шубейке. Мама лечила его чем могла. Даже ложку барсучьего жира с фабрики принесла. Но он никак не может поправиться из-за недоедания. Лежит и кашляет. Все громче и громче.

Мама садится в кресло, прижимает ладони к лицу, и из-под пальцев у нее слезы текут. Она отворачивается, чтобы я и баба Клава не видели ее слез. Она шепчет, и я слышу: если Женечка умрет, то и я умру.

И я плачу оттого, что мама Женю любит больше, чем меня.

А Мурлыки больше нет. Мурлыка исчез. Папа сказал, что его поймали и съели, скорее всего. Женя зажимал уши руками и колотился головой об стену. Пришлось сказать ему, что на самом деле Мурлыку не съели, что его видели наши соседи Придворовы и что его, наверное, кто-то подкармливает, и он ушел туда, к этим людям, потому что нам нечем его кормить.

15 февраля 1942 года

Здравствуй, мой дневничок. Мне без тебя уже скучно. Мне сегодня придется одной идти за водой — папа на заводе, мама на фабрике, Женя лежит, и баба Клава слегла. Она долго крепилась, но все-таки слегла. У нее щеки стали совсем сморщенные, а скулы красные, горят, как лампы, и рот пересох. Она все время шепчет: пить, пить. Я побежала дать ей воды — смотрю, а в кувшине воды больше нет, и в чайнике нет, и в ведре тоже.

За водой идти далеко. Три километра. Так папа говорит, что три. Мама же машет рукой и шепчет: все четыре. Мы возим воду на саночках в большом ведре, ведро плотно закрываем крышкой и завязываем тряпками, чтобы как можно меньше воды на снег пролилось.

Вот это же надо, дома ни капли воды, дожили. А баба Клава вдруг бормотала-бормотала тихонько, да вдруг как крикнет на всю квартиру: пить! Я вздрогнула, я шкатулку бабы Клавы в руках держала, расписную, там на черном фоне сидят русские красавицы и прядут пряжу. Шкатулка упала на пол и треснула. Я быстро спрятала ее в шкаф. И меня посетила преступная мысль: а вдруг баба Клава умрет — и не заметит, что я ее шкатулку попортила?

Я подумала об этом совершенно спокойно. Как будто это и не я думаю, а кто-то другой за меня.

Я подошла к бабе Клаве и спросила ее: чаю хочешь?

И сама над собой посмеялась. Чай! Как странно звучит: пить чай! Мы его давно уже не пьем. Нет никакого чая, есть только кипяток, он и зовется чаем. Раньше, до войны, чай пили с вареньем, с печеньем, даже с медом. Папа привозил мед из Просека, настоящий липовый, и он был похож на золотую фольгу, так блестел. Сейчас у нас нет ничего к чаю. Ни крошки, ни корочки. Мы пьем кипяток с солью.

Соли в доме много. В магазинах ее сейчас не продают. В магазинах сейчас почти ничего не продают, хотя какие-то магазины еще работают. А у нас был запас соли, баба Клава еще до войны купила мешок соли и хранила его в Вяткиных сараях. Война началась, и мы перетащили мешок домой.

Ну, дорогой дневничок мой, надо мне тепло одеваться, укутываться в бабы-Клавину шаль, ноги всовывать в валенки и идти за водой. На улице такой мороз — ресницы покрываются инеем, выйдешь и ослепнешь. И не дойдешь. Ноги даже в валенках замерзнут, станут как кочерыжки, и ты упадешь по дороге, и тебя никто не поднимет — уже вечер, темно, и людей мало. И будешь так лежать и медленно замерзать.

А все равно идти надо. Воды нет. Придет мама с фабрики, захочет горячего питья. Потом придет папа с завода, без сил. Он иногда приходит и валится на пол прямо у порога, и костыль у него падает с грохотом, и он, как баба Клава, только кричит: «Пить!»

Ну что же, пойду. Если бы я верила в бога, я бы ему помолилась. Но бога никакого на самом деле нет, нам в школе всю правду рассказали.

[дитя лилиана]

Я очень рано помню себя. И первое, что помню, не лица, не предметы: запахи и звуки.

Голос, он поет. Песню помню. Она широкая, как небо, и такая же светлая. Голос льется, льется прямо в меня, как в пустой кувшин, и наполняет меня до краев.

— Лодка моя легка, весла большие!.. Санта Лючия... санта... Лючия-а-а-а!

Песня кончается, и я прошу женщину ее повторить.

— Пожалуйста, еще! Еще раз! Ну!

— Что ты понукаешь, Лили! Я тебе не лошадь! Где-то на взморье... ветер чуть дышит... Легкий зефи-и-и-ир... парус колышет!

Старательно допев песню до конца, певица бесцеремонно берет меня на руки, будто я мяч или ракетка для лаун-тенниса, и переносит из кресла в кровать.

— А теперь спать, Лили! Ты мне за день надоела. Хуже тарантула! Ты совала свои лапы везде! Ты разбила сегодня кувшин с молоком! Хозяин меня убьет! Он подумает — я вру и сваливаю все на тебя! Он нипочем мне не поверит!

Надо мной, смирно сидящей в кресле, над моей беловолосой головой женщина трясет смуглыми тяжелыми кулаками.

Эта женщина — моя нянька, она из далекой калабрийской деревеньки, и ее зовут Маринетта. Она добрая, но иногда очень сильно кричит, орет до звона в ушах. Я не люблю, когда она кричит. Я люблю, когда она поет. Я могу слушать ее целый день. А вместо этого она заставляет меня то горох перебирать, то мастерить из бумаги бесполезных остроклювых журавликов. И кувшин я разбила нарочно. Чтобы ей отомстить. Она заставляла меня пить молоко, а я молоко ненавижу больше всего на свете.

Больше моей мамы.

Ведь моя мама бросила моего отца.

И бросила меня — такую красивую, славненькую, хорошую девочку. Совсем маленькую. У моей мамы сердца нет, так говорит нянька Маринетта.

Я ее уже потихоньку забываю. Думать о ней не хочу.

И не думаю уже. Почти не думаю. Ну совсем немножко. Самую малость.

А мой папа сначала пил вино, пил все подряд — и красное кьянти, и тосканское синее вино, и крепкую граппу, — а потом стал приводить домой новую женщину. Не женщину даже, а девушку. Не девушку, а совсем девчонку. Хилая грудка, тощий задок. Папа валил ее на диван и раздевал, срывал с нее тряпки, а Маринетта вбегала, всплескивала руками и вопила: «При ребенке?! При ребенке?! Побойтесь Бога, синьор Николетти! Побойтесь Бога!»

И мой отец, лежа, как на пляжном лежаке, на худой девице, оборачивал к няньке голову и выплевывал презрительно: «Заткнись, Бога нет, и счастья нет. Есть только жизнь, и я хочу жить, а не прозябать, ясно?!»

У меня белые волосы, как у бедной мамы. У меня зеленые глаза, как у беглой мамы. Я очень похожа на маму, поэтому папа так ненавидит меня. Часто он берет меня за шкирку, поднимает в воздух, как больного щенка, и долго рассматривает. Будто бы на мне черные пятна, поганые корки. Будто бы я болею оспой или корью, и на моей коже красная вредная сыпь.

«Ты как она, — цедит отец, — ты просто копия негодяйки Оливии. Вторая Оливия! Гадина! Ну я и влип, созерцать ее наглую рожу всю жизнь, в облике этого отродья!» Он держал меня, и воротник врезался мне в горло, и я задыхалась, и я думала: вот сейчас он убьет, задушит меня. Или ударит по голове чем-то тяжелым: книгой, кочергой; да просто кулаком. Я такая маленькая, тощенькая. Я умру сразу.

Отец швырял меня на продавленный диван. Пружины охали. А я молчала.

Диван весь в винных пятнах, в белой слизи, в блевотине. Отец напаивает допьяна худую девчонку, она пьет много и жадно, оглушительно хохочет, потом ее рвет прямо на диван, она не успевает добежать до отхожего места, вставляет себе два пальца в рот, закатывает глаза, и меня страшат ее вывороченные синие белки.

Отец нанял мне няньку, чтобы я не осталась без заботы и ухода. Он сам редко когда подходил ко мне — Маринетта и купала меня, и кормила, и выводила гулять, как собачку, на поводке: застегивала на моей грудке ремень и прицепляла настоящий собачий поводок, чтобы я не убежала далеко. Потому что однажды я убежала. И отец вызвал полицию, чтобы меня найти. А я сидела за каменными домами Саккопасторе, скрючившись, на корточках, за валунами, за густыми кустами, и зубы сжала, чтобы не кричать, и повторяла себе: я не вернусь в этот гадкий дом, не вернусь никогда больше, не вернусь.

Но у полицейских были собаки с хорошим, острым нюхом, и меня отыскали и схватили, и громадный, как шкаф, полицейский нес меня домой на руках, и от него пахло псиной. Я спросила, как называется штука у него на боку. Он важно пошевелил усами и сказал: «Двуствольный пистолет-пулемет, да не про твою честь». И захохотал — басом, раскатисто, обидно, и у него изо рта пахло вином.

Меня принесли домой, и отец выхватил меня из рук у толстого полицейского. Я думала — он меня расцелует на радостях, а он бросил меня на диван и избил. Своей тростью. Крепко избил, до крови. Маринетты дома не было, она ушла на рынок за едой, и отец распоясался. Я сначала кричала, а потом не могла кричать, только раскрывала рот. Я и отец. Отец и я. И больше никого.

Когда он занес трость, чтобы ударить меня еще раз, я закрыла глаза и прошептала ему:

— Убей меня. Ну, убей.

И он услышал. Выронил трость.

Я открыла глаза и увидела, как его глаза вылезают из орбит. Наверное, до него дошло, что он наделал.

Он намочил полотенце в холодной воде и вытирал с меня кровь, с моих щек и губ, с рук, ног и груди. Когда он схватил трость еще раз, я распухшими губами прошептала: нет! А он выставил колено вперед и сломал трость об колено. Я услышала треск и опять закрыла глаза. Все поплыло и уплыло далеко, во тьму.

А потом пришла Маринетта, и отец смущенно говорил ей в коридоре, я слышала: ты знаешь, девочка заболела, она вышла гулять во двор без спросу, и ее покусала собака, ты с ней поосторожней. Маринетта влетела в комнату, бросилась ко мне. Опустила сумки с провизией на пол. Из сумок торчали стрелы зеленого лука и пучки сельдерея. Маринетта ощупала меня, заставила показать язык, потрогала синяки у меня на лице.

— Святая мадонна, да ее кто-то сильно побил! Уж не вы ли, синьор?

Маринетта обернулась к отцу. Перед ее носом мотался отцов кулак.

— Кому скажешь — берегись.

И моя нянька вскочила, вытирая ладони о юбку, и приседала, и кланялась, и бормотала: да что вы, синьор Николетти, да никогда, да вот вам честное слово, да клянусь святой Варварой, святым Иосифом и всеми на свете святыми, никому, никогда.

А по улице, мимо нашего дома, мимо нашего балкона под полосатой маркизой, шли люди, они громогласно разговаривали, пьяно смеялись и горланили песни, и я слышала, они поют: «Муссолини — наш вождь, Муссолини — солнце наше, Муссолини, веди нас к победе, веди!»

И моя Маринетта не знала такой песни.

[юноша гюнтер]

На фарфоровой тарелке с золотым ободком лежала жареная курица.

Она лежала так изысканно и беззащитно — ножки врастопырку, кожица коричневая чуть подгорела, не сильно, а слегка, в самый раз, — что Гюнтер сглотнул слюну, взмахнул вилкой, как дирижерской палочкой, и понял: этот обед опять праздничный, как все и всегда в его доме. Правда, этот праздник часто попахивал театром, ну да ладно, это уже мелочи; главное, все торжественно, это симфония, это неизвестный Моцарт, это с ног сшибающий Вагнер.

Нож в руке, острый нож. Разрезать воздух. Разрезать мясо. Разрезать тишину.

— Гюнтер, ты опять ведешь себя за столом неприлично!

— Да, я знаю, я уже взрослый мальчик и все такое. Мамочка, прости, больше не буду!

Он с наслаждением принялся за еду, косясь на родителей: они ели чинно-важно, отец — слегка отставив мизинец, то и дело поджимая тонкие аристократические губы, стараясь не чавкать, беззвучно и прилично пережевывать пищу, мать — двигая руками над столом бесшумно и быстро, обе руки — подобие крыльев, летают и не присядут отдохнуть, эти белые птицы боятся охотников. Мать красивая, и Гюнтер ею гордится. Правда, часто она злится, и тогда ее красота меркнет, тускнеет, и ее лицо становится похожим на нечищеную керосиновую лампу.

— Готфрид, тебе еще положить салата?

— Спасибо, душа моя. Мне бы лучше еще супчику. И скажи Людвигу, чтобы принес сметану, сметаны на столе нет. Не морщь так губы, тебе не идет. Изольда!

Гюнтер старался есть медленно, не смести куриную ножку с цветной капустой в сухарях с тарелки за один миг. Рядом с ним, ухватившись за косточку, расправлялась с куском белого птичьего мяса его сестра Клара. Рядом с Кларой сидел его младший брат, конопатый Вилли. Он очень громко чавкал и чмокал. Как свинья. Рядом с Вилли сидел его другой брат, Генрих. Он был старше Гюнтера на год. Погодков частенько принимали за близнецов — так они были похожи.

Генрих презрительно глядел, как семейство ест. Семейство было, по его мнению, лживым и ханжеским, а уделом Генриха сияли вдали, в небесной выси, свобода и правда. Недавно он вступил в новую партию. Ее возглавлял громогласный человек с прядью жирных волос, наискось лежащих на мучнисто-белом лбу, и с черной полосой кокетливых усов. Такие усы носили коммивояжеры или столичные прощелыги, золотая молодежь.

Когда Гюнтер спрашивал Генриха про эту партию, Генрих щурился, закидывал голову, как гусь, глотающий червяка, и цедил сквозь зубы: «Мы завоюем мир! Потому что мы связаны нерасторжимо! Мы — сила! Сила — это мораль людей, отличающихся от остальных, она же и наша мораль!»

— Мамочка, можно еще ложечку капусты? Прекрасно получилась!

— Лизхен сегодня постаралась.

— А ты вместе с ней разве не постаралась?

Мать поджала губы и стала похожа на отца. У них разные черты лица: у Изольды лицо дышало пухлостью, здоровьем, щеки — пышки, нос — крендель, подбородок — сдобная булочка, у Готфрида нос — острый кухонный тесак, щеки ввалились, подбородком можно резать хлеб, над высоким лбом волосы вразлет. Они оба олицетворяли мужскую жесткость и женскую мягкость: их можно было, рука об руку, пускать в кинематограф и снимать в еженедельном киножурнале: «Добропорядочная немецкая семья обедает всегда в одно и то же время».

Они завтракали, обедали и ужинали всегда в одно и то же время. Ни минутой раньше, ни минутой позже.

— Клерхен, ты как-то вяло ешь. Невкусно?

— Что ты, мамочка! Вкусно, даже очень!

Голос у Клерхен протяжный и противный. Рыжие взбитые кудри. Она ест медленно и капризничая, всегда с вытребеньками: то суп пересолит у всех на глазах, не отводя глаз от воробышка за окном, то сосиску полоснет ножом — а из нее как брызнет жир, как заляпает бедной Клерхен парадное, к обеду надетое платье от фрау Химмель!

— Дура, — тихо, но внятно, так, чтобы братья слышали, говорит на ухо Кларе Вилли, — хватит ломаться. Так всю жизнь и проломаешься. Старая дева.

— Дурак, — столь же тихо и отчетливо отвечает Клара, — да еще к тому же глухой.

— Бетховен тоже был глухой. Однако...

Вилли родился со странными, как комки из теста, плохо слепленными Богом ушками. У всех людей уши как уши, а у Вилли — клецки. Наружный слуховой проход закрыт нелепыми складками кожи. Звуки туда, под кожное тесто, проникают с трудом. Когда Вилли слушает, как мать играет на рояле, он кладет на крышку руку, чтобы лучше слышать. Он щупает музыку пальцами.

— Передай, пожалуйста, соль, Изольда!

— Пожалуйста, Готфрид. Генрих, ты будешь кисель?

— Нет. Я буду сок!

— Хорошо. Я налью тебе сок. Дай сюда твой стакан.

Изольда берет графин с вишневым соком и наливает Генриху полный, с краями, стакан. Темно-красный сок смахивает на густую венозную кровь. Генрих берет стакан резко, неловко и проливает сок на скатерть и себе на белую рубашку.

Трет красное пятно ладонью. Наливается кровью лицо. Кровь пульсирует в пальцах. Пальцы крючатся от обиды, досады, стыда. Надо же так при всех, на семейном обеде, опростоволоситься. Он просто идиот. Идиот!

— Мама, прости. Я идиот!

— Ах, Боже мой! Никогда так не говори. С кем не бывает.

Изольда подала Генриху салфетку. Клара выгнула губы подковкой, тыкала вилкой в остывшую курицу.

— Доедай, дочка.

— Не хочу. Я объелась.

— Доедай, — грозно нависла над белоснежной скатертью тень носа Готфрида, — отец трудится в поте лица, чтобы раздобыть семье пропитание, а ты смеешь...

Клара уткнулась в тарелку, грызла курицу, давясь, шмыгая, хрюкая. Слезы капали. Рыжие космы топорщились. За окном, в чистой и светлой синеве высокого неба, плыли торжественные, пухлые белые облака. Они вытягивались вверх, как органные трубы. Безмолвное небо пело, но люди за обедом, сидящие внутри каменной коробки, не слышали его чистых и нежных мелодий.

И совсем уж невозможно было представить себе, что где-то рядом, в полях и лугах, а может, за городской стеной, дымят трубы, чернеют плоские крыши, искрится болью и страхом колючая проволока, плачут в бараках голодные люди, потому что их сегодня вечером расстреляют, а может, сначала удушат в газовой камере, похожей на баню, выложенную белым кафелем, а потом сожгут в широкой, вместительной, как автобус, печи, и все вместе это называется емким и жестким словом «концлагерь».

Об этом не пишут в немецких газетах. Об этом не говорят по немецкому радио.

И в немецких киножурналах не показывают это.

Это передается из уст в уста. Об этом шепчут, плача. Над этим смеются открыто, белозубо: «Так им и надо, евреям проклятым!» То, что в лагерях гибнет несметное количество чистокровных немцев, предпочитают не обсуждать. Это недостойно обсуждения. Тем более — осуждения.

Человек по кличке «Фюрер» всегда прав.

Он прав прежде всего потому, что у него власть.

Прав тот, кто властвует. Владычит.

Прав властелин.

Конунг, вождь, глава рода. Адольф Гитлер — глава немецкого рода. Может, он возродит Германию. Хилую, несчастную. Почти погибшую. Полудохлую.

Это хорошо, что Генрих вступил в его новую партию. В партию главы государства.

— Генрих, ты что-то бледненький. Завтра пойду с тобой в больницу, проверим кровь! Может, у тебя анемия!

— Мама, оставь эти глупости. Я здоров как бык!

— Как овцебык, — хрюкает в тарелку Вилли и, ссутулившись, беззвучно хохочет. Тарелка Вилли пуста. Он жадно, громко хлюпая, пьет светло-розовый жидкий кисель из стакана. Стакан с золотым ободочком, как все тарелки, как супница и чайные чашки. Чай семейство будет пить вечером. Сегодня на третье кисель, вишневый сок и яблочный штрудель.

Клара облизывает пальцы. Она съела кусок штруделя. Мать бьет ее по рукам сложенной салфеткой.

— Клерхен! Это плохой тон! Ты не собака и не кошка, чтобы себя облизывать!

Клара вскакивает, брякнув стулом об пол.

— Спасибо, мама!

Книксен.

— Отца благодари!

— Спасибо, папа!

Книксен.

Клара убежала, вильнув задом, тряхнув клетчатой плиссированной юбкой. Белый воротничок платья мигнул в полумраке за дверью. Вилли выскреб столовой ложкой из стакана остатки киселя. Генрих зло выплеснул в рот остатки сока. Красное кровавое пятно на его рубахе все расползалось, увеличивалось.

«Будто в него выстрелили. Расстреляли», — рассеянно подумал Гюнтер. Медленно, смакуя, жевал сладкий, с корицей, штрудель.

Готфрид положил на скатерть вилку. На его тарелке мирно и скорбно лежали тщательно обсосанные куриные косточки. Ему досталась грудка.

Он клюнул острым носом пропитанный запахами вкусной еды воздух.

— Генрих, — сказал отец гнусаво, — довольно тереть бедную рубаху. Лизхен отстирает. Знаешь, я знаю, что ты и Лизхен...

— Это вранье, — быстро сказал Генрих.

И засмеялся.

И вытер рот салфеткой.

На салфетке отпечатались жирные пятна. Гюнтер глядел на пятна. Салфетка, слишком белая, быстро пропиталась жиром с губ Генриха. Рядом с салфеткой, на столе, лежала газета. Гюнтер скользил глазами по заголовку: «Адольф Гитлер обещает в ближайшее время наладить работу заводов Круппа так, что они станут лучшими в Европе! Все будут завидовать Германии!»

Готфрид проследил за взглядом Гюнтера. Взял газету. Развернул, хрустя. Запахло типографской краской, терпкой свежестью бумаги. Гюнтер видел, как зрачки отца дергаются, вылавливают из вереницы букв нужные, единственные смыслы.

— Изольда, — Готфрид поднял лицо к жене, — оказывается, мы скоро выйдем на первое место по производству масла! Наше сливочное масло...

— Ура немецким коровам! — сказал Вилли и показал в жесткой улыбке зубы.

— Вилли, у тебя в зубах курица, — Клара бросила ему зубочистку, и Вилли лов-

ко, как в цирке, поймал ее и засмеялся. Все веснушки на его лице разом запрыгали, задвигались.

— Куры, гуси, коровы, — размеренно, устрашающе произнес Генрих. — Разве дело в этом? — Он вынул из кармана брюк расческу и раз-другой провел ею по русым чистым волосам. Он, чистюля, принимал душ каждый день. — Страна — это бегун. Он должен стать чемпионом. Или не станет им никогда. Есть стадион. Это мир. И твои соперники жестокие. Они тебя не пощадят. Или ты их, или они тебя. Третьего не дано. Выстрел! Старт! И ты берешь с места в карьер. Бежишь! Вперед! Перебирай ножками! Быстрее! Вот так, так, еще! — Он вскинул над столом кулак. — И стадион орет! А ты бежишь! Скорей! Быстрее! Все быстрее и быстрее! Трибуны орут! Твои соперники пытаются тебя достать! А ты бежишь! Тебе все нипочем! Тебе надо победить! Только победить! И ничего больше! И во имя победы ты растопчешь того, кто будет валяться, как зазевавшаяся гусеница, под твоими ногами! Ты ему морду в кровавую лепешку превратишь! Пнешь! Прочь с дороги! Это я бегу! Я! Я, твоя страна! Великая страна! Аплодируй мне на трибунах, позорный, трусливый мир! Я, Германия, бегу! К победе! С нами Бог!

Он уже брызгал слюной. Как тот. Что сумасшедше, долго, надсадно, как бесноватый, орал то и дело, днем и ночью, из народного радиоприемника в кабинете Готфрида.

— Генрих! — Отец коршуном взмыл над столом. — Прекрати! Ты не в Берлинской опере!

— Папагено, — фыркнул Вилли. — Всем спасибо! Я пошел!

Вывалился из-за стола, как газета из почтового ящика. Косо, боком, упал сквозь теплый яблочный воздух к приоткрытой в свободу двери. Просочился в щель. Исчез.

Генрих захлебнулся слюной и умолк. Готфрид швырнул газету на пол. Изольда побледнела. Гюнтер переводил глаза с отца на мать, с матери на брата. Генрих поднял палец и указал им на Гюнтера.

— Вот ты! Да, ты! — Голос его сбивался на петушиный клекот. — Ты тоже вступишь в нашу партию! Ты будешь солдатом великой Германии! У тебя другого пути нет! Нет! Просто нет!

Гюнтер молчал. Потом наклонился, как переломленная в поясе кукла. Поднял с пола газету. Взмахнул ею и оглушительно хлопнул по скатерти.

Он убил черную жирную муху.

— О Боже мой! — воскликнула Изольда. — Зачем ты так?

— Мама, извини. Я муху убил.

Генрих хрипло засмеялся и треснул Гюнтера кулаком по плечу.

— Наш человек! — продолжал смеяться, и Гюнтер заметил: у него начинают гнить вчера еще белые, крепкие зубы. — Убить — это по-нашему! Без пощады! Солдат великой Германии должен уметь убивать без пощады! Мы возродим воинов, берсерков. Мы отправим мертвых героев в Валгаллу! Муху убил? Кошку? Человека? Ты убил врага! Ты...

— Я устал это слушать, — Готфрид отвернулся от старшего сына. — Пойди отдохни после обеда, Генрих. Я думаю, ты просто перезанимался. В институте у вас слишком много домашних заданий. Выкинь временно все формулы из головы. Проветри мозги. Погуляй с девушкой.

— У меня нет девушки, папа.

Генрих с трудом переводил дух. Гюнтер стоял, судорожно сжимая в руке газету.

— У тебя есть Лизхен. Но если вы будете это все продолжать, я Лизхен рассчитаю. — Готфрид обернулся к Гюнтеру. — Дай мне газету. Ты и так ее измял вконец. Читать невозможно. Что сегодня со всеми вами стряслось? Вы как вина выпили.

— О да, молодого вина, — белки Генриха блеснули умалишенно, — из баварских пьяных виноградников...

На весь дом раскатился дверной звонок.

— Это почтальон, — вскинулся отец.

Изольда стрельнула глазами в мужа. Румяные булочки ее щек враз побледнели.

— От кого ждешь письма?

— Ни от кого.

Жена видела, что муж врет.

И Гюнтер это видел.

А Генрих мелко дрожал, противно, жалко трясся. Он выкричал нечто важное, а потом испугался. Это как вдох и выдох: вдохнул аромат, а выдохнул перегар. Зачем он так тут, за обедом, перед всеми орал, как резаный? Он высказал то, что надо таить. Семья его не поймет. Лизхен? С ней можно лишь перепихиваться в ванной, закрыв задвижку изнутри. Фюрер — вот кто его надежда, его вера, его воля! Он вождь воистину. Он ведет не только его. Всю Германию он ведет за собой в бой. Тельман — просто нелепый телок в сравнении с ним. Кайзер Вильгельм, герой начала века, — козявка, жужелица, муравей. Энергия! Мощь! Фюрер — знаток традиции. Традиция — вот его песня. «Она же и наша песня, и наша молитва. Обычай и смерть! Обряд и война! Древние знаки надо уметь читать. Мы разучились. Вождь заново нас читать учит. Открывает зрение ослепшим. За ним! Навсегда!»

Дрожь усиливалась. Готфрид, сморщившись от жалости, глядел на трясущиеся руки сына. Неслышно шепнул Изольде:

— Дай бром. Он здесь, в столовой, в шкафу. На верхней полке.

Изольда капала бром в мензурку, и руки ее тоже мелко, жадно тряслись. Губы ее шевелились. Она беззвучно считала капли: раз, два, три, четыре.

И Гюнтер считал вместе с ней: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.

И отец глядел на них, и его губы тоже вздрагивали.

А Генрих смотрел на них и смеялся.

— Вы что, идиоты совсем? — крикнул он. — Я же не сумасшедший! Я нормальный! Это вы все идиоты! А я-то в порядке! Мама! Спасибо! Так все вкусно было! Чудеса! Давно такого обеда не бывало!

Отец побелел.

— Мы каждый день с матерью...

— Да, да, я слышал! Каждый день! Не покладая рук и все такое! Но сегодня! Сегодня особенно вкусно все! Спасибо! Огромное спасибо! Спасибо! Спасибо! Спа...

— Генрих, — голос отца дрожал и срывался, — Генрих, заткнись сейчас же...

— Мальчик мой, выпей! — Изольда протянула мензурку с бромом.

Старший сын обидно, страшно засмеялся. Его смех был похож на волчий вой.

Отсмеявшись, он дернул вбок аккуратно подстриженной головой, сам весь дернулся огромной живой молнией, ударил по уюту и чистоте всем долгим худым телом, шатнулся, вылетел из столовой. Отец проводил его взглядом.

— Совсем ребенок с ума спятил, — сказал невнятно. — Изольда, я не могу...

— И вовсе он не спятил, — Изольда вскинула голову. Она старалась держаться красиво и достойно. Такой ведь хороший, вкусный получился обед. Нельзя было позволить обстоятельствам взять верх над благопристойностью, над ее семейным счастьем. — Он хороший мальчик! Просто он переутомился. Это все пройдет! Гюнтер, что так смотришь? Поговорил бы с братом! Съездили бы куда-нибудь, развеялись! В кинематограф! На стадион! На ипподром! Ты же так любишь лошадей!

— Я танки люблю, — угрюмо поглядел на мать Гюнтер.

Изольда растерянно поднесла к губам мензурку и выпила бром одним жадным, огромным, коровьим глотком.

Опусти глаза. Потом подними.

Глаза не должны это видеть, но они видят.

Глаза слишком мало видели на земле. И вдруг они стали видеть слишком много.

Так много, что разум перестал вмещать увиденное.

Этот убитый мальчик, лежащий в пыли, — твой ровесник.

Гляди на него, пока не заломит в глазах.

И тогда зрачки превратятся в угли, а голова под костью черепа — в жарко горящую печь.

Сожги в ней все, что ты видел сегодня. Это нельзя помнить. Это нельзя забыть. Это война.

[иван макаров свадьба]

Ивану сравнялось восемнадцать, и Галине тоже.

Свадьбу им устроили — все Иваньково позвали.

Отец, Иван Юрьевич, не пожалел ничего на свадебный пир: и петуха зарезал, и двух самых жирных, хоть и любимых курочек, и на чувашском рынке поросячьи ножки на студень купил, и у рыбаков — сурскую стерлядку, крупную, знатную, для тройной ухи; и сам ту тройную уху варил: сначала ершей, для сладости, потом сорогу, а потом уже стерлядь запускал. Ухой на всю округу пахло.

Варил Иван Юрьевич уху в огромном прокопченном котле. Такого котла ни у кого в Иванькове не было. Котел тот достался ему по наследству от прадеда. Прадед бурлаком на купеческих расшивах хаживал, до Царицына, до Астрахани. Из котла того — бурлаки уху хлебали. Рты хлебом утирали. Ложки, поевши, — подолами рубах, а кто залатанными портками.

Река, река! Иван Юрьевич любил реку. Сердце стеснялось, когда на серебряную воду глядел.

И сын его Иван любил.

И если б не война клятая, пошел бы Ванька в речное училище учиться, на речника. Он уж так и сказал: «Батя, я в речники собрался». А тут немец. И повестка пришла.

Все они знали, и Ванька, и невеста его Галина: вон она, повестка, на радиоприемнике лежит, поверх салфетки белой.

И плакал Иван Юрьевич, закрыв лицо жесткой, деревянной ладонью.

Один плакал. В кладовой. Среди лопат, серпов и черных чугунков.

А к людям выходил — улыбку к роже присобачивал.

Он улыбался даже тогда, когда в Гражданскую его, с женкой и малыми детьми, к стенке ставили. А так просто: к стенке избы. Вывели — и палить. И наперво попали в сынка. В Фединьку. Он навсегда так и остался семилетним. Старший. Жена распласталась на земле, двух девчонок да малютку Ванятку телесами накрыла. Вопит — облака содрогаются! Дрогнули беляки. Ружья опустили. Плюнул главный кат, утерся. Орет: «Ну вас к ляду! Еще я баб с детями не пускал в расход! К чертям! Что скалишься, мужик?! Счастье твое!» И повернулся, и пошел, и закурил, и Иван Юрьевич видел, как высоко поднимаются его плечи, как уши погон касаются.

Шли гости и шли, все Иваньково, почитай, собралось. Ванька в лучшую рубашечку нарядился. Галина — как городская, белое платье, и отделала, хитрюга, кисеей оконной; и фату из тюля пошила, а к ней — белые розочки бумажные навертела. Все честь по чести. Да на городское фуфыристое платье — все равно чувашские, родные мониста нацепила. Золотые и серебряные кругляши, рыбья чешуя! Поймал, поймал Ванюха золотую рыбку. Да ночку одну в руках подержит.

Одергивал Иван Юрьевич кургузый праздничный пиджак. Шли и шли гости, подарки волокли. Старуха Игнатьевна подарила отрез ситцевый — ситец черный, в мелкий цветочек, и юбки из него пойдут, и платья, и в пир и в мир! Дарьица пеленки льняные приволокла. Для будущих деточек! Не вечна ведь война, а Ваньку, даст Бог, не убьют.

Вступил на крыльцо костяною ногой старик Живоглот, с хромкой в граблях-ручищах. Поет хромка, заливается! Меха дышат тяжко и сладко — так баба под мужиком дышит! Старая Ванькина мать, Макарова женка, сидит под иконой в красном углу, узкие глаза щурит, а все к ней подходят и кланяются. Рядом с ней — табурет для Ивана Юрьевича, а еще — два табурета свежеоструганных, для отца и матери невесты, да пустуют табуреты, никто на них не сидит: Галина — круглая сирота. Сироту взял Ванька, без приданого. Зубами скрипнул: «Проживем, батя. Я работать пойду! На баржи! А Галя согласна плавать со мной. Она поварихой на камбузе запросто сможет!»

Играй, Живоглот, растягивай гармошку, мни-терзай! Музыкой веселой сердца рви! Вон соседский Спирька бежит, а что это у мальца в руках? А это петух, на колу протух! Шутка ли, петуха тащит в подарок! Красный, огненный, перья горят, ладони спалят!

— На, Галька, держи петуха! Да во щах не вари! Это тебе на развод! Это курий муженек! Чтоб он всех кур в Иванькове потоптал! Ха-а-а-а-а!

— Спиридон, охальник! Ах, спасибочки! Петя, петя... а он не клевачий?

— Глаз выклюет — кривая Галька будешь, ха-а-а-а!

— Типун тебе...

Галина петуха к груди прижимает. Петух изловчился и клюнул золотое зерно монист. Мониста зазвенели. Весело звени, пой, свадьба!

— Гости дорогие, стюдень на столе, и беленькая стынет!

— Помидорки, Иван Юрьич, уродились уж у тебя! Быстрый ты!

— Хозяйка в теплице ростит...

Рюмки налиты всклень. Студень разрезан, по тарелкам разложен. Пирог из печи вынут — Анна Тимофеевна с капустой и яйцами испекла. Иван Юрьевич — чуваш, Анна Тимофеевна — чувашка, а в паспорте пишутся — русские. И то правда: христиане. Церкви повсюду взрывают, а по всей России в деревнях родители тайно детей крестят.

Галина сидит, грудь сверкает монистами. Фата из тюля лезет на глаза. Глаза блестят, слез полны. Ванька прямее доски, рубаха по вороту алой нитью вышита. В сельсовете они уж расписались. К попу не пошли: современные. Но перед родителями на колени встали. По старинке. Благословите, батька и маманька, на жизнь долгую, и чтобы деток много родилось!

Детки. А беременеют — сразу? Или чуть погодя? Галина слюну сглатывает. Бледнеет. Она первой ночи смерть как боится. Она девочка еще. И они с Ванькой вечерами гуляли, на лавочках над Сурой сидели, да она ему не дала. Молодец девка. Выдержала.

А Иван сидел каменно, ледяную ножку рюмки в горячих пальцах сжимал, думал, губу закусив: зачем не дала, счастья бы все поболе было, чем одна ночь.

Бабы пели, голосили. Старик Живоглот хромку вертел, как девку на танцульках. Рябая Наташка, с перевязанной головой — ей в Гражданскую беляк саблей чуть не полголовы снес, и умом она повредилась тогда, да заросла кость, уродливый шрам под волосами вязаной лентой скрывала, — встала, нависла горой над столом, завизжала, будто резаное порося:

— Горька-а-а-а-а! Горька-а-а-а-а! Ох, подсластить ба-а-а-а!

Вскочил Иван, будто струну порвали. Зазвенела посуда. Медленно встала Галина.

Бледнее скатерти. Иван взял за подбородок Галькино лицо. К себе повернул. Глаза в глаза. Губы к губам.

— Ягодка, — прошептал.

Галина обняла, ощупала, исцеловала глазами Ванькино лицо. Красивый. Молоденький муж ее. Совсем мальчик.

И она, хоть ровня ему, почуяла себя вдруг — старой, жизнь прожившей. И вроде уж умирать надо.

«Какая маленькая жизнь», — прочитал Иван в Галининых глазах.

Губы сблизились. Целовались долго, а вокруг кричали. Вилками, рюмками звенели. Зычный голос над их головами считал:

— Десять! Одиннадцать! Двенадцать...

«Люблю тебя, милый ты мой», — говорили Ивану Галькины губы.

«И я тебя. Больше жизни», — отвечали Галине губы Ивана.

— Двадцать! Ох, сладко!

Оторвались друг от друга.

— Двадцать лет жить будете! Сосчитали уж вам!

— Да не слыхали оне... оглохли...

— Дольше надо было чмокаться! Двадцать — мало будет! Надо — полтинник!

В спальне девчонки, подружки Галины, пуховую перину взбили, кровать хмелем забросали. Шторы задернули. В залу выбежали. Губы к Галининому уху прислоняли: ты, когда ноги раздвигать будешь, зубы сожми и так молись: «Богородица Дева, дай мне претерпеть бабью боль! Сперва больно, потом сладко!»

Вина почти не пили, водки не касались, и так все плыло, уплывало. Живоглот устал мучить хромку. Гости глотки в песнях надорвали. Пироги Тимофеевнины сожрали. Всему бывает конец, и свадьбе тоже. Милы гости, черт вам рад! А ну выметайся из избы! Ночь на дворе!

Летняя ночь. Ночь. Крупные звезды. Простыни хмелем пахнут, а еще — духами «Красная Москва», девчонки побрызгали.

Раздеваться надо. Ночной свет льется в окно. Свет травы, свет от светлой коры осин и берез. Окно в сад открыто, и листья слив лезут прямо в избу. Слив, вишен изобильно завязалось. Варенье Галина одна варить будет. И огурцы — одна солить.

Одна.

Все с себя отчаянно сорвала. Стояла перед Ваней голая. Тело светилось.

— Ничего не боюсь! Ваня! Только...

Он крепко обнял ее. На руки взял — легкая она, подсолнуха лепесток.

— Меня не убьют, — пробормотал, ложась на нее, и она забилась под ним, закинув голову, раскинув белые ноги, и так сильно обняла за шею, что чуть не задушила.

Когда плоть соединилась, Галина распахнула глаза широко и изумленно выдохнула:

— Не больно...

А Иван, выжатый долгожданной судорогой, плакал малым ребенком, уткнувшись в подушку, щекой к Галининой щеке.

И, как ребенка, гладила Галина его по потной голове, утешала, шептала невнятное, единственное.

А утром вынесли гостям, что, запьянев, спать в избе у Макаровых свалились, простыню, кровью окрашенную. Крестилась Анна Тимофеевна, молитву читала. Блестела, в зеркале отражаясь, Живоглотова хромка с перламутровыми старыми, царскими пуговицами.

Надевал Иван перед трюмо чистую рубаху. Натягивал штаны. Мешок с прови-

зией уж собран был, на сундуке ждал. На мешке сидел кот, облизывался. Галина глядела, как Иван собирается на войну.

Родители сына перекрестили. Иван сам перекрестился на икону. Донская Богоматерь складывала нежный ротик печально, сердечком. Младенец на Ее руках смотрел стариком, не хуже Живоглота. Он все знал про Себя.

— Ну, пошел я.

— Иди, сынок! С Богом!

Анна Тимофеевна так и сидела на табурете: на дорогу не могла выйти, колени ослабели.

В окно следила: вот Ваня вышел за калитку, вот Галина ринулась вдогонку, закричала.

Что кричала? О чем?

Пусть покричит. Поплачет. Ночь первая, а может, и последняя.

Глядела мать в окно сухими внимательными глазами, как вчера еще чужая девка обнимает, целует ее сына, осыпает поцелуями его щеки, плечи, губы, лоб. Как Иван наклоняется и целует эту незнакомую девчонку в глаза и рот. Как ветер рвет, развевает волосы девки, они летят по ветру, путаются, блестят на солнце, вьются в веревки, в русые лески.

— Дети, — вымолвили сухие старые губы. — Детки... мои...

Глаза видели: Иван крупными, злыми шагами, оторвавшись от жены, пошагал по пыльной, по солнечной дороге, ступая на всю ступню, уходя, исчезая. Быстро шел, споро. Минута — и от Ивана лишь черная точка на дороге осталась.

Дверь заскрипела протяжно, будто завыла. Галина вошла в избу.

Встала на колени перед черной глыбой, старухой, к табурету намертво прикованной: коричневое вяленое, копченое лицо из-под черного шерстяного платка, рыбы-руки на груди скрещены, тяжелое венчальное золотое кольцо на узловатом диком пальце блестит.

— Мама...

И старуха посмотрела слепыми глазами на нищее медное, тоненькое позолоченное колечко, в сельмаге купленное, у Галины на пальце нежном, детском, молодом, безымянном.

<...>

[елена померанская — ажыкмаа хертек]

Дорогая тетя Ажыкмаа! Здравствуйте!

Огромное спасибо за рисунки Ники, я рассматривала их очень долго и еще буду смотреть, каждый день! Никочка у вас такая молодчина! Она и учится хорошо, успевает, а вот у меня тройки есть. Я не люблю физику, алгебру, геометрию и химию. У меня к ним никаких способностей. Мама ругается, говорит, из меня ничего толкового не получится.

Четырнадцать лет мне справили хорошо, мы были в это время в деревне, я пригласила соседских детей, мама напекла пирогов с вишней, с яблоками и с сомятиной, пили чай, ели пироги и смеялись. Мама сидела, смотрела на нас, как мы едим за обе щеки, а потом вдруг пригорюнилась и заплакала. Я спрашиваю ее: «Что ты плачешь?» А она мне отвечает: «Вспомнила себя во время войны, и как мы есть хотели, и как для нас праздником был крепкий чай, настоящий сахар и кусок белого хлеба. Когда после войны все это на столе появилось, мы дрожали от счастья и плакали. А вы вот пироги едите! И корочку швыряете! А мы корочку каждую, кроху доедали, с ладони слизывали, над ней тряслись...» И ушла плакать в спальню. А мы с гостями сидели такие растерянные. И меня Глафира Беседина спрашивает: «Лена, нам можно дальше праздновать или уже уйти?»

Тетя Ажыкмаа, простите, что все это написала, только маме не пишите про то, что я это вам рассказала.

У нас все хорошо. Папа работает художником на заводе. Рисует большие плакаты. Мама все время берет в больнице дежурства. Я уже большая, я тоже могу зарабатывать. На будущий год заканчиваю музыкальную школу и буду поступать в музыкальное училище. Поступлю и сразу возьму себе учеников, заниматься.

У нас перегорел телевизор «Рекорд», и папа сам его починил. А мама сама починила старый утюг. Белье мы отдаем стирать в прачечную, за ним приезжает шофер, мы даем ему рубль и тюк с бельем, и он уезжает. Очень удобно.

Крепко целую вас, дорогая тетя Ажыкмаа, огромный привет дяде Никодиму и Нике. Всегда ваша Лена.

<...>

Глава четвертая. Тумбалалайка

[дневник ники]

3 июля 1941 года

Война налетела огромной волной. Накатилась. Мы все даже не поняли, как это все случилось. Как будто бы все мы стоим на набережной, а перед нами море, и с моря идет синяя, черная, страшная волна. И нас всех накрывает. Всех. Одним жутким крылом.

Мы однажды до войны были с папой в Алупке. Там красивейший Воронцовский дворец! Пошли купаться к морю. А с моря — ветер. Началась буря. Я думала — ветер дворец из земли вырвет и в море унесет! Мы с папой стоим на берегу, папа на меня уже купальные трусики надел. А волна уже рядом. Как сверху шарахнет! Я на миг перестала видеть, слышать и дышать. Вроде как я умерла.

Да, наверное, я тогда умерла. Я упала и лежала под водой. Я хотела закричать, открыла рот, а в рот хлынула вода, и мой крик так никто и не услышал.

Я лежала под водой мертвая и думала: вот сейчас все кончится. И вдруг моя рука будто сама поднялась из воды! И чувствую — руку кто-то хватает, тащит... Это папа меня из воды вытащил.

Моего папу посадили в тюрьму, на десять лет без права переписки. Мы не знаем, что с ним.

Мама иногда подходила ночью к моей кроватке, обнимала меня и шептала: «Доченька, мы одни не выживем. А нашего папу убили. Убили, я знаю, я видела сон». Мама подружилась с хорошим дядей Васей Молодым, и дядя Вася переехал к нам на Шпалерную жить. Мы с Кутей не стали звать его папой, хоть мама нас и просила его так звать. А потом у мамы родился Васька-маленький. Кутя стал звать его «Кот Васька», и мама очень обижалась и плакала. А дядя Вася покупал нам торт в кондитерской «Норд» на Невском проспекте и дарил к чаю.

Война началась двенадцать дней назад. Я играла с подружками во дворе. Мы скакали через скакалку. Вдруг в окне появилась мама. У нее лицо было белое, как школьный мел. Она крикнула: «Ника, быстро домой! Дети, все по домам! Война началась!»

Мы столпились перед окном. Мама окно захлопнула. Я не помню, как поднималась по лестнице в нашу квартиру. Мама открыла мне дверь, прижала меня к себе и горько, страшно так заплакала.

А за ее спиной стоял дядя Вася и тоже плакал.

А в детской лежал Кот Васька и тоже плакал, на весь дом.

6 июля 1941 года

Меня все всегда звали Ника. Хотя я на самом деле не Ника, а Вероника. Бабушка Геля звала меня еще так: Никеся.

Мы всегда жили в Ленинграде. На большой и красивой реке Неве. А сейчас меня, Кутю и Кота Ваську привезли на паровозе в город Новгород. Здесь холоднее, чем в Ленинграде. Разгар лета, а по небу бегут тучи, и идут холодные дожди. Мама сказала: «Василий, отвези их в Новгород к Ираиде, она врач, она все лето будет работать врачом в пионерском лагере, пусть дети отдохнут, поздоровеют. Война войной, а здоровье здоровьем!»

Ираида Евгеньевна очень добрая. Она встретила нас очень хорошо, гостеприимно. Мы ели настоящие пироги с черной сладкой ягодой, тетя Ираида сказала, что это лесная ирга. На поезде мы ехали одни, а тетя Ираида нас встретила на вокзале. Паровоз дудел и обдавал нас пахучим дымом. Кот Васька орал, я его нянчила на руках, а Кутя нагло смеялся. Потом нас всех посадили в большой автомобиль, он называется «победа», и повезли в дом к тете Ираиде. Она сказала, что она доктор и лечит все-все, что болит. Дядя Вася целовал ей ручку, а она хохотала.

Сегодня вечером мы опять ели пироги с иргой и запивали молоком. Это парное молоко, из-под коровы. Ираида Евгеньевна сказала, у них рядом молочница, она держит корову, и корову зовут Дочка. Красивое имя! Молоко вкусное, толстый слой жира в банке, видно на просвет. Кутя кричит: «Сметана, фу, не буду!» — и морщится. Тетя Ираида налила ему молока в кружку и насыпала туда малины. Тогда привередливый Кутька ел.

У тети Ираиды есть дочь, ее зовут Люся, она очень маленькая, меньше Кота Васьки, и спит в большой корзине на крошечном мягком матрасике.

На ночь мне разрешили писать в дневник. Зажгли зеленую настольную лампу. Тетя Ираида сказала: «Точно такая лампа на столе у товарища Сталина в Кремле». Лампочка яркая, ярче, чем у нас дома, даже глаза слепит. Сейчас заканчиваю писать, надо спать.

20 июля 1941 года

Столько всего произошло за это время. Чудом не сгорел мой милый дневник. Вот пишу в него, а слезы заволакивают глаза. И падают прямо на бумагу. Но я не могу это все не записать.

Тетя Ираида забрала меня, Кутю и Кота Ваську к себе в пионерский лагерь. Она сказала: «Ребята, собирайтесь, складывайте в ваш маленький чемоданчик ваши платьица, кофточки и трусики, еще положите немножко пищи». Я аккуратно сложила вещи, еще три банки рыбных консервов, еще батон и сайку, и еще в бутылку из-под водки дядя Вася налил воду.

Мы поехали в лагерь на автобусе, сели в него на большой площади. День жаркий, площадь пыльная. Кутя все время кашлял, наверное, простыл. Дядя Вася держал на руках корзину с Люсей. Автобус ехал сначала по городу, потом по полям, потом по лесу, потом вдоль железнодорожных путей, а когда выехал опять на ровное поле, мы увидели впереди зеленые лагерные деревянные домики.

И тут началось. Нет, не могу писать!

С неба донесся страшный гул. Мы задрали головы и видим в окна автобуса: самолеты. Летят низко, видно их железные животы. Тетя Ираида как завопит: «Бомбежка! Вон из автобуса! Ложитесь на живот! Прижмитесь к земле!» Мы выскочили. Я держу Кота Ваську на руках. У Кути лицо перекосилось от страха. Самолеты летели совсем низко и так выли, что мы все оглохли. Кутя заорал так жутко, что у

него голос оборвался. Он подполз близко, крепко ко мне прижался, спрятал голову у меня на животе. Кричит, а голоса нет. Я с земли вскочила. Мысль такая: на земле лежу, а вдруг Кот Васька простудится! Так стою под самолетами и вижу, как взрываются, загораются, диким пламенем горят лагерные зеленые домики. А там ведь, в домиках, ребята!

А мысли внутри меня текут медленно, странно так, холодно. Стою и думаю: вот жили дети, жили взрослые, а на них сверху сбросили бомбу, и они взорвались, и взлетели на воздух, и горят в огне. И сгорают. И больше никогда, никогда не будет их. Никогда.

Глядела на пламя, слышала вокруг жуткие крики и самолетный ужасный волчий вой.

И вдруг кто-то налетел на меня сзади. Толкнул в спину, и мы вместе с Котом Васькой упали на землю, а этот кто-то упал на нас сверху и прикрыл нас своим телом.

Но это был не дядя Вася. Я повернула голову и увидела чужое лицо. Потом повернула голову в другую сторону и увидела: тетя Ираида лежит рядом с нами, и не шевелится, и вся залита кровью. Я закричала. Я поняла, что она уже мертвая. Корзинка, в которой везли Люсю, перевернулась на бок. Люся лежала поодаль и плакала взахлеб. Она была еще живая.

А Кот Васька на моих руках странно отяжелел. Он не двигался. Я прижала ухо к его груди. Под моей щекой ползло теплое, соленое. Сердце у Кота Васьки больше не билось. Чужой дядя шептал мне на ухо: «Не плачь, девочка, все будет хорошо, все будет...» Он навалился на меня всей тяжестью и замолк. Я выползла из-под него. Небо все было черное от самолетов. Где был наш дядя Вася? Я оглядывалась и не видела его. Кутя вскочил с земли и больно дернул меня за руку. «Они умерли! Они умерли!» — прохрипел он, и я его услышала, я поняла.

Я совсем не помню, как мы оказались у поезда. Может, сами добежали. А может, нас кто-то из взрослых донес на руках. Почему в поле стоял этот поезд? Это был наш спаситель. Помню только — перед глазами замелькали зеленые вагоны. И мы все ринулись в двери. Нам важно было укрыться. Я думала, меня и Кутю затопчут. Но нет, нас кто-то схватил на руки и бросил в тамбур. Это был плацкартный вагон. Мы с Кутей уселись у окошка и прижались друг к дружке. А народ все набивался и набивался в вагон! Скоро людей стало как сельдей в бочке! Какой-то толстый человек выдернул из-за стола сначала Кутю, потом меня и забросил на третью полку. А сам, вытирая пот с лица, сел на наше место. И Кутя заплакал. И я вытирала ему лицо подолом своего платья.

А тот толстяк дернул стекло за ручку вниз: он задыхался, ловил воздух ртом.

Поезд поехал вперед. Стал набирать ход. Люди даже стали улыбаться друг другу. Кто-то громко крикнул: «Спасены!» За окнами уносились прочь цветы, луга, поля. Жаркие облака плыли в небе. Кутя весь трясся от слез. В вагоне скоро стало нечем дышать. Людям стало плохо от жары и духоты. Колеса стучали, поезд шел все быстрее и быстрее, и вдруг кто-то как крикнет страшно на весь вагон: «Опять они летят!»

Самолеты летели опять очень низко, на бреющем полете. Мы видели даже лица фашистов, их зубы в улыбках и их глаза под касками. Они летели вдоль поезда и стреляли, стреляли. Очереди из пулеметов разбивали стекла. Я крепко зажмурилась. Люди вопили от ужаса и от боли. Все, кто сидел у вагонных окон, умерли. И тот толстяк, что согнал нас с Кутей с нашего места, погиб сразу. Поезд остановился резко, скрежеща и свистя всеми колесами.

Я огляделась. Вагон полон мертвых людей. Раненые кричат от невыносимой

боли. Я крикнула Куте: «Кутька, ты ранен?!» Он покачал головой: нет. Я крикнула: «Бежим отсюда!» Он кивнул головой: да. Я первая прыгнула вниз с третьей полки. Протянула Куте руки: прыгай! Он свалился мне в руки, как мешок. И, как мешок, я тащила его к двери. Вот тамбур. Кровь на железном полу. Я поскользнулась и чуть не упала. Кутя ревел и дрожал. Мы выпрыгнули из вагона и побежали к лесу так быстро, как только могли.

Я всегда очень любила лес. Он казался мне волшебной страной. Под каждой елью, я воображала, сидит фея, под каждой сосной — Красная Шапочка. Очень я любила в лесу, вместе с папой, собирать ягоды и грибы! Папа учил меня отличать хороший гриб от плохого. Но я совсем забыла, что в густом лесу, кроме грибов и ягод, есть еще и болота.

Мы с Кутей забрели в болото. Ноги стали вязнуть. Я почувствовала: если зайдем еще дальше — нам не выбраться! «Кутька, назад», — шепнула я ему. Мы легли на животы и медленно, медленно поползли прочь от болота, на твердую сушу.

Нам очень хотелось есть. Просто ужасно. Животы подвело! Я скомандовала: «Кутька, если ягоду где увидишь — рви!»

Мы пробирались по лесу, шли, сами не зная, куда идем, и по дороге срывали ягоды: голубику и бруснику, землянику и костянику. Чудом мы не рвали страшную волчью ягоду. Но в нас проснулось странное, звериное чутье.

Сквозь стволы сосен показалась дорога. Мы вышли на дорогу и пошли по ней.

Шли долго. Опять вышли к железнодорожным рельсам. Мимо нас очень медленно по рельсам шел товарный поезд. Он остановился, и мы с Кутей успели запрыгнуть в телячий вагон. Там не было ни коров, ни телят, он был пустой, валялось много сена и пахло навозом. Мы сели на сено, обняли друг друга, хотели заплакать, а слез больше не было.

Куда шел этот товарняк? Мы не знали. Мы уснули обнявшись, сидя.

Сколько мы спали, не помню. Проснулись оттого, что поезд дернулся и встал. Я выглянула в проем, где на гвозде моталась отодранная доска. Перрон, поезда стоят, фонари горят. И надпись вижу на здании: «МОСКОВСКИЙ ВОКЗАЛ». И солдаты к нашему товарняку идут и в вагоны заглядывают, и винтовки у них наперевес. Один солдат кричит во все горло: «Эй! Стойте! Дети тут! Двое!»

Другой солдат подходит и цедит сквозь зубы: «Да их сразу в детдом надо!»

А я кричу солдатам: «Не надо нас в детдом, мы здесь живем, мы ленинградцы, мы на Шпалерной, у нас дома телефон есть, я помню наизусть, позвоните маме!»

Солдаты на меня смотрят, на Кутю, а мы оба грязные и в крови.

Завели нас в вокзал. Один солдат нас сторожил, другой пошел звонить нам домой. Возвращается, лицо удивленное такое: «И правда, детки со Шпалерной! У них там мамка чуть с ума не сошла!»

И вот мы стоим посреди вокзала и видим: к нам навстречу несется мама, бежит так, будто за ней гонятся, и вдруг запнулась, зацепилась каблуком, нога подвернулась, и она прямо посреди зала ожидания как растянулась на гладком полу! Лежит и плачет! А я выпустила руку Кутькину, и к ней бегу, и падаю перед ней на колени, и так крепко-крепко обнимаю ее, что даже дышать не могу! А мама шарит в сумочке, замочком золотым щелкает, в руке держит зелененькие книжечки, рисунком на деньги похожие, и мне сует, и шепчет сквозь слезы: «Никеся, покажи солдатам, это ваши метрики!» А я и не знаю, что такое метрики. Первый раз их вижу. Беру их у мамы из рук. Читаю: «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ. МОЛОДЫЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1939, 12 АВГУСТА». И понимаю, что это Кот Васька. Убитый. И дядя Вася тоже убитый. И не знаю, как маме об этом сказать. И даю ей две метрики, на себя и на Кутю, и говорю: «Мамочка, вот эти солдатам отдай».

И она все поняла сразу. И как упадет лбом на пол вокзала!

А метрики крепко в руке зажала.

Тогда я вынула у нее метрики из руки и протянула их солдатам. Они посмотрели и гаркнули: «А паспорт матери? Вставайте, товарищ! Поднимите товарища, негоже на полу лежать!» Солдаты подняли маму с пола, она, как слепая, ничего не видит. Стоит растрепанная, а волосы белые. И я с ужасом подумала: когда это наша мама успела стать старухой?

Мама вынула из черепаховой сумочки свой паспорт. Солдаты полистали его.

Когда мы уходили с вокзала, я услышала, как один солдат другому сказал: «Счастье тетке. Один помер, да ведь двое живы».

А когда нас мама привела домой, мы смотрели на все в доме — на мебель, обои, на пианино, на фотографии на стенах, на салфетки, на вазы, на сервиз в шкафу — как на чудо. Я закрыла глаза и вспомнила, как мы ползли по болоту.

А Кутя стал снимать штаны, чтобы пойти в ванную помыться, и у него из-за пояса шлепнулась на пол толстая тетрадка. И я узнала мой родной дневник.

Я к Куте подбежала я закричала: «Кутька, откуда у тебя эта тетрадка?! Откуда?! Такого ведь не бывает! Не бывает!»

А он мне отвечает: «Ника, ты уж совсем ничего не помнишь, что ли? Когда нас бомбили в первый раз, перед лагерем, осколок в чемоданчик попал, его чужой дядя открыл и вынул из него батон, сайку и консервы, а я бросился, как лев, тоже хотел съестное вытащить, да не успел, а вытащил только тетрадку, в которую ты все пишешь, и упрятал под рубаху!»

Я прижала дневник к груди. А потом поцеловала Кутю.

Как хорошо, что я все это записала.

28 февраля 1942 года

Мы окна заклеили бумагой крест-накрест. Бумагу нарезали из старых газет. Я часто сижу на подоконнике и ковыряю ногтем газетную полоску. Полоска шелестит, ползет белой змеей. Внизу, за окном, фонари. От них идет мрачный, голубой, мертвенный свет. Комната полосатая: полоса света, полоса тьмы. Я знаю: сейчас загудит сирена. И надо опять бежать. И зажимать уши ладонями. Белые летние ночи ушли; сейчас черные зимние ночи. Нет, они тоже немного белые — от снега. У меня чувство, что мы живем на Луне, так все вокруг мертво, черно и бело.

Недавно ночью все небо страшно загорелось. Во мрак поднялось зарево. Люди выходили на лестничные клетки, глядели в окна. Молчали. Кто-то сказал тихо: «Горят Бадаевские склады». И кто-то так же тихо спросил: «А что теперь будет?»

На Бадаевских складах хранилось наше продовольствие. Вся еда города Ленинграда.

И кто-то третий тихо ответил: «Будет голод».

Мне теперь все время хочется есть. Нет такой минуты, чтобы я не воображала себе еду. Как я что-то с наслаждением ем. Мне снится еда во сне. Будто бы я зубы вонзаю в теплый хлеб. Или во вкусную мамину куриную котлетку. Кутя молчит, не хныкает. До войны он был такой хныкалка и капризуля, а сейчас так терпеливо переносит все. У нас на всю нашу семью, что осталась, три карточки. На них дают очень мало хлебца. Совсем чуть-чуть.

Я гляжу на пианино. Когда-то мама играла на нем. Наша мама когда-то была пианисткой. Она окончила музыкальное училище имени Римского-Корсакова. Она даже в капелле играла. И в филармонии работала. Наш папа увидел маму, когда она на сцене аккомпанировала певцам. И дядя Вася тоже увидел маму в концерте. Тогда она играла сольный фортепианный концерт: «Аппассионату» Бетховена, «Времена года» Чайковского. Очень красивая музыка. Я гордилась мамой. Но она

ни меня, ни Кутю музыке не учила. Смеялась: «В семье достаточно одного сумасшедшего музыканта!»

А когда война началась, мама пошла работать на завод. Ее музыкальные пальчики делали снаряды для армии. Мама говорит мне: «Ника, ты уже у меня взрослая. Ты сильная, ты крепкая и выносливая! Помоги мне! Можешь рано утром пойти за хлебом?» И я киваю головой: конечно, мамочка, а как же! Мама встает в три часа ночи. К пяти утра ей надо попасть на завод. А я к пяти иду в булочную. Там уже стоят люди. Они похожи на черные тени. Я пристраиваюсь в хвост очереди. Очередь качается, как пьяная. Все мечтают о буханке хлеба, а всем на ладонь кладут маленький кусочек. В нем опилки, в нем жмых, но он так чудесно пахнет! Я касаюсь хлеба губами. Искушение — сразу взять да проглотить его.

Нельзя. Тогда тебя, Ника, за твою жестокость расстрелять мало.

Я несу домой три кусочка хлеба, а на улице уже рассвело. И у меня ноги замерзли так, что превратились в утюги, хотя я в валенках и шерстяных носках.

А днем я хожу и собираю ветки, старые доски, щепки — я буду растапливать печь-буржуйку. Мы топим буржуйку книгами. Папа сам собирал нашу библиотеку. Когда я рву очередную книгу, чтобы ею растопить печь, а читаю ее — страницу за страницей. А потом подкладываю в огонь ножки старого бабушкиного стула. Мы разломали стулья на дрова. Сидим теперь на диване. На диване, все втроем, и спим.

Сегодня я топила буржуйку, и завыла сирена воздушной тревоги. Я не двинулась с места, продолжала бросать доски в пламя. Грела о печку руки. Ко мне подошел Кутя. «Где мама?» — спросил он. «На заводе, ты же знаешь», — ответила я. А он вдруг говорит мне: «А может, она шла домой, а ее убил снаряд». И глаза у него были сухие, он больше не плакал. И так твердо сжал рот. Я обняла его за плечи и вижу: он прижимает к животу плюшевого медведя, любимую свою игрушку. И вдруг мне этот медведь представился убитым Котом Васькой. А Кутя протянул мне медведя и серьезно так сказал: «Ника, если будет нечем растапливать печь, возьми и растопи Мишуткой, ладно?»

Ладно, кивнула ему я, взяла медведя на руки и стала качать, как ребенка.

8 марта 1942 года

Я сегодня ходила за водой на Неву. Каждый раз поход за водой — это такое мучение. В этом году зима тяжелая. Рано пришла, и сразу ударили ужасные морозы. Многие люди обморозили себе уши, носы, щеки, пальцы. Мама говорит: в больнице, где она когда-то лежала с двусторонним крупозным, хирург Литвиненко обламывал обмороженные пальцы раненым — их привезут, замерзших, после артобстрела, и они лежат, как ледяные поленья. Нева под ледяной толстой коркой. Люди прорубили лед, черные проруби видно издали, с берега. Меня мама просит: «Близко к проруби не подходи, лед обломится, утонешь!» Пугает. Я уже ничего не боюсь. Хотя нет, боюсь немного.

На самом деле люди у прорубей тонут. Во льду прорубили проруби, и люди ходили туда за водой. И тонули часто. Края проруби все в потеках льда, будто белый воск застыл на свечке. Конечно, опасно. Но у меня другого выхода нет. Потому что некому принести воды, кроме меня.

И я иду к ледяной Неве.

И вот сегодня то страшное, чего я так боялась, случилось. Вернее, чуть не случилось. Мама на заводе, Кутя спит. Он теперь все время спит от слабости: встанет, шатнется и опять ляжет. Все только просит: «Ника, дай чаю с булочкой». Ему все булочки снятся, а булочек давно нет. Я собралась идти за водой. Повязала мамин пуховый платок, завязала узлом на спине, поверх шубки. Всунула ноги в валенки.

Привязала ведро к санкам и побрела к Неве. На улице скользко, бреду и падаю, подошвы валенок как маслом намазаны. День пасмурный, но яркий: все бело от чистого снега. Нева лежит большая, как белая скатерть, а на ней черные рюмки. Это проруби. Около прорубей торосы, а от черной воды на морозе поднимается пар. Черные люди медленно отделяются от берега и еле-еле движутся по льду к прорубям. Такая очередь за водой, как за хлебом. Я встаю в конец очереди. Санки с ведром за моей спиной, я держу их за веревочку. Они кажутся мне смирной деревянной собачкой, и будто я держу ее за поводок. Надо идти медленно, и все движения рассчитать, не спешить.

Подхожу к проруби. Белый лед вокруг проруби превращается в синий. Он синий и прозрачный, как воздушное платье Жизель, я видела такой балет в Кировском театре. Я вдруг представила, сколько людей здесь проходит за день. Сотни сапог, тысячи валенок. Подо льдом дышит и вздрагивает вода. Она живая. Все только кажется мертвым, на самом деле все живое. Подошла моя очередь. Я шагнула к проруби, отвязала ведро, забросила его в прорубь, оно погрузилось в воду, и я потянула его назад.

И вот тут я поняла, что ведро вытащить я уже не смогу. Ведро тяжелое, и оно потащило меня за собой. Потащило к проруби. А я такая легкая, худая такая, почти невесомая. Ведро тащит меня, как огромная рыба — рыбака за леску! Оно тащит меня в черноту, в холодную глубину!

Валенки легко скользят по льду. Я падаю на живот. Держусь за веревку. Почему я ее не отпускаю?!

Потому что это вода. Драгоценная вода. Это питье. Это наша жизнь. И я не могу, не должна ее отпустить.

А может, у меня просто застыли на морозе руки!

Черная вода все ближе. У меня темнота перед глазами. Я уже ничего не вижу. У меня подбородок над водой, руки уже в воде. Меня обнял страх. И в то же время я все сознавала. Понимала: вот сейчас головой в прорубь — и утону!

Перед глазами вспыхнул свет. Везде мрак, а вижу свет.

Задохнулась! Дышать не могу! И вдруг слышу сзади крик: «Эй! Руку давай! Спасу!»

Я одной рукой продолжаю веревку держать, а другую от веревки отрываю — и взмахиваю рукой, и кто-то крепко, мертвой хваткой ее хватает! Стаскивает варежку. Снова хватает — за голую руку! И тянет! Тянет меня, а я тяну ведро! Медленно тянет, осторожно! И я уже понимаю: я на льду, на снегу, я на земле! Не в воде!

Лежу на спине. Рядом со мной ведро. Из ведра вода вся вылилась. Я обернулась и посмотрела. Гляжу вверх. Вижу — дядька длинный, худой, в черном пальто. Смотрит на меня. А я на него. Это он вытащил меня. Спас меня. Люди вокруг стоят и плачут. Я слышу, как они плачут. А я лежу. И дядька дает мне руку и поднимает меня со льда.

Я стояла, сама как ледяная Снегурочка, какая-то старушка потерла мне щеки рукавицей и сказала: «Обморозишь щечки, доченька, разотрись!» Я оглянулась, а дядьки и след простыл. Когда он успел убежать? Ведь все у воды двигаются очень медленно. А мальчишка один мне под ноги ринулся: «Тетенька, давайте я вам воды наберу!»

И я подумала: вот я уже и тетенька, а мне ведь только тринадцать лет.

И еще подумала: а ведь сегодня восьмое марта, Международный женский день, праздник, красный день календаря.

[мальчик иван]

Мое село, Иваньково. Моя Сура.

Гармошка моя, маленькая, кроха, за пазухой умещу: это мне дядя Спиридон смастерил.

Дядя Спиридон умеет все. Он мастер. Он находит на берегу Суры перловицы, собирает в песке сухие створки, аккуратно разламывает на крошечные обломочки, потом обломочки обтачивает наждаком, и получаются такие красивые перламутровые пуговицы.

Я думал, это для одежды, для бабьих сарафанов. А дядя Спиридон смеется: нет, шалишь, уехал в Париж! Это, Ванек, для гармошки! Пуговицы!

Странно: у одежи пуговицы, и у гармони пуговицы.

Да что ж, человек придумал пуговицы и пришивает их ко всякой всячине, так понимаю.

Дядя Спиридон усадит меня и дружка моего Леньку Киселева рядом с собой. Сядем на корточки у Спиридонова сапога, глядим во все глаза. А он пальцами так молотит — не уследишь! Перламутр только сверкает. На клей сажает, к гармошке ладит... Кричит:

— Ну, таперя на продажу! Взыграй, ребятня!

Я-то на гармошке сызмальства умею. Меня все Иваньково сбирается слушать. Я наяриваю, а Ленька, башку задрав, голосит:

Я наелся, напился!
Хрен за ляжку завился!
Ты мне дай с собою, Маня,
Ищо в сумку порося!

Я тоже не отстаю. Полно мы частушек знаем!

Я у тещи был в гостях!
Теща плавала во щах!
Ж... кверху, пузом вниз!
На п... лавровый лист!

Народ ржет-вопит, бабы от смеху приседают. В толпе вижу сердитое лицо матери моей, Анны Тимофеевны. Брови насупила — порка меня ждет.

Очень не любит мать моя срамные частушки.

Шасть, шасть — через всю толпень, вся базарная площадь расступится, теплая пыль под моими ногами. С ноги на ногу переступлю. Ленька замолкнет, глазами по мне шарит. Зыркает: мол, давай вырвись, убеги! Я ему глазами же отвечаю: да ты чё, Лень, не могу, это ж мать.

Мать цепляет меня за руку — крепко, не убежишь. Ведет прочь от люда, от родимой толпы. Голоса взмывают голубями над народом:

— Ванька! Держись!

— Ванька, все ништяк!

— Вань, а ищо придешь на рынок сыграть?

— Ванюшка! Налью полну кружку! Только на гармошке отмочи нямножко!

Мать ведет меня, уводит. Оборачиваюсь сиротливо. Гармошку за пазуху прячу. Музыку свою. А мать рубит-режет:

— Ах ты! Оголец! Жук навозный! Наглец! Охальник! В кого такой! Отец смирнее овцы! Мать словца худого не сбрехнет! Тем боле на людях! А ты! Зыркалы твои бесстыжие! Рот твой как смеет! Бога бы побоялся!

Я поднимаю голову и робко и весело говорю матери:

— Маманя, а ведь Бога-то нет!

Она останавливается, руку мою сильнее сжимает — кости хрустят.

— А кто есть?! Кто нами всеми правит?!

И я кричу уже в голос:

— Товарищ Сталин!

И тогда рука матери разжимается. Бессильно виснет вдоль белоснежного холщового сарафана. Это у нее наряд такой летний — на сенокос. Сенокос завтра, а она сарафан праздничный уж нацепила.

Лицо у ней загорело, все в поту, пот по переносью течет. Смуглая моя мать, раскосая. Отец зовет ее в ласковые минуты: ты чувашечка моя. А в нехороший час выпьет — смертным боем бьет. Мать потом синяки сметаной мажет.

Ее узкие глаза вонзаются в меня. Мне в лицо. Под лоб. Ищут, пытают. Что хотят разузнать? Да разве я неправду сказал?

И молча поворачивается, и прочь идет. Одна.

А я за ней волокусь, и гармошка у меня за пазухой теплая, ну точно как мышь или котенок: согрелась.

[девочка двойра]

Резкие, бодрые звуки. Радио. «Интернационал». «Никто не даст нам избавленья — ни Бог, ни царь и ни герой! Добьемся мы освобожденья своею собственной рукой!»

Солнце. Розовые, желтые пятна солнца на паркете.

Пятна движутся от шторы — к дивану. От дивана — к моей кровати.

Сейчас самое жаркое пятно доползет до меня, и надо вставать!

«Это есть наш последний и решительный бой! С Интернационалом воспрянет род людской!»

Все. Доползло до меня солнце. Солнышко мое.

Сентябрь. Лето кончилось. Школа началась. Как я люблю школу!

Гимн грохочет, ярко сверкает, заливает спальню музыкой не хуже солнца.

«И если гром великий грянет над сворой псов и палачей...»

Одеваюсь. Вот поясок, и резинки болтаются, и надо без складок, плотно натянуть чулочки и прицепить к ним застежки. Мама говорит: на чулках не должно быть ни единой складочки, они должны облегать ногу, это хороший вкус. А если чулки в гармошку — на твои ножки смело можно плюнуть, так говорит мама!

— Для нас все так же солнце станет...

Теперь лифчик. Он квадратный, из плотной ткани. У него пуговки на спине, и я изворачиваюсь, как могу, чтобы их застегнуть. У меня маленькая и плоская грудь, хотя у нас в классе девочки, мои ровесницы, уже щеголяют высокогрудые. Так мальчишки на их фартучки и косятся. А на меня никто не косится. Встану перед зеркалом: слишком большие глаза, слишком пухлые губы, и нос крючком, и брови густые, как у мужика. «Как у старого шамеса», — смеется папа и, послюнив палец, проводит мне по моим толстым черным бровям.

И ноги у меня худые. И ребра торчат. А зато я быстрей всех бегаю стометровку! И все девчонки завидуют мне на стадионе, да, завидуют!

— Сиять огнем... своих лучей!

Теперь рубашка. Мама сама шьет рубашки. Раньше ей помогала шить баба Фира. А потом баба Фира сошла с ума. И теперь бабе Фире самой надо помогать есть и пить.

Ранец у меня собран еще с вечера. Я аккуратная. Коричневая форма надета. Я перед зеркалом крепко, намертво, чтобы позорно не развязались, завязываю на спине тесемки черного фартука. Веснушки на носу, этого еще не хватало!

Я слишком люблю солнце. Или это солнце любит меня?

Теперь — перед зеркалом — косы заплести. Непослушные пышные кудри разделить на три тугих пряди — и плести, плести косу, а она расплетается, вырывается из рук, как змея.

Слышу за дверью быстрые шаги-шажочки: это мама бегает по коридору нашей коммуналки. Жарит мне яичницу. Вот ногой открывает дверь и вносит в столовую сковороду, и яичница шкворчит на настоящем деревенском сале, тетя Мурочка привезла из Ирпеня, пальчики оближешь, а в другой маминой руке кофейник с изогнутым, как лекало, носиком, и уже так пахнет кофе, так весело, так чудно, это наш завтрак!

— Двойрочка, ты встала? Ах, уже готова, как чудесно! Ты моя умница!

Мама ставит на подставку сковороду, на вязаный кружочек — кофейник, взмахивает руками и крепко, свежо целует меня. У нее веселые кудряшки, от нее пахнет духами «Вечер» — это папа ей подарил, у нее белый отглаженный воротничок и платье в мелкий горошек. Она смотрит в окно. Солнце гладит ее длинными веселыми желтыми лучами.

— А уже холодает, — вздыхает мама. Вздергивает плечами. Изнутри к платью подшиты ватные плечики, чтобы мамины плечи были шире, так надо по моде. — Ну и что! Осень. Осень тоже хороша! Завтра воскресенье, пойдем гулять на набережную?

Я знаю, мама очень любит глядеть на Днепр. Она ходит к Днепру в любое время года. Зимой одевается в теплую шубку, кутает руки в муфточку, под шапку повязывает козью шаль, но все равно, в метель и мороз, идет говорить со своим Днепром. Как с человеком. Моя мама красивая. Гораздо красивее меня. И папа тоже как принц. А я вот получилась Золушка. Зато мой братик Изя — загляденье! На Подоле красивей всех. Ему восемь лет. Встает перед зеркалом и бьет себя по щекам: «Зачем я такой смазливый! Меня в классе девчонкой задразнили!»

— Воречка, садись ешь! Вкусненько! Я на сальце пожарила! И еще красного перчику накрошила, совсем чуть-чуть, не морщи нос, это полезно для здоровья! Ты гимнастику сегодня сделала утреннюю?

— Не-а, не успела, — киваю я, а рот набит. И правда вкусно с перцем.

Мама наливает мне в стакан кофе. Я жую и гляжу на подстаканник, он серебряный, на нем изображены самолет с нашей красной звездой и голова летчика в шлеме. Летчик улыбается. Я улыбаюсь ему.

Мама дает мне легкий шутливый подзатыльник.

— Ешь, а не смейся! Уже двадцать минут восьмого!

Из родительской спальни выходит папа. Он в свеженькой клетчатой рубашке и в подтяжках. У него веселое заспанное лицо. Ему на работу к девяти. Он еще успеет спокойно поесть. А когда мы с Изькой убежим в школу — еще и поцеловаться с мамой в старинном кожаном кресле. Я однажды видела: мама села к папе на колени, а он так нежно целовал ее, что у меня навернулись слезы на глаза.

— Воря, салют! А Изя где у нас?

— А Изя у нас в туалете, как всегда! — прыскает мама в кулак. Спина ее дрожит от смеха. Она намазывает хлеб желтым, как солнце, маслом. — Он может там все утро просидеть! И опять опоздает! Мне Нина Михайловна уже...

Изя возникает в дверях. Мрачный, смешной, любимый. Я так люблю моего младшенького братика. Он увалень, умница, медведь, он лучший математик в классе!

— Мамулик, с добрым утром. Папочка, с добрым...

— Давай-давай пошевеливайся! — Мама толкает Изю к столу. — Бутерброды! Сыр! Яичница! Кофейку будешь? Или компоту вчерашнего налью?

— Компоту, — бубнит Изя. — Кофе горячее, долго остывает, опоздаю.

— Изя, сколько тебе раз говорить: кофе он! Кофе он! Горячий! Кофе!

— Горячий кофе, — послушно повторяет Изя и тянется за хлебом с маслом.

Мама быстро, торопливо ест, жует, как белочка орешек передними зубками. Еще и успевает следить, как мы все едим. И мы стараемся все съесть моментально, чтобы мамочка, наша обожаемая мамочка осталась довольна своим послушным семейством.

— Додик, тебе завтрак как?

— Нет слов!

— Изя, в темпе, в темпе! Мне Нина Михайловна жаловалась...

— У-м-м-м...

— Воречка, ты все?

— Спасибо, мамочка родная!

И вот мы оба, Изька и я, уже стоим в дверях. Мы говорим родителям: до свидания! Белые шелковые ленты — в моих косах. Кончики кос вьются колечками. Туфельки у меня на ремешке. Мама купила не в магазине — с рук, у нас на Подоле, у тети Розы Гликман. А Роза маме шепотом сказала: из самого Парижа привезли, да по дешевке тебе, Неля, отдаю.

— До свидания, дети!

Мама машет нам рукой. Папа корчит смешные рожи.

— До свидания, мама!

Мама уйдет на работу до самого вечера. Она работает на почте. Принимает телеграммы. Сколько вестей проходит через ее руки — и хороших, и плохих!

Дверь хлопает. Мы с Изей уже на улице. Мы идем в разные школы.

Я машу Изе рукой. Он машет рукой мне.

Поворачивается, идет. И тут меня будто толкает кто-то в бок. Я подбегаю к нему, хватаю его, прижимаюсь щекой к его щеке, обнимаю его, тискаю, как малыша, и крепко целую, и едва могу сдержать слезы. Что со мной? Я не знаю. Я плачу и целую братца, будто навек с ним прощаюсь. Он вырывается из моих рук и ворчит удивленно:

— Ворька, что это с тобой, а, ну пусти же меня, пусти...

И я отпускаю его.

И когда он бежит по пустынной утренней улице, и ранец подпрыгивает у него за плечами, и солнце обливает его золотым молоком, а я гляжу ему вслед, я вдруг пугаюсь: а вдруг я больше никогда его не увижу, а вдруг что-то плохое возьмет и случится, то, чего мы еще не знаем?

[парад 7 ноября 1941 года в москве]

Девочка вышла из парадного подъезда и тихо закрыла за собой огромную тяжелую дверь.

Ей всегда казалось: вдруг этой дверью прищемит кошку. Или котенка. Или щенка — в сорок первой квартире хозяева держали щенную суку, овчарку, и малых щенков выводили гулять на тоненьких поводках; уши у них не стояли, смешно валились.

На девочке надета потертая беличья шубейка, крест-накрест перевязанная бабушкиной шалью. А на ножках валенки. Начало ноября, а пуржит и снежит, как зимой. И холодно. Так холодно, что мысли смерзаются в голове.

Бабушка на парад не пошла. Тепло одела внученьку и прошептала ей на ухо, отведя от щеки русую прядь: «Ты за меня сходи, я будто твоими глазами, Никеша, на все погляжу. Ты только все запомни и все расскажешь».

Поэтому девочка бодро, быстро шла, переступала валеночками по мокрому снегу и влажному льду: она боялась опоздать, и надо было все запомнить. Все.

У нее была хорошая память; это всегда говорила учительница, Наталья Анатольевна.

Девочку бабушка звала Ника, а по правде ее звали Нина. Ника было гораздо красивее.

А в метриках записано: «Деньгина Нина Аполлоновна, родилась 9 мая 1933 года. Место рождения: СССР, г. Москва. Родители: отец — Деньгин Аполлон Парфенович, мать — Деньгина Зинаида Павловна».

А еще у меня бабушка, Ростовцева Александра Федоровна, шептали холодные губы.

Валенки то вминались в мягкий снег, то скользили по черной чугунной наледи. Девочка шла знакомым путем — широкими и узкими улицами, к самой прекрасной на земле Красной площади. Уже доносился грохот — это подходили к площади танки; Ника убыстрила шаг. Нельзя опоздать. Она бабушке обещала.

Красная площадь нежданно ударила из-за поворота черно-белым, слепящим квадратом. Ника заслонила лицо рукой. Из-под руки глядела: четко и дружно впечатывая сапоги в заметенную снегом брусчатку, шли солдаты, и за плечами у них, на спинах болтались вещмешки. «На фронт отсюда уйдут», — поняла девочка, и сердце у нее поднялось из груди вверх и забилось в горле.

Гуще, неистовее повалил снег. Девочка на миг ослепла от снега. Она, осторожно, по-балетному перебирая ногами, вышла на площадь, и это мимо нее, незаметной и маленькой, шли сначала курсанты-артиллеристы, высоко вздергивая носки сапог. Девочка дышала снегом и холодом, и от холода склеивались ноздри. Она потерла нос варежкой. Поднимался и креп ветер, и на ветру радостно, пожаром, развевались знамена, и в сиротской белизне метели жарко сверкали тяжелые золотые кисти, что свешивались с древка.

Девочке в уши вдунул веселую мелодию духовой оркестр. Грянули, бацнули друг об дружку медные тарелки. Оглушительно задудели трубы. Толпился и прибывал народ, обнимая серебряную сковороду площади. Восемь утра, а пол-Москвы тут. Глаза девочки восторженно глядели на зимние формы войск. Она не знала, чем артиллеристы отличаются от пехотинцев, пехотинцы — от зенитчиков, зато вот моряков она сразу узнала — по бескозыркам.

«Чайка смело пролетела над седой волной...» Марш, гремевший извне, задавил нежную песню из любимого кинофильма. Оркестр звенел и грохотал. Посреди снега, льда и смерти шла жизнь, и она уходила на фронт. Парни чеканили шаг: кто улыбался, кто плотно сжимал губы и зубы. Девочке захотелось уйти вместе с ними. И она подалась, потянулась вперед.

Ножки в валенках переступили на снегу. Метель била по щекам. Она сняла варежку и вытерла щеки, как от слез, голой ладонью.

Во все глаза Ника глядела на красный мясной мрамор Мавзолея — там, на трибуне, их вождь, их полководец. Товарищ Сталин, вот она видит в метели его доброе широкое лицо, его пышные усы! Он улыбается и машет ей, ей рукой!

На самом деле вождь стоял далеко, и лицо его было в слепых вихрениях снега неразличимо. Рядом со Сталиным навытяжку стояли люди. Военные? Штатские? Девочке было все равно. Это были взрослые люди, и они играли в свою игру. Только война не была игрой. Она касалась их всех. Людей, зверей, птиц. Детей.

Товарищ Сталин сказал: враг не возьмет Москву. Никогда. Что он скажет сейчас?

Ника напрягла шею, выпрастывая ее из шали и шарфов. Площадь перед ней заслонили люди — они все подходили и подходили, и девочка путалась у них под но-

гами, ее отталкивали, затирали, ей отдавливали сапогами и башмаками ноги, и подшитые свиной кожей валеночки все скользили и скользили по наледи, и все стреляла и стреляла в лицо белая дробь пороши. Как увидеть? Как запомнить? Она же не видит ничего!

Девочка, как собачка, стала юрко, скользко, деликатно пробираться ближе, ближе к брусчатке, по которой шли солдаты, ныряя между расставленных широко ног, проскальзывая под шинелями и ватниками, протискиваясь между широких обтрепанных брючин и модных довоенных каракулевых шуб. Снег лупил наотмашь, метель разъярялась. По краю площади, как по ободу замерзшего черного озера, шел молодой солдат с винтовкой наперевес.

Девочка выкатилась мохнатым колобком чуть не под ноги марширующим, и солдат этот, почуяв девчонку рядом, как зверька, внезапно и резко обернул голову — и глаза ребенка натолкнулись, наткнулись на глаза рослого парня в теплой армейской ушанке, с торчащими из-под синего цигейкового меха белыми, сивыми бритыми висками.

Светлые ледяные глаза парня все мгновенно схватили — и запомнили: и шаль крест-накрест, и козий белый шарфик, выбившийся из-под воротника, и валенки-утюжки, и эти светлые, небесные глаза — две незабудки, два цветка.

И не крикнуть ничего. И даже не подмигнуть. Не остановиться.

Шаг. Чеканный шаг. Печатать шаг. Ать-два, ать-два.

А девчонка смотрит. Глаз не отрывает.

Ника впилась в парня глазами — сердце из глотки опять вкатилось под ребра, и она стала слышать его громкий стук и гул. Музыка медно, железно лязгала, истошно кричала. Музыка превращалась из меди в огонь, из огня — в хруст льда и молчание снега. Девочка отводила снег от лица, как свадебную фату. Разворачивала белую пеленку метели, чтобы схватить и прижать к сердцу ребенка. Война навсегда оставит тебя девочкой, девочка, знаешь?! Не мечтай ни о чем. Слушай рев оркестра. Гляди на героев. Они уходят тебя защищать и бабушку твою.

Из репродуктора гремел над площадью голос:

— Враг рас-считывал на то, што после перваго жи удара наша армия будит рассэяна, наша страна будит па-ставлена на ка-лени. Но враг жэстока пра-считался! Нэсматря на врэменные неуспэхи, наша армия и наш флот геройски ат-бивают атаки врага на пратяжэнии всэго фронта!

Девочка уже видела спину солдата. Он шел, чеканя воинский, строгий шаг, и под подошвами его сапог плавился снег. «Оглянись!»— просила она всей душой, и парень быстро и резко, будто равнялся в строю, повернул голову и еще раз поглядел на девочку через плечо.

Глаза ударили. Глаза пронзили. Глаза оттолкнули и вобрали. Глаза поклялись. Глаза засмеялись. Глаза заплакали. Глаза крепко выругались. Глаза обняли. Глаза поцеловали. Глаза родились. Глаза умерли. Глаза запомнили. Глаза забыли.

И только затылок в туго напяленной на башку ушанке, мал размер, да придется терпеть, какой уж выдали, качался в хлещущих белых веревках, в молочных потоках метелицы уже за полшага, уже за десять шагов, уже впереди, уже еле видать, уже таял, уже заслонялся другими солдатскими головами в ушанках и касках, штыками винтовок, — а вот уже и конница пошла, уже зацокали атласные кони по мостовой — тут людей кормить нечем, да как же нам, советским людям, военных-то коней-то прокормить?! ах, красавцы! — и тащили кони тачанки, и грозно торчали из белой живой пелены пулеметные стволы, — люди показывали людям искусство смерти, резцы и кисти, пилы и молотки смерти показывали люди людям: вот глядите, какие мы бравые, как много у нас хорошего и славного оружия, да разобьем мы врага в пух, косточки от него куриной не оставим! — и наплывал, катился из

клубящихся серых туч страшный, подземный гул: танки шли, и девочка сжалась, подняла под шубкой плечи, крепко прижала к животу руки в поярковых варежках — она знала, что танк наедет — раздавит гусеницами в красную лепешку, не успеешь оглянуться, — и заливал гул горячим свинцом уши, и кричали люди: ура-а-а-а! — и качались, взрывались алым, золотым огнем знамена в руках у знаменосцев в строю, и когда один танк вдруг забуксовал, из толпы ринулись люди — толкать тягач, не дать параду остановиться!

И глядела девочка во все глаза, как люди плечами своими, руками толкали разом вставший посреди Красной площади танк. Девочка шептала, вслух читая надпись на его стальном боку: «За Родину!».

Внезапные слезы застлали ей глаза. Изнутри обдало кипятком неистовой гордости. Мы победим, шептала она себе, мы победим! Такое оружие! Такие солдаты! Она внезапно стала гордой и взрослой. Детство улетело голубем. Парило над головой. Она сдернула зимнюю вязаную шапку и бросила ее в воздух, а поймать не сумела, и шапка, старательно и любовно связанная бабушкой Шурой, позорно свалилась ей под ноги, в снег. Девочка стояла с голой головой и не поднимала шапку. Танк грохотал мимо нее. Она махала рукой танкисту в башне. Может, он увидит ее. Запомнит ее.

Восторг народа нарастал. Танковый гул залил все вокруг: людей, площадь, небо, мостовую, Кремль, Мавзолей, тех, кто на трибуне, и тех, кто внизу. Люди обнимались и целовались. Мокрые лица, щеки ввалились; улыбки режут тесаками черноту и белизну. Сжатые кулаки тяжелее булыжника. Победим! Другого пути у нас нет!

И внезапно музыка оборвалась.

Умерла.

Медная тарелка с размаху в снег полетела. Утонула.

Девочка, посреди плачущей от радости толпы, опустилась на корточки в снег.

Так сидела на снегу — серой, мохнатой вороной.

Ее пинали. Через нее переступали. Ее окликали: эй, что расселась! Кончился парад!

Ее гладили по голой голове: девочка-девочка, а где твоя шапочка? Потеряла?

Кто-то закутал ей голову чужим шарфом. Чужой запах плыл ей в ноздри, и она узнала его. Одеколон «Шипр». «Шипром» мазал, когда побреется, красную шею ее отец.

А мама душилась всегда «Красной Москвой» и пудрилась пудрой «Метаморфозы».

Ее отец и ее мать воюют. Оба на фронте. Ушли ополченцами.

Бабушка ночами плачет в спаленке, а потом встает и полночи стоит у окна, перебирает концы козьего платка.

Голоса, руки, сапоги, лица! Почему народ не расходится? Кричат: не расходись, люди! По сто грамм дадут! В честь праздника!

Надо идти, Ника. Надо уходить отсюда. Ты увидела, что хотела. Глазки твои все запомнили.

Все?

Девочка закрыла глаза, сидя в толпе на корточках, и старательно стала вспоминать.

Она ничего не вспомнила. Ничего.

Ни грохота танков; ни ворон, летающих над Мавзолеем; ни медных валторн в снежном саване; ни железных касок с горками нападавшего снега; ни тачанок и пулеметов; ни гнедых, вороных и чалых лошадей, гарцующих, танцующих на припо-

рошенной снегом брусчатке не хуже балерин в Большом театре; ни солдатиков-артиллеристов — юных, пухлогубых, нежных, почти детей. Ее старших братьев.

Ни того солдата в синей цигейковой ушанке, с метельными, ледяными глазами.

Ника все забыла.

Дома бабушка спрашивала ее: ну как парад? Ну скорей рассказывай!

Она сама раздевала Нику, стаскивала с нее валеночки, растирала ей замерзшие ноги сухими, ослепшими от радости ладонями. Несла на стол самовар, накладывала в хрустальные розетки прошлогоднее вишневое варенье — как хорошо, что оно сохранилось, всей семьей собирали на даче в Михнево. Тоненько-тоненько отрезала кусочек ржаного хлебца. Ты ешь, внученька, ешь! Ну что же ты не ешь? Ну почему же не рассказываешь мне ничего? Хороший ли был парад? Кто там шел в строю? А танки, танки были? А кони? А где ты потеряла шапочку? Ты не расстраивайся, я тебе другую свяжу!

— Баба Шура, я не буду больше есть варенье. Война долго пройдет. Ты завяжи его марлей и поставь за шкаф. Оно нам еще пригодится.

Ника отвернулась к стене, лицом к старому пианино. Крышка открыта, на пюпитре ноты: «На сопках Маньчжурии». Бабушка разучивала с ней этот вальс. У Ники пальцы заплетались, и она рассерженно била кулаком по клавишам.

Баба Шура, ты не должна видеть, как я плачу. Солдаты не плачут. Через год я вырасту и пойду на войну.

<...>

[елена померанская — ажыкмаа хертек]

Дорогая тетя Ажыкмаа, вот выкроила время написать вам.

Не знаю, дойдет ли это письмо до вас в скором времени и дойдет ли вообще. В работе почты сбои, на вокзалах пахнет истерикой. Из консерватории уехала половина преподавательского состава. Уезжают куда могут — в Германию, В Лондон, в Израиль, во Францию, в Америку. Как хорошо, что вы уехали задолго до этих ужасных событий.

Здесь кромешный ужас. Около станций метро рядами, толпами стоят женщины, и молодые и старые, и продают кто что может: зимние шапки, меховые и вязаные, детские игрушки, сосиски, обувь, молотки, куриные яйца в картонных коробках, писчую бумагу, альбомы для фотографий, сухофрукты, сахарный песок. Сегодня я видела красивую на вид даму, она стояла и продавала старую пишущую машинку. Я подошла поближе и рассмотрела: на машинке написано «Erika». Дама что-то шептала. Я спросила: простите, вы что-то мне сказали? И она чуть погромче спела хриплым дрожащим голосом: «“Эрика” берет четыре копии, вот и все! А этого достаточно!» Я не знала, что это за песня, и посмотрела на женщину, наверное, слишком испуганно, и она поняла, что я думаю, что она сумасшедшая. И она заплакала, слезы у нее полились по лицу. И мне было стыдно ее утешать.

Мимо этих торгующих женщин бежит народ. Редко кто у женщин покупает. Но все-таки покупают немножко. Мне была нужна зимняя шапка. Я пошла к метро, ходила вдоль женщин, искала тех, у кого в руках шапки. Нашла. Купила себе меховую шапку из лапок песца, дешево. Я сейчас подрабатываю дворником, мету и чищу Столешников переулок. Живем мы все, дворники, без московской прописки, в старом доме на слом, а дом все не ломают. Хорошо, центральное отопление, и зимой тепло. Нас тут много, и все ребята — кто художники после Суриковки, кто музыканты после консерватории и Гнесинки, как я, кто режиссер после ВГИКа, одним словом, богема. И все мы дворники. Сами над собой смеемся: зачем учились? Но жизнью все

довольны: встанем в шесть утра, отработаем утро, и после двенадцати — свободны, можно еще где-то заработать на хлеб.

Тетя Ажыкмаа, я вам очень завидую, что вы уехали. Я работаю в Центре органного искусства, его основал Саша Фивейский, и нас всех в фирме пять человек, вот и весь центр. Иногда играем органные концерты. Я устроилась еще в один вокальный ансамбль, и мы делаем записи на радио. Я пою меццо-сопрано, у них нет низких голосов, поэтому ансамблисты шутят: Померанская на вес золота. Платят копейки. Но я эти копейки одна к другой складываю, и можно жить. Даже посылаю маме и сыночку деньги домой. Мы тут все так: недоедаем, от себя отрываем, шлем родным. В провинции еще хуже. У меня ощущение, что у нас в стране идет война.

Тетя Ажыкмаа, вот вы и дядя Дима, вы же пережили войну. Тогда было страшнее, чем сейчас? Я не хочу такого мира, как сейчас. Но я и уезжать не хочу. Я очень люблю СССР. Но теперь его больше нет. Такое чувство, будто бы его завоевали. Вот была война, и мы СССР отстояли. А в мирное время потеряли. Я не представляю, что рисовала бы Ника, если бы она была жива и жила сейчас в Москве. Тетя Ажыкмаа, простите, что я напоминаю вам о Нике. Я случайно, я больше не буду. А может быть, вам, наоборот, хочется, чтобы я с вами о ней говорила? Тогда я с радостью. Я все время Нику вспоминаю. Ее рисунки у меня с собой в чемодане, самые главные. Освенцим, дети на нарах в концлагере, парад 1941 года, бой за Берлин, салют над Москвой. Остальные рисунки у мамы, в Козьмодемьянске. Детей я взяла в рамочку, они висят у меня над кроватью.

Ой, пишу про кровать, а ее-то у меня и нет, в общепринятом смысле. Есть такой топчан, я на помойке нашла, без ножек, но мягкий, на пружинах. Вот я на нем сплю. У меня отдельная комнатка, и у художницы Иры Гриб отдельная каморка, мы спим, как барыни, а парни спят по четверо, по пятеро в комнате. Тут такая большая квартира, раньше была коммуналка, анфилады.

Тетя Ажыкмаа! Пишите мне: Москва, Центральный телеграф, до востребования, Померанской Елене Юрьевне. Буду надеяться, мое письмо до вас дойдет.

И пришлите мне, пожалуйста, фотографию вашей американской квартиры, мне интересно, как вы устроились, какая мебель у вас дома и есть ли рояль, вы всегда о нем мечтали. Какие новые партии в театре вы сейчас танцуете?

Крепко-крепко целую вас, дядю Диму и Нику. как раньше, как всегда. Поцелуйте за меня Никину фотографию. Я ее вижу.

[иван и гюнтер]

Языка допрашивали зря. Этот немецкий белобрысый гаденыш не сказал ничего. Зря трудился переводчик. Зря потел и разъярялся командир. Фашист молчал, зубы на крючок.

— Солдат Макаров!

— Так точно, товарищ командир!

— Расстрелять гада!

— А если это... ну, попытать?

— Еще только мне пытками заниматься не хватало! Раненого — пытать! Это — пусть они, гады, пытают! Я не унижусь до такого! Пошел он... Пошел — ты! Быстро! Пока я не передумал и не отправил его в штаб! Мозолит он глаза мне!

Иван вошел в больничную землянку. На лавке, скрючившись, сидел Гюнтер.

О чем думал белобрысый немец?

О том, что лучше бы он погиб в бою?

Или о том, как хочется жить?

Иван ткнул Гюнтера прикладом в спину: давай шевелись! Немец покосился на автомат в руках Ивана, но не встал с лавки. Плечи укрыты шинелью. Не немец-

кой — русской. Ах, сердобольная Истолька, вот уже и шинелькой немчуру накрыла. Еще бы супчиком с ложечки покормила. Бабы жалостливые. Вот сейчас он дрянь эту убьет и не охнет. И расхохочется ему в рожу, когда он на землю упадет и обольется кровью!

— Иди давай. Иди! Шевели копытами!

И добавил, как они обычно кричали, фрицы:

— Шнель! Шнель!

Гюнтер медленно поднял голову.

Медленно поглядел на Ивана.

Медленно разлепил губы.

Перед ним стоял вражеский солдат с автоматом в руках, и было хорошо понятно, куда он его зовет и что сейчас сделает с ним.

Губы Гюнтера покривились. То ли хотел улыбнуться, то ли заплакать.

Некогда ни плакать, ни смеяться. Все, отсмеялся и отрыдал. Живей. Твоя смерть тебя ждет.

И она, смерть его, такая красивая, как во всех рыцарских, тевтонских романах: железо, и огонь, и белое поле, и алмазный снег, и военный клич, и пуля летит, впивается в сердце, и последний стон, и звезды над головой.

И она такая уродливая, смерть, такая гадкая: хрипы и просьба о пощаде, ведь так хочется жить, жить во что бы то ни стало, и глотать воздух, и ведь он еще не видел, как рождается его ребенок, он только безумно целовался и яростно спал с этой бешеной итальянкой, она была его первая и последняя женщина, а он еще хочет женщин, и хочет детей, и хочет прожить жизнь долгую, как пророк Мафусаил, о нем из большой старинной Библии читала ему в детстве Изольда; а тут из тебя выпустят кишки, и он сам, перед смертью, увидит воочию свои потроха, и как же это страшно и тошнотворно, этого же нельзя, этого же никогда не будет! Зачем ты обманываешь его, русский солдат?! Зачем уводишь на волю, под метель и ветер?! Разве нельзя прикончить его прямо здесь?! В этой их вонючей госпитальной землянке?!

— Давай. Шуруй! Шнель!

И Гюнтер встал с лавки и уронил шинель на земляной пол. Переступил через нее. Пошел впереди, Иван сзади.

По земляным ступенькам вышли на простор, под ветер и звезды.

Все так, как он и предполагал: белая пустая ширь азиатского страшного поля, земля цепко схвачена синими когтями мороза, ярко и бешено пылают в черной пустоте неба цветные колючие звезды.

Глаза неба. Глаза зверей. Глаза людей.

Самые страшные глаза у смерти: они улыбаются.

Кальсоны Гюнтера трепал ветер. Ногам было холодно. Босые ступни крючились на снегу. Скоро он перестанет чувствовать все. И холод тоже.

Под исподней рубахой врезались в кожу живота и груди бинты. Хороший хирург ему сделал операцию. Зачем? Чтобы он опять почувствовал жизнь на губах, в зубах, в глотке, а потом кусок вырвали у него изо рта?

Гюнтер поглядел на Ивана. Иван поднял автомат.

Прицелился.

— Хенде хох!

Зачем Иван так крикнул?

А чтобы легче было убивать.

Два мальчика стояли друг против друга: русский и немецкий, и один должен был убить другого. Здесь и сейчас.

Гюнтер вздрогнул и стал медленно, медленно поднимать руки. «Это во сне. Мне все это снится, и я сейчас проснусь».

Он поднял руки высоко, к самым звездам. Коснулся кончиками пальцев ярко горящих, злых звезд. Они обожгли ему пальцы. Он закусил губу. Терпеть. Перетерпеть. Терпеть уже недолго. Сейчас все кончится. Сейчас! Ну!

— Хенде... хох!

— Я уже поднял руки. Что тебе еще надо? — спросил Гюнтер ледяными губами.

Он не слышал своего голоса и не чувствовал рта.

Это кто-то другой за него сказал.

Тот, кто выше его; кто сделал все эти звезды, и снег, и ветер, и белое поле, и эту дикую войну, и его страну, и чужую страну, и эту последнюю ночь.

И внезапно лютая радость затопила его, он погрузился в нее с головой, осчастливленный, веселый, пьяный, как на свадьбе. Что это?! Он не знал. Такое с ним было впервые. Эти звезды сорвались с небес и захлестнули его. Звезды поймали его в сеть. Он бился сначала, вырывался, но блаженство опутало, заклеило сладостью рот, связало руки, и мысль текла кристальной, хрустальной чистой водой. Он застывал на морозе глыбой льда — и тут же таял от биения сердца своего, и костер сердца плавил все, возжигал мир изнутри и снаружи. Снега горели! Огни горели! Горел черный ствол автомата в дрожащих руках советского солдата! Горело, освещая все вокруг, лицо Гюнтера — ярче полной Луны над полями, ярче огня, ярче адского взрыва! Если он превратился в огонь — значит, смерть — это огонь, и это воистину прекрасно?! Да, Бог?! Да?! Ответь!

«Я сам стал Богом сейчас. На миг», — подумал он ясно и бесповоротно.

Иван держал чужое, ненавистное тело на прицеле.

Автомат постыдно дергался в руках.

Он впервые убивал человека.

Он понял: он не может.

«Стыд тебе, Ванька, позор. Ты, а еще на охоту с батькой хотел пойти! В Пандиковский лес! Стреляй! Стреляй же, мать твою еть!»

И увидел, изумляясь, чуть автомат из рук не роняя: озарилось изнутри странным светом, воссияло над снегами фрицево это наглое, бледное от близости смерти лицо.

И отпрянул Иван, отшатнулся от этого света.

Отшагнул. Еще шаг. Другой. Третий.

Свет убивал Ивана. Свет поражал его.

— Чудо, елки... Сгинь, пропади...

С поднятыми вверх, к звездам, руками недвижно стоял немец, и голые ноги его уходили глубоко в нападавший за ночь снег.

— Ты... ты это... знаешь что? Давай...

Иван сам не знал, как это слово слетело у него с языка.

— Беги!

И стволом автомата махнул вдаль.

— Беги, парень! Шнель! Шнель!

Гюнтер, глядевший мимо Ивана, в белый простор, перевел на Ивана страшные зрачки.

— Беги? Вас ист...

Понял.

Опустил руки.

Не верил.

Покачал головой: нет. Не побегу.

«Побегу, а ты выстрелишь мне в спину!»

«Не выстрелю. Беги!»

Говорили глазами.

Гюнтер посмотрел на свои босые ноги. Опустил руки.

Поднял ногу и ударил себя по голой ступне.

«Я замерзну в одном белье и босой».

«Стой! Сейчас!»

Иван бросил на снег автомат. Гюнтер глядел, как русский сумасшедший солдат раздевается перед ним на морозе. Стаскивает с плеч шинель. Сдергивает сапоги. Один сапог, другой. Размотал шарф и тоже швырнул ему. Гюнтер поймал. Понюхал. Шарф пах женщиной.

Перед Гюнтером на снегу лежало обмундирование. Иван, в портянках, теперь переступал на снегу точно так же, как босой Гюнтер.

— Давай! — дико завопил. — Одевайся, мать твою за ногу!

Гюнтер глядел на ворох солдатской одежды на резучем, колком снегу.

Снег искрился ярче звезд. Глаза слепли.

Осторожно, не сводя глаз с Ивана, наклонился.

Автомат лежал рядом. Можно было его схватить.

И дать очередь по Ивану.

«Я не схвачу оружие. Я не убью тебя».

«И я тебя не убью. Давай живей! А то сдохну я тут, на морозе!»

«Тебя так и так расстреляют, — сказал глазами Гюнтер, натягивая сапог. — Твои командиры».

«Ну и пусть. Пусть! Что сделалось, то сделалось! Назад пути нет!»

«Ты прав. Назад пути нет».

Гюнтер натянул второй сапог и наклонился за шинелью.

Надел шинель, влез руками в рукава.

Теперь стояли друг против друга: один одетый, другой в исподнем.

Иван захохотал.

Он хохотал под звездами, закидывая голову, касаясь затылком шеи, хохотал безумно, взахлеб, до слез. Так же резко оборвал смех.

В гробовой тишине на них сыпались звезды.

Гюнтер показал глазами на автомат.

«А можно?»

«Совсем обнаглел, парень. Это мой автомат. Пусть меня из него и расстреляют. Мне выдала это оружие моя армия. А ты шуруй отсюда. Пока я не передумал».

— Пока я не передумал, — сказал Иван вслух губами изо льда.

Гюнтер напоследок вонзился зрачками в зрачки Ивана. Глубоко, жадно. Проткнул ему глаза — до кости. Что под черепом врага? Какие мысли?

«Не убьешь? Когда побегу?»

«Не убью. Если бы хотел — давно бы уж убил».

Гюнтер повернулся. Побежал неуклюже, приминая вражескими сапогами белый чистый снег. Снег хрустел под сапогами и проваливался, и Гюнтер тонул ногой глубоко, чертыхался и вытаскивал ногу из снега, как из рассыпанной муки. Тропы не было. Расстилалась снежная целина. Он бежал, куда глаза глядят. А глаза не глядели. Он бежал зажмурившись, повторяя немыми губами: «Я жив. Жив. Он пока не стреляет. Не стреляет. Не стре...»

Встал. Обернулся. Смешная белая фигура Ивана, в исподнем и в грязных портянках, маячила в белой пустыне. Черное небо рушилось, хохотало, показывало все

зубы-звезды. Это смерть Ивана смеялась над ним. Над его глупостью. Над его жалостью.

— Расстреляют тебя, — сказал небу и снегу Гюнтер, согнулся, будто пули свистели над головой, и опять побежал.

Он не знал: он бежит к реке. Земля клонилась вбок и влево, и он бежал по склону земли, понимая: снег падает и осыпается, и здесь овраг, а может, он спрячется за холм, и никто его не увидит. Где его часть? Где его офицеры и солдаты? Они давно уже передислоцировались. Куда же он, дурья башка, мчится? Летит? Ползет? Снег набивается в рот. Под сапогом уже не снег, а лед. Лед! Это берег.

— Берег, — прошептал Гюнтер. — О мой Бог, берег! Река!

В какой стороне солнце? Долго еще ждать зимнего рассвета. И он не знает, где восток, а где запад. Где север, а где юг. Он ничего не знает. Он даже не знает, что он остался жив. Русский солдат отпустил его. А может, это тоже сон? Или его расстреляли, а это такая странная жизнь на том свете?

На том свете белые простыни диких полей. Лупоглазые звезды. Круглые мишени планет. Медные пули метеоров. Ветер поднимает винтовку свою. Снежный танк грохочет и сминает все на своем пути. Зима порубит их всех, немецких солдат, в куски, в фарш для котлет, в морковку для супа мамы Изольды. Мама, я так хочу твоего супа. Мама, я голоден. Я так голоден. Я так хочу есть. Мама, я хочу есть, я хочу пить, значит, я у тебя еще жив.

Ивана не расстреляли только потому, что комвзвода орал, брызгая слюной: «У меня каждый боец на счету! Я понимаю, под трибунал, но я сам себе тут трибунал! И мне нужен боец, а не мокрое место! Выдать Макарову новую шинель и новые сапоги! Благодарите Бога, что он не отдал фашисту автомат!»

«Кого-кого благодарить, а? Не слышу!» — крикнул комроты, закуривая трубку. Трубка ходуном ходила в руках. Комвзвода подражал Сталину, такие же, как у Сталина, усы отпустил и этого не скрывал.

«Что слышали!»

Иван стоял перед командирами в подштанниках. Губы его прыгали. Голову он не опускал.

— Расстреляйте меня, товарищ командир. Виноват я!

— Пошел вон! С глаз моих!

Иван глубоко вдыхал табачный дым.

Когда он слепым медведем вылез из командирской землянки, обнял сам себя руками за плечи и мелко трясся, подошла к нему Евстолия Ивановна, в одной руке держала шинель, в другой сапоги. Протянула Ивану.

— Вань... Это Петруши Синюкова. Не побрезгуй. Он у нас сегодня помер. Не спасли. Осип так и сказал: ранения, несовместимые с жизнью.

Иван взял амуницию из рук медсестры и сказал:

— Спасибо, Истолька.

И сел на снег. И плакал, обхватив руками шинель, как живого человека.

И солнце всходило.

[великий овраг]

Они гнали нас к Великому Оврагу.

Везли на грузовиках; гнали по пыльной дороге, наставляя дула автоматов, кололи штыками, чтобы мы шибче бежали.

Мы шли, не сопротивляясь. Меня это удивляло: ну почему мы молчим покорно, идем, как коровы, как овцы, гуртом, перебираем ногами, бежим так послушно к

смерти своей! — и никто, слышите, никто и не вырвется вон из смиренных рядов, все склоняют головы и идут, бегут, бредут, тащатся туда, где их будут убивать.

Люди будут убивать людей. Непредставимо.

И меня? И меня тоже!

Я крикнула: «Не хочу! Нет!» — и шагнула в сторону, чтобы вырваться вон из обреченной колонны, но меня за локоть схватила седая Сара Штыпель. «Деточка, не надо, — зашамкала старуха Штыпель, — ты уж лучше вместе со всеми, со всеми не так страшно, понимаешь? Понимаешь?!»

И тогда я поняла.

В толпе — не страшно. В толпе — среди своих. Вспомнила русскую пословицу: «На миру и смерть красна». Я, еврейка Двойра Цукерберг, сейчас своя среди своих. Много нас тут. Я крикну, я заплачу, мне будет больно, страшно больно, а меня со всех сторон сожмут родные локти и плечи, на меня будут глядеть родные глаза. Глаза моего народа.

Я, еврейка Двойра Цукерберг, умру сегодня вместе с моим народом. Он тысячу раз умирал и возрождался. Сегодня просто очередная смерть, и все. Ничего особенного. Не будет меня, но ведь останется народ. Всех они не перестреляют! Не повесят! Не сожгут!

«Детонька, а старый Леня Шмуклер сказал мне, что там весь Великий Овраг едким натром засыпали... и нас туда бросать будут...»

Я быстро, задыхаясь, шла рядом со старой Сарой. Я видела — старуха уже не может идти. Ловит воздух ртом. Глауокомные больные глаза жадно вбирают лес, подлесок, дома на краю города, трещиноватый асфальт под семенящими ногами. Солдаты с черными пауками на рукавах погоняют нас. Мы — скот. Далеко, в толпе, слышу, поют. Это раввин Липа Грузман распевает псалмы.

Чем дальше я шла, тем страшнее становилось. Люди прижимались ко мне. Шла, семенила живая куча, многоголовая, многоглазая. Растрепанные волосы. Растопыренные пальцы. Сжатые кулаки. Живое тесто катилось, скатывалось в грязный шар, ветер месил его, раскатывал по жесткой земле, и это уже не был мой народ. Это был нищий, страшный, потерявший единый голос, обреченный хор, когда молча кричат, когда ложатся ниц перед неизбежным.

— Двойрочка, — шамкнула старуха Штыпель, — возьми меня за ручку...

Она лепетала, как дитя.

Дитя. Все мы сейчас дети. От рождения до смерти человек — дитя, но сам не знает об этом. Не подозревает, что все у него детское: лапсердак и тулуп, чепчик и пинетки, плащ-палатка и кирзовые сапоги. И чехол для детского, игрушечного автомата: из него можно расстрелять жабу, канарейку. И гробовая обивка — розовая ли, голубая. Девочкам розовая, мальчикам голубая. Кто так придумал? Почему так заведено?

Дети! Дети! Куда вы бежите! Остановитесь!

— Азохн вей, — сказала старая Сара на идиш, — айн бисхн вайн...

Она бредила наяву, на ходу. Я крепко взяла ее за руку.

И она успокоилась.

Толпа напирала. Задние давили. Над нашими головами летели тучи, серые и мохнатые, они задевали лохматыми краями наши затылки, и голые, и в платках, и в шапках, и в ермолках. Пахло смертью. Пахло близким снегом. Пахло духами «Рассвет». Пахло рисовой пудрой. А еще плохо пахло: должно быть, старик обделался от страха. Или — ребенок.

Ребенок. Каждый из нас ребенок. Детей, как скотину, гонят умирать. Разве так делают на свете, люди?!

— Пощадите! — крикнула я истошно.

Я просто больше ничего не могла сделать для моих бедных людей.

И солдат в железной мощной каске дал очередь над головами, чтобы ни я больше не орала, ни кто другой. Никогда. До самого конца.

И все шли и бежали молча. Молча.

Сквозь осенние голые ветки показался Великий Овраг. На его склонах и на дне и вправду белело что-то, похожее на рассыпанную известь. На белое вкусное мороженое в земляной черной, страшной вазочке. Люди закричали: «А! А! Не надо! Смилуйтесь! Пощадите!»

Они кричали мои слова, а я молчала.

Только крепче сжимала руку старой Сары.

И старая Сара благодарно поглядела на меня и пробормотала, раздвинув пергаментные губы, и я увидела, как по-детски, по-зверьи расходятся в стороны два ее передних гнилых зуба, просвечивая насквозь, образуя смешную заячью щербину:

— Дитя мое... я вижу море...

Почему море-то, море-то почему, подумала я потрясенно и рассеянно, к чему тут море, — и точно, вокруг нас шатались, плясали волны людского моря, и мы со старой Сарой были одними из этих вздымающихся и опадающих волн. Волны, что накатывались сзади, выдавили нас, идущих в первых рядах, на самый край оврага. Теперь я уже хорошо могла рассмотреть это белое, ломкое, мучнистое, что было насыпано на черную землю.

Это светилась белая смерть. И смертью, острой и перечной, пахло в сером предзимнем воздухе.

— Хальт! — крикнул солдат в мрачной каске. — Хальт, юдише швайне!

Мой народ встал. Встало, не колыхалось больше людское черное море.

Мое еврейское, родное, милое море. Я лодочкой в тебе плыла. Я переплывала тебя из конца в конец, такое ты было маленькое, чудное, мое. Я видела твоих рыбок и крабов твоих, и я грелась на твоем песочке, и я вытирала полотенцем из черных, смоляных кос моих соль твою.

А сейчас мы все утонем в тебе. О, какой темный, ветреный, серый, гнусный день! Солнце тоже расстреляли. Еще прежде нас. Как жестко, умело держат солдаты автоматы! Я знаю: из стволов вырвется огонь, будет бить в волны моря. Огонь прошьет воду и ударит в дно. И земля взорвется. А может, море расступится, как Чермное далекое море в прокаленной, больной пустыне, и все евреи уйдут по свободному, голому дну, смерть их отпустит, пощадит?

— Детей пожалейте! — вознесся высоко, к брюхам быстро бегущих туч, отчаянный голос из толпы.

Голос матери. Она хочет спасти детей. Она с радостью умрет, если детей оставят жить.

Старая Сара обернула ко мне мятое, жатое, как старый сапог, лицо.

— Детонька... ты ж еще такая детонька... еще даже и не жила как следует... на свете...

И я подумала: мне уже шестнадцать лет, я уже целую жизнь прожила.

Много в мои шестнадцать уместилось. Дом на киевском Подоле. Печенье с корицей и кнедлики в меду. Баба Фира, бешеная и безумная, что жила у нас в ванной комнате, а ела, как котенок, из миски на полу: только так хотела, не иначе, хоть ей еду и ставили на стол и с собой за стол усаживали. Добрая была такая баба Фира, дивная, светлая. Косая черная челка через весь сумасшедший лоб. И усики, эти черненькие усики. Черная поросль над вечно дрожащей синей, лиловой губой. Я спрашивала маму: «Мама, а разве у женщин бывают усики? А если бабе Фире их побрить?»

А мама — плакала.

Столько всего: и белые голуби на Крещатике, и белые свечки каштанов в Одессе, меня туда возили на скором поезде, на конкурс певцов, и я громко, широко открывая рот, пела: «Славное море, священный Байкал, славный корабль, омулевая бочка! Эй, баргузин, пошевеливай вал, молодцу плыть недалечко!» — и мне поставили высокие баллы, и я заняла второе место, мне торжественно вручили серебряную медаль, позолоченный диплом и коробку шоколадных конфет фабрики «Рот фронт», а потом я маму спрашивала: «Мама, а Баргузин — это такой крестьянин, что ли, и он вращает корабельное колесо?» — а мама хохотала до колик в животе. А потом мы пошли на Ланжерон, и я ходила по пляжу и собирала красивую цветную гальку в мешок. А море сияло. И солнце, катясь за горизонт, сияло, слепило глаза. Стреляло в меня лучами.

О, всего столько, и все вижу в один миг! Значит, правду говорят, что перед смертью человек враз видит всю жизнь!

Смерть деда Ицхака. Дед Ицхак, вижу тебя, как ты лежишь под русскими иконами. Все смешалось у нас на Подоле: Вкраина и Советский Союз, местечко и далекая, как пустынные звезды, Иудея. Давно мой народ забыл родной иврит. Идиш — это язык кривой и чужой, родным лишь притворившийся. Юдиш-тайч, откуда, из каких заморских стран вывезли тебя в железной клетке, клювастый смешной попугай? Но я выходила на школьную сцену и пела: «Тумбала, тумбала, тум-ба-лай-ка... Тумбала, тумбала-лала, Тумбалайка, шпильт балалайка... Шпиль балалайка, фрейлех зол зайн!» и дети и учителя хлопали мне в ладоши! А учительница истории тихонько шепнула мне: «Великой певицей станешь, если будешь хорошо учиться!»

А теперь передо мною Великий Овраг.

И надо спеть. Последнюю песню. Слушай, мой народ!

Я наполнила сырым серым ветром легкие до отказа. Так долго вдыхала, что сама ветром стала. Оторваться бы, полететь над землей. Ты будешь лететь, а они — погибать?!

— Мэйдл, мэйдл, х'вил ба дир фрэйгн:
Вус кэн ваксн, ваксн он рэйгн?
Вус кэн брэнэн ун нит ойфхэрн?
Вус кэн бэйнкен, вэйнэн он трэрн?

На меня оглядывались. Рты от изумленья открывали. Глазами хлопали.

— Наришэр бохэр, вос дарфсту фрэйгн?
А штэйн кэн ваксн, ваксн он рэйгн...

Мальчик, что стоял передо мной, съежился и спрятал голову в ладони.

Мама! Папа! Изя! Все кончилось! Все!

— Тумбала-лала! Тумбала-лала! Тумбалалайка! Тумбала-лала... тумбала-лала...

Первую очередь по людям дал солдат в железной каске. Тучи на миг разошлись, из-под черноты брызнуло бешеное солнце, и я увидела его лицо.

Мальчишка. Веснушки! Русая прядь из-под каски! Парень! Пацан...

Ребенок. Он ребенок. На него надели каску и погнали на войну. Убивать.

— Тумбалалайка!

Люди оседали под пулями. Солдаты кричали: «Feuer! Feuer!» Огонь хлестал, его видно было хорошо — струи огня, вспышки, пылающие очереди. К небу взвились огненные крики. Я пела и не слышала себя. Голос огнем вытекал из меня. Мне важно было петь. Потому что когда поешь — не так страшно. Если бы я не пела, я бы завыла от страха. Согнулась бы, спрятала бы голову в колени, тряслась. А так — я стою. Стою на ветру. И даже пою! Нате выкусите!

— Тумбалалайка... шпильт балалай...

Рядом кричали и плакали дети. Горячее толкнуло меня в плечо. Потом в грудь. Горячо и больно стало под правой лопаткой. «Вот и все», — подумала я, колени мои подломились, и, окруженная частоколом криков, подожженная ими со всех четырех сторон, с горящими волосами и солеными глазами, я стала падать, падать, падать на землю, на сырую землю, на влажную черную землю, и земля расступалась под моим худеньким детским телом, вбирала меня, вглатывала, всасывала, втягивала, — целовала.

Очнулась я на том свете.

На том свете было так же темно и страшно, как на этом.

Матица. Потолок. Из-под сруба солома торчит. Я думала, я на том свете буду в Раю, а оказалось — в хате.

Хата на том свете, какая ты прекрасная. Прямо как настоящая. И пахнет из печи борщом. И на столе, прикрытый рушником, лежит пирог. И краюха ржаного. И два вареных яйца. Я отсюда, на сундуке лежа, все вижу.

Сундук настоящий. А жизнь ненастоящая. Разве ангелы плачут? Разве херувимов и серафимов кормят горячим борщом из деревянной ложки, и капли льются по подбородку, обжигают шею?

Руки двигаются — от миски к моему рту, ото рта к миске. Голос надо мной раздельно, по слогам, как в школе на диктанте, говорит на ломаном русском:

— Эсть. Надо эсть. Боржч, яйки. Млеко. Их бин нихт доктор. Абер я знай, неделья нет, надо эсть. Кутшать! — поправился. — Ку-сать.

Я повела глазами вбок и увидела, чуть выше и левее руки с миской борща, знакомую белобрысую башку, в веснушках лицо.

Рука поднялась сама, вне моей воли и моего разумения. Толкнула руку с миской. Миска полетела в угол хаты. Веселый звон. Красные пятна пролитого борща на плахах пола, на беленой стене печки. На военных портках солдата. Того самого, что убил меня.

— Прочь, — прохрипела я. — Ты мне снишься. Этого не может быть! Слышишь! Исчезни!

— Я связать ти руки, — терпеливо произнес белобрысый немец, наклонился и поднял миску. — Связать руки и нох айнмаль кормить. Ти неделья лежать онэ эда. Ти надо эда. Ферштейст?

Я плюнула ему в лицо.

Он терпеливо и брезгливо вытер мой плевок чистым носовым платком. Упрятал платок в карман кителя. Да это вовсе не солдат, а офицер. Офицер ихнего проклятого Третьего рейха. Он живет в этой хате? Убил хозяев и живет? Он не умеет варить борщ! Значит, тут люди!

— Эс ист рихтиг, — сказал мой палач печально и покорно. — Я тебе убивай, и ти я не... не...

— Не прощу, — жесткое слово смяло, изрезало мне губы.

— Не прощай, — подтвердил немец. — Голод? Эсть?

Желудок сводило. Я поняла его: я лежала тут неделю, видимо, в бреду, без лекарств, без еды. Он спас меня. Притащил сюда. Зачем?

— Зачем ты...

Я не могла говорить. Он все понял.

— Ти молодой. Я молодой. Молодой надо жить. Я сделай... — бил себя в грудь, корябал ногтями китель. — Шаде... цу шаде. Жале... жаль?.. йа, йа, жаль...

— Тебе стало жалко меня, — и опять слова полоснули по губам.

— Йа, жаль-ко. Я быть жалько. Зольдатен уйти, и я вернуцца... и... взять ти на рука... и геен. Мит тебе. Дорт. Унд вир зинд хир. Здэзь.

— Чья это хата? — Я бессильно отвернула лицо. Теплые слезы обильно смачивали щеки, наволочка уже вся пропиталась мокрой солью. — Чья? Вер лебт хир? Загст ду мир...

— О, ду шприхст дейч!

— Найн. Их шпрехе идиш. Их бин юдин, ду зист.

— Их зее. Я видеть, ти юдин.

— Вы повели на расстрел всех евреев Подола. Вы хотите истребить всех евреев на земле?

Он прекрасно понял, что я спросила. Медленно встал. Я подумала — он подойдет к кровати и меня задушит. Он постоял надо мной, выдохнул, как пьяный, и подошел к печке. Засунул руки в ее жерело. Вытащил чугун с борщом, поставил на стол. Ложкой начерпал в миску еще борща. Вытащил из кармана солдатский нож. Отрезал кусок ржаного. Держа в одной руке хлеб, в другой — миску, опять подошел ко мне. Сел на край кровати.

— Эсть, — как машина, как заведенный, повторил.

И слезы потекли по моим щекам еще быстрее.

Он кормил меня, я послушно ела, а он повторял тихо, мешая немецкие и русские слова:

— Ти красивий фройляйн. Ти молодой. Ти надо живи. Живи! Их бин сво-латч, их бин палятч, я просиль у твой прости. Прости! Прости!

Я видела, как страшно, дико кривится его лицо. Как он силится не заплакать.

И все же я видела, как он плачет.

И, глотая теплый борщ и слезы вперемешку, чувствуя на своих губах свекольный и мясной вкус, давя языком разваренную картошку и лук, давясь вареной морковью, ловя губами ржаные земляные, теплые куски, я шептала ему, немцу, врагу, убийце, злому ребенку, неделю назад расстрелявшему меня холодно и расчетливо, а ведь не рассчитал, ведь пустил пулю чуть правее и чуть пониже сердца, и аорту не задел, а пуля навылет прошла, повредив легкие, и теперь мне трудно дышать, говорить и плакать тоже трудно:

— Простила... Простила...

Круглые, карие, смоляные, черные, кипящие, пламенные.
Твои глаза. Ночные, яркие, яростные.
На смуглом нежном, гордом лице — глаза как два костра.
Горят; далеко видно.
Все ли видишь?
Да, все.
Все ли запомнишь?
Если не умру — запомню все и всем расскажу.
Кому — всем?
До кого — доживу.

[миша лиза и рыжий]

Меня по правде звали Мойше, это значит Моисей, но все на Подоле называли меня — Миша, и у меня были дедушка Ицхак, папа Рувим и мама Цыпа. Еще у меня были две сестренки и один братишка.

Почему были?

Потому что наступил один такой день, и всех согнали в одну большую кучу, и повели, и повезли. Всех увозили, увезли на большом грузовике и маму Цыпу, и папу Рувима, и дедушку, и сестренок, а братик так за меня цеплялся, как кот когтями, он не

хотел ехать на черном грузовике, но солдат в каске как пнет меня ногой! И мне стало очень больно, и я отлетел к стене и ушиб голову. И перестал видеть и слышать.

А когда снова стал видеть и слышать — увидел: меня тоже везут в грузовике, но почему-то все грузовики едут в одну сторону, много грузовиков, а наш один — в другую сторону едет.

В нашем грузовике было детей больше, чем взрослых. Я тут никого не знал. С нашей улицы тут никого не было.

Я уже однажды видел погром, нас всех тогда спрятала в подвале русская тетя Катерина Дорофеева, она около церкви жила. Мы все сидели в подвале и дрожали. В подвал доносился с улицы страшный долгий вой. Это кричали люди в еврейских домах.

Так я узнал о том, что я еврей.

Время от времени взрослые другие люди, русские и украинцы, нападают на евреев, жгут и разрушают их дома, а живых людей убивают.

Вот пришли немцы, и они тоже убивают евреев.

Что мы такое сделали миру, что нас все время убивают?

Я понимал — меня везли убивать, и я искусал себе все губы в кровь от страха. Я очень боялся и не хотел умирать. Я видел уже, как умирают, это, наверное, очень больно, люди корчатся, и извиваются, и выгибаются, и стонут, и закатывают глаза, и очень сильно плачут. Я однажды видел, как умирал наш кот Жулик. Мне его было очень жалко. У него задние лапки как-то странно подогнулись, а хвостик он подобрал под живот. И весь скорчился, будто мерз в сугробе. Смерть — это, наверное, очень холодно. Я брал Жулика на ручки, и прижимал его к груди, чтобы он согрелся, и прятал за пазуху. Все напрасно. У Жулика стали стекленеть глаза, и я это видел. А потом он дернулся два раза, очень сильно, и лапки у него вытянулись, как в судороге. И потом уже не двигался. И мама Цыпа подошла и вынула у меня Жулика из рук, а я его не пускал и плакал. А мама Цыпа приговаривала, гладила меня по голове: «Не плачь, Мойше, мы заведем другого кота! Вон у рыжей Агнешки с Андреевского спуска кошка скоро окотится, я котика возьму! Для тебя, только не плачь, мое солнышко!»

И целовала меня, просто засыпала поцелуями. Такая ласковая была у меня мама Цыпа. И очень красивая.

Где мама Цыпа сейчас? Я не знаю. Неужели она умерла?

Неужели умерли все мои родные?

Меня везли в грузовике, все в кузове тряслись и подпрыгивали, а рядом с грузовиком ехала немецкая тупоносая машина, и там, внутри машины, за стеклами, виднелись головы в касках — немцы ехали близко и за нами наблюдали. Может, следили, как бы кто не выпрыгнул из грузовика. Но это нельзя сделать на полном ходу, шею себе свернешь.

Те грузовики, где были мои папа, мама, дедушка, сестры и братик, скрылись из виду, а мы все тряслись, все ехали. Было так холодно, а нас выгнали на улицу из дома во всем домашнем, без пальто и шапок. Я корчился от холода и всовывал руки в рукава, чтобы согреться. Девочка сидела рядом со мной, она сказала мне тихо:

— Дать тебе шарфик? У меня с собой. В кармане.

Она вынула из кармана смешной, как будто кукольный, маленький вязаный шарфик и протянула мне. И я повязал его на шею, и вроде стало теплее.

Пошел снег с дождем. Мы из кузова увидели: нас привезли на вокзал. Я слышал, как громко и жалобно гудели паровозы. Я спросил девочку:

— Тебя как зовут? Меня Миша. А тебя?

— А меня Лиза.

У Лизы были серые глаза, а какие волосы, я не видел, у нее голова была платочком повязана. И нос курносый, смешной, ноздри видно.

— Нас на вокзал привезли. Значит, на поезде куда-то повезут, — сказала Лиза и поежилась.

Я посмотрел туда, куда она смотрела. Из кузова хорошо было видно перрон, и там стоял товарный поезд, вагоны открыты, и перед вагонами тьма народу, и немецкие солдаты заталкивают прикладами винтовок туда, в вагоны, людей. Крик стоит! В кузове дети заплакали громко. Черная машина остановилась. Из машины выскочил немец в черной форме. Наставил на нас пистолет. Крикнул:

— Парадок! Орднунг! Мальчать! Мальчать!

Мы все так громко орали, что не услышали выстрела.

Черный немец пальнул два раза.

Потому что двое перестали плакать, захлебнулись и упали на пол кузова. Два мальчика. Это были еврейские мальчики. Я понял это. Черненькие, кудрявые. Как я. Они могли быть моими братиками. Я закрыл лицо руками и заткнул пальцами уши, чтобы не видеть и не слышать, как меня убьют. Сейчас. Вот сейчас.

Лиза затрясла меня за плечо.

— Прыгай! Прыгай вниз! Они приказывают нам прыгать!

Я открыл глаза и увидел, что край кузова откинут, и люди прыгают, валятся, падают на землю. Мертвые мальчики, испачканные кровью, тихо лежали на досках кузова, как мертвые рыбы на дне кастрюли. Лиза крепко взяла меня за руку и подтащила к краю.

— Прыгай!

Было высоко, и я боялся. Я, честно, не помнил, как меня сюда, в кузов этот, закинули. Я ведь тогда сознание потерял.

— Боюсь! — крикнул я.

— Давай! — крикнула Лиза.

За другую руку меня схватил мальчишка. Рыжий-рыжий, как огонь. Евреи тоже бывают рыжие. Может, он был еврей. А может, не еврей. Я тогда не знал.

Рука у мальчишки была крепкая и злая.

Они вместе с Лизой прыгнули, потащили меня за собой, и я глупо так, тяжело, как куль с мякиной, свалился из грузовика на землю.

Черный немец завопил:

— Шнель! Шнель!

Это я понял. «Быстрей, быстрей».

Мы все сбились поближе друг к дружке и побежали к вокзалу. Туда, куда указывал рукой черный офицер.

Он был точно офицер, я у него на кителе разглядел кресты, а еще серебряных орлов. На рукаве у него была повязка с черным кривым крестом.

— Свастика, — выдохнула на бегу Лиза. Она не выпускала мою руку. И рыжий не выпускал. Они так и бежали, волоча меня за руки. — У них свастика.

— Что такое свастика? — выкрикнул я в ухо Лизе.

— Знак такой! — крикнула она в ответ.

— Хальт! — крикнул немец и для острастки, чтобы мы быстро остановились, пальнул в воздух.

Мы все замерли, тесно прижались друг к другу. Да, детей тут было гораздо больше, чем взрослых. Взрослых было только, кажется, четверо. Или пятеро. Две девушки, старый дядечка и еще вроде бы толстая женщина в ситцевом платье. Да, женщина была, точно помню. Она все время дрожала, растирала себе плечи и громко читала русские молитвы. Там были такие слова: живой в помощи Вышнего, кажется, так, да. Вышний — это ведь Бог, а Его имя нельзя произносить, так дедушка Ицхак все время говорил. Значит, и у русских тоже нельзя?

Так смешно она шептала, бормотала: не «живой», а «живый».

Мы все стояли огромной живой кучей на перроне, перед товарным поездом. Теперь такие поезда назывались — эшелоны.

— Цу ваген! Шнель!

Я заплакал. Дети, дрожа, лезли в вагон. Там, в вагоне, было темно и страшно. Я боялся туда залезать. И Лиза опять дернула меня за руку и прокричала:

— Давай! Миша, давай!

И они оба, вместе с Рыжим, подсадили меня, и я уцепился руками за какие-то железные скобы, и подтянулся, и ногу закинул, и втащил всего себя в вагон.

А Лиза и Рыжий ловко, как обезьяны, вскарабкались следом за мной.

А сзади нас лезли люди, напирали, утрамбовывали друг друга, и я задохнулся — так душно было в вагоне, совсем нельзя было дышать! Я ловил ртом воздух. Лиза расталкивала плечами и локтями локти, и животы, и колени, и спины. Она протискивалась к стене вагона. Я понял: там щели между досками, и можно будет дышать.

Мы с Рыжим протиснулись за ней. В темноте белели щели. Там, за досками, остался мир. Там я родился. Там остались мои мама, папа и все родные. Я посмотрел на Лизу. Я плакал.

И я увидел: она тоже плачет. И слизывает с губ слезы языком.

— Не плачь, — сказал я и потрогал ее за плечо.

Сзади на нас надавили, и меня прижали к Лизе крепко-крепко. Я налег животом на ее живот. И мне стало стыдно, так стыдно и неловко. Я стоял, плотно прижавшись к ней. И мне ничего не оставалось делать, как обхватить ее руками. Обнять.

И даже во тьме вагона я увидел, как Лиза покраснела.

— Я не нарочно, — прошептал я ей.

У нее из-под платка выбились волосы и щекотали мне подбородок. Я был выше ее ростом. На целую голову. Мои глаза привыкли к темноте, и я различал Лизины пухлые губы и курносый нос.

— Я не стесняюсь, нет. Зато нам будет тепло, — сказала она и сама крепко обняла меня.

Я прикоснулся щекой к ее щеке. Наши мокрые щеки слепились друг с другом.

А Рыжий стоял на коленях у самой вагонной стенки. Я обернулся и увидел: он закрыл лицо руками. И плечи у него тряслись.

Мы ехали в товарняке день, два, три. По малой и большой нужде мы ходили в дырку в полу вагона. Ее проделали взрослые. Спали, обняв крепко друг друга, мы втроем, рядышком: Лиза, Рыжий и я. Взрослые думали — мы братики и сестричка, я слышал, длинный дядька сказал с завистью:

— Им хорошо, семейство взяли, теперь не потеряются.

Мы не стали им объяснять, что мы чужие.

Мы уже были вроде как родные.

Товарняк шел и шел, и становилось все холоднее, и те взрослые, у кого была теплая одежда, укрывали ею детей. Еды не было. Дети плакали от голода. Однажды поезд остановился, и нас вывели. Ночь, темнота — глаз выколи, ветер сильный. Фонари горят. Тучи по небу несутся. Дети кричат: «Есть, есть! Дайте хлеба!» Немцы вопили: «Шнель, шнель!» — и толкали нас прикладами в плечи и спины.

Мы опять побежали гуртом, как овечье стадо. Я увидел впереди серые приземистые длинные дома. У них не горели окна. Значит, там никто не жил. Девочка, что бежала перед Лизой, споткнулась и упала, царапала землю, плакала очень громко. Солдат в каске подошел к девочке и выпустил в нее огонь из автомата. Девочка перестала плакать. Солдат отшвырнул ее ногой в грязь.

— Шнель!

Мы вбежали в черный квадрат. Это была открытая дверь. Высоко под потолком горела тусклая лампа. Мы увидели: к стенам прибиты длинные доски, вроде как лавки. А над лавками — еще лавки, как полки в поезде, в плацкартном вагоне. Это были нары. Я в первый раз увидел нары. На них я потом спал долго. Мне показалось — я всю жизнь на них спал.

Лиза крепче сжала мою руку. У нас уже руки вспотели, держаться друг за дружку.

Я оглянулся на Рыжего. В тусклом свете лампы я различил: он конопатый.

Я вспомнил, как русские дети пели шутливую песню: «Я люблю рыжóго Ваню, вместе с ним отправлюсь в баню». У Рыжего глаза бегали туда-сюда. Он кусал губы.

— Где это мы?

Голос у него стал хриплый и страшный, как у взрослого и пьяного.

Лиза молчала. И откуда-то сверху наклонилось чье-то чужое, страшное от горя, от ужаса лицо, и мне на лоб упала прядь чужих волос, и женский голос горячо выдохнул мне в затылок:

— Ребятки, дитятки мои коханые, ведь это ж лагерь, лагерь ведь же это фрицевский, гибель это. Нам теперь отсюда не выпутаться. Здесь нам всем и покончиться! Ох, божечки, божечки... ох, божечки... ох, миленькие вы мои... ох...

Чужая женщина обняла нас, всех троих, как мать. Как курица цыплят — крыльями, обняла. Рыжий уткнулся рыжей головой тетеньке под мышку. Он был меньше меня ростом, но повыше Лизы. Лиза из нас троих ростом была самая маленькая.

<...>

Глава седьмая. Отрадней камнем быть

[дневник ники]

20 мая 1942 года

Нас отправляли в Германию. Погружали в эшелон. Май, и Курск весь в цвету, сады цветут, и такой аромат! Мне только что исполнилось тринадцать лет. И я перешла из шестого класса в седьмой. Пришла повестка, явиться на вокзал во вторник, в пять вечера. И в повестке угроза: если не явитесь, придем к вам домой с собаками!

Собаки у немцев злые, страшные. Овчарка загрызла соседнего Толика. Мать Толика упала замертво, и ее не откачали. Их похоронили вместе.

Нас всех посадили в товарняк, в таких перевозили коров и телят. Столько людей затолкали в вагоны! Не вздохнуть. Ноги не вытянешь. Душно так, что люди теряли рассудок. Пока мы до Германии ехали — люди умирали, и их нам велели на ходу выбрасывать из вагонов. Мы плакали, отламывали доски от стенок вагона и вышвыривали трупы на насыпь. На полу в вагоне солома. В углу отхожее ведро вонючее. Вверху окошко за решеткой. В нем видно небо. Один раз в день нас кормят. Дают кусок хлеба, очень маленький, не наешься, и воду. Воду наливают в грязные миски. Мы чувствуем себя собаками. Собак мы в мирное время вкуснее кормили. А однажды дали в закопченном котелке свекольный суп. В нем плавали кусочки свеклы, ботва и черви.

Я устала от бомбежек! Я устала от раненых и убитых. Когда бомбили — во всех вагонах поднимались дикий плач и вой. А я молчала. Мне соседка Оксана шепчет: «Ника, давай под шумок убежим!» Дура она. Куда бежать? Всюду фрицы с овчарками и с автоматами. А потом думаю: побежим, пусть застрелят, и муки кончатся разом.

28 мая 1942 года

Привезли в Германию. По Германии ехали — высовывались из товарняка: поля ухоженные, деревеньки чистенькие, в каждой деревне кирха островерхая! Заставили выйти. Мертвые остались в вагонах. Мы жадно вдыхали свежий воздух. Нас всех остригли наголо и взяли отпечатки пальцев. Потом скомандовали: «Марш в вагоны!» И опять колеса застучали. Везут. Куда? Умирать? Или жить?

Станция. Велят нашему вагону: «Выходи!» Мы все столпились около станционного домика. Подошли люди. Немцы. Мужчины и женщины. Стали нас разглядывать. Щупали груди, плечи, волосы, заглядывали в рот и считали зубы. Я видела, как ощупали и обсмотрели Оксану и как немец заплатил толстому военному бумажную денежку, грубо дернул Оксану за руку и увел с собой.

Ко мне тоже подошли. Двое. Наверное, муж и жена. Хорошо, даже богато одеты. Худые, заносчивые, у женщины лошадиные зубы торчат из-под губы. С меня сорвали платок, и немецкая дама стала копошиться у меня в голове, и повторяла одно слово, и брезгливо плевала в сторону. Это она искала у меня вшей. Муж расплатился. Жена дала мне подзатыльник и крикнула визгливо: «Шнель, шнель!»

Они пошли, и я пошла за ними, они шли быстро, и я почти бежала.

11 июня 1942 года

Я теперь работаю у немецкого богатея. Он тычет себя толстым пальцем в толстую грудь и важно надувает щеки: «Я барон, барон! Ты служишь у барона! Гордись!» Я уже много чего понимаю по-немецки. У меня много работы. Я встаю в пять утра. Очень хочется спать, ужасно. Сначала ухаживаю за скотиной, задаю ей корм. Барон держит коров, лошадей, свиней, кур и индюшек. Потом варю детям еду и отдельно — хозяевам. Детей у барона трое. Они капризные. Младший мальчик все время бьет меня чем ни попадя, а иной раз швыряет в меня вещами. Однажды бросил в меня подсвечник и чуть не попал в висок, я увернулась в последний момент. Потом я — прачка. Каждый день — гора белья. Они каждый день надевают все чистое. И постели меняют через три дня. Требуют крахмалить простынки и наволочки. Ем я два раза в день в корыте вместе со свиньями. Так приказал барон. Свиней зовут Ирэна и Карла. Я встаю перед корытом на колени, опускаю лицо к корыту, плачу и ем руками свинячью баланду.

18 июля 1942 года

Моя работа у барона закончилась. Я сама виновата. Все-таки я жила дома. А теперь меня выгнали. Баронесса потеряла ожерелье и подумала, что это я его украла. Она била меня по щекам и два дня держала без еды в чулане. Потом вошла в чулан, выволокла меня за волосы в коридор и била плеткой. Барон долго на нее кричал, потом плюнул себе под ноги, потом мне в лицо. Я стерла плевок подолом юбки.

А назавтра меня отправили в немецкий лагерь. Здесь меня опять сфотографировали. Погнали в баню. В предбаннике сидел человек с иглой и банкой туши. Он накалывал всем на руке номера. Все протягивали руки ладонью вверх и морщились. Дошла очередь до меня. Я села перед человеком, он окунул иглу в краску и воткнул мне в запястье. И я крикнула: «Больно!» А когда все кончилось, отошла и глядела на номер. 63587. 63587. 63587.

Я сразу заучила его наизусть. Это теперь мое имя.

Нас всех одели в полосатые костюмы. Я думала, это пижамы, и в них спят. Нет. В них живут все время. В мороз и в жару. Туфли наши, сапоги, и чуни, и другую обувку забрали, я так думаю, сожгли. Взамен обуви дали нам деревянные башмаки. Они гремели по мостовой, когда мы шли на работу.

На рукав нам всем нашили буквы OST. Я спросила, что они означают. Мне ответили: «Восток». Ну, что все мы с востока.

14 октября 1942 года

Живем мы в бараках. Нас тут очень много. Я не считала, но рыжая Тася сказала: «Тыщи две, хиба так». Спать холодно. Печей тут нет. Сразу все начали болеть. Да еще как страшно! Бились в судорогах. Лежали, как бревна, бредили, в жару. Больные почти все умирают. Лечить нечем. По нас ползают вши и клопы. И нет никаких сил чесаться.

Сидим в холоде, во вшах, голодные. И вдруг гонят в баню. Кто-то шепчет: там не баня вовсе, там смерть. Но мы все равно идем — это приказ. Правда баня. Напускают пару. Перед нами тазы с водой. Жара страшная. Нас прожаривают, чтобы сдохли вши. Старухи не выдерживают и валятся замертво около тазов. Одна старая женщина так упала, а молодая села перед ней на корточки и как завопит, подняв голову к потолку: «Мама, не уходи, мама, не уходи!» Я вспомнила картинку из учебника анатомии, как делают искусственное дыхание. Легла на нее и надавливаю ей на грудь и дышу — рот в рот. Но я не смогла ее оживить.

А из соседнего барака людям сказали: пойдете в баню, — а сами отвели куда-то, никто не знал куда, и они больше в барак не вернулись.

10 ноября 1942 года

Маленький мальчонка из Винницы, Олекса, вышел из двери барака, поднял голову к небу и крикнул: «Хлибом пахне! Чуете чи ни!» Все побежали к двери. Запах такой сладкий. Будто тесто сдобное пекут. Смотрим, длинная труба, из нее валит черный дым. Это он так пахнет. А Олекса все кричит и пляшет: «Хлиб хтось для нас пече! Хлиб!»

Мы стояли и глядели в небо. И голос за нами раздался, хриплый и старый: «То мы горымо, люды».

Так мы узнали про печи крематория.

В тот вечер я не плакала. Сидела с сухими глазами. Говорила себе: это я, Ника Короленко, должна умереть и сгореть?! Никогда! Никогда этого не будет!

И кто-то шепчет сбоку, из-под локтя: «Это будет завтра. Это будет со всеми нами».

Я вытащила из-за пазухи кусок настоящего хлеба. В него на фрицевской кухне подмешали опилки, вату и костную муку. Я откусила от хлеба и вдруг подумала: костная мука — из наших костей. Меня чуть не вырвало.

2 декабря 1942 года

Половина нашего барака — дети. И еще немного женщин, молодых и стареньких.

Мы, дети, работаем по двенадцать часов в сутки, а то и больше. Как немцы захотят. Тех, кто постарше, гоняют на строительство водонапорной башни. Мы, кому от десяти до тринадцати, работаем на заводе. Бежим на завод — деревянные башмаки клацают по булыжникам!

А вчера нас на телегах отвезли в госпиталь. Здесь как в раю. Тепло, белый кафель. Нас искупали в настоящих ваннах! С настоящим шампунем, немецким! Он так пахнет, фиалками! Медсестры нас терли настоящими мочалками и губками! Потом сказали, и нам перевели на русский: вы будете в госпитале неделю, вас будут кормить, и поить, и мыть, вы будете отдыхать и спать сколько угодно! Мы не поверили. Маленький Вальдусь закричал: «То не повинно бычь!» Я закрыла ему рот рукой.

9 декабря 1942 года

Сегодня последний день недели в госпитале. У нас брали кровь из вены. Очень много крови. Многие падали в обморок. Голова у меня кружилась. Темная кровь лилась в шприц. Лицо у медсестры было такое каменное, деревянное, как мои башмаки. Я тихо спросила: «Зачем вы берете у нас кровь?» Медсестра отчеканила: «Фюр унзере зольдатен». Я все поняла. И мы обе молчали. Потом она сунула мне ватку со спиртом, я зажала ее локтем и пошла в палату.

А вечером нас созвали в большую белую залу. Каждого заставляли лечь на кушетку, покрытую резиной. Мы ложились на живот, и подходил мужчина в белом халате и прижимал всем к правой лопатке железный кружок, и все орали как резаные. Вставали с кушетки, отходили, и все видели: под лопаткой клеймо. Его ставили раскаленной железной печатью. Клеймо в виде двух слившихся колец. Я легла на голый живот, на холодную резину. Ждала. Очень боялась. Шептала себе: я не закричу, ни за что не закричу, как другие! Когда раскаленное железо коснулось лопатки, я раскрыла рот, но не слышала своего крика. Так громко кричала я, что на миг оглохла.

10 декабря 1942 года

Сегодня нас отправили обратно в лагерь. Снова нары, солома, клопы и вши.

Я попыталась уснуть, но проснулась от ужасного зуда. Насекомые заползли мне под лопатку, в мою рану. Я встала с нар. Сняла полосатую робу. Поглядела: на спине кровавый кружок. Я уткнула лицо в робу и зарыдала без слез. Они все уже давно вытекли.

[юрий горький зима 1944]

Он это хорошо придумал, с досками.

Он и дяде Петру так сказал: давай, мол, так сделаем, мол, так и так, — а дядя Петр сначала взъерошился, и обругал его по матушке, и плюнул, и дал ему подзатыльник, не больно, а потом опустил голову, подумал минуту и согласился.

И они так и сделали.

Баржу с досками капитан и штурман довели до пристаней, до девятого причала. Пришвартовались. Дядя Петр и Юрка сидели в трюме. Слушали, как баржа трясется, как работает горячий двигатель.

Юрка держался за доски, в пальцах торчали занозы, они раздулись, покраснели, как морковки. Дядя Петр курил махорку. Юрка задыхался от дыма. Он, трехлетка, тоже пробовал курить. У пацанов чинарик попросил. Они дали и громко хохотали. Юрку вытошнило на грязный снег.

Тьма налезала справа и слева, наглухо задраенный трюм давил железным потолком, стальные клепки вспыхивали ледяными звездами, когда дядя Петр подносил козью ножку ко рту. Юркина мать жила в Иванькове. на войну ее не взяли: Юркой брюхатая ходила. «Ты, малек, мать-то от верной смерти спас», — медленно и тяжело говорил дядя Петр, поднимая вверх черную толстую ветку заскорузлого пальца.

Что такое смерть, Юрка уже знал. На его глазах умирали коровы и козы; при нем Галина забивала свинью и поросенка, чтобы не отдать их в колхоз; и сам он убивал — из рогатки сбивал влет воробьев и синиц. Однажды так он убил красивого, с розовой грудкой, снегиря. Сел перед птицей на корточки и стыдно заплакал, размазывал слезы по щекам кулаком. Подошла мать, погладила по голове. Смолчала. Она не тратила на Юрку много слов.

И как умирают люди, Юрка тоже видел: двухлеткой стоял он у гроба иваньковского дурачка Зюзи — он повесился на гвозде на сеновале, — потом глядел, как в

красный, с нелепым черным бантом, гроб кладут бабушку: живая, она была пугающе большая, грузная — валун на берегу Суры, а умерла — и враз ссохлась вся, и сжалась в комок, и задеревенела. Еле ей руки мертвые разогнули, чтобы в гроб уложить. Юрка стоял около алого костра гроба и вспомнил, как бабка ударила его по щеке — за то, что сахар из буфета своровал.

А ему так сладкого хотелось.

Бабка умирала — кого-то пальцами на одеяле старательно давила. Незримых мирных мошек, а может, злобных пауков. И мать шептала: «Обирается, обирается уже, скоро, скоро». А Юрка слышал: собирается, собирается. Ну вроде в лес по грибы.

А в эту зиму Юрку отвезли к дяде Петру в Горький.

Потому что в городе, мать сказала, еда лучше. А в Иванькове лепешки из лебеды ели.

И это так здорово Юрка придумал: залить доски водой, они на морозе и примерзнут к железному полу трюма. А ночью можно заявиться на причал, проползти на баржу и их отодрать.

«Ты сообразительный, даром что малец», — бросил ему дядя Петр, поплевав на пальцы и загасив козью ножку. «Мне уже четыре скоро», — обиделся Юрка.

Он уже умел считать до десяти.

Воровато залили доски водой из пожарного красного ведра. Пока до Горького от Кадниц плыли — доски к полу и вправду примерзли. Декабрь, а Волга не встала, и баржи ходят, и катера. Но уже забереги, и шуга плывет вдоль берегов.

Дядя Петр наклонился и попытался отодрать от железяки доску. Она не поддавалась. Потом с хряском, будто разорвали живое, отошла. Дядя Петр держал ее в руках и смеялся. У него во рту недоставало многих зубов.

А Юрка бил в ладоши, чтобы согреться.

Вместе с мужиками они вытаскивали доски из трюма и носили на грузовики — помогали. Бригадир выдал дяде Петру мятые рубли. Дядя Петр, не считая, жадно и быстро затолкал их в карман фуфайки. Облизнулся, как пес. Грузчики сунулись напоследок в трюм — увидали пристывшие к полу доски: «Э! Отдирать! Корячиться?! Да шут с ними! Завтра! Крюки приволокем...» Утопали прочь, по трапам, по мосткам, по дебаркадеру гремя черными сапогами, громоздкими страшными башмаками. Дядя Петр с Юркой переждали на дебаркадере, схоронившись за беленой деревянной колонной. Землю и воду залили синие сумерки, потом деготь ночи. На другом берегу вспыхивали огни. Мужчина и мальчик осторожно пробрались в трюм и, грея руки дыханием, стали отдирать друг от дружки черные, длинные, короткие, сухие, сырые, колючие, живые, мертвые, обледенелые доски.

Потом вытаскивали их на берег. Юрка тащил на спине, дядя Петр — под мышками. На берегу их ждали длинные салазки. Маленький и большой привязали доски к салазкам, взялись за ремни, деревянные хвосты досок волочились по снегу, как хвосты старых щук.

Они, в ночи, везли на салазках домой доски и старались побыстрее отъехать от пристани: а вдруг заметят, изловят, сразу тюрьма дяде Петру, так он приговаривал, шептал беззубо.

Доски — это жизнь.

Тепло. Огонь. Еда.

Дома дядя Петр сразу растопил печь. В печи — щели, и в них просачивается дым, и щекочет ноздри, и внутри щекочет, там, где кишки. Кишки хотят есть. Юрка знает: внутри у человека кишки, и их все время надо кормить. А если долго кишкам жрать не давать — сдохнешь с голоду.

Печь разгорелась. Сырые доски оглушительно трещали, и Юрка вскакивал с табурета и зажимал уши.

— Ах ты, Гитлер, поганец, — выкряхтел дядя Петр, заворачивая самокрутку из газеты «Горьковская правда» и насыпая в нее пахучую, как прополис, махру, — ах ты, сволочуга этакий, козлище ты вонючий. Сколько народу сгубил. Сколько деток, — он выбросил сожженную березовую ветку толстого пальца в Юрку, — сиротами, — оставил...

Юрка уже знал, кто такой сирота.

— А разве я сирота?

Круглыми голодными глазами глядел на дядю Петра.

— Ты-то?

Оба молчали и слушали, как тикают часы.

— Ты... пока еще... нет, — дядя Петр поворошил весело полыхающие поленья ржавой кочергой. — Еще похоронка не пришла. Но придет, погоди. — Дядя Петр говорил о смерти обыденно и тихо, как о том, что сейчас они будут печь картошку, а это очень вкусно, особенно с солью. — Еще... придет...

Опять молчали и ждали, пока дрова прогорят.

Дядя Петр одной рукой курил, другой всовывал в печь картофельные кругляши. Один... второй... третий... Они торчали из золы, круглые, голые, мрачные. Головы картофельных детей. Юрка следил внимательно. Еще немножко потерпеть. Он вытер ладонью со рта голодные слюни. Соль лежала на столе в синей спичечной коробке. Юрка, ковыляя, сбегал к столу и принес коробку к печке. Дядя Петр сидел на маленькой скамеечке перед печью и тихо пел:

— Солнце всходит и заходит... а в тюрьме моей темно-о-о!.. Дни и ночи часовые... стерегут... мое окно-о-о-о...

Юрка глядел, как синими огнями вспыхивают угли. Еще нельзя заслонку закрывать: если закроешь — угоришь. Ну, умрешь, значит. Он видел угорелых: синие, распухшие, будто раками покусанные.

— К матке твоей хахель вот подкатывается, она сказывала. Сулит еду... деньги сует... тьфу!.. Держится пока баба. Держится... Доколь продержится? А ежели не удержится — так ведь и не скажет. Иван если вернется — все одно вусмерть изобьет... э-э-э-эх...

Юрка не слушал, не слышал: в печь неотрывно смотрел.

Наконец настал миг. Дядя Петр щепочкой выкатил из печки черные картофелины на жестяную подставку. Они ссыпались на жесть со стуком, а одна разломилась, проглянула желтая мякоть. Дядя Петр осторожно брал картошку, клал себе на колени, на расстеленную газету, и медленно, любовно очищал черными ногтями. Юрка глядел, как заколдованный. Неотрывно. Он слышал, как билось в груди его сердце, но не знал, что это сердце; а думал: в него влетел голубь, тот, что приснился ему сегодня ночью.

Ему часто снились птицы. Белые голуби. Они сидели у него на руках, на голове, на плечах, ворковали ему в уши. Он во сне брал голубей за белые грудки, за лапки и подбрасывал высоко в воздух. Они летали, порхали вокруг него, а он смеялся.

— Дядь Петр, дай кортошечки, — шепотом попросил Юрка, протянул голую замызганную лапку и сам себе показался грязным белым голубем. В баньку бы сейчас. Мать дома, в деревне, мыла его в баньке синим стиральным мылом и терла липовой мочалкой, и кожа становилась красная, как флаг. А здесь, в Горьком, дядя Петр водит его в мужскую баню. Там стоят рядком и молча моются голые мужики, окунают длинные мочала в серые тазы, и у мужиков волосы на груди и на животе — у кого кудрявые, у кого седые. А у иных пузо на нос лезет, будто они тяжелые бабы.

— На. Ешь. Посоли.

Дядя Петр медленно протянул Юрке очищенную картошку. Юрка послушно взял, картошка обожгла ему пригоршню, но он не выпустил ее. Дуя, поднес ко рту и сразу укусил. Без соли. Без хлеба.

Хлеба надо было дождаться.

Дожить до утра.

До темной, снежной, хрусткой, тоскливой, угрюмой очереди в булочную. С номерами на ладонях. С горящими глазами старух: скоро ли откроют ставни? Маленький и большой мужчины будут на снегу топтаться в валенках, а когда дойдет их очередь — дядя Петр вытолкнет Юрку вперед и закричит: «Нам на двоих! На двоих!»

И им дадут хлеба на двоих.

А к вечеру его опять не станет. Кончится.

Юрка дул на картошку и ел, дул и ел.

— Еще!

— Держи.

В углу стояли оттаявшие доски с баржи. «Это ведь мы украли», — подумал Юрка, но не устыдился, а обрадовался. Они с теплом будут жить дней пять-шесть, а может, и с неделю. А потом дядя Петр пойдет добывать топливо. Юрку с собой не возьмет.

[двойра ее сын и лилиана]

Я отлежалась, Гадюка всунула мне в руки белую гусеницу, моего туго спеленатого сына, и сказала жестко:

— Я тебя не собираюсь тут держать. Ступай в барак. Не бойся. Тебя не расстреляют. Я прикажу, чтобы тебя кормили лучше, чем остальных.

Горничная Марыся смотрела на меня и на моего ребенка исподлобья. В ее глазах светились восхищение и боязнь: в бараке холодно, в бараке вши, каково там будет маленькому!

Я не думала тогда ни о вшах, ни о морозе, ни о голоде. Мой ребенок лежал у меня на руках. Наш ребенок, Гюнтер. А я не знала, где ты. И ты не знал, что у нас родился ребенок. Я побрела в барак, еле переставляя ноги. Все болело у меня внутри. Мой сын просил есть, разевал рот, уже не кричал, как при рождении, а покряхтывал смешно и жалобно. И я на ходу, пока шла, на лютом ветру, раскуталась, выпростала из-под робы грудь и дала ему. Он уцепил сосок деснами и затих.

И солдаты в страшных касках видели это и не остановили меня, не насмеялись надо мной. Они глядели мимо меня. Глядели и не видели. Ведь я шла из медпункта, от самой Гадюки, а Гадюку все тут побаивались. Даже комендант лагеря. Я видела, как при встрече с Гадюкой комендант вытягивал спину и шею, как гусь: подбирался весь, старался впечатление произвести, я же понимала.

Я пришла в барак, и женщины кинулись ко мне, обнимали, заглядывали в лицо маленькому, ощупывали его — это правда! Он родился! Он родился здесь, в лагере, в аду! Человек! Живой! Я гордилась. Я забыла о завтрашнем дне. Забыла о смерти, что опутывала нас проволокой под током. Я села на нары и кормила грудью сына, и женщины, кто стоя, кто сидя, кто бессильно лежа на нарах, наблюдали за мной, как за чудом.

В их глазах горели разом восторг, зависть, потрясение, умиление, боль.

Я чувствовала себя живым чудом, и счастье распирало меня.

Я им никому не сказала, что у меня ребенок от немца. Они все меня тогда бы уж точно убили, растерзали, я бы и пикнуть не успела. Я радовалась, что никто не

спрашивает, кто отец ребенка и где он. Радовалась рано. Одна все-таки спросила — хохлушка, наша, из Полтавы, Ганнуся ее звали. Волосы гладкие, блестящие, вороново крыло, пучочек сзади. Она подошла ко мне, тронула пальцем моего сына за щеку и пробормотала: а хто у хлопчика тато? Иде ж вин е? И я покраснела, низко наклонила лицо, чтобы Ганнуся моего красного стыда не увидела, и тихо сказала: «Воюет». Та хиба так, дывысь, жидененок — и на фронте! У Ганнуси сморщились лоб, нос, рот в обидном смехе. Тогда я встала с нар и отчеканила уже зло: заткнись, откуда тебе знать, еврей он, русский или кто другой. И крикнула еще раз: заткнись!

И она заткнулась, дрянь такая.

На работу меня все равно гоняли. Я просила дать мне передышку — сбегать в барак, покормить ребенка. Он там лежал один, без присмотра. Потому что все женщины и дети были на работах. С моим сыном оставался только безумный мальчик Стась, поляк. Со Стасем что-то такое нехорошее сделали здесь, в лагере, женщины говорили: в медпункт брали, там долго держали, по слухам, уколы неизвестные ставили ему. Когда выпустили, он ползал по земле на четвереньках, как зверь, мычал и хлебал из миски на полу, как собачка. Хотя ему было восемь лет, и он еще до войны пошел в школу и хорошо говорил и даже писал. Так сказала Зофья Осецка, полька, его соседка. Их вместе взяли с окраины Седльце.

Стась хорошо слушался приказов. Скажешь ему: сидеть! — он сидит. Ждет, как пес. Скажешь: пить! — и он лакает из миски. Прикажешь: сторожи! — будет сторожить. Я рыдала взахлеб, первое время на него глядя. Потом привыкла.

И оставляла моего сыночка под присмотром безумного Стася на весь день.

Я понимала — ребенок может изголодаться, изойти криком и умереть. Я все это очень хорошо понимала. Но у меня не было другого выхода. Лагерь — это не курорт. Никто не приготовил мне тут ни отдельного барака, никаких поблажек. Я была молодая и сильная, и я должна была работать на процветание Третьего рейха.

Когда нас отпускали, я бежала в барак как оголтелая. Бежала однажды так быстро, что язык прикусила и потом плевалась кровью. Сынок мой лежал чаще всего смирно. Спал. Безумный Стась по моему приказу давал ему пососать корку хлеба, завернутую в тряпочку. Хлеб раздобыли на лагерной кухне. Послали Лизочку подольститься к поварихе: дай да дай! Ну она и дала. Кроху, кусочек, корку горелую. Я эту корку разжевала, слюной размочила, в тряпку завернула, и так получилась отличная соска.

А иногда мальчик орал. Выгибался и орал. Он очень хотел есть. Я еле успевала расстегнуть робу. Однажды так торопилась, что все пуговицы оторвала. Ганнуся шипела: плевать, корми, я тебе потом пришью, у меня есть иголка и нитка есть. И смеялась, гнилые зубы показывая.

Нет, вру. Были, были у меня поблажки. Целых две.

Всем баланду наливали пустую, если свекольный хвост плавал, и то спасибо, а у меня в миске плавали кусок требухи и настоящая картофелина — вместо картофельных очисток, как у всех. И, о чудо, раз в день мне швыряли с машины, что развозила по баракам еду, кусок хлеба. Я его не ела — все так же делала для мальчика моего хлебную соску.

А вторая поблажка была еще большим чудом. Меня перестали вызывать на перекличку по утрам.

И я знала: это распорядилась Гадюка.

И я молилась за моих родителей и все семейство, погибшее в Великом Овраге, а еще за живых: Лизочку, Никиту, Мишеньку, Гюнтера и Гадюку. Вот сколько у меня теперь было родни.

А еще я молилась Богу Ягве за всех, кто со мной в лагере смерти был. И за живых и за мертвых. Я уже не делала разницы между мертвыми и живыми.

Я не запомнила этот день.

Это был обычный день, похожий на другие дни здесь. Ничего особенного.

Нет, что-то я все же почувствовала. Я бы не могла сказать что.

Что-то в воздухе. Он обволакивал меня нежнее, чем обычно, когда нас погнали на работу.

И почему-то освободили от работы раньше. Может, сегодня у немцев праздник?

Я уже видела немецкие праздники в лагере. Они вывешивали везде портреты своего фюрера и салютовали ему, кричали: «Хайль!» И даже плясали под портретами и под флагами со свастикой. Флаги были красные, как наши, советские, а на ткани белый круг, в нем черная свастика. Паучьи ноги свастики бежали куда-то, это черный страшный жук насмешливо перебирает лапками, бежит быстро, быстрее, еще быстрее.

Из построек, где жило лагерное начальство, пахло вкусным, сладким: может, тортами, а может, немецкими пирогами — они назывались «кухен», такие пироги пекла на Подоле наша соседка Фрида, она в Германии до войны долго жила и научилась по-немецки стряпать. Из репродукторов гремела бравурная музыка. Я не знала этих маршей. Иногда заводили Вагнера, Вагнера я знала, «Полет валькирий» или увертюру к «Парсифалю». Иной раз — Бетховена, Пятую симфонию или «Оду к радости» из Девятой симфонии. Я такую музыку дома до войны слушала на пластинках. На патефоне. Папа заводил патефон. Крутил пластинки. Он любил классическую музыку. Блаженно закрывал глаза, когда ее слушал.

Папа, ты закрыл глаза. Ты закрыл глаза. Ты там, на дне Великого Оврага.

Я таскала бревна, возила тачки, я очень завидовала тем мужчинам, что пошли под надзором солдат пилить деревья для стройки: в лесу можно было убежать, бросить пилу, топор и продираться сквозь кусты, да, тебя могли убить, ну, а вдруг получилось бы? И я жалела, что я не мужчина.

Когда крикнули: «Отбой! По баракам!» — все мы удивились: что так рано отпускают?

Плечистая немка, напарница Гадюки, зычно крикнула:

— Помывка сегодня! Баня!

И мы сжались все. Все стали не люди, а комки плоти, костей, кожи.

Все уже знали, что такое баня.

Правда, находились среди нас и такие, кто еще свято верил в то, что это настоящая баня. Они спрашивали нас: а правда, там мыло дают? Настоящее, немецкое, пахучее? А правда, там полотенца дают? А там горячая вода или только холодная?

Мы молчали. Мы смотрели на тех, кто спрашивает, пустыми глазами. Нам нечего было им ответить.

Я впервые не бежала в барак, а шла медленно, еле ноги волокла.

Дошла когда-нибудь. Втекла в дверь. Это вошла в барак не я, а моя тень. То, что когда-то было мной. Безумный Стась держал моего мальчика на руках. Качал. Баюкал. Увидел меня и протянул его мне. Из углов рта у Стася текла слюна, как у бешеного кота. Я утерла ему слюни рукавом робы.

Лизочка прижалась к моим ногам, обхватила мои колени руками и спросила нежно, тоненько:

— Двойрочка, почему ты такая грустная? Сегодня же в баню! Мыться будем!

Она тоже не знала, что такое баня.

Я одной рукой держала сына, другой обняла Лизу за плечи. Как мне сказать им об этом?

А сказать надо. Надо!

Я ниже, еще ниже наклонилась к моей названой доченьке и тихо, еле слышно сказала:

— Слушай сюда, Лиза. Это не баня. Это смерть. Там гибель нам всем. Смерть. Поняла?

Она еле кивнула головой. Застыла.

— Когда нас всех поведут... туда, ты знаешь что? Ты возьми Никиту и Мишу за руки, и вы скажите надзирателям, что вы хотите по-маленькому. Зайдите за угол барака, где... печь. И бегите, бегите! Бегите!

— Куда, Двойрочка?

Я не знала. Не знала, что ей сказать!

— Бегите... в медпункт... там... Гадюка... и Марыся... вы им киньтесь в ножки... они помогут. Помогут!

— Помогут?

Я видела — она не верила.

— Помогут! Я сама... ее попрошу! Я...

Я поняла, что мне надо делать.

Быстрей. Пока время идет и течет. Пока они сами собираются, готовятся, пока всех собирают. Туда поведут строем. Надо успеть до того, как всех строить начнут и шеренга потянется. Надо успеть.

Я вскочила с нар. Лиза глядела круглыми глазами: так глядит кошка, когда ее напугают. Миша и Никита сидели на нарах, болтали ногами. Безумный Стась мычал. Я крепче прижала к себе ребенка и выбежала из барака, выметнулась пулей, седой метелью.

Летела по лагерю, и меня не останавливали крики надзирателей, ругань солдат. Часовой выстрелил с вышки, пули взбили пыль под моими ногами. Я бежала, и пули свистели над моим ухом, над моей головой. Косы развились, летели по ветру за мной. Ветер в ушах свистел. Солдат стрелял в меня. Он охотился на меня. Я была дичь.

«На мне волшебный пояс», — подумала я и на бегу улыбнулась, как сумасшедшая.

Пыль, горячая пыль под ногами. Тяжесть ребенка. Его тепло. Перед глазами качалась, пьяно танцевала дверь медпункта. Пули опять взрыли землю передо мной и сзади меня. Я была неуязвима. Сейчас, только сейчас мне надо быть неуязвимой. Потом делайте со мной, что хотите.

Я рванула на себя дверь медпункта. Чуть не сбила с ног Марысю. Марыся, в новом черном платьице с кружевным воротничком, в чистом белом передничке, сделала мне заученный книксен. Я огляделась. Я задыхалась. Ребенок на моих руках задвигался, заплакал.

— Где Гадюка?! — бешено крикнула я.

Марыся прижала ладошку ко рту.

— Фрау Николе...

Каблучки процокали по кафельным плиткам. Цок-цок.

Она вышла навстречу мне не в военной форме, как обычно. Не в сапогах на каблуках. В изящных туфельках, наверное, иностранных. В атласном черном халате, расшитом шелковыми огромными хризантемами. Халатик распахнулся на груди, виднелись кружева исподней сорочки. Шелковые чулки. Нитка жемчуга на шее. Глаза подведены к вискам. Как актриса из фильма. Из довоенного фильма. Я затаила дыхание от восторга. Я забыла даже, что через час мне идти на смерть.

— Что тебе надо? — спросила она по-немецки.

Я по-немецки ей ответила:

— Ничего.

И я протянула ей моего ребенка.

Опять мы глядели друг на друга, как тогда, когда я была пятая перед строем. Она все поняла. Тоже протянула руки.

И я отдала ей моего ребенка, моего сына, сыночка моего.

Молча отдала. И она молча приняла.

Теперь она держала его на руках. А я стояла перед ней растерянно и смотрела на нее, умоляла ее глазами — о чем? О том, чтобы она не дала на растерзание этого маленького, родного моего младенчика? Чтобы — растила, воспитала? Я не знала, что говорить. У меня горло захлестнуло, забило будто колотым льдом. Я чуть не задохнулась. Махнула рукой.

— Как мне его звать?

Опять по-немецки спрашивала.

Я тяжело дышала.

— Я не знаю.

— Ну вот. Мать, а не знаешь. И никак до сих пор не называла? Дура.

— Зовите как хотите.

Я почувствовала: еще немного, и я разревусь на ее глазах. Плакать на глазах Гадюки? Ну уж нет. Никогда. Я сжала кулаки. Она глядела на мои кулаки. Отпрянула. Может, думала: я ударю. Я усмехнулась. Повернулась и выбежала.

Когда я бежала к двери, я поймала взгляд маленькой горничной, Марыси. Марыся мяла в руках, теребила фартук. Слезно, слюдяно блестели ее серые, как дождливое небо, глаза. Она тоже поняла, почему я отдала Гадюке ребенка.

Я бежала в барак, а навстречу мне уже шли, шли женщины, шли дети, медленно и послушно шли, все шли и шли, и я присоединилась к ним, я встала в строй. Зачем? Не лучше ли было закричать: «Ненавижу!» — и броситься грудью на солдат, на колючую проволоку под током?

Почему люди не сопротивляются? Почему покорно дают, как овцы, убить себя?

В баню, мы идем в баню, послушными губами повторяли люди. К цепочке женщин примкнули мужчины. Теперь мы все, люди разных стран, шли в баню. Кто в полосатых пижамах, кто в синих робах, кто в серых мышиных халатах — и у каждого черный номер на запястье, и у каждого — такой же номер, нашивка, на груди. Я тоже шла под номером. Неужели мой ребенок тоже будет заключенным? Под номером? И его тоже будут гонять на работу, возить тяжелые тачки? И он будет тянуть пустую миску, чтобы в нее влили половник жидкой баланды?

«Война не будет идти вечно, — шептала я себе. — Люди что-нибудь придумают. А пока они думают, мы умрем. Но люди не смогут думать побыстрее. Они не успеют».

Люди, люди. Не овцы, не коровы, не собаки; не деревянные болванки. Живые люди. А может, нас и правда ведут в баню? И сейчас мы помоемся всласть, потремся мочалками, намылимся душистым мылом? Вода, влага. Мы смоем с себя все. Весь ужас. Весь страх. Ну неужели же немцы не люди, пусть дадут нам помыться хоть перед смертью!

Нас всех загнали в длинный барак. Кафельные стены. Белый кафель, и правда как в бане. Женщины слабо улыбались. Они на миг поверили. Дети даже развеселились. Один мальчик закричал:

— Тети, тети! Тут хорошо! Так светло!

Белый кафель будто светился изнутри. Белый лед. Белые простыни. Белые облака.

— Раздеваться! — раздалась команда.

Углоплечая немка рубанула рукой воздух. Мы стали раздеваться быстро, спешили, как на пожар. Надзирательша раздавала всем куски мыла. Немецкое мыло, на нем по-немецки что-то написано. В свете ярких плафонов под потолком барака я прочитала оттиснутую на мыле надпись: «KINDERGARTEN». Детский сад. Мы в бане. Мы в детском саду. Мы наивно верим и глупо улыбаемся. Мы все дети.

Дети! Мои дети!

Я оглядывалась. Я глазами искала моих детишек. Лизочку, Мишеньку и Никиту. Где они? Не было их. Не было! Толпа медленно, стыдливо раздевалась. Дети стаскивали с себя лагерную одежонку, краснели, отворачивались. Девочки закрывали ладошками груди, которых не было, и животики, которые никогда не выносят ребенка. Я плакала, наклонившись над куском мыла у себя в руках. Поднесла его ближе к лицу. Понюхала. Оно неистово, дико пахло ландышем. Пьяным ландышем в весеннем лесу.

Все стояли голые. Переступали с ноги на ногу. Я поразилась, какого разного цвета у всех были тела. Женщины то розовые, то смуглые, то синие и худые, то желтые. Странно, при скудной кормежке кое-кто и толстым был. Дети все жались друг к дружке, худые, тощие, ребра их выпирали из-под кожи, как великанские расчески. Огромные лбы, вздутые животы, а ручки и ножки тонкие, как спички. Неужели мой ребенок станет вот точно такой?

Я глотала слезы. Они не выходили наружу. Втекали внутрь меня. Медленно, с противным лязгом и стальным визгом, раскрылись тяжелые серые двери с глазками. Зачем тут глазки, подумала я, зачем?

— Войти! Быстро!

Мы подчинились команде. Мы все, толпой входили в эти двери, и вот все вошли, и так же медленно, визжа и лязгая, двери за нами закрылись.

В бане не было окон. В бане под потолком тускло светили маленькие лампы. В стенах зияли дыры. И в потолке тоже. «Это душ! Душ!» — крикнул высокий, радостный и отчаянный женский голос. И дети подхватили, залопотали: душ, душ! Я стояла неподвижно. Сжимала мыло в руке. Раздалось шипение, странное, змеиное шипение. Внезапно стало трудно дышать. Я видела, как рядом со мной садятся на пол женщины. Как падают на кафельный пол дети, падают замертво. Я хотела крикнуть женщинам и детям: зачем вы валитесь на пол, стойте! — как в голове у меня помутилось, а в груди стало не хватать воздуха, и я ловила его губами. Потом стала ловить его выпученными глазами. Потом — пальцами. Сев на пол, я скребла пальцами гладкий, как лед, белый кафель, я пыталась выскрести воздух из-под гладких плиток, хоть чуточку, хоть каплю. Глаза вылезали из орбит. Я еще видела, как синеют губы у Ганнуси. Она упала на пол рядом со мной. Грудь ее поднималась часто-часто, потом она выгнулась на полу в судороге, потом ее стало рвать. И к моему горлу подкатила рвота. Я скрючилась на полу, напряглась, и из меня наружу вышло все, что я любила и помнила. Я вытолкнула из себя всю боль. Всю жизнь.

Не надо жить, если так уже плохо и больно.

Пока текли, вспыхивали под черепом последние мысли, я еще запоминала их. Я подумала так: как хорошо, что здесь нет Лизы, Никиты и Мишеньки, они убежали, как счастливо.

А еще я подумала, выталкивая с последней рвотой последние шматки жизни: как хорошо, Гюнтер, что ты у меня был, и что я не зря жила на свете, и что я родила сына. И жаль, Боже, всесильный Ягве, как жаль, до слез жаль, до ужаса, до рвоты, до судорог жаль, что я никак, никак, никак не назвала его. Я сейчас назову тебя, радость моя, родной мой. Я даю тебе имя. Я... нарекаю тебя...

Ее так и выволокли из газовой камеры — голую, синюю, худую, как скелет, с куском ландышевого мыла, намертво зажатом в кулаке. Вместе с другими трупами сгрузили в тачки, и эти тачки другие заключенные молча возили к вечно дымящему крематорию. И поднимался к небу жирный черный дым. Черный столб стоял в сером небе, уходил в мякоть бешеных туч. Уходили в небо люди, узнавшие любовь, и дети, не узнавшие любви.

А Лизочка, Миша и Никита убежали. Лиза сделала все так, как говорила им Двойра. Они захныкали, запросились пописать, забежали за угол, присели — а потом вскочили и что было сил побежали к медпункту. Забарабанили в дверь. На них прикрикнул надсмотрщик: куда вы! прочь! стрелять буду! — и выстрелил в серое небо, но уже горничная Марыся отворяла дверь и, увидев перед собой трех детей, присела не в книксене — а потому, что колени ослабели: она поняла, куда их вели и почему они здесь. Война и взрослым, и детям давала дар понимания сразу. Такая уж была война.

Никита спрятался Марысе под фартук, когда в коридор вышла Гадюка. Гадюка спала тут же, в медпункте; у нее была прилично обставлена маленькая каморка: комод, круглый стол, высокая кровать с периной, шелковые гардины. Она любила уют. Близость смерти, делание смерти своими руками придавали уюту особую сладость.

— Кто это? Что это? — спросила Гадюка Марысю по-русски.

Марыся по-немецки ответила:

— Это дети, моя госпожа.

— Зачем тут эти дети?

Лиза уцепилась за Марысину юбку. У Мишеньки дрожала нижняя губа.

— Моя госпожа, спасите их. Вы такая добрая.

— С меня достаточно и щенка этой еврейки. — Гадюка отвернулась к стене. — Отведи их в пятый барак. Там скоро будут отбирать детей для отправки в Германию. Дети хорошие, вижу, здоровые. Знаешь, где пятый барак?

Марыся старалась говорить твердо и весело. Гадюка била ее, если слышала в ее голосе дрожь и трепет. Раздавая пощечины, она приговаривала: «Горничная должна быть всегда веселой, услужливой и быстрой в движениях. Так везде в Европе».

— Знаю, госпожа.

— Так ступай!

Марыся пошла к двери, Миша и Лиза — вслед за ней, а Никита так и шел у Марыси под фартуком, и у нее было чувство, что она несет под фартуком горячий самовар.

Женщина, когда ушли дети, подошла к овальному зеркалу. Прямо на нее из зеркала смотрела другая женщина, не она. Она сама, когда-то давно, в иной жизни, была смуглой и нежной, а эта — бледная и жесткая, как железо. Она сдвинула пилотку на затылок. Усмехнулась сама себе. Показала сама себе зубы. В кухне заплакал ребенок. Он лежал в корзине для белья.

— Как же я его назову, diablo? — сказала Лилиана Николетти.

Наклонила голову, и ее метельные волосы упали с затылка ей на лицо белым флагом.

[гитлер безумный взгляд изнутри]

Эту войну — довести до конца.

До конца! До конца!

Беда людей в том, что они ничего не доделывают до конца.

Их мучат в детстве — а они не дают мучителю отпор, когда вырастут. Надо обладать хорошей памятью и помнить, помнить. Зло никогда не надо забывать. Зло, которое нам причинили, надо всегда помнить, делать из него выводы, анализировать его и строить на этом анализе свою жизненную стратегию. Амеба никогда не побеждает. Побеждает тот, кто имеет внутри себя четкую, ясную память причиненного ему зла.

Я помню, как меня бил отец. Как бил дядя. Я все помню.

Я помню, как еврейка, владелица картинной галереи, бросила мне презрительно: «Унесите отсюда ваш мусор, это не живопись, это курица лапой писала!» — когда я принес ей мои первые картины, нежные пейзажи, реки и озера, леса и поляны. Ваш мусор! Я вытер со щеки этот плевок. Я запомнил его.

Я помню, как оттолкнула меня девочка, в нее я впервые влюбился. Я хотел ее поцеловать, а она обоими кулачками резко толкнула меня в грудь, и я упал. Прямо в пыль, в грязь, на камни мостовой. Я расквасил себе челюсть и расшиб скулу. По лицу у меня текла кровь, а девчонка толкнула меня острым носком туфли в живот, и я скрючился на булыжниках, а она хохотала: «Еще раз сунешься — еще схлопочешь!»

И я, лежа на мостовой, плюясь кровью, видел, как она уходила, вертя круглым задом под школьной формой, и как на ветру бились белые оборки ее атласного фартука.

Жизнь — череда жестокостей. Их все надо помнить, помнить. Кто забудет — горе тому.

Лишенного памяти убивают под забором.

Мы, немцы, нация памяти. Мы помним все. Мы помним и лелеем нашу древность. Наших священных богов. Когда-то мы владели всей землей, и это мы хорошо помним. Тысячелетний рейх — не моя блажь. Все кричат мне: хайль! Мне?! Не мне. Не мне!

Это нашей тысячелетней, незабытой чести — кричат!

Под нами были Тибет и Гималаи. Под нами были Норвегия и Гиперборея. Под нами были Индия и Африка, и это мы, арийцы, волей своей и властью своей вращали Землю. Мы помним это!

Так где же ошибка в том, что мы убиваем беспамятных?!

Грязный червяк не должен жить. Он не помнит своих родичей-червяков.

Грязный пес не должен жить. Он не помнит историю рода Грязных Псов.

Человек без памяти грязен, мелок и подл, ему незачем жить. Человек Помнящий — владыка судеб: тех, что ушли, и тех, что придут. Он вершит историю. А все остальные — грязь, прах под стопами его.

Поэтому я все делаю правильно. Правильно, слышите вы!

Вы еще мне потом — спасибо скажете!

За то, что я вернул вас в огонь Великой Памяти!

Ева! Ева! Когда обед?! Ты приказала?! Ах, стынет?! А нельзя мне было раньше сказать?!

Ты ничего не помнишь. Никогда! Не уподобляйся беспамятной черни!

Ну, подойди. Обними. Я не злюсь. Я не умею злиться. Я очень добр.

[аушвиц гибель детей]

В Аушвиц привозили детей, и привозили стариков, и привозили молодых людей, парней и девушек, и привозили женщин.

Многие женщины были беременны. Животы выпячивались. Не скроешь.

Тереза ходила по баракам, выглядывала брюхатых. Всем не вызовешь выкидыш. Всех не спасешь. Доски зияли дырами и щелями: крысы прогрызали.

На трехэтажных нарах, вытянув ноги, на соломенных матрацах, на грязном вонючем белье смиренно, молча лежали женщины. Беременные лежали тише всех.

Не солома в матрацах: колючая труха. Вонь стоит столбом. Ползают насекомые. В углу стонет тифозная больная, полька с Мазурских озер. Женщины лежат на нарах тесно, кучно. Копошатся. Стонут, бессловесно мычат, как стельные коровы. Доски нар неструганные. Занозы впиваются в голые ноги.

Тереза глядела на печь, что тянулась посредине барака каменной гусеницей. Кирпич напоминал ей сгустки засохшей крови. В этой печи узницы рожали. А Тереза — да, принимала роды. Что ей еще оставалось делать?

Печь топили редко. Узницам не выдавали ни дров, ни угля, ни торфа. Холод мучил хуже пытки. Пытка холодом, пытка бараком. Многие молились о близкой смерти.

Брюхатая женщина тяжело, медленно встала, вперевалку подошла к чужим нарам и отломила от досок длинную сосульку.

— Как нож, — сказала по-русски, — ну, натурально нож. Себя можно проколоть. Прямо в сердце уколоть, и кончено все.

Дейм подошла и вырвала из руки у беременной тающую сосульку.

— Что мелешь! — крикнула по-венгерски.

А по-русски она уже хорошо понимала.

Когда баба рожает, нужна вода. Вода при родах нужна как воздух.

Дейм набирала в ведро снега, вносила в барак, женщины собирались около ведра, садились на корточки перед ним, опускали вниз лица, будто собаки — голодные морды, открывали рты, горячо дышали на грязное ледяное месиво и опускали в снег руки, чтобы он быстрей растаял.

Так получалась вода.

Нет бинтов. Нет ваты. Нет спирта. Нет йода. Нет ничего. И у Менгеле не стащишь.

А если послед не выйдет, и надо отделять его от матки вручную?

Женщины, рожая и корчась в схватках, кричали Терезе: позови врачей, позови! ну люди же они! помогут! — на что Тереза, поджимая губы, глухо и жестко отвечала: они не люди.

— Я помогу вам сама. Мы сами справимся.

И она помогала женщинам рожать; и она понимала, что они обречены; и они тихо спрашивала Бога: зачем мы все родились на Твой жестокий свет? — и молчал зимний угрюмый, весь в грязи и крови, Бог, не давал ответа.

И тогда Тереза, крепко держа разведенные колени роженицы и глядя на нее, лежащую в печи, как в черном каменном кювезе, просила: возьми тогда у меня мою жизнь, чтобы все они — жили.

И не принимало небо такой ее жертвы.

И Тереза в жертвы и молитвы верить перестала.

Спасти жизнь. Просто спасти жизнь.

Женщины меняли хлеб на простыни.

Они вцеплялись зубами в простыни и разрывали их на лоскуты. Это были пеленки.

Рожденный ребенок орал и ходил под себя. Пеленки надо было стирать.

Женщины стирали их в талой воде и сушили, обвязывая вокруг живота, подкладывая под зад. Своим телом сушили.

Зачем?

Ведь все равно их детям, рожденным на черный дымный и снежный свет, оставалось жить считанные дни, часы. Минуты.

Дейм видела и слышала, как убивали новорожденных.

Младенцев топили в бочонке с водой. Как котят.

Медицинские сестры, Клара и Пфани, Пфани и Клара. Простые немецкие девушки. Клара в мирное время работала акушеркой в Гамбурге. Ее осудили за детоубийство и отправили в Аушвиц. Назначили старостой барака. Старосте полагалась

отдельная комнатенка — там, где длинный, как кишка, барак кончался, и взгляд упирался в дощатую стену без окон. Клару поселили в эту каморку. А после подселили к ней проститутку Пфани из Аахена. Шлюха Пфани, верующая, громко молилась, и все в бараке слышали эти молитвенные лицемерные завывания. А потом из каморки раздавался дикий смех, будто кто-то кого-то беспощадно, нагло щекотал. А потом стоны и чмоканье.

Когда женщина в бараке рожала, не обязательно в этом, в любом другом, ребенка приносили сюда, в барак номер пять. Вносили в каморку к акушерке и шлюхе. Младенец сначала визжал на весь барак. Потом все слышали плеск воды.

И Тереза, если принимала здесь роды, слышала.

«Прости. Прости, что я тебе не вызвала выкидыш раньше. Не успела. Я не Бог. Я всего лишь фрау Дейм, плохая акушерка».

А потом она выходила под звезды, на снег, и поддерживала под локоть обезумевшую мать, и мать кричала Дейм прямо в ухо: покажите, покажите мне моего ребенка! — и Тереза глохла на миг, а потом они делали еще шаг, два, три, и видели, вот он, младенец, лежит под барачной стеной, и его на куски разрывают бешеные голодные крысы.

И родильница падала коленями в снег, и глаза вылезали у нее из орбит, а Дейм обнимала ее за голову, за шею и плакала над ней, вместе с ней.

Если рождался ребенок со светлыми глазами и светлыми волосами — его не умерщвляли, а пеленали и отправляли в Германию, как неразумный груз, косную вещь: этот недочеловек еще может стать истинным арийцем, он нашей масти!

Матери орали, вопили пронзительно. Надсмотрщики хлестали их плетьми.

Если ребенок рождался у еврейки — его топили все в том же бочонке. За беременными еврейками тщательно следили Клара и Пфани. Дейм ничего поделать не могла. Она могла только растягивать губы в бесконечной ободряющей улыбке. И губы ее немели.

Барачные крысы ждали добычи. Матери сходили с ума.

Другие дети, что спали под боками у женщин в бараке, умирали от голода. Сквозь тонкий пергамент кожи просвечивали красные и синие узоры, письмена артерий и вен, кости и жилы.

Жизнь можно было рассмотреть на просвет, под лупой голода и смерти.

Под линзой черной, в бочонке, воды.

И не всегда топили: часто сжигали. Живьем.

— Шелех! В крематорий!

Тереза, ощупав живот очередной беременной, оглянулась.

На пороге барака стоял солдат. Его широкое толстое лицо походило на деревенский горшок.

Рита Шелех, из Каунаса, Тереза знала и пестовала ее. Она родила позавчера. И вот уже за ней пришли.

За ребенком ее.

— Я... сейчас...

Рита заметалась. Положила ребенка на нары. Он сучил ножками. От холода у него медленно синело лицо, как от удушья. Рита сорвала с себя робу и завернула в нее младенца. Ей было все равно, что у нее голые плечи и грудь. Она наклонилась к своему мальчику ниже, ниже, очень низко. Закрыла лицом его личико. Губы Риты дрожали и двигались.

И Тереза поняла: она поет.

Первая и последняя колыбельная. Такая коротенькая.

Слезы обильно текли на сморщенное личико, смачивали лысый младенческий затылок.

«Человек. Это родился человек, Тези. И сейчас его убьют. Сожгут».

Дейм сделала шаг к Рите.

— Не плачь, — сказала она по-немецки, — так будет лучше для него.

Рита Шелех подняла мокрое лицо.

— А меня не могут сжечь вместе с ним? — робко, с надеждой спросила она.

И проститутка Пфани дико хохотала в подлой каморе, раздвигая голые сытые ноги перед повитухой Кларой.

Глаза мальчика смотрят неотрывно.
Глаза девочки глядят не мигая.
И еще одной девочки. И еще одной. И еще.
Пять девочек и один мальчик. Шестеро детей, двенадцать глаз.
Дети глядят на своего любимого, обожаемого фюрера.
На него так и надо глядеть: с обожанием.
Ведь он наш бог на земле. Мама так говорит.
И папа кивает.
Потом папа вздергивает правую руку и славу кричит.
И мама вздергивает руку и славу кричит.
Двенадцать глаз глядят на человека с черной полоской кошачьих усов над губой.
Глядят, глядят, глядят. Запоминают.
<...>

[елена померанская — ажыкмаа хертек]

Дорогая тетя Ажыкмаа!

Вчера, в одиннадцать вечера, умерла мама.

Ей было восемьдесят четыре года.

Она умерла тихо и спокойно, дома, в своей постели, я не отдала ее умирать в больницу. Она перед смертью так ласково посмотрела на меня. В жизни так не смотрела: с такой любовью, с таким теплом. Она всю себя перелила в глаза. И так странно, у нее лицо стало такое молодое, морщины разгладились, глаза сделались большие, бархатные, ласковые, просто как у девушки. Она сложила губы трубочкой, будто хотела весело свистнуть или сказать букву «У». И так вытянутыми держала губы. Я наклонилась к ней ниже. Может быть, она хотела меня поцеловать? Или что-то важное прошептать мне напоследок? Я взяла ее руки, они были странно горячие. Я поцеловала ее в щеку, а щека была холодная. Прислонила к ее губам ухо. Она молчала. Я снова сидела рядом с ней. Я уже почему-то знала, что скоро, совсем скоро она уйдет. Поэтому ловила каждую минуту и секунду.

Муж предлагал мне поесть, я отказалась. И правильно сделала. Мама начала тяжело дышать, у нее в груди захрипело, она стала собирать пальцами с одеяла невидимых букашек. А потом тихо закрыла глаза, вытянулась и застыла. Так она умерла.

У меня слез не было. Я сидела рядом с ней и думала: а ведь самого важного она не сказала мне перед смертью. И я ей тоже самого важного не сказала.

Мы обе пропустили этот момент, когда можно сказать самое важное.

Тетя Ажыкмаа! Знаешь (зачеркнуто), знаете, я поняла, что важнее смерти в жизни ничего нет. И надо жить так, чтобы перед смертью ты мог сказать себе: у меня была прекрасная жизнь. Я прожил, как надо. Я сделал все, что смог и что хотел.

Милая тетя Ажыкмаа! Теперь из всего старшего поколения, из всей нашей род-

ни у меня остались только вы. А вы так далеко — в Нью-Йорке. Я уже, наверное, никогда не буду в Нью-Йорке, да и в других странах тоже, у меня теперь больное сердце, и врачи запретили мне летать самолетами. Да и денег у нас с мужем на такие далекие путешествия никогда не будет. Так что остается только мечтать. И смотреть телевизор.

Недавно смотрели передачу про то, как американский летчик посадил самолет с пассажирами прямо в Гудзон. Он спас столько жизней! Я плакала от гордости, что вот какие люди бывают, герои.

Маму будем хоронить послезавтра. Муж заказал гроб. Его уже привезли. Очень скромный, обитый голубым атласом. Он стоит в прихожей, а я думаю: странно, и меня когда-нибудь в такой же вот гроб положат. Это так странно. Потому что ты сам себе кажешься бессмертным.

Славик тоже приедет из города. До нас из Нижнего Новгорода автобусом два с половиной часа. Он звонил и по телефону очень плакал. Он же очень любил бабушку, вырос с ней. Она была ему настоящей матерью, пока я прыгала по Москвам.

Тетя Ажыкмаа, вы там помяните маму, ладно? Она очень любила вас. И Нику. И дядю Диму.

Рисунки Ники по-прежнему висят у нас в гостиной. И над пианино. Над ними и под ними висят этюды мужа. Он ходит по Павлову с этюдником, выбирает красивое место, садится и пишет. Я люблю нюхать его краски и кисточки. И свежий, еще сырой холст. Однажды я нечаянно смазала локтем его свежий пейзаж и очень плакала. А он утешал меня и говорил: не плачь, я нарисую еще лучше. И отмывал мне локоть щеткой.

Я теперь часто хожу в церковь. Там мне нравится: свечи, тихо, иконы мне улыбаются. Молюсь, как умею. У нас есть молитвенник, муж для меня купил, но мне нравится молиться самой, по душе, как душа чувствует. Тетя Ажыкмаа, я все время молюсь за вас. Чтобы вы еще подольше пожили на нашей милой земле. И чтобы никогда не было войны. Хотя все вокруг всегда говорят о войне и все время боятся ее.

Крепко целую вас. Ваша Лена.

[марыся]

Мы все жили в большой избе в деревне Куролесово, в Полесье. Наша советская республика называлась Белоруссия. Вокруг Куролесова все леса, леса. Мы, едва ходить научимся, в лес бежим за ягодами, за грибами. Очень много грибов в наших лесах родится по осени, просто смерть!

Смерть. Смерть.

Она пришла так быстро, мы и ахнуть не успели. Она затарахтела моторами по дорогам, а еще налетали самолеты, они летели по небу, и мы задирали головы, и глаза видели черные летящие огромные кресты, а потом мы головы опускали и бежали. Куда угодно, только чтобы укрыться.

Чаще всего мы прятались в подполье. Черные кресты гудели, иногда летели так низко, что мы видели в кабине за стеклом чужого летчика. Чужой летчик иногда смеялся, а иногда сурово сжимал губы, а иногда раскрывал рот, как лягушка, когда квакает, но ни разу мы не могли увидать его глаз: они прятались за черными огромными очками.

Летчик или стрелял в нас из пулемета, или сбрасывал на нас бомбы. Бомбы падали вниз очень быстро. И их летчик выпускал сразу очень-очень много из брюха самолета.

Мой папа Ясь и моя мама Янина очень боялись за нас всех, за мою сестренку

Соню, братиков Михася и Леню и за меня. Меня зовут Марыся Полозова, и все мы Полозовы. И нам так не хотелось умирать! Так не хотелось!

Самолет стрелял и бросал бомбы, мы сидели в подполье и крепко обнимались. Мама шептала: если всех убьют, так хоть бы всех вместе.

А потом в Куролесово вошли немцы. Они были как быки. Каски такие громадные, как бычьи головы. Они ехали на мотоциклах и на машинах, и все стало сразу черным, они ползли, как тараканы, черные тараканы. Рассыпались по избам. Всю деревню заняли. Входили в дома, выбивали дверь сапогом, кричали: «Курки! Яйки!» Они могли подстрелить любого ребенка. Они стреляли в детей и смеялись. Стреляли и смеялись!

Я сама видела, как немец прицелился и выстрелил в малышку Валечку, она бежала краем поля, по меже. Бежала и приседала, бежала и приседала. У меня в глазах мелькало, так быстро она бежала. Немец промазал. Валечка бежала. Он прицелился еще. Опять промазал. Валечка упала на живот и поползла. Валечка ползла, а немец все стрелял и стрелял. И наконец попал. Попал, но не убил.

Из Валечкиной ноги текла кровь. Она ползла и плакала, а немец стрелял опять и опять.

Наконец он убил Валечку. А у меня стало под коленками больно, так больно, и ноги подогнулись, и я села на крыльцо, идти не могла, и меня затошнило и вырвало.

К нам в избу тоже вошли два немца. Они говорили между собой по-немецки. Я не понимала ни слова. Это потом я научилась понимать и даже говорить по-немецки. Меня научила фрау Лилиана. Она у нас в лагере работала надсмотрщицей, а еще она расстреливала заключенных на перекличке. Немцы вошли, стучали сапогами, один тут же поймал двух кур, свернул им шеи и велел моей маме приготовить ему суп и жаркое.

И мама стояла у подпечка, и готовила суп и жаркое, и глотала слезы, а рот ее улыбался.

Папа думал, нас всех сразу перебьют. Он ошибся. Немцам мы были нужны. Кто же готовил бы им еду? Кто бы доил им коров? У нас была корова, ее звали Зорька. Мама доила Зорьку, когда и меня просила подоить. У немцев к столу всегда было парное молоко. У Зорьки сладкое было молоко, жирное, настаивался толстый слой сметаны. Мама снимала сметану столовой ложкой и опять плакала. Детям сметаны не доставалось, все съедали немцы.

Я подсматривала за ними. Вечерами они шумно и долго говорили друг с другом, иногда даже кричали друг на друга, но потом мирились и выпивали из фляжки за перемирие. Они открывали ножами диковинные консервы, я таких никогда не видела. Ели прямо из банок ложками, а когда и руками. Пили Зорькино молоко — мама оставляла им на столе кринку и стаканы. Потом они вытаскивали из карманов паспорта, фотографии и письма и начинали читать письма и рассматривать снимки. Это были фотографии их родных и близких. У них, как у всех людей, были родные и близкие. Наши немцы были очень молодые, у них не могло быть, наверное, жен и детей, могли быть мама, папа, сестры, братья, дедушки и бабушки. Вот на их фотографии они и смотрели. Иногда часами. Один немец плакал, прижимал фотографию к губам, и что-то шептал, и опять плакал, и снова фотографию целовал. А другой плакал, глядя на него, и отпивал глоток из выкрашенной в болотный цвет железной фляжки.

Потом они обнимали друг друга за плечи, раскачивались из стороны в сторону и начинали петь немецкие песни. Это были веселые песни, вроде маршей или гимнов, не знаю. Лица у них обоих были красные, как помидоры.

Мы к нашим немцам вроде как уже немножко привыкли. Успокоились. Ну жи-

вут и живут. Понятно, наших солдат убивают. Рядом проходила линия фронта. Днем немцы исчезали из села, вечером опять появлялись. Иногда злобные. Когда злились, обязательно кого-нибудь из сельчан убьют. Злобу вымещали.

В селе было тихо, как на кладбище.

И у меня такое чувство было, что наши все дома, наши избы — гробы или могилы.

Так оно и оказалось на самом деле. Однажды утром поднялись выстрелы, визг и вой. Я думала, воют звери. Это выли наши бабы. Я выглянула в окно: по улице шли люди, их подгоняли немцы штыками, пинками. Один наш немец появился на пороге. У него были бешеные белые глаза.

— Аус! Аус...

Второй, как гриб из-под земли, возник за его спиной. И по-волчьи рыкнул:

— Собирай! Школа! Утьоба!

— Какая школа, какая учеба, — белые губы матери прыгали, — никуда мы не пойдем!

— Их заге дир...

У него кончились слова. Он размахнулся и ударил маму кулаком в лицо.

Мама упала на пол и обняла его колени обеими руками. Чуть выше его черных наваксенных сапог.

Я впервые видела, как человек обнимает ноги другого человека. Мне стало плохо. Это была моя мама! Немец вынул из кобуры пистолет. Мы все, дети, встали кругом около немца и мамы и закричали:

— Мы пойдем! Мы пойдем в школу! Только не убивайте нашу маму! Пожалуйста!

А папа сидел на табурете в кухне, положил на лоб ладони и странно вздрагивал, будто его били плетью. Так вздрагивал наш конь Марат, когда папа бил его плеткой. Конь капризный был, идет-идет, да и встанет. А в телеге капуста, на рынок в Барановичи везти. А с неба снег. А ушанка теплая дома осталась, забыл. Ну отец и даст коню плеткой раз-другой.

Но мы ведь не кони. Мы люди.

А по улице бежали в школу не люди: стадо бежало, мычало, визжало, взлаивало.

Мама нас всех быстренько одела и вывела на улицу. Мы еще слышали, как отец в избе крикнул: не пойду! Потом мы услышали выстрел. Мама зажала уши руками. Михась спросил: мама, что это стукнуло? А Соня поняла, она сразу заплакала. А мама схватила меня и Соню за руки, а Лене и Михасю крикнула: бегите! Мы тоже попытаемся!

Братики все поняли быстро. Догадались. Мы шли по улице, а село уже было все оцеплено. Михась зыркал глазами — глядел, где есть дырка, чтобы в нее удрать. Все ходы-выходы были перекрыты. И все же они с Ленькой схватили друг друга за руки и побежали. Они перемахнули через изгородь около сельсовета и побежали к лесу. Они бежали очень быстро, я видела! Так быстро они не бегали никогда! Как зайцы от собак неслись! И все же их застрелили. Обоих.

Их застрелил наш немец. Который молоко у нас пил и наших кур ел. Тот, который помоложе. Беленький такой. У него было такое лицо странное. Будто сам взрослый, а лицо как у ребенка. Нос курносый.

Он наверняка узнал моих братиков. И все-таки он их застрелил. Как зайцев на охоте.

Я не видела, как братики умирали. Я зажмурилась. Мне захотелось оглохнуть. Но я слышала, как они кричат. Особенно страшно, так долго и надсадно, кричал Михась. А Леня только вскрикнул два раза, а потом замолчал. Наверное, он быстро умер.

Потом и Михась перестал кричать. А может, это просто мы с мамой уже далеко отошли от того места, от подлеска и сельсовета.

Нас всех загнали в нашу школу. У нас в селе была только начальная школа, четыре класса. В пятый класс надо было ходить в село Трясуны, за целых пять километров. Я как раз закончила четвертый класс. А я пятый уже не успела пойти, немцы пришли. Целое село еле уместилось в школе. Нас в классы набили столько — не вздохнуть было. Стояли, плотно прижимаясь боками, живот к спине, и спина к животу. Так стыдно было. Меня мальчики сжимали со всех сторон. Я все к маме жалась. Мама положила руки на головы мне и Сонечке. Все шептала нам: девочки, не бойтесь, девочки. Вы лучше песню пойте!

И мы с Сонечкой стояли и тихо пели: взвейтесь кострами, синие ночи! Мы пионеры, дети рабочих! Сосед Линь усмехнулся: что поете, сейчас подыхать будете, а голосите! А мы все пели: близится эра светлых годов! Клич пионера: всегда будь готов!

В класс вошел наш второй немец. Тот, что был постарше белого. Тот, что все пил и пил из железной фляги. Он нас с мамой увидел сразу. Бочком-бочком подошел к нам, подобрался.

— Вас воллен зи? — так тихо маму спросил. — Хотить, йа взяль айн твай кинд?

И мама закивала головой, и не могла говорить от ужаса и радости, молчала и все кивала, кивала.

Немец взял меня за руку и потащил за собой. Сонечка рванулась. Хотела закричать. Мама закрыла ей рот рукой. Немец тащил меня к двери, я шла и наступала ему на пятки. Все вокруг нас, пока мы к двери шли, стали громко кричать, плакать, вопить, а мы все шли и шли, и мы вышли из школы. Я слышала, как вся школа кричит, воет диким воем. Я увидела, как немцы обливают ее снаружи бензином. Мы с нашим немцем отошли еще чуть подальше, и я обернулась и увидела огонь, много огня. Это немцы поливали нашу школу огнем из огнеметов. Школа была деревянная и занялась в одно мгновение. Заполыхала. Школа кричала, кричал сруб, кричали доски обшивки, кричала крыша, кричали водостоки, кричали карнизы и стрехи. Огонь взвился в небо, и небо тоже закричало.

И пока небо кричало, мы с нашим немцем уходили, уходили от школы.

И я быстро перебирала ногами, потому что немец шел гораздо скорей меня, и все представляла, как горят в лютом пламени мамины и Сонечкины косточки.

Мы с немцем пришли в комендатуру. Она располагалась в центре села, рядом с сельсоветом. На сельсовете мотался под ветром немецкий флаг с черным кривым крестом. На стене комендатуры висели бумаги, много бумаг. Это все были приказы. Мы вошли в комендатуру, наш немец приказал мне сидеть в коридоре на стуле, а сам вошел в комнату с номером. Я и номер помню: одиннадцать. В приоткрытую дверь я видела, как наш немец разговаривал с кем-то по телефону и говорил, будто лаял. Потом он вышел в коридор и сказал мне:

— Ти ехаль нах Дейчланд, ферштейст? Нах Гер-ма-ниа. Ти бист зер шаслив. Ферштейст? Зер шаслив. Нихт вар?

— Я поеду в Германию, — сказала я, и наш немец закивал утвердительно:

— Йа, йа! На йа!

В коридор выскочил сын Линя, Венька Линь. Венька скорчил рожу, когда меня увидел. Подскочил ко мне одним боком. Когда наш немец отошел в сторону, чтобы закурить, Венька наклонился ко мне и забормотал быстро-быстро:

— В Германию поедешь, на работу. Поняла? Повезло тебе! И живая, и харч дадут! Оденут как куколку! Будешь сыр в масле... в масле...

Наш немец обернулся. Зрачки впились в Веньку.

— Цурюк! Думмкопф!

Немец махнул на Веньку рукой, и Венька скрылся в комнате номер одиннадцать.

И больше ни я Веньку не видела, ни он меня.

Меня посадили в коляску мотоцикла и отвезли на железнодорожную станцию. Там стоял эшелон. Около вагонов толпились люди. Женщины и дети. Мужчин не было. Старуха в белом платке с красной праздничной вышивкой объяснила мне, что это угоняют женщин и детей в Германию. Я спросила старуху: насовсем? И старуха утерла глаза концом платка и сказала: насовсем! И тогда я заплакала вместе с ней. А наш немец дал мне подзатыльник, не больно, скорее нарочно, и взял меня за руку, и подвел к вагону, где были сиденья и лежаки, а то в других вагонах их не было, это были теплушки, для коров и лошадей, обыкновенный товарняк, а теперь в них людей перевозили. «Вот, — сказал наш немец, — здесь будешь спать, спать, спать, ферштейст?»

Ехаль цвай таге...

— Ферштеен, — сказала я и все кивала, кивала, кивала, как больная глупая птица.

Поезд прибыл в Германию. Нас выгрузили на перрон. Мы стояли под проливным дождем. Дождь сек нас больно и противно, у нас внутри все превратилось в воду. Мы стояли на перроне так долго, что сами превратились в дождь, а за нами все никто не приходил. Наконец пришла рослая немка, стала говорить мелко и дробно, мы ничего не понимали и плакали. Потом пришел переводчик, долговязый парень, может, немец, а может, русский. Он одинаково хорошо говорил и на русском, и на немецком. А может, он был еврей, у него был такой горбатый длинный нос, что кончик носа касался верхней губы.

— Кря-кря-клю-клю-ку-ку! — клокотала дюжая немка.

— Вас сейчас распределят по адресам, и за вами приедут ваши хозяева! Вы будете у них работать! — выкрикивал долговязый крючконосый парень.

Я глядела: парень плохо был одет, куртка на локтях порвалась, заплат просила, и башмаки просили каши, и портки на коленях повытерлись. Что же это, думаю, немцы, такая аккуратная страна, а переводчика прилично не оденут?

Куролесово, мама, папа, сестра и братики стали казаться сном. В ожидании хозяев нас разместили в мрачном здании, я думала, это тюрьма: там окна были с толстыми решетками, а в комнатах почти не было мебели. Мы спали на холодном полу, а кому посчастливилось, те спали в шкафах, слегка приоткрыв дверцы, чтобы не задохнуться. В шкафах было тепло, и там не кусали крысы. А тех, кто спал на голом полу, ночью крысы кусали. Крысы были голодные и злые: немцы умели хорошо хранить провизию, и крысам поживиться было нечем. Я боялась, что крысы откусят мне нос, и ночами почти не спала.

Днем приезжали хозяева, забирали своих будущих слуг. Уже почти всех детей, девушек и женщин разобрали, оставались только трое: я, молодая девушка из Барановичей, Шура Звягинцева, и еще одна девочка из Минска, со смешным именем Ираида. Может, нас ни к кому не записали, печально спрашивала Ираида, может, нам жалобу подать? Шура смеялась: кому жалобу, куда! Смотри, как бы тебя вместо жалобы к стенке не повели! Сиди уж тихо, жалобщица!

Я молчала и слушала, что они говорят. И они так и звали меня: Марыся-молчальница.

Наконец забрали Ираиду — в город Гёттинген, в большое семейство, целых пятнадцать человек, обстирывать все это семейство, им нужна была прачка и гладильщица, а у Ираиды были такие беленькие холеные ручки, она же ничего не умела, к работе не приучена была, она же была городская неженка, благородная

ученая девочка, и я все думала: а если она не будет им хорошо стирать и гладить, то они ее что, застрелят, что ли? — и на другой день забрали Шуру Звягинцеву — работать садовницей в деревне Нейдорф, это было рядом с городом Штутгартом, куда пришел эшелон, и осталась одна я. Одна.

Мне стало тоскливо, так тоскливо. Меня кормили два раза в день, приносили в комнату днем миску каши, а вечером миску тушеных овощей. Мяса не давали. Один кусок хлеба. Пить давали бледный чай без сахара. Холодный. Наплевать. Я пила и радовалась, что я ем и пью.

Однажды ночью в комнате, где я, не раздеваясь, спала на полу, раздался шорох. Я думала — крыса, открыла глаза и занесла кулак, чтобы стукнуть крысу по башке. А ко мне полз по полу человек. Я всмотрелась: долговязый! Вот тебе раз! Он быстро дополз до меня и полез ко мне. Руками под юбку мне полез. Хрипло дышал. И я, лежа на полу, стала с ним бороться. Я только с виду тонкая, а на самом деле я сильная. Меня не тронь! Сельские мальчишки на меня тоже вот так нападали. Да я давала им отпор. Да я и приемы знала. Меня тренер Михася в школе учил. Михась по физкультуре лучше всех шел. Я к ним в спортзал приходила заниматься. Тренер говорил: ты, Марыся, еще лучше мальчишек борешься, тебя еще немного подучить — и на первенство СССР можно отправлять!

Первенство. Сейчас я тебе покажу, длинноногий журавль, кто кого. Я извернулась и заломила ему руку за спину. Он не ожидал этого от меня, выкатил глаза и вскрикнул от боли. А потом закричала я: он меня укусил! Как крыса!

— Ах ты, крыса немецкая! — сказала я и сунула ему коленом между ног.

И опять он сморщился от боли, но уже не заорал — побоялся, что сюда войдут люди. Мы стали бороться. Он оказался сверху. Лег на меня всей тяжестью и прижал мои запястья к полу.

— Врешь, не вырвешься, — он обдавал меня капустным и водочным дыханием, — я из тебя сейчас котлету сделаю!

— Это я из тебя котлету сделаю, — пообещала я ему, вывернула ногу из-под его ноги и пяткой ударила его по спине.

Он рассвирепел по-настоящему и уже просто озверел. Он ударил меня. Он бил меня, наставил мне синяков, у меня гудела голова, и он разорвал мою юбку, и растолкал коленями мне ноги, и пытался сделать мне больно, очень больно, и сделал, и я орала уже без стеснения и лупила его пятками по его тощей спине, и в комнату вошли люди и зажгли свет, вспыхнула лампа под потолком и осветила нас, как мы боремся и катаемся по полу, полуголые. К нам бросились и нас растащили. Меня повели в душевую, выдали чистое белье, велели мыться горячей водой, я стояла под душем и ревела, а струи душа больно били меня по спине и ляжкам, я мыла горячей водой и мылом себе между ног и рыдала, а потом мне принесли иголку и катушку ниток и велели зашить юбку. Она разорвалась по шву.

На третий день после того случая за мной приехали. Приехала стройная женщина с белыми волосами и болотными глазами, в короткой юбке, еле прикрывала колени, тоже цвета болота, и в такого же цвета пилотке, и в сапогах. Женщина была красивая и злая. Она придирчиво обсмотрела меня, повертела в руках, как игрушку, одобрительно кивнула головой и сказала что-то на непонятном языке. А потом добавила по-немецки, немецкие слова я уже некоторые хорошо понимала:

— Ничего девчонка, то, что надо!

Мне велели идти вместе с этой женщиной. Она не прикасалась ко мне. Я хотела взять ее за руку — она отдернула руку. Она брезговала мной, я это видела. Мы вместе сели в машину. В машине сидел шофер. Они с белой женщиной отрывисто по-

говорили по-немецки, шофер нажал на газ, и машина поехала. Вперед. В мое будущее. В мою жизнь.

Мы приехали в странное место. Я думала сначала, что это город. Нет, не город. Слишком маленький. Как игрушечный городок. Потом я подумала: село. Нет. И не село. Нет ни коров, ни коз, ни овец, ни гусей, ни кур. Никакой живности нет. И изб нет. Одни длинные, приземистые серые дома. И железные ворота. Я спросила белую женщину по-русски: что это? А она мне ответила по-немецки: скоро узнаешь. А что я здесь буду делать? — спросила я дальше осторожно. Я была готова к любой работе. Горничной у меня будешь, настоящей горничной, вот что, сказала белая и улыбнулась.

Эта ее улыбка мне понравилась. Она была не брезгливая, эта улыбка.

Женщина, ее звали фрау Лилиана, одела меня в аккуратное, по фигурке, платьице, темно-синее платьице горничной, к платьицу надела мне на шею кружевной накрахмаленный воротничок и такие же кружевные манжеты и вынула из шкафа кружевной фартучек — загляденье! Я дрожащими руками завязывала на спине тесемки фартука. Все никак не могла завязать, а фрау Лилиана стояла и хохотала. Потом грубо развернула меня к себе спиной и грубо, зло завязала тесемки. И оттолкнула меня, пихнула меня в спину. И я полетела носом вперед и чуть лбом об стену не стукнулась. А она опять смеялась.

Потом она велела надеть мне туфли. «Маленькие у тебя ножки!» — кричала и била меня носком сапога по щиколоткам, очень больно. Потом на щиколотках вскочили синяки. Я прятала их под белые носочки. Все ее туфли были мне велики. Она злилась и швыряла туфли, они разлетались по комнате, один туфель летел и угодил в окно, и выбил стекло. Фрау Лилиана надавала мне пощечин и кричала: «Все из-за тебя!» Я встала на колени и сказала: простите. Она смотрела на меня удивленно. Кажется, ей понравилось, что я встала на колени. В тот день она больше не била меня.

Очень скоро я узнала: место, где я живу и работаю у фрау Лилианы, называется концентрационный лагерь. Или попросту лагерь смерти. Здесь держат людей для того, чтобы они сначала немного поработали на великую Германию, а потом их убивают, сразу много, чтобы и память о них исчезла навсегда. Их сначала убивают вонючим газом, потом сжигают в печи, а пепел отвозят в ближний лес. Печь называется крематорий. Я должна была радоваться, что я не живу в бараке, а живу у фрау Лилианы и прислуживаю ей, и никогда не попаду в крематорий, и меня не сожгут, как других.

А может быть, фрау Лилиана когда-нибудь крепко рассердится на меня и прикажет меня сжечь. Всякое бывает.

Я ничего не умела из того, что хотела от меня фрау Лилиана. Не умела носить поднос с чашкой кофе, с молочником, где сливки, и с тарелочкой, где лежат бутерброды с сыром и икрой, над головой. Не умела взбивать подушки. Не умела ровно, без единой складочки, застилать атласное покрывало на кровати. Не умела сервировать стол. Не умела раскладывать чистые салфетки. Не умела мыть окна до блеска. Не умела мыть посуду так, чтобы в нее можно было глядеться, как в зеркало. Да много чего я не умела! Если я что-то делала не так — фрау Лилиана давала мне хорошую оплеуху или вынимала из волос острую шпильку и колола меня куда придется: в руку, в бок, в грудь. И я охала, а она смеялась: не так! Не так! Сделай так — и получишь то, что заслужила!

Когда я делала все так, как ей нравилось — она подходила к буфету и отрезала мне либо кусок буженины либо кусок сладкого кухена либо давала огромный пушистый персик. И я садилась за холодильным шкафом на корточки, и вонзала

зубы в сочный персик, и тряслась, что у меня его вдруг отнимут. Она же подойдет и отнимет. У нее же было семь пятниц на неделе.

Через месяц я уже была заправской горничной.

Я много чего умела. Уже почти все.

Я уже сама могла кого угодно научить домашнему хозяйству. Только без пощечин.

Начальство фрау Лилианы меня любило. Толстые и тощие немцы приходили к фрау Лилиане в медпункт, просили у нее лекарства, кое-кому она смотрела глазное дно круглым офтальмоскопом, кому-то делала уколы, и я видела поросячьи мужские зады и то, как игла входит в сытое человечье мясо. Я видела в окно и с крыльца, как заключенные тянули тачки с камнем, кирпичами, пеплом, как волокли за веревки спиленные в лесу деревья. Каждый день я видела черный густой дым, он поднимался из длинной, уходящей далеко в небеса трубы крематория. Фрау Лилиана показывала на трубу и говорила мне: видишь, это души счастливых уходят в небо! Почему счастливых, спрашивала я робко. Разве не несчастных? Нет, смеялась фрау Лилиана, они ведь счастливее нас с тобой, потому что мы все это, весь этот ужас видим, а они уже не видят. Блаженнее всего спать! Спать, понимаешь! Быть камнем! Стать камнем! Застыть! Ужасный век! Стыдный век! Прекрасно не жить! Не чувствовать! Я им завидую! Им! Кого сейчас жгут в этой печи! Черной завистью завидую! Молчи! Ничего не говори! Я тоже хочу спать! Я сплю! Не буди меня! Не буди!

Она кричала так громко, что у меня закладывало уши.

И я гладила ее по острому колену в фильдеперсовом гладком чулке и бормотала: успокойтесь, фрау Лилиана, успокойтесь, успокойтесь. Все это пройдет когда-нибудь. Пройдет. Пройдет, слышите.

И она брезгливо не отталкивала меня.

Глава восьмая. Не отморозь ноги

[дневник ники]

21 ноября 1943 года

Ночью не сплю в бараке. Уши давит тишина. Я не могу слушать тишину.

Тьма давит на глаза. Жмурюсь. Тьма внутри меня, она заполняет меня, будто я пустая кружка, и в меня льют темную жидкость.

И вдруг крики. Барак взорвался воплями!

— Пожар! Пожар!

Быстро на улицу! Скорей!

Ворвался надсмотрщик, хлещет всех плетью.

— Выходите! Вы! Свиньи! Сгореть хотите?!

Люди падали с нар. Падали друг на друга. Бежали, запинаясь, через тех, кто лежали на полу. Те, кто спал, просыпались в ужасе, хватали соседей за руки: что стряслось?! На весь барак запах гари. Огонь в дверях! Люди бегут вон, вбегают прямо в огонь, застревают в дверях, визжат. Сзади толпятся, давят телами. Меня сдавили очень сильно! Косточки мои хрустнули! За моей спиной стонут, орут!

Наконец мы выбежали из барака вон. Барак окружен немцами. Все вооружены. Вижу коменданта лагеря, рядом с ним стоит крупный пес, овчарка. Я помню, ее зовут Тильда. А рядом с ними — странная женщина! В кокетливой черной шляпке с вуалькой, и на шляпке цветы! Черные бархатные фиалки. Может быть, это любовница коменданта. А может, его родня. Они что-то говорят друг другу, и женщина смеется, показывая белые зубы. А где огонь? А нет огня! Может, никакого пожара и не было!

Мы дрожим. Страх еще с нами, он не ушел. В небе огромная жуткая луна. У нее мертвое белое лицо. Все сбились в комок, жмутся друг к другу. Дети ревут. Охранник кричит:

— Построиться! Быстро!

Потом он вытащил бумагу и долго тявкал по бумаге, как нам надлежит себя вести, если раздается сигнал тревоги.

— Никто из вас не соблюдает правила! Вы бы все сгорели! Но это учебная тревога! Раздевайтесь!

Мы послушно сбросили с себя одежду. Ежились голые на морозе. Ноябрь, ночи холодные. А снега еще нет. На земле вырос белый, полосатый тряпичный холм.

— Бегом в барак!

И мы побежали. А комендант спустил Тильду с поводка. И дама в шляпке с вуалькой, хохоча, глядела, как собака хватает людей за голые ляжки.

В бараке бросились к нарам: одежда наша разбросана на нарах, и мы, каждый, ищем свою, путаемся в чужих робах, рубахах и кальсонах! Чемоданы из-под нар вытащены и все открыты. У многих украдено самое дорогое. Под потолком тускло горит лампочка. Моя подруга Люся Бровкина из Полтавы сидит на полу перед пустым чемоданчиком и горько плачет.

— Никуля, гляди... они все забрали... все... и мамин медальон... и фотографии... и бабушкин вязаный фартучек... Зачем им фартучек?! Зачем?!

И я подумала о том, что зря мы наделяем вещи душой. У вещей нет души. Даже у самых любимых. Вещи у нас будут другие, если мы останемся жить. А умрем — ничего уже не нужно будет. Ничего.

22 ноября 1943 года

Утром, после переклички, в барак пришел охранник Румпф. Он выстроил нас всех в ряд и долго кричал, в таком роде:

— Вы заключенные! Вы должны всегда помнить это! Послушание! Порядок! Без конвоя не имеете права отдаляться от барака! Стреляем без предупреждения в тех, кто отойдет от барака на пятьдесят метров! Бежать бессмысленно! Беглец будет пойман и немедленно расстрелян! Хлеб не съедать сразу! Растягивать на весь день! Тем, кто неукоснительно выполняет правила лагеря, — поблажки и награды! Поняли?! Поняли?!

Мы наклоняли головы. Мы молчали.

29 ноября 1943 года

В нашем бараке дизентерия и корь. Многие дети лежат в жару, покрытые красными пятнами. Тихо, тихо умирают дети. Сегодня умерли Вася из Чернигова и Душечка из Киева.

На меня глядела Рая Фролова. В ее глазах я видела ненависть. У Раи умер сыночек Леша. Она сказала мне:

— Лешки нет, а ты живешь, паскуда. Все! Все паскуды!

Приходят охранники, хватают детей, по двое, по трое, и забирают. Уводят куда-то. Дети плачут. Когда немцы врываются в барак, я забиваюсь в угол, а женщины заваливают меня одеждой, робами и старыми шалями. Женщины шепчут: они уводят детей, и разрезают их на части, и всю их кровушку забирают, и сердца вырезают, и печень, и почки. Женщины плачут: детки, вы ведь уже почти скелеты!

Я щупаю свои ребра. Они торчат. Когда я стану скелетом? Когда перестану думать и чувствовать?

9 декабря 1943 года

А в начале декабря на пороге барака появился комендант. Тильда у его ног прядала ушами. Комендант рявкнул:

— Отбираем группу заключенных! В лагере будут снимать фильм! Звуковой фильм для Третьего рейха, о превосходной жизни в немецком концлагере! Кто желает?!

Обвел всех круглыми глазами, как двумя дулами пистолета. Многие шагнули вперед, дрожа. Комендант показывал пальцем, и выбранный отходил в сторону. Набрали человек пятьдесят, я не считала. Открыли двери и приказали выйти на улицу. Что меня толкнуло? В последний миг я тоже подскочила к отобранным. И крикнула:

— Меня! Меня снимите тоже! Я мечтаю сняться в фильме!

Я дрожала так, что не узнала своего голоса. Комендант расхохотался и кивнул: разрешаю!

К нам навстречу катили огромные аппараты на колесиках! Рая Фролова процедила: «Это кинокамеры». Длинные шнуры тянулись в домик коменданта. Поднялся сильный ветер, трепал нам робы и халаты. Нас заставили пройти в баню. Выдали там мыло, полотенца, чистую обувь и чистые рубахи. Мы по-настоящему раздевались и мылись по-настоящему. И это было такое счастье! А немцы снимали нас на камеры, и мы совершенно не стыдились своей наготы. Немцы, когда камеры стрекотали, были с нами заботливы и вежливы. Будто враз из чудовищ превратились в ангелов!

Потом камеры покатились к баракам. Их толкали вперед молодые парни в красивой и чистой одежде. А за парнями шла дама. Я узнала ее. Ту даму в черной шляпке с вуалькой. Она в ночь поддельного пожара так весело хохотала над нами. Парни вкатили камеры в барак, дама в шляпке вошла следом. Нас заставили сесть на нары и радостно улыбаться. Мы послушно улыбались, старательно растягивали губы, показывая зубы, и у меня так громко билось сердце. Дама с вуалькой ткнула в меня пальцем и воскликнула: «Ах, вельхес вундершоне кинд!» Посреди барака уже стояли длинные столы, накрытые белыми простынями, и длинные скамейки. Мы глядели во все глаза. Не верили, что такое может быть. На столы надзирательницы ставили миски с дымящимся супом. Настоящим куриным супом! В мисках плавали и белое мясо, и куриные ножки! Рядом с мисками аккуратно положили ложки, большие куски хлеба, поставили по кружке молока и каждую кружку накрыли ломтем белого хлеба, намазанного вареньем. Охранник крикнул:

— Двадцать детей, выйти из строя!

Вперед шагнули все дети. Охранник вырывал нас из строя за руки. Вырвал и меня.

— За стол! Живо!

Мы робко уселись за столы.

— Сидеть! Руки на коленях! Без команды ничего не брать!

Мы глотали слюну. Мой сосед, польский мальчик Войчек, упал со скамейки в обморок.

Еще полчаса механик устанавливал прожекторы и аппараты. Эти полчаса показались мне целой жизнью.

— Берите хлеб! Ложки в руку! Есть! Есть не спеша! Вы не голодные! Не голодные!

Мы ринулись. Вцепились в ложки, в хлеб. Высасывали суп из мисок, как собачки! Обжигали губы, обваривали рты! Тряслись и даже подвывали от счастья. Нам казалось: нам все это снится. Я выпила молоко залпом, я забыла его вкус! Я гладила хлеб, как живой. Ела, кусала, вцеплялась ногтями в ломоть, дрожала и думала: вот

сейчас отберут! Но камеры смешно стрекотали, дама в шляпке весело отдавала команды, охранники не шевелились. Мы смогли доесть все. До крошки.

11 января 1944 года

Спустя месяц нас согнали в большой дом посредине лагеря. Там на стене висела простыня, а у другой стены стоял кинопроектор. Нам велели сесть на пол.

— Вы будете смотреть фильм! Вы увидите себя!

На простыне появился серо-белый квадрат, в нем запрыгали люди и собаки, задвигались машины и поезда. За нашими спинами гремела музыка, бодрые громкие марши. Мы глядели на свой лагерь и не узнавали его. Райская жизнь! Все притворяются в жизни, думала я, пока дрожали и мелькали кадры и вперед неслось время, вот и мы притворились. Такого не было никогда. Тебе это приснилось. Правда только то, что мы там, в кадре, ели.

Вот эта еда была правдой. А мы были не мы. Другие.

Вдруг я подумала: мы куклы, просто тряпичные куклы, куколки со стеклянными глазками и ротиками из красных пуговиц. И мы едим из кукольных тарелочек тертый кирпич, белый речной песочек, гусениц и улиток.

[гюнтер глядит на руины сталинграда]

«Что же это такое?» — спрашивал он себя, но ответа не было.

Кости домов, в них дыры, и в дырах гуляет злой ветер.

Белые, серые кости домов; их уже грызет время, день за днем.

Метет колючий снег. Снег налипает на каску. Снег кусает губы и подбородок. Надо ловить снег губами, тогда вроде как напьешься.

Маленький человек стоит среди руин, среди развалин того, что когда-то звалось домами.

Трупы домов. Скелеты жилья. Торчит арматура. В глазницах васильками светится небо.

Пахнет гарью и пылью. Нельзя дышать, но он дышит. И все солдаты дышат.

Снег под ногами. Лед в небесах. Сердце — кусок волжского льда. Ничего не чувствует.

Даже жизни.

Гюнтер так стоял долго. Может, всю жизнь. Здесь, где он стоял, не стреляли.

Он так отупел и затвердел, он стал бетоном, арматурой — ему было все равно, здесь он умрет или в другом месте.

Стоял в полный рост, не приседал, руками голову не укрывал, на землю не падал.

Стоял.

Скелеты зимних домов стояли вместе с ним.

Сторожили его маленькую жизнь.

Мысль шевелилась и все никак не могла на морозе взлететь: «Зачем мы здесь? Кто нас сюда послал? Зачем люди убивают людей? Россия, Германия — кто запомнит вождей? Кто запомнит меня, если меня сейчас подстрелят?»

Из-за угла дома — автоматная очередь.

Гюнтер упал и пополз, как учили.

Пули бежали вслед, взрывали пыль и камень вокруг, а он все полз, полз, прочерчивая на снегу длинный, бешеный след огромного червя; еще оставалась в руках, ногах и туловище сила, чтобы ползти, уползать, исчезать; исчезнуть.

Он не помнил, как оказался в тряском грузовике, виляющем кузовом, приседа-

ющем на все четыре колеса; грузовик неистово рвался, прорывался на запад, скорее на запад, шоферу удалось вырваться из кольца сумасшедшего обстрела.

«Все в кузове уже трупы давно», — цедил шофер сквозь цинготные зубы, резко вертя руль. Гюнтер очнулся. Под ногами — мягкое. Покосился: сапогами стоял на чьем-то скрюченном теле. Живом? Мертвом?

— Кто это? — разлепил губы, головой кивнул.

Шофер вздрогнул: впереди снаряд вывернул из земли черные клочья.

Крутанул руль. Выругался. Они объехали воронку. Ни впереди, ни за ними снаряды больше не рвались. Обрушилась и обняла странная, колдовская тишина.

— Это? Майор Фрай.

— Живой?

— Не знаю. Может, еще живой.

— А в кузове...

— Несчастные парни. Молчи! На дорогу гляди. Эта тишина обманчива.

Шофер оказался прав. Так громыхнуло — Гюнтер уши зажал, застонал. Грузовик опять проскочил зону обстрела.

— Мы заговоренные! — полоумно скалясь, вопил шофер. Руки на рулем взбросил, озоруя! Без руля — гнал! Гюнтер схватил руль. Шофер дал ему леща, Гюнтер откинулся на сиденье, натужно засмеялся, растянул в улыбке черные губы.

— У тебя попить нет?

Шофер выдернул из-за пазухи флягу.

— На.

Спирт, разбавленный талой водой, был теплым, пах телом, несвежим бельем шофера, соляркой, потом, горелой древесиной. Гюнтер глотал все равно. Потрохам стало горячо, сладко.

— Эй! Весь не высоси! Ехать неизвестно сколько! А жрать что не просишь?

Шофер подмигнул Гюнтеру. Шрам через лицо, ржавая каска. Нос, лоб в саже, щеки голодные. В улыбке верхних зубов не хватает.

— Не хочу.

— А чего хочешь?

— Ничего.

— И жить не хочешь?

Грузовик дрожал, гремел деревянными костями и железными суставами, подпрыгивал, несся вперед и вперед, подминая под себя, под бешеные колеса зимний путь, ямы и рытвины, доски и камни, льды и снега.

— Жить — хочу, — сказал Гюнтер, увидел себя мальчиком в кружевном воротничке, на коленях у мамы, скорчился на пахнущем касторкой кожаном сиденье, пригнул голову к коленям и затрясся в беззвучном плаче.

[нерожденные дети евы и гитлера]

Мы водим хороводы. Мы играем в ладушки. Нас много, но мы не умеем считать, и мы никогда не считали, сколько нас.

У нас у всех светлые глаза. Голубые, серые, водянистые, стальные. Мы истинные арийцы, поэтому всегда веселые и радостные. Как мы умирали? Мы не помним. А мы разве умирали? Кровь, щипцы, кюретки — это все придумали плохие злобные взрослые. На самом деле нас усыпили, и мы из красивого Красного Дворца, из-под живого купола дрожащего живота сразу перепрыгнули в веселые кружевные, легкие тучки, прямо на пухлые, нежно летящие облака, в такую высь, откуда на землю поглядишь — и вместо домиков и лужаек увидишь лишь нагромождения картонок и игральных карт, высохшие стрекозиные брюшки и выдернутые из хвостов гусаков и индюшек белые и цветные перья.

Перья! Облака как перья. Мы легче облаков. Мы невесомы, мы гордимся собой. Нам не дали жить, ни одному, а среди нас есть мальчики и девочки, и мы тут, в облаках, все давно подружились. Мы зовем друг друга не по именам — мы их не знаем, человечьих имен, — а по прозвищам. Лисенка тащили из утробы нашей матери щипцами, он уже был большой, кюреткой не выскрести; и у него на висках, за ушами и на лице глубокие шрамы, мы все его жалеем. Звездочка покинула Красный Дворец самая первая, поэтому она такая смешливая; она не успела ни к чему сладкому привыкнуть. Она носит марлевое короткое платьице и белые босоножки. Желтый Краб, Кремень, Свеча, Шкатулка, Волчонок, Звонок, Якорь, Тюбик, Белая Нитка, Флейц, Утюг — нас много, и мы даем друг другу прозвища в честь примет земли, на которой нам никогда не жить. Почему мы знаем язык? Почему разговариваем? Можно ведь и без языка. Посылаешь мысли, и все.

Но мы говорим, и так мы смеемся над взрослыми гадкими, бедными людьми: язык человек знает от роду, он ему не учится и никогда не научится, язык — это кровь, что в нем течет, а в нас осталась наша кровь, не вся вытекла, и нашим языком она стала, и нашей памятью, и нашим — вам — укором. Нет! Не бойтесь, папа и мама! Мы вас любим. Мы вас помним. Мы водим хороводы и глядим на вас сверху, как вы там мучаетесь, ссоритесь, воюете, убиваете друг друга. Мы вас понимаем. Мы вас любим.

<...>

[лилиана и сын гюнтера]

Она все время носила мальчишку на руках.

Ходила, ходила с ним по комнате, и ее нос вдыхал пахнущий кофе и пенициллином воздух и старательно выдыхал, и она отворачивала лицо, чтобы выдох не попал на ребенка; чтобы ее дыхание, дыхание шлюхи и овчарки, не коснулось его нежной кожицы.

Младенец вел себя как младенец: спал, орал, ел, кряхтел, опять засыпал, и Лилиана разворачивала его, сонного, и выпрастывала из-под него мокрую пеленку, и брезгливо кидала в корзину для грязного белья.

— Марыся! Унеси корзину в прачечную!

— Хорошо, госпожа.

Горничная еле приподнимала корзину. Набросаны кофты, юбки, исподние сорочки, чулки, пояса, панталоны, а поверх ее белья — пеленки, пеленки, пеленки. Человечек полжизни проводит в детстве, а полдетства проводит в пеленках.

— Марыся! Мне нужно чистое белье завтра!

— До завтра не высохнет, госпожа.

— Чертовщина!

Она с испугом оглядывалась на младенца — не проснулся ли он от ее криков. Нет. Спит крепко. Щечки румяные. Его мать сгорела в печи, а он спит. Так нахально. Так вызывающе. Нагло так. Жизнь всегда наглая штука.

И она тоже наглая. Потому и оказалась здесь.

Здесь! Где ее Италия?

«Моя Италия, милая, mia cara, carissima». Губы шептали то, что шептать нельзя.

Комендант лагеря Рудольф Хесс давно клал глаз на главную надзирательницу женского лагеря. Гадюка, ты нравишься ему, признайся, Гадюка. Тебе стоит только кивнуть, мигнуть.

И что? Ты сразу взлетишь до небес?

«Где мои небеса? Синие, чистые? Может, все осталось там, где мои руки, мой живот гладил этот беленький смешной немчик? Как его звали? Да, Гюнтер. Гюнтер! И имя ублюдочное. Будто рвет кого-то. Рвет в газовой камере».

Она носила спящего младенца на руках и шептала себе под нос: циклон-В, циклон-В. Название газа, им убивают десятки, сотни тысяч. Земля должна быть очищена от людского мусора. Священная война призвана очистить планету от шушеры и швали и оставить на ней избранных, сильных, воинственных, праздничных.

За вечный праздник придется заплатить вечным тяжелым, жирным дымом.

А разве праздник может быть возведен на горелых костях?

«В великом Третьем рейхе все можно. И даже нужно».

Марыся приносила из прачечной корзину с сырым бельем, развешивала белье на улице: перед медпунктом была натянута между двух столбов прочная веревка. Какая гибкая, стерва, так ловко наклоняется, и платье обтягивает задик, так размашисто взбрасывает тряпки на натянутую струной бечевку. Где сейчас ее родня? Наверняка мертвы. Ей повезло.

Повезло — быть здесь — в Аушвице — при ней, при главной надзирательнице женского барака?

О да. Ей подфартило. Каждый день здесь люди снулой колонной идут в мир иной. Сначала нюхать газ в камере, потом мертвецы сгорают в печи. Как это мощно, славно придумано!

Они уборщики. Они чистильщики. Кто-то должен делать и поганую работу, не только, как герои, умирать в дыму сражений.

Найти кормилицу — это необходимо. Пошарить по баракам! Наверняка найдется та, что родила, и ребенок либо мертвый, либо — убили.

Приказала. Через два часа привели. Лилиана глядела в опухшее от голода лицо, на висячие груди — под лагерной робой видно было, грудь большая и с молоком, даже на отощавшем, страшном скелете видать.

— Марыся! Накормить заключенную!

Марыся метала на стол все, что под руку попадалось. Лилиана глядела оценивающе, как горничная умело стол сервирует. Чья школа? Ее.

— Когда родила?

Спросила по-немецки. Заключенная размазывала ладонью по лицу слезы.

— Когда родила? — повторила Лилиана тот же вопрос по-французски.

Снова молчание, слезы рекой.

Итальянка повторила тот же вопрос по-английски, по-испански, по-польски, по-итальянски. Плачет и молчит. Наконец догадалась выкрикнуть это по-русски.

— Кокда родиля?!

Заключенная вздрогнула и отняла ладонь от мокрого лица. Марыся стояла рядом с накрытым столом, глядела услужливо, руки на белом переднике сложила по-заячьи.

— В среду...

— В зреду! — Лилиана сносно говорила по-русски. С жутким акцентом, но бойко и быстро. Хесс иной раз брал ее на допросы — переводчицей. — Diablo! Малако эсть?!

Грубо пощупала ей грудь, запустив руку за ворот халата. Узница простонала.

— Только бы мастита у тебя не было, корова, — сказала Лилиана по-итальянски.

Марыся поняла. Щеки горничной покраснели. Глаза потупила.

— Задис эшь!

Наблюдала с интересом, как живой скелет ест, запихивает себе в рот руками спаржу, бутерброды, морковный салат, сыр.

— Тьебя будют кормит чьетыри раз в дэн. Поньяла?!

— Поняла.

Утерла рот ладонью. Глаза горели, созерцая еду.

Марыся налила в чашки горячего чая. Нарезала лимон на дощечке. Лилиана медленно размешивала сахар ложечкой. Звон ложечки совпадал с биением сердца. Серебряное сердце. Позолоченное сердце. Стальное сердце.

Как трудно все-таки говорить на этом коровьем языке.

— Na, das ist alles? Пожрала? — перешла на привычный немецкий. Русская глядела широко открытыми глазами. Лилиане показалось: сейчас повалится, стукнет лбом об стол. — Марыся! Неси сюда ребенка!

Горничная пулей ринулась в спальню. Уже тащила младенца, крепко прижимала к груди. Младенец разевал лиловый ротик, орал без голоса. Кажется, он задыхался.

— Ты неправильно перепеленала его, дрянь! — Лилиана хотела дать горничной пощечину, но удержалась. — Он не может дышать! Вот как надо!

Русская так же широко, изумленно глядела, как прямо на столе, среди грязной посуды и яств, эта бешеная Гадюка пеленает младенца, и глаза у нее останавливались, холодели, как стеклянные, как у куклы.

Она закусила губу. Марыся видела: кровь ползет по подбородку.

Впилась костлявыми пальцами в край стола. И все-таки упала.

С грохотом, именно так, как и предполагала Лилиана: крепко, как кеглей на кегельбане, ударившись головой о доски пола.

Лилиана не отвлеклась от своего занятия. Ребенок кряхтел уже довольно — его освободили от сырых тряпиц.

— Возьми! А я этой займусь.

Марыся стояла с ребенком на руках и глядела, как Гадюка сует в нос русской ватку с нашатырем. Судорога прошла по худому телу, женщина очнулась. Лилиана сунула ей носок туфли под ребро.

— Вставай, быстро! Дай грудь ребенку!

Русская послушно встала. Ей казалось — она встает быстро. На самом деле она походила на осеннюю муху, что пытается взобраться по отвесной гладкой стене и все время падает. Марыся подхватила ее под мышки, помогла. Усадила на стул. Лилиана сама рванула лацкан халата. Сама вытащила наружу белую, в синих жилах, грудь. Сама приткнула ребенка ближе, поближе к груди.

— Дай ему сосок! Дай! Ну же!

Обливая ребенка слезами, русская кормила его, длинный, как изюм, коричневый сосок все время выскальзывал из беззубых десен, русская опять втискивала его в двухдневные губы, крепко обнимала младенца, горбилась над ним. И плакала, плакала.

— Прекрати реветь! Ты видишь, он не ест из-за твоих слез! Из-за слез и молока у тебя не будет!

Рука Лилианы протянулась.

— Марыся! Дай полотенце! Скорей!

— Полотенца нет, госпожа, вот тряпка кухонная...

— Дай!

Марыся глядела во все глаза, как хозяйка кухонной тряпкой зло трет, вытирает бесконечные слезы у русской бабы.

Русская, хлюпнув носом, наклонилась ниже над ребенком.

— Милый... ты выжил... а мой...

— Еще будешь хныкать — прогоню!

Гадюка крикнула это по-немецки, а русская поняла. Обтерла лицо полой халата. Затихла. И младенец затих: ел.

Три женщины, две молодых и одна девчонка, смотрели, как ребенок ест.

— Проклятие, — пробормотала Лилиана по-итальянски, — еврейский ребенок, черт. Да какой там еврейский! Белый! Русый! Истинный ариец! — Губы покривились. — Эта жидовка — от немца родила!

Интересно, какой сумасшедший немец с жидовкой переспал?

А белокурые евреи тоже бывают? Да, бывают.

Как белокурые итальянцы. Как белокурые французы.

Черт, неужели и негры белобрысые на свете есть?

Кормилица осталась жить в медпункте. Три женщины под одной крышей — это уже слишком, но другого выхода не было.

Итальянка косилась на кормилицу, когда она наклонялась над ребенком. Как ласково эта доходяга гладит его! У кормилицы не было имени, и у ребенка тоже.

— Как тебя зовут?

Лилиана приподнимала ей подбородок рукоятью хлыста.

Кормилица отворачивала голову.

— Как тебья имья?! — кричала итальянка по-русски.

Кормилица низко опускала голову. Так низко, что Лилиана видела ее седой затылок.

— Дарья.

— Дариа, bene. Зачем ты так ласкаешь ребенка? Это не твой ребенок. Твое дело — жрать от пуза, пить много жидкости и кормить его, кормить! Но не ласкать! Поняла?!

Она все понимала, эта пройдоха русская. Все. Без перевода.

— Ласкать его могу только я!

И дать ему имя — тоже.

Лилиана назвала мальчика Леонардо. Лео.

Лео, миленький, хорошенький, дивный львенок Лео, ты так прекрасно смеешься, когда ты сытый и сухой, ты же такой веселый, ну погляди на меня, Лео, ну протяни ручку, она уже пухлеет на глазах, она уже такая пухленькая, в перевязочках, ты хорошо питаешься, русское молоко идет тебе впрок, да ты растешь не по дням, а по часам, мой маленький Лео, надо бы тебя взвешивать, как это интересно!

Она вытребовала у лагерного начальства медицинские весы; поставила их в спальне, и каждое утро клала ребенка на весы, тщательно, старательно взвешивала, и завела дневник, куда записывала, как Лео прибавляет в весе — все до грамма. Кормилица спала в кладовке, где стояли ящики с лекарствами, коробки со шприцами и хирургическими инструментами. Их выписывали из Германии специально для доктора Менгеле.

Доктор Менгеле ставил в лагере медицинские опыты над узниками. Он был большой умелец: резал, сшивал, вырезал, выбрасывал, вставлял одно на место другого. Опыты были нужны Великой Германии: Фюрер хотел вывести новую породу неуязвимых арийцев и новый вид покорных рабов. Сильная нация должна покорить мир. Все другие народы служат немецкому; да еще как служат! На задние лапки встают! Вот это — истина! Все остальное — ложь!

Гитлер сам слал доктору Менгеле телеграммы. Фюрер сам курировал работу Менгеле. А Менгеле составлял фюреру подробные отчеты: что и как сделано, что задумано.

На кинопленку снимали, как лишенные, после операций герра Менгеле на мозге, воли и разума, налысо обритые люди, нет, не люди уже, а звери, стоя на четвереньках, лакали из мисок, расставленных на траве, дрались за кость.

Кормилица спала среди инструментов доктора Менгеле, и это было закономерно: подопытный кролик спал среди ножей своего хирурга. Завтра он возьмет кормилицу и отрежет ей груди. О, нет! Кто будет кормить тогда моего львеночка, мою куколку?

Спи, милый... Спи, сладенький... Лео...

— Эй ты, лентяйка русская, вставай! Ешь давай! Марыся! Дай ей сегодня больше, побольше овсянки! С изюмом! Побольше в тарелку насыпь изюма! И пусть выпьет два стакана чая со сливками! Чай с молоком повышает выработку молока в грудных железах!

Гадюка уже все знала медицинское. Что пить, что есть, как снимать боль, как вызывать ее, как убивать с адской болью и как умерщвлять безболезненно. Она была вполне пристойной ученицей герра Менгеле.

— Вставай, дармоедка!

Дверь в кладовку отлетела с шумом. Лилиана пнула русскую. Спит без просыпу, а ведь уже шесть утра, и перекличка закончилась, и убиты те, кто должен был умереть, и младенец не кормлен!

Кормилица терла глаза спросонья. Она уже так поправилась. Плечи натягивали платье. Лилиана распорядилась выдать ей нормальную одежду. Ей даже отдали старый Марысин передник.

— Вставай!

Итальянка пнула Дарью, да еще ударила острым каблуком в бедро. Кормилица охнула и встала. Выпрямившись, стояла, пожирала Лилиану глазами, и вроде бы послушно, а — жгли, жгли зрачки.

— Что глядишь? Ребенок орет! Ступай!

В спальне захлебывался плачем Лео.

Русская, не надев туфель, босиком побежала в спальню. Лилиана брезгливо подумала: наследит гадкими ногами. Поджав губы, глядела, как кормилица усаживается на стул, кормит маленького. Лео с наслаждением сосал чужую грудь. Чужую! Не ее!

Хотела еще что-то обидное крикнуть — и будто кто заклеил рот, забинтовал туго-натуго. Мордочка Марыси просунулась в спальню.

— Завтрак на столе, госпожа.

Ела, жестко и зло перемалывая зубами пищу, не чувствуя вкуса. Пила, закинув голову, как птица, такой же чай со сливками, какой Марыся приготовила Дарье. Чуть не поперхнулась, чуть не сблевала. Приказала: сделай мне кофе! Горничная дрожащими руками молола зеленые кофейные зерна в медной кофемолке, варила кофе по-венски, с пенкой. Лилиана пила жадно горячий кофе, обжигая губы. Изнутри поднималась волна ненависти. Красная ненависть застилала глаза. Красным вином пропитывала разум. Разума не было: была горбушка хлеба, разбухшая от алого, пьяного, кровавого вина.

Марыся отшатнулась от бешеных, пьяных глаз Гадюки.

— Что смотришь?! Не нравлюсь?!

Марыся сглотнула слюну и сжала руки над животом, над крахмальной белизной фартука.

— Лучше вас нет никого в мире, госпожа.

— То-то же.

Вымыла руки. Вытерла салфеткой. Оставалось полчаса до того, как она должна пойти к Рудольфу Хессу с отчетом за прошедшие сутки. К Хессу идет; значит, надо чулочки потоньше, панталоны, чтобы кружева погуще. И любимые сапожки на каблуках.

Вошла в спальню. Как долго возится сегодня эта русская с кормежкой! Покормила — и вон отсюда!

Лилиана раскрыла дверь — и обомлела.

Русская дрянь сидела на ее кровати. Перед ней, на спинке, лежал раскутанный, освобожденный от пеленок Лео. Ребенок лепетал, тянул к кормилице ручку, а кормилица ручонку ловила, к губам прижимала. И гладили, гладили чужие отвратительные руки атласную, беленькую кожицу ее ребенка. Ее! Ребенка!

— Ах ты...

Шаг к кровати. Русская подняла голову. Но не шелохнулась. Не сдвинулась с места.

— Ах ты, мерзавка! Пошла прочь!

Какие слепые, плывущие вдаль глаза. Где она? Только не здесь. Дарья не здесь; Дарья далеко. Она не видит и не слышит. Она видит и слышит только ребенка. Она кормит его — и он уже стал ее собственностью.

— Ступай!

Мимо, мимо глядела кормилица. И наклонилась. И крепко, горячо губами — к лобику ребенка припала. И так застыла, целуя.

Лилиана беспомощно стояла перед своей же кроватью. Присвоила! Оглохла! Или — смеется над ней?! Потешается! Козявка! Козявок надо давить! Она всегда! Всегда! Давила... давила...

Рука сама протянулась к кобуре. Выхватить пистолет — дело двух секунд.

Раз, два, три. Три выстрела. Чтобы — наверняка.

На розовом атласе стеганого одеяла, привезенного из самого Берлина, брызги отвратительной, тошнотной русской крови.

«Я дура. Надо было не здесь. Кровь не отстирается вовек», — холодно думала, заталкивая пистолет обратно в кобуру.

Марыся стояла в дверях спальни. Все видела.

— Что таращишься? Трупов не видала? Убери это дерьмо. Тележка перед крыльцом!

Руки Марыси тряслись, а рот заученно улыбался.

— В карьер отвезти, госпожа?

— Куда хочешь! Белье — в прачечную! Распорядись, чтобы лучший порошок применили! И — лучший отбеливатель! Мне это одеяло дорого как память!

Лео сучил ножками. Марыся ловко вытащила окровавленное одеяло из-под трупа и из-под живого младенца. Свернула тряпичным рулетом. Запихнула в пакет.

Через весь лагерь катила тележку с убитой Дарьей.

Заключенные смотрели ей в спину.

Спина Марыси ежилась под ударами чужой ненависти.

Двигались ритмично, как часовой механизм, худые лопатки под темно-синим, с белым кружевным воротником, форменным платьем.

Долго, полдня, отмывала пятна крови, въевшиеся в спинку кровати, в половые доски, в ореховую дверцу изящной тумбочки.

[лени рифеншталь]

Они приехали в лагерь поздно вечером.

При свете фонарей выгружали камеры и софиты. Шнуры волочились за людьми, как змеи. Голоса часовых раздавались в вечернем молчании: позади отбой. Живые спят, и мертвые спят. Кто виноват, что поезд пришел так поздно?

Женщина в черной кокетливой шляпке беспомощно топталась около грузовика.

— Все сгрузили, парни? — тонким голоском крикнула она и коснулась рукой в черной перчатке алмазной серьги в ухе.

— Все, фройляйн Рифеншталь! Порядок!

— Отлично! — обернулась к рослому полковнику в пилотке. — Господин штандартенфюрер, куда нести оборудование?

— Вот сюда! — Тупорылый, как ангорский кот, офицер выкинул руку по направлению к черному домику близ крематория. — Располагайтесь!

— А где расположиться мне?

— Там же!

Дамочка в шляпке сделала книксен, глянула остро, насмешливо. По тропинке пошла к дому, как который указали ей пальцем. Навстречу шла худая женщина в белой медицинской шапочке, в сером, тугом подпоясанном халате. Дама в черной шляпке быстро охватила ее глазами: ага, доктор. Женщина в белой шапочке сурово глянула на гостью: кто такая?

Подошли ближе. Сошлись. Глаза ощупывали глаза, брови, щеки, стать.

Женщина в медицинской шапочке хотела пройти мимо. Шляпка окликнула ее. Шляпка была очень любопытна, как и полагалось быть кинорежиссеру.

— Добрый вечер, фройляйн... фрау...

— Фройляйн.

Тереза Дейм повела головой вбок.

— Я приехала сюда снимать кино. Вы здешний доктор?

— Я помощница доктора Менгеле.

— О, очень приятно! Вы следите за здоровьем заключенных?

— Да. Слежу.

Кривая улыбка Терезы Дейм о многом сказала любопытной шляпке.

— Лени. — Лени Рифеншталь протянула руку.

— Тереза. — Тереза Дейм руку пожала.

Карие глаза. Голубые глаза.

Глаза мазнули по глазам; глаза усмехнулись глазам; глаза вонзились в глаза.

Первыми глаза отвела Тереза. Любопытная Лени не опускала взора.

— Ну и как тут у вас?

«Она хочет, чтобы я сказала правду?»

— Вы приехали снимать фильм? Вот и снимайте.

— Вы не очень-то вежливы, фройляйн Тереза.

— Простите, если чем обидела вас.

— Вы в курсе, что мы скоро проиграем войну?

— Вы это серьезно?

— Не притворяйтесь. Куда вы денете столько заключенных?

— Это не врачей дело. Это дело коменданта лагеря.

Шляпка дернулась, вуалька дрогнула.

Тереза глядела строго, пристально. Попыталась улыбнуться. Не получилось.

«Кажется, я правильно отвечаю».

Лени осторожно коснулась пальцами в черной атласной перчатке грязно-серого рукава халата Терезы Дейм.

— Я понимаю. Я все понимаю. Вы поможете мне в съемках?

— Что я могу сделать для вас?

Лени думала секунду. Вскинула голову, алмаз сверкнул в розовой мочке.

— Все.

Тяжелые камеры таскали с места на место. Шнуры и провода тянулись и путались, перевивались и расползались. Все было живое и хрупкое, все ломалось, взрывалось, текло, источало ненужный свет, вспыхивало, гасло, загоралось. Сюжета у фильма не было. Сценария тоже. Лени понимала: она снимает то, что завтра перестанет быть. Навсегда. Она была умненькая, черная шляпка с вуалькой: она прекрасно знала наци, она догадывалась, что, исчезая, они будут стирать память о себе и своих деяниях с лица земли. С лица старухи Европы. Поэтому Лени торопилась. Спешила. Камера сломалась? Наплевать. Тащите другую. Софит перегорел? К черту! Бегите несите два запасных! Она экипировалась так, будто бы ехала снимать фильм не про Аушвиц, а новую версию «Унесенных ветром». Она знала: есть сегодня и завтра не будет.

Даже для нее, любимицы наци, может не прийти завтра; и об этом тоже надо помнить.

Умная шляпка знала гораздо больше того, что могло уместиться в легкомысленной белокурой головке под ней, под ее черным атласом и коричневым фетром. Лени Рифеншталь могла обмануть зрителей, но она не хотела обманывать себя. Это был ее шанс остаться в истории, а значит, остаться в живых. «Все забудут, — шептала она себе, показывая оператору на нужный план и щелкая пальцами: вперед, снимай! — все сожгут и развеют прах по ветру. Одно останется: наше искусство, и в нем мы оставляем мир, как он есть».

Начальство лагеря пыталось помешать ей делать не бутафорские, а истинные и страшные съемки в бараках — она растягивала яркие губы в зазывной улыбке: что вы, уважаемый герр Хесс, мне сам Фюрер разрешил! И они не смели требовать у нее нужной бумаги, всевластной индульгенции: слишком уверенно звенел тонкий голосок, слишком насмешливо, победно глядели небесные глаза из-под черного гриба шляпки. Тереза Дейм приходила, стояла рядом с оператором. Они снимали тощих женщин в бараках. Они снимали мужчин, стоявших, дрожа, на перекличке в полосатых робах. Они снимали поганые дыры в лагерных туалетах. Они снимали бесстрастных солдат на дозорных вышках. Они снимали в операционной, где Менгеле, стаскивая с себя над раскромсанным голодным телом хирургические перчатки и швыряя холодную резину об стену, непотребно ругался и жадно курил.

И еще они снимали потроха крематория, и рыжие, огненные зевы печей, и маленькие и большие, разной величины синие, розовые, коричневые, белые трупы, что, как кишки, перевивались в печах, посмертно и жарко обнимая друг друга.

И Лени не плакала. Глаза ее были сухи. Что толку плакать? Если ты не угодишь, тебя завтра сунут в эту же печь. Ты только думаешь, что ты свободный художник; на деле ты слуга, и не дай Бог тебе ослушаться, перечить, дерзить. Тебе, именно тебе Фюрер приказал снять фильм об Аушвице, еще называемом Освенцим, а еще Бжезинка, черт бы побрал этих поляков с их непроизносимыми словесами. И ты должна сделать свою работу как можно лучше. Чище. Великолепнее. Ярче. Правдивее. Слышишь, ты, шляпка?!

Для тебя накрывают столы. Для тебя детей кормят мясом и поят молоком. Для тебя широко, во весь рот, как на пляже или в парке, улыбаются несчастные еврейки, прижимая к груди узелки с тряпками, как живых младенцев. Ты знаешь: это обман. Они все притворяются. Они все врут тебе. Но ты-то себе не врешь и не врала никогда.

После съемок Лени Рифеншталь сидела за столом в каморке Терезы Дейм, положив руки на стол и горячий выпуклый, крутой, как у бычка, лоб на руки опустив. Тереза пыталась накормить ее французским луковым супом. Тарелка дымилась. Алюминий ложки смешно отсвечивал благородным фамильным серебром. Лени сидела недвижно. Шляпка лежала рядом, на столе. Терезе казалось — Лени не дышала, так нежно, неслышно втекал воздух в ее легкие и вытекал из них вон.

[советские войска входят в аушвиц марыся]

Солдаты стояли и молча глядели на белокурую женщину. Она ползала у них в ногах.

На животе — ползала.

Она думала: вот она смерть, и надо вымолить у этих каменных людей хоть кроху жизни, еще кроху.

— Мили! Да-ро-ги! Просить! Просить! Я проси! То ест мой сын! Мио! Мой! Мой!

Била себя кулаком в грудь.

Лео качался на толстых ножках. Сосал палец. Огромными ледяными глазами глядел на страшных, громадных существ со стальными блестящими лбами и железными палками в руках.

Я стояла в дверях. Я не падала на колени и не ползала по полу, как хозяйка. Не отрывая глаз от солдат, я медленно, медленно подняла руки.

Рослый солдат гляделся в мои ладошки, как в зеркала. В осколки зеркал.

Другой солдат, тот, что за его спиной стоял, сказал:

— Гляди, Паша, как умоляет. Просит! А карапуз какой! Толстенький! Откормили.

Солдат брезгливо сплюнул. Сдвинул каску. Лоб его потел, я поняла.

У всех автоматы наперевес. Они глядят, а женщина ползает у их ног. Целует грязные сапоги.

Мне хотелось крикнуть хозяйке: бросьте, встаньте! Вам все равно смерть!

Передо мной стояли, на меня щурились из-под касок русские солдаты.

Они нас освободили? Это правда?

Никто нас не освобождал. Нас давно уничтожили. Мы мертвые давно.

И лагеря смерти Аушвиц больше нет.

Если несколько бараков. В них лежат умирающие. Есть комендатура. Там сидят и дрожат начальники. Майор Франц Краузе и капитан Франц Хосслер. Хозяйка сказала: им дан приказ всех убить. Но они смогли расстрелять в Аушвице только двести человек. Только двести.

А сами себя убить они не могут. Трясутся. Лучше примут смерть от врага. Так почетнее.

А Хесс? Где любовник моей хозяйки, франт Рудольф Хесс?

За окнами медпункта завывала метель. Злющий стоял январь. Снега кругом. Три дня назад колонны узников фашисты угнали по дороге на Гросс-Розен. Я знала: их всех перебьют по пути. Или просто кинут, слабых, кожа да кости, на обочине, в овраге, в лесу: замерзнут в пять минут. Если бы меня так гнали — я бы мечтала о пуле. Но говорят, замерзать тоже не страшно. Даже сладко. Засыпаешь.

А в самом лагере давным-давно устроили бойню. Еще осенью. Всю осень и всю зиму убивали людей. Взрывали крематории. Взрывали бараки прямо с заключенными. Расстреливали узников, а сжигать уже было негде, и трупы мерзли под ветром, под снегом. Лилиана сама, каждый день, расстреливала людей. Когда она приходила в медпункт, она падала на стул и долго сидела, расширив глаза и по-мужичьи расставив ноги, глядя не наружу, а внутрь. Внутри себя она видела страшное. Ее зрачки сжимались и расширялись, как у кошки. Я боялась: сейчас выхватит пистолет и влепит в меня пулю. Я и боялась этого, и хотела. Я больше не могла так жить.

Хозяйка в последние дни ничего не говорила. Молчала. Даже с Лео не разговаривала. Даже не ласкала его, как обычно. А он ластился к ней. Он уже хорошо бегал, стоял на ножках. Правда, почти не говорил. Несколько слов знал — по-итальянски и по-русски. По-русски от меня научился.

— Ты, девчонка! — крикнул мне второй солдат. И обожгла меня русская речь! — Шпрехен зи дойч? Немочка какая хорошенькая! Прикончить, Степа?

— Виктор, — рослый солдат положил тяжелую руку на ствол автомата, — мы не убиваем детей, в отличие от них. Не убиваем! Понял?

— А эту?

Лилиана застыла, распластанная на полу. Слушала. Прислушивалась. Я понимала, что она все понимала. Наверное, она вспомнила, что на земле есть Бог, и сейчас ему молилась.

— Я русская, — сказала я солдатам. Они вытаращились на меня. Рослый присвистнул.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! А что ж ты тут-то делаешь, краля?

— Непонятно разве, — встрял его друг, — угнали ее и служанкой сделали. А ну вставай! — рявкнул он на Лилиану. — Вставай, хватит пресмыкаться! Испугалась, сволочь?! Имя?!

Лилиана встала на колени. Слезы ползли по ее лицу, как тля по исподу листа.

— Лилиана... Николетти...

— Слышь, Витя, это ж не немецкое имечко. А может, она тоже узница? Переодетая...

— Переодетая! Держи карман шире! Ты! Быстро аусвайс свой! Живо!

Я смотрела, как хозяйка роется в нагрудном кармане. Она так и не успела снять свою лагерную офицерскую форму с фашистскими погонами и с этими их кривыми крестами-нашивками. Рука ходила ходуном, когда она подала солдату паспорт.

— Так-так. Лилиана Николетти. Унтерштурмфюрер СС. Отличненько!

— Видишь, три звезды...

Солдат по имени Виктор показал рукой на погоны Лилианы.

На дворе взвывал ветер. Метель била белым хвостом в окна. Снег заметал трупы. Они были свалены в штабеля, а иные разбросаны прямо по земле, и никто их не хоронил. Рослый солдат мрачно покосился в окно.

— Твоих рук дело тоже?

Ее военная форма подвела ее. Она не думала, что русские войдут в Аушвиц именно сегодня. Она просто не успела ее снять.

— К стенке!

Я не думала, что люди могут так орать. Я много раз слышала, как вопят люди, которых пытают и убивают. Но чтобы так вопили — слыхала впервые.

Лилиана вскочила с колен. Прижалась спиной к стене. Ее раскинутые, распятые руки ладонями по стене ползали, ногти сдирали штукатурку. Она знала: миг-другой — и ее наискось прострочит автоматная очередь.

Солдат по имени Виктор поднял автомат.

И тут Лео кинулся к Лилиане. Он колобком покатился ей под ноги. Крепко-крепко ручонками ей колени обхватил. И застыл. И мордочку поднял, и так умилительно, просительно, так отчаянно глядел на солдата и на автомат. И я поняла: малые дети тоже чуют смерть, как взрослые. Даже еще безошибочней.

— Ты! — Виктор наводил на нее автомат. — Говори! Кто еще! Из фашистов! В лагере! Или все крысы сбежали?!

Губы Лилианы тряслись, как тряпки на ветру, на бельевой веревке.

— Франц Хосслер... Франц Краузе... еще...

— Еще?!

— Я... не знаю...

И выкрикнула в лицо русскому солдату:

— Io sono morto?!

Мальчик все крепче обнимал ноги хозяйки. И солдат натолкнулся взглядом на эти глаза. Его глаза как приварились к глазам Лео. Я видела, между их глазами вытянулась такая тоненькая, тоньше иголочки, серебряная ниточка. А может, это я бредила. Солдат вздохнул так громко и тяжело, как бык, и хрипло выдохнул, будто рычал. В горле у него перекатывался воздух. Он опустил автомат.

— Ты не расстреляешь офицера СС? Тогда я сам ее...

— Тихо!

Рослый солдат сел на корточки. Поманил к себе Лео пальцем.

— Ребятенок, — дрогнувшим, теплым голосом сказал. — Ребятенок ты милый. Мать чуть не застрелили твою. Небось грудью еще кормит? Румяненький ты. — Пощекотал ему под подбородком, как зверьку. — Справный. Ты... на моего похож...

Зажмурился. Из-под век вытекли две слезинки, исчезли в щетине на щеках. И я

поняла: у него убили такого же вот сыночка, а может, и двух, а может, и трех, кто знает. И он сидел на корточках перед сынком Двойры Цукерберг и оплакивал сынка своего.

— Ах, ребятенок ты, ребятенок. — Тяжело, упершись кулаками в колени, поднялся. — Твое счастье, с... эсэсовская! Сын у тебя... малютка! Пощажу...

Ударил ребрами ладоней по зло вскинутым автоматам других солдат.

— Опустить оружие!

— А девчонка?! — крикнули ему.

Он сделал шаг, другой и положил мне руку на затылок.

— Опусти руки, девочка. Опусти! Не убьем мы тебя. Отмучилась ты свое. Ты здорова? Вижу, здорова. Не тебя в первую очередь надо спасать. Знаешь, там ведь люди умирают, — махнул рукой на окно, — а они еще живые. Мы попробуем. Отправим, кого можем, в полевые госпиталя. Да ты опусти, опусти руки-то!

Я все это время стояла с поднятыми руками. Они сами упали. Занемели.

— Сейчас задача, — он говорил сам с собой, а со стороны выходило, что со мной, — накормить голодных. Мы-то сами голодны, как цуцики. Но это ничего. Есть походная кухня. Есть запасы. Мы все вам отдадим. Что сможем. Приказа у нас нет, да это ничего. Мы же люди. Тебя как звать-то?

— Марыся, — еле слышно сказала я.

— Полька?

— Белоруска.

— А, белоруска. Понятно. Чудом жива осталась небось? И сюда упекли? В рабство?

Я кивнула. Говорить было мне очень трудно.

— Ну, вот видишь. Кончился этот кошмар. — И ему тоже трудно было говорить. — Кончился. Сейчас главное — спасти всех, всех. Кто остался.

Он обвел рукой вокруг себя. Я впервые видела, как мужчина плачет.

Лилиана подхватила Лео на руки. Так стояла с ним, к стене прижавшись, прижимала Лео к себе, вминала его себе под ребра. Как будто хотела вогнать его всего, целиком, живого, себе в живот, и зашить живот, и заново выносить, и заново родить. Чтобы стать по-настоящему ему матерью. Ведь солдаты не знали, что она ему не настоящая мать.

Через час мы уже ели горячую кашу из солдатских мисок. Рослый солдат оказался лейтенантом. Он велел перенести все лекарства из медпункта себе в часть. За окном тянулись телеги. Откуда взялись лошади? Может, это польские крестьяне из окрестных деревень уже появились тут? Телеги везли трупы и живых вперемешку. Лилиана держала мальчика на руках. Не отпускала. Она теперь боялась его отпустить. Ее глаза остановились, но они могли глядеть. Они словно прозрели, ее глаза. Они впервые за всю войну увидели мертвых людей. И ужаснулись. До этого белые глаза хозяйки мертвецов не видели. Мертвец — это был тот, кого надлежало убить, потому что он был враг и не человек.

А тут Лилиана увидела людей и что они могут превращаться в трупы. И лежать на телегах, и не двигаться; и застыло глядеть в серое, низкое зимнее небо.

Лагерь весь завалило снегом. Обильно шел снег, укрыл землю толстым слоем. Под снегом спрятались трупы. Их раскапывали лапами лагерные собаки, но русские солдаты всех собак быстро перестреляли. Кого и не кормили, и собаки сначала скулили, потом замерзали. Зачем я о собаках говорю? Я не знаю. Они тоже живые. Мы их ненавидели. Но они умирали — как люди, визжали, стонали.

[конец аушвица]

Телеги, машины. Далеко на морозе разносятся гудки.

На морозе видно все как сквозь лупу — лица мертвых, обтянутые кожей, скалятся, улыбаются покою и небу, и они такие непомерно огромные, а если глядеть на них ночью — они движутся. Медленно плывут, уплывают прочь от тебя, зрителя. Созерцателя.

Ночью действия нет. Ночью — звезды, дымный морок.

Жирного черного дыма больше нет. Нет больше.

Но это не значит, что больше не будет его никогда.

Лилиану с ребенком обрядили в лагерную полосатую одежду: куртка, штаны. Она сама себе вывела чернилами на руке лагерный номер. Русский офицер бранился: эсэсовку в живых оставить! Но крепко обвивал ручонками ей шею мальчик, и когда она, в полосатой робе, шла к телеге, прицепленной к грузовику, русские смотрели ей в спину, матерились, плевали в снег, сжимали кулаки.

Она была мать, и они не смогли.

Русские солдаты в белых формах бежали по снегу, и они сами были снегом. Снег очистил все. Снег все благословил и простил. Снег не мог только забыть. Смерть стала снегом, и снег стал смертью. А когда ели из руки, с ладони, плача, рыдая, снег был жизнью.

Из кузова грузовика на снег вываливались мерзлые трупы. Какое счастье, что сейчас зима. Летом стояла бы такая вонь. Мороз выедает глаза, забивает инеем ноздри. Ты задыхаешься на морозе. Не можешь дышать. Ты не можешь дышать оттого, что ты смотришь на страшный кузов, полный адского варева: в деревянном коробе варятся, дымятся метелью тела, синие ноги, лиловые руки. Черепа вывернулись до мозга. Кости — добела. Бог, по вкусу ли тебе наше земное блюдо?

Лилиана села на край телеги. Прямо на мертвецов. Ей было все равно, куда, зачем ее везут. Сейчас она жива, через полчаса перестанет быть. Ну и что? Какая разница?

Мертвые мысли текли важно, спокойно. Мысли ни о чем. Мороз покрывал звездами пустую, черную муть под выгибом черепа, под потным лбом. Холодно, а она вся вспотела. У нее жар. Захворала. Болезнь? Ну и пусть. Нет ни меховой шубки — шубку подарил ей Хесс, — ни теплой вязаной кофточки — кофточка осталась там, на спинке стула, в ее будуаре. Ребенка ей разрешили закутать. А ее самое, чтобы она выглядела как узница, побрили машинкой наголо.

И так ехала она в телеге, полной покойников, качалась, глядела полоумно на белый мертвый ночной мир вокруг — узница, одна из узниц, и морозом сводило сердце, оно останавливалось, а мороз упорно и зло заводил его, заводил, как мотор, и грохотало оно между ледяных ребер, а ребенок был такой теплый, такой горячий, в шерстяном пальтишке, наверное, стащенном с другого мертвого ребенка; а может, это специально для него, для Лео, наспех сшили из ночных черных лоскутов и пришили звездные яркие пуговицы.

Лилиана грела дыханием личико Лео. Он спал, накричавшись, наплакавшись голодно. Какая она мать, если у нее нет молока? Где ее верная горничная? Где Марыся? Ее отправили в одну сторону. Марысю — в другую. Русские не расстреляют свою. А может, расстреляют: за то, что врагу служила. У них, советских, это преступление.

Да у всех это преступление. У всех. Каждый любит, чтобы служили только ему.

Ты узнаешь теперь, каково это — жить на морозе в тонкой полосатой пижаме; сидеть верхом на трупах; чувствовать голодный и злой желудок. Сугробы на миг показались ей горами белого, под луной золотого зерна. Потом — взбитыми

сливками. Белые сливки на черном, шоколадном земляном торте. Мертвые не все в земле. Мертвые сейчас укрывают землю собою, согревают ее. Баюкают ее, утешают ее.

Лео проснулся и захныкал. Лилиана сказала ему: тс-с-с-с, тихо. Не плачь, а то нас застрелят. Кому мы нужны живые? Зачем нас отпустили?

«Ты мать, и тебя отпустили на волю, в еще не рожденный мир с сыном твоим».

Грузовык урчал и фыркал, медленно двигался вперед. Дорогу занесло снегом, и шины вязли в снегу, как в белом меду.

Ночь глядела на Лилиану и ребенка во все глаза. Всеми глазами.

Лилиана задрала голову.

Она все поняла.

Это на нее смотрели глаза детей.

Ну да, глаза детей.

Всех убитых детей.

Всех детей живых.

Всех немецких детей. Всех польских детей. Всех еврейских детей. Всех австрийских детей. Всех украинских детей. Всех белорусских детей. Всех русских детей. Всех... итальянских!..

Метель взвыла и ударила ее в лицо холодной пятерней. Она закричала и согнулась над ребенком, от ударов его защищая. Метель, не выхватывай у меня мальчика моего. Не вешай на березе. Я все равно тебе его не дам. Не расстреливай его белыми ледяными пулями. Он жив. Он будет жить. А я буду жить для него. Я столько людей убила, что мне не стыдно прожить остаток жизни лишь для одного человека на земле. Я буду ухаживать за тобой, мой мальчик, мой Лео, лучше, чем... чем...

Обруч метели сдавил ей голову. Она громко застонала и спрятала голову, как зверь, в которого целятся из ружья, под плечи Лео, под животик ему. Ребенок положил ручки на голову Лилианы и тускло, почти беззвучно кричал. Кричит, а крика не слыхать. У него на руках не было никаких варежек. Лилиана обмотала ему руки, чтобы он не отморозил пальчики, двумя своими шарфами: белым и красным.

И это гляделось издали как польский флаг.

«Поляки раскусят, что мы иностранцы, и куска хлеба нам не дадут. А я нарочно буду говорить только по-итальянски».

Тряско, медленно, вязко, нудно грузовик вывез себя, телегу, трупы и Лилиану с ребенком за ворота лагеря.

Машина еще долго ехала по дороге. В ночи, под светом равнодушных звезд, солдаты, что ехали в другом грузовике, следом, соскочили наземь и стали сбрасывать трупы в заснеженную лощину. Люди, голые и одетые, превращенные морозом в железные кости, в бревна с рваной берестой, возвышались горой за чахлым подлеском. В телеге осталась одна Лилиана. Она уже дрожала крупно, дико, стучала зубами. Солдат подошел, воззрился на нее.

— А красотка когда-то была! — подозрительно глядел на ее обритую голову. — И не слишком отощала. Полька? Чешка? Или кто?

— Io sono italiana.

Губы Лилианы на морозе скреблись друг об дружку.

— Чего-чего?! Тальяна? Че за такая тальяна? Тальянка? А, итальянка?! Значит, по-нашему не балакаешь. Ясно. Кто тебя сюда посадил? Мы думали, здесь одни мертвецы. А ты живая.

Лилиана кивала головой.

Солдат сдернул с плеч шинель и бережно укрыл Лилиану и мальчика. Шинель пахла козьим навозом, потом и перцем. Шинель пахла жизнью.

Глаза глядят, плавают, вспыхивают, тонут.
Взгляд младенца бессмысленный и счастливый.
Счастливый: ведь мыслей нет, и не о чем сожалеть и плакать.
Нежные, светлые, кругло глядящие в небо, прозрачные глаза.
Глаза, все видящие и ничего не знающие.
Вокруг смерть, а глаза смеются.
Вокруг ужас, а глаза довольны.
Тельце в тепле, ротик сыт, глаза глядят, моргают. Живут. Ждут.
Чего ждут? Взросления? Иного взгляда?
Ты видишь мир? Или себя? Или небо, где ни разу не был?
Что ты видишь, скажи?
Глаза говорят: не приставай, перестань, улыбнись, это тайна.

[пустой аушвиц]

Снег тихо летел с серых небес.

Пустые бараки раскрыты настежь. Двери мотаются на ветру — деревянные флаги.

Флаги всех стран. С них дожди и снега смыли краску, и они стали деревянными.

А может, они в небе летят и серыми тучами стали?

Снег слетал с небес, толстые белые одеяла укрывали крыши крематориев, белые пуховые перины росли, поднимались на земле белым тестом. Приземистые бараки тонули в царской белизне. Какая чистота. Чистота и белизна. Святая белизна. Здесь, на этом клочке земли, люди больше не убивают людей.

Здесь больше никто никого не убивает. Святая тишина.

Издали, на чистом снегу, было видно, как медленно по наметенным сугробам бредет большая черная птица.

Ее худые ноги медленно поднимались, она выпрастывала их из снежного слоя, потом опять опускала в пушистое, мягкое, холодное, мятное.

Поднимала — опускала. Поднимала — опускала.

Шагала; шагала; шагала.

Это не птица. Это человек.

Это не человек. Это женщина.

Это не женщина. Это девочка.

На ней черный халат. У нее на руке черный номер. У нее длинные черные волосы и огромные, как черные блюдца, бедные, слезные глаза.

У нее глаза величиной с черные озера, и по черной воде плывут черные лебеди, а по берегам растут черная осока и черные камыши.

Это не девочка. Это еврейка.

А евреи же не люди, вы же знаете.

Это существа, которых фюрер Гитлер велел истребить. Всех до одного. Сжечь. Спалить. Расстрелять. Смахнуть с лица земли. Так хозяйка смахивает ржаные крошки с белой, чисто-белой скатерти.

Девочка-скелет идет по белому снегу. Черная девочка — по нежному снегу.

Куда она идет? Зачем?

Она пересекает лагерь по диагонали. Пустой белый квадрат — по четкой черной диагонали.

Медленно переставляет ноги. Ей тяжело идти. Очень тяжело. Она очень голодна. Русские солдаты оставили ей немного поесть, но она была так голодна, что все съела сразу. Потом у нее очень болел живот. И ее рвало. И из нее выходили слизь и

вода. И она ела снег, чтобы утишить сильную боль. И смеялась сама над собой: вот поела и чуть не умерла.

Из лагеря всех живых вывезли. И солдаты ушли.

И немцы, и русские.

Трупы увезли тоже. На грузовиках; на подводах; на телегах и тачках; в фургонах, прицепленных к мотоциклам.

Их складывали, как бревна, и, как бревна, везли.

И они тряслись, как живые, и вываливались на землю, как настоящие бревна.

И на морозе белым отсвечивала береста мертвых щек.

И на морозе синели мертвые пальцы, и их можно было отламывать от ладони, как сухие ветки.

Девочка шла, и внутри нее звучал плач.

Она забыла, что такое музыка.

Она забыла, как играют и поют.

Когда, еще давно, на земле был мир, она умела играть на дудочке, она называлась кларнет.

Она играла во дворе, в солнечном дворе, и птицы слушали ее. Голуби и воробьи.

Девочка шла по снегу, плакала внутри себя, не снаружи, и пыталась вспомнить, что такое музыка.

Снег шептал ей в уши мертвым молчанием: я тоже музыка, тоже, тоже, послушай меня.

Снег хрустел под ногами еврейки. Снег стонал.

Снег кричал, снег хрипел. Снег умирал.

Девочка была так худа, что ее качал ветер.

Вот она пошатнулась и вздернула руки.

Она стала падать и падала медленно-медленно, как во сне, как вылетевший из печи уголек летит, легкий и жгучий, на доски, на половицы.

Она выпала из печи, в которой хотели ее сжечь, да не сожгли.

Она осталась жива. Зачем?

Еды ведь больше нет, да и жизни нет.

Да и детства нет: вон оно лежит, мертвое, невидимое, никто его не видит, кроме нее.

А может, и ее больше нет.

Когда она упала, снег набился ей под халат. Ожег ребра. Она задрожала, ей стало холодно, зубы застучали, она всунула кулак себе в рот, и грела кулак дыханием, и сама сказала себе: нет, я живая, ведь я дрожу. И засмеялась над самою собой.

Ветра не было. Тишина.

Плоские крыши. Плоская земля. Плоская белая кровать, на ней покрывало снега. Не распахивай покрывало, не стаскивай с кровати его. Под ним — страшное. Лучше тебе этого никогда не видеть. Не слышать. Там пепел. Там зубы и волосы. Там отломанные на морозе пальцы и золотые серьги, вырванные из кровавых мочек. Там смерть, которая так долго притворялась живой.

Еврейка с трудом встала. Отряхнулась. Опять пошла. Без тропы. Прямо по снегу. По чистому снегу. Ноги вязли в снегу. Босые ноги.

Она должна дойти вон до того барака. Там лежат дети. Мертвые дети. Она знает. Она снимет с мертвого ребенка сапожки и наденет на свои ноги. И тогда она ноги не отморозит. И ей их не отрежет хирург, герр Менгеле.

Девочка шла. Прижимала ладонь ко рту. Смотрела прямо перед собой. Не видела ничего, кроме снега. Белого, чистого снега.

Издалека, с высоты длинных каменных гусиных шей, труб крематориев, она ка-

залась черным цыпленком, которого сначала убили, потом зажарили, а потом оживили, и сняли с тарелки, и пустили в мир, в мертвый мир, и сказали, глумясь, неистово хохоча: беги, цыпленок, шагай, ты теперь один тут живой.

[елена дьяк-померанская — ажыкмаа хертек]

Дорогая тетя Ажыкмаа, здравствуйте!

Давно не писала вам. Надеюсь, что вы в добром здравии. У нас все хорошо, все идет своим чередом. Муж недавно сделал персональную выставку в школе, ее торжественно открывали в зале школьной библиотеки, пришли все школьники и их родители, и было столько народу, что библиотека всех вместить не могла. Аншлаг, как в Большом зале консерватории, когда в былые времена там выступала Галина Вишневская или Елена Образцова.

Я играла на школьном пианино (оно тут старенькое, «Красный Октябрь», и плохо настроенное, я иногда сама его настраиваю, подтягиваю струны разводным слесарным ключом), на столах разложили для детишек угощение — плюшки с сахаром, чай и мандарины, и все были очень довольны, все у нас было, как на настоящем открытии. Даже красную ленточку разрезали.

Вот пишу вам и все думаю: а я к вам в Америку так и не съездила, а сил все меньше и меньше. Да и дорого теперь авиабилеты стоят. А школьная зарплата у нас очень маленькая, на нее пропитается только Дюймовочка. Поэтому мы с мужем подрабатываем: у меня в доме стоит мамина швейная машинка, и я часто беру на дом шитье, я научилась очень аккуратно шить, выкройки свожу из модных журналов, а муж летом, когда в Павлово по Оке приплывают туристы, продает свои этюды. Все думаю: Ника, если бы жива была, научилась бы не только рисовать карандашом, а красками тоже. Простите, что я Нику все время вспоминаю, но я не могу иначе, она же все время со мной. И муж тоже ее полюбил, по моим рассказам.

Милая тетя Ажыкмаа, все-таки годы у вас уже большие, я все больше беспокоюсь за вас, как вы там одна. Получу письмо от вас — и успокоюсь немного. Вы уж мне пишите, не ленитесь. Звонить вам в Нью-Йорк я так и не научилась, да и дорого это.

Дай Бог, чтобы там у вас не было никаких ураганов и стояла хорошая погода, а то вот передали по телевизору, что в Северной Америке торнадо, как бы эти торнадо не навалились на Нью-Йорк. Будьте здоровы, молитесь за Нику, и я за нее тут тоже молюсь. Муж вам низко кланяется. Берегите себя.

Всегда ваша Лена.

Военная симфония. Adagio amoroso

Я хочу всех простить.

Всех. Даже тех, кто не просит прощения.

Я хочу всех любить. Но я не могу, а только хочу.

Мне этот мир не по плечу; да я и не хочу с ним бороться. Человек ошибается, выбирая борьбу. Человек неправ, записывая себя в воины, идя в солдаты. Армии погибают, а люди опять рождаются, и на заводах делают снаряды и боеголовки; зачем? К чему? Только ли из-за денег? Может, вы просто не знаете, как выбраться из сетей войны, просто боитесь обидеть ее, Беллону, мужчины, люди?

О да, она дама, Беллона. А вы — мужчины, и вам негоже женщину обижать. Да, она женщина, война. Может, она как та свинья, что съедает своих поросят? Или как та хозяйка, что забивает, едва вынув из клетки, крошечных крольчат и пухлых кроликов — на мясо, на шкурки, да просто чтобы не плодились?

А вы к ней попробуйте ласково: милая Беллона. А вы к ней попытайтесь нежно: дивная Беллона! А вы никогда не пробовали у нее, у войны, попросить прощения? За то, что вы снова и снова насилуете время и рождаете ее?

Я прощаю всех, всех. Кто варит варево войны. Кто еще сварит его в обозримом будущем и в необозримом прошлом. Как это в прошлом? А так: времени ведь нет, вы заблуждаетесь, мысля, что время течет из прошлого в будущее. Время варится в одном котле, и женщина над котлом хозяйка, не мужчина. Мужчина лишь с вожделением глядит на вкусный обед, на яростный огонь. Что, сладко пахнет? Сколько тел сегодня обожгли над огнем, чтобы перья сжечь, волоски подпалить, обнажить белое мясо?

Мои руки, я гляжу на них. Мои руки, они умеют так много. Женские руки, женская нежная кожа. Шрамы на руках: это мужчины разрезали мне плоть, а потом опять зашили ее.

Еще сварите мужчинам еду? Еще разольете суп по тарелкам? Еще нарежете хлеб?

Да, конечно. Да, потерпите!

Ведь я люблю вас, люблю, а другая война еще не началась.

А она разве начнется, женщина?

А разве нет, о мужчина?

А когда, женщина, скажи!

А ты думаешь, я все знаю, мужчина? Я знаю: вот свежая хорошая еда, и я сейчас подам на стол.

Женщина, а может, тебя зовут Беллона?

Нет! Меня зовут Ника.

Ника, какое красивое имя!

Уж какое мать дала.

Женщина, а может, это ты рождаешь войну? Может, все войны из-за тебя?

Может, все войны в тебе? У тебя под фартуком? У тебя за пазухой?

Садись за стол, мужчина, молчи и ешь.

<...>

Глава десятая. Последняя часуйма [дневник ники]

5 июля 1942 года

Мы жили в Сталинграде. Началась война. Незадолго до войны мама разошлась с моим папой и вышла замуж за нового папу. Его зовут Виталий. Он работал на тракторном заводе. Но он уволился с работы и ушел на фронт. Мама ждала от него ребенка. Она родила моего братика Валеру в ночь под Новый 1942 год — пошла в сарай за крестовиной для елки, упала и начала кричать. Я вызвала «скорую помощь». Пока врачи ехали, из мамы вышел человечек. Он лежал на снегу и громко орал.

Нам никто не предлагает эвакуироваться. Бои приближаются к Сталинграду. Нам страшно. Мама кормит грудью Валерика. У нас есть еще старенькая бабушка Липа. Мы обе смотрим за Валериком, когда мама уходит на работу. Она работает в больнице для душевнобольных.

30 августа 1942 года

Город бомбят. Нашим зениткам все труднее справиться с налетами фашистов. Скоро сентябрь, а я даже не знаю, пойду ли я в школу. Немцы подошли уже к тракторному заводу. Жителей переправляют за Волгу. Маме в больницу прислали гру-

зовик для вывоза больных и имущества к переправе. Ей сказали: сначала перевезем больных, а потом медперсонал с семьями! Налетели фашистские самолеты. Мы бежали к Волге, а на нас падали бомбы. У мамы на руках Валерик, а я держу за руку бабушку, а в другой руке чемодан.

Подбежали к переправе. Немецкие самолеты летели очень низко. Из них без перерыва падали бомбы, а еще летчики стреляли из пулеметов. Вокруг нас падали убитые и раненые люди. Я дрожала и думала: а когда же нас убьют? На лодках, катерах, на причале, на пароме, в Волге — одни мертвые. Уже некого убивать. Вода в Волге красная от крови. Не вода уже текла, а кровь. А я все думаю: а мы-то живы что же до сих пор?!

Все, кто остался в живых, медленно отползали назад от переправы. И мы ползли. Бабушку ранило. Она охала и стонала. Мама хрипит мне: «Ника, направо овраг, ползем туда, там спрячемся». Я помогала бабушке ползти. Валерик сначала кричал, потом замолк, и я думала, что он умер.

Когда бомбежка кончилась, мы прибрели домой. Глядим — а дома нет. Разбомбили. И все запасы еды сгорели. И вся одежда. Мама говорит: «Теперь наш дом — овраг». Мы туда вернулись, и мама руками, ногтями выкопала маленькую землянку для нас четверых. Там мы и живем сейчас, спим, прижавшись друг к другу. Я боюсь холодов. Начнутся морозы, а мы только в шерстяных кофточках. И у Валерика нет теплого одеяльца.

20 октября 1942 года

Грянули первые морозы. Мама дрожит и плачет. Кормит грудью Валерика, а нам выкапывает из земли картофельные клубни, и мы едим их, сырые.

18 ноября 1942 года

Становится все холоднее. Бабушка уже не плачет и не молится Богу, только дышит тяжело, хрипит. Мама говорит: «Надо вернуться в город, там найдем, где приютиться». Вошли в Сталинград. Идем через руины домов. В нос лезет пыль. Летит снег, ложится нам на плечи и не тает: пришла зима.

Мы медленно, через силу, двинулись в город. Меня шатало ветром. Видим: народ спускается в подвал разрушенного большого дома. Я вспомнила, здесь раньше был продовольственный магазин. Может, тут остались на первом этаже продукты?

Мы спустились по лестнице вместе с другими людьми. Многие несли на руках детей. Мы все еле вместились в подвал, так нас было много. Дети так жалобно плакали! Они плакали громко, потом тихо, все тише, потом умирали, один за другим. Один человек притащил печку-буржуйку. Мы топили ее старой одеждой, разломанными стульями и столами из магазина. Люди находили в магазине остатки еды, и это все мы ели: сухие макароны, во рту размачивали, сухие крупы — овсянку, гречку. Перемалывали зубами, у кого были зубы.

Первой не выдержала бабушка Липа. Она умерла тихо, молча. Закрыла глаза, легла на пол, вытянулась и умерла. Мама села перед ней на корточки и прижала руку ко рту, чтобы не закричать. Потом умер Валерик. Он умер от голода: в маминой груди уже совсем не было молока. Мама все прижимала его, мертвого, к груди, ласково говорила с ним, улыбалась ему и не отпускала его, хотя я видела: он был уже мертвый, синенький весь, не дышал, и ротик открыт. Мужчина в ватнике подошел к маме и тихо вынул у нее из рук Валерика. И люди передавали мертвого Валерика из рук в руки и так вынесли его на улицу, на мороз. Началась бомбежка, и никто не успел похоронить моего брата.

15 декабря 1942 года

Сегодня умерла мама. Она не вынесла ни горя, ни голода. В подвале холодно и душно. Я сижу на полу рядом с мамой и смотрю на нее.

31 декабря 1942 года

Сегодня мужчина, который вынул Валерика из маминых рук, позвал нас всех, в ком еще есть силы, наверх. Он сказал: около дома, где мы прячемся, лежит мертвая лошадь. Это мясо.

Мы вылезли на свет, чуть не ослепли. Видим, и правда лошадь лежит рядом с домом. Вокруг лошади уже толпится народ. Мужчина вынул из-за голенища большой нож и стал разрезать лошадь на части. Резал долго, кромсал, тяжело дышал. Протянул мне ногу и сказал: «Хватай! Вместе потащим!»

Мы так долго тянули эту ногу до подвала, что мне показалось — прошла целая жизнь.

Протянем метр по снегу и сам и рухнем в снег. Так ослабли. Все-таки дотащили.

Мужчина сунул щепку в огонь буржуйки и огнем опалил шкуру. Сел и стал снимать с ноги шкуру ножом. А я глядела, и все молча глядели. Нашли в углу старую кастрюлю, отрезали от ноги огромный кусок и поставили варить. Мужчина говорит: «Жаль, соли нет» — и плачет. А бульон на огне булькает. Кто-то говорит: «Слышу, бьют наши зенитки! Скоро наши придут! Продержимся, ребята!»

От кастрюли заструился чудесный запах. Все дети в подвале столпились вокруг кастрюли. Молчали и тянули к кастрюле руки. Но никто не заплакал, не запросил: дай, дай скорей! Все стояли и терпели. Молча ждали. И у детей были сморщенные личики старичков.

И тут по лестнице раздался стук и грохот! Ворвались два немца, с автоматами в руках. Немцы прицелились в детей, и дети подняли руки вверх. А фашисты схватили горячую кастрюлю, обжигая руки, и молча утащили ее. Убежали вон с нашей едой! Это они на запах бульона явились. Хорошо, что не постреляли никого. Спасибо им и за это.

Женщина, похожая на скелет, сказала хрипло: «Это нам всем новогодний подарок, жизнь».

Мы опустились на пол на колени, без сил. Малыши плакали. Кто повзрослее, крепился. Мужчина в ватнике громко сказал: «Хорошо, нас никого не застрелили! Радуйтесь! Пойду к лошади, еще мяса вам принесу!»

Он пошел к лошади один. Вернулся без куска мяса. Уже успели растащить всю лошадь, даже кости и хвост.

20 января 1943 года

Дети все умирают и умирают. Взрослые то и дело выносят из подвала трупы. Я смотрю на все это. Сегодня в наш подвал спустился немец. Глянул на нас, будто мы призраки, и исчез. А потом опять вернулся. И мы тоже смотрели на него, как на огородное чучело. Будто бы он ненастоящий. А он стоит, смотрит на нас и протягивает руку, а в руке — горбушка ржаного хлеба. Маленький мальчик шагнул к немцу и взял хлеб у него из руки. Немец присел и показал на себя пальцем, потом на мальчика, потом поднял ладонь над полом, и мы поняли: он показывает, какого роста его сынок. Опять протянул руку и погладил мальчика по голове. И осторожно ушел.

Мужчина в ватнике взял хлеб из рук мальчика и разделил его между нами всеми на много кусочков. Мне достался самый крошечный. Мы их проглотили мгновенно. Стоим и смотрим друг на друга: может, нам все это приснилось?

[лилиана и лео италия]

Итальянка с мальчишкой добрались до жарких холмов и черных кипарисов. Женщина глядела на свою родину широко открытыми глазами — она удивлялась ей и удивлялась тому, что она выжила. В войне главное — выжить.

Италия не только выжила, но и похорошела. Вернее, она была все такая же. Сухая земля, оливы, мутное молоко Тибра. Траттории, шум улиц, гудки машин. Люди Рима все так же топтали его мостовые, молодежь ночами забиралась в Колизей и там ночевала, парни распивали пиво, девчонки спали, подложив под головы куртки парней. Страна, родившая фашизм, не понимала, кого она выносила, выродила и сама же, глумясь и скалясь, убила.

Убила своим солнцем. Высоким и чистым небом своим.

Лилиана вернулась на окраину Рима, нашла свое кафе. Выбиты стекла, растасканы жалюзи. Грязными надписями измарана стена. В ее кафе все эти годы толклись столбом мошкары чужие люди: сначала тут собирались сторонники дуче и выкрикивали бешеные лозунги, потом нелегально торговали апельсинами, потом бюстгальтерами, а сейчас здесь спали бродяги.

Лилиана разогнала бродяг, как тараканов, чисто вымыла полы, вставила в рамы стекла, ввернула лампочки. Столы тоже украли почти все, а может, разломали и топили ими печь, кто знает. «Надо заработать денег, купить столы и стулья и заново открыть кафе», — жестко, холодно думала она. Маленький Лео, обняв ее за шею, тепло дышал, сонно бормотал, засыпал у нее на руках.

Она так и сделала: прежде всего восстановила всю обстановку. Накупила новой посуды, водрузила в зале красивые керамические вазы. Античный интерьер. Это очень стильно. Денег, заработанных ею, увы, не хватило на модную кофемолку и на хороший патефон. А какое кафе без музыки и без кофе!

«Какое, к дьяволу, кафе без подвала, где хранятся изысканные выдержанные вина».

Деньги на святое дело она заработала так: села на набережной Тибра, положила на колени деревянный планшет, на грудь приколола объявление: «Рисую портреты. Дешево и быстро!» От туристов отбоя не было, а у Лилианы еще со школы был мало-мальский талант к рисованию. Правда, у людей на ее портретах частенько светились красные носы, а один глаз бывал больше другого, но это не волновало ни заказчиков, ни художницу.

Две недели такой работы близ мутной, как анисовый пастис, реки — и в ее кафе снова столы, а на столах — пепельницы.

Не грех и самой покурить.

Лео ходил между столов, переваливаясь с ножки на ножку, наблюдал искоса, как Лилиана курит.

Мама, ты зачем выпускаешь дым? Его надо глотать!

Лилиана хохотала, хватала Лео, подбрасывала его в табачный воздух. Он сучил ножонками, тоже смеялся.

«Вот я и счастлива».

...девчонка. Эта девчонка. Ее скоро привезут.

...не думай о ней; просто кури, и все.

Настал день, когда на двери кафе Лилиана написала цветными мелками: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!»

Она сама напекла к открытию миндальных пирожных, сама наварила вкуснейшей пасты, а еще испекла огромную пиццу-моцареллу. Народ не повалил валом: народ появлялся робко, улыбаясь, проходя бочком в побитые войной двери. Одна девушка юбкой зацепилась за гвоздь в притолоке, порвала юбку, и Лилиана тут же

забила гвоздь молотком и прижала руку к груди, молча прося прощения. Девушка сама смущалась, сюсюкала, отбрасывала со лба густые темные мелкие кудри. Лилиана оценивающе, изучающе прищурилась: девушка слишком походила на еврейку — нос с горбинкой, выпуклые, как у зобатой больной, с поволокой глаза. «У нас в Аушвице с ней бы не стали церемониться».

У нас. В Аушвице. Она вздрогнула: долго еще она будет про Аушвиц говорить и думать: «у нас»? Вместо музыкальных записей в зале звучала живая музыка: Лилиана, совсем обнаглев, встала к микрофону и a capella пела народные итальянские песни — калабрийские, тосканские, миланские, сицилийские.

Лео, наряженный в бархатную курточку с белым воротничком, послушно сидел на стуле около бара. Нанятая за гроши официанточка сновала меж столиков, суетилась. Посетители уже курили. Они уже ели и пили, и заказывали еще и еще, и налегали на пиццу, и ковыряли в зубах зубочистками — все было как раньше, как всегда.

Все было, будто не было войны.

«А Аушвиц — был. Да, был. И я стреляла в людей. Вот этими, этими руками».

Она взглянула на свои смуглые руки. К запястьям пристали кусочки подсохшего теста. Она улыбнулась и тайком счистила их ногтями. От барной стойки опять подошла к микрофону. Ноги в туфлях, каблуки высоченные, гляди не споткнись, bella. Что ты им сейчас споешь?

В ушах зазвучал фашистский марш.

Потом до небес восстали страшные крики. Ад выбухнул из души, затянутой грязной ряской, и опалил грудь и лицо. Лилиана шатнулась. Крепко вцепилась в микрофон. Убитые ею люди пели, кричали, вопили, они пели ей дикую, нескончаемую песню смерти.

«Замолчите. Замолчите!»

Чтобы перекричать их, она громко запела сама.

— El muro bianco drio de la to’ casa,
ti te saltavi come un osele’to.
Joska la rossa, pele de bombasa,
tute le sere prima de ‘nda in leto.

Te stavi li co’ le to’ scarpe rote,
te ne vardavi drio da j oci mori,
e te balavi alegra tuta note,
e i baldi alpini te cantava i cori.

Через плетень твоей беленой хаты
Порхая, словно птичка, каждый вечер,
Девчонка рыжая, в фуфаечке на вате,
Была ты лучшею красавицей на свете.

Нам не забыть твои разбитые сапожки
И очи карие, что звездами сверкали,
Как танцевала ты, прекрасная Фиошка,
И наши песни до зари не умолкали. (*Пер. Виталия Леоненко*)

Голос срывался. Она сама себя не узнавала. Где ее хладнокровие? Эту песню она услышала впервые в конце 1943 года. Тогда в России была разбита вся итальянская Восьмая армия. Песню сочинили итальянские солдаты. Двое, чудом уцелев-

шие, побывали в Бжезинке в гостях у Фридриха Дросселя, друга коменданта Рудольфа Хесса. Лилиана сидела с ними за одним столом. Ела-пила-хохотала. Хесс привез итальянцев к Дросселю в автомобиле. Они дико замерзли, пока ехали. Снег валил. Проклятая снежная земля. Она все время спит. Она все время мертва.

— Oh... Joska, Joska, Joska,
salta la mura fin che la dura!
Oh... Joska, Joska, Joska,
salta la mura bala con mi!

———————————

Фиошка, Фиошка, Фиошка,
Танцуй со мною, пока я живой!
Фиошка, Фиошка, Фиошка,
Побудь со мною, не уходи! (*Пер. Виталия Леоненко*)

Песню эту выжившие в русской бойне итальянцы пели, опьянев, закрыв глаза, дирижируя слепыми руками. Красные щетинистые щеки, забывшие о бритве. У одного были обморожены пальцы. Забинтованная культя у другого. Он размахивал этой культей, отбивая такт. Потом открыл хмельные глаза, они блестели, будто в них налили постного масла. Его товарищ захотел потанцевать. Вскочил со стула и упал. Дроссель хохотал до слез. Слуги уносили пьяных итальяшек в спальню. Хесс кричал слугам: «Разденьте их! В сапогах на чистые простыни если уложите — головы размозжу!»

— Oh, Joska, Joska, Joska,
salta la mura, fermete la'!

———————————

Фиошка, Фиошка, Фиошка,
Побудь со мною, не уходи. *(Пер. Виталия Леоненко)*

Публика в зале кафе раскачивалась, хлопала в такт и пела вместе с Лилианой: «О, Йоска, Йоска, Йоска!»

Йоска — русская девчонка. Смешное, странное имя. Как у таракана. Как у обезьяны в цирке.

Да это же просто еврейское имя! Как ты не поняла, дура!

Лео улыбался и тоже хлопал в ладоши. Весь зал подхватил за Лилианой военную песню.

Под эту песню Лео засыпал. Ее он выучил наизусть и впервые спел в школе учителю, ожидая похвалы, а учитель тупо глядел близорукими глазами, а потом подошел и положил Лео руку на затылок, и так стоял, и не сказал ничего.

Эту песню Лилиана пела, когда однажды ее кафе загорелось, и она тушила пожар своими руками, потому что пожарные слишком долго ехали, и таскала ведрами воду в зал из кухни, и швыряла серебряную воду из грязных ведер на горящие столы, и подламывались у столов обгорелые ножки, а она твердо стояла на ногах, твердо, как всегда, — как там, в Аушвице, на перекличке, с наганом в кобуре на боку. Oh, Joska, Joska, Joska, salta la mura fin che la dura! Огонь боролся с ней, а она боролась с огнем. Подросток Лео возник на пороге, ранец за спиной. Он бросился к матери — помогать, а она тяжело дышала и все повторяла белыми губами: oh, Joska, Joska, Joska.

Пожарные наконец приехали и увидели в обгоревшем кафе женщину и мальчика, перемазанных сажей, они крепко прижимались друг к другу. Мальчик плакал, а женщина глядела прямо перед собой огромными ледяными сухими глазами.

Кафе отремонтировали, теперь у Лилианы водились деньги.

...девчонка. Ее привезут уже завтра. Завтра.

Как ты встретишь ее? Что ты ей скажешь?

«Кем ты хочешь быть, — спросила она Лео, — ты же ведь скоро окончишь школу?» Парень потупился. «Не знаю», — пожал плечами. «Ну тогда я знаю, — зло сказала Лилиана. — Перестанешь собакам хвосты крутить. Будешь готовиться к поступлению в академию». — «В какую академию, мама, — растерянно спросил Лео, — ты что, с ума сошла?» — «В академию Святого Луки».

[рыжий никита]

Афиша во всю стену. На немецком языке.

«Рыжий клоун, бесподобный Вальтер Хемницер покажет вам, где раки зимуют!

Начало представления в 18 часов!

Летний театр Зильбербург в Нойштадте!

Только сегодня! Спешите видеть!

Животики надорвете!!!

Умрете от смеха!!!»

Рыжий, красный, огненный человек, сдвинув брови, глядит на афишу.

Он сидит за столом в своем собственном доме. Перед ним кружка баварского пива. На толстом пальце его — два обручальных кольца: свое и жены, она умерла в прошлом году. Детей нет. Смеяться некому. Он потешает людей с холодным сердцем, и смеются они. А он не смеется. Нет. Никогда.

Вальтер Хемницер, на допрос! Ах! Да! Простите пожалуйста, герр оберштурмфюрер, я и забыл, что у меня допрос сегодня! А что вам такого смешного рассказать? Расскажи, Вальтер, как ты был мальчиком Никитой! Кем-кем?! Рыжим Никитой, русским мальчишкой! Как ты видел, как молодцы из зондеркоманды на телегах бодро возили из газовых камер трупы в крематорий, к большим печам! Что, и черный жирный дым тоже забыл?! Ах что вы! Как можно! Я там никогда не был. Я этого никогда не видел! Я знаете, где рос и вырос? Рос, рос и вырос! На счастливом голубом Дунае, вот где! Oesterreich, meine Liebe! Donau, mein Leben! Ich bin so gluecklich, dass ich bin Deutsch! Ах ты обманщик! Ты что все врешь! Говоришь, забыл, как евреи покорно, как сонные мухи, ползли в газовые камеры под музыку твоего любимого, обожаемого Иоганна Штрауса, под его весенние светлые, ласковые вальсы?! И ты, врун, лгун поганый, хочешь сказать, что даже не помнишь, как ты в Аушвице засыпал под мышкой у той красивой еврейки, той... как ее... ты говоришь, и имя ее забыл?! Ах ты, беспамятная дрянь! Как тебе из русского удалось стать немцем? Хитер ты, просто как еврей, я погляжу. А может, ты и есть еврей? Евреи рыжие тоже бывают. Ах ты, рыжий попугай! Раскрой, раскрой свой клюв! Скажи, скажи словцо! Крепкое, соленое. Гадкое! Чтобы мы все животы надорвали! Что молчишь?! Что?! Не хочешь говорить?! Не хочешь?!

Кружка пуста. Пиво закончилось. Есть еще шнапс. До спектакля еще шесть часов. Можно. Только одну рюмку. Только одну. Пей, герр Хемницер. Жизнь — гротеск, театр Арто. В театре Хемницера один актер. Да и тот почти спился. Неважно. Ничего уже неважно. Пока я рыжий, я играю. Стану седой — перекрашусь и опять буду играть. Главное — играть, а не жить, ведь правда? Играть пустой рюмкой. Играть душою пустой.

Двести марок за спектакль. По-моему, совсем неплохо.

Глаза раскрыты широко. Они жадно глядят.

Они пьют воздух, как молоко.

Глаза скоро устанут видеть мир. Перестанут.

Но пока час не пробил — они глядят, глядят.

Мир такой красивый. Мир такой вкусный. Мир такой смешной. Мир такой... такой...

Мир ужасен, глаза, вы одни знаете это.

Мир отвратителен.

Тогда зачем же все глядите и глядите на него, на мир? Все глядите и глядите, не переставая, век не закрывая? Что вы хотите рассмотреть? Что высмотреть в пещерах, руинах, заводях мира?

Может, вы хотите прочитать его, как читают руны?

Глаза, вы тихо шепчете: пить, пить, еще глоток, — но вас не видят и не слышат.

[лео в тибете]

Он собрался в дальнюю дорогу обстоятельно: холсты, свернутые в рулоны, подрамники — в самый большой вставлен поменьше, потом еще меньше, еще, еще и так до самого маленького деревянного квадратика. Деревянная мандала, усмехнулся он. Этюдник набит картонками 21х30, палитра тщательно вычищена мастихином, в пузырьках — растворители, остро пахнущие хвоей. На ногах превосходные кроссовки, в рюкзаке два теплых свитера и теплая куртка — в горах может быть холодно, и очень холодно.

Холод и любовь. Говорят, когда самолет взлетит слишком высоко, у него крылья покроются инеем, потом наледью, потом кусками льда, потом отвалятся, отпадут от стального туловища, и жалкий серебряный огурец рухнет на острые ножи вершин. Впрочем, это все легенды. Детские шутки.

Гул самолета погружал в сон. Сначала Пекин, потом Лхаса. Запахи били в нос: топленое масло, горький дым, сладкая черная шерсть. Яки шли по улицам Лхасы, и Лео, восхищаясь ими, вытаскивал из кармана блокнот и делал быстрые, нервные зарисовки.

Он беспричинно нервничал, хотя считалось, что синее, густое, плотное, как флаг, небо Тибета успокаивает. Головокружение вызывало приступы тошноты, и он на земле боролся с собой, как боролся бы в небе. Разложив этюдник напротив прилепившегося сотами к горе монастыря, Лео рисовал и рисовал, сжав губы и зубы, понимая: не удастся сразу схватить за рога этот мощный синий свет, эту тяжесть железных скал, небесный поцелуй нежнейшего заката. Вечерний свет лился в Лео, как вино в пустой бокал. Он ловил его губами.

Счастье, он был один. Он не любил туризм. По миру он ездил за ощущением нового цвета, за новым солнцем и новыми горами и реками. Набирал холстов и картона, да, но мог месяцами не писать — просто созерцать. Все же он ухитрялся много работать. Люди спрашивали его: скажите, маэстро Николетти, как вы ухитряетесь так много работать? У вас выставка за выставкой! Он отмалчивался.

Он не любил говорить.

Тибет принял его как своего. Тибет тоже был молчун. Молчали каменные сколы; молчали лохматые мочалки снегов, падающие с высоты в кромешную тьму. Молчали женщины Лхасы и Ладака, Лэ и Хемиса. Лео нанял водителя, и они оба мотались по дорогам Тибета — его проводник и шофер тоже молчал, они объяснялись жестами. Вместе с проводником они ели из деревянных мисок, обмакивая в растопленное ячье масло куски пресной жесткой лепешки. Никогда никакая еда не казалась Лео столь вкусной.

Замазав очередную картонку краской, он, не любуясь на этюд, сердито заталки-

вал его в ячейки этюдника. Пять этюдов — норма за день. Если получалось больше, он тихо радовался. Дело было не в количестве. Он искал.

Всегда искал блик. Мазок.

Луч света.

Его не нащупать кистью, он знал. Его надо сначала увидеть.

Пусть мистика, магия, пусть необъяснимо. Все равно. Тибет поймет его. Он прилетел туда, где его понимают. Понимают эти горы, это небо. Эти молчаливые женщины, идущие мимо подслеповатых домов с огромными горшками из тряпок, картона и камней на нежных затылках.

На пятый день Лео покинул селение и ушел в горы. Ушел один, хоть шофер и предостерегал его от одиночества: Тибет не любит одиноких путников. «Вы можете задохнуться, горы мало воздух, сердце тук-тук», — на ломаном английском печально говорил шофер. Лео усмехнулся и побил его кулаком по плечу: не бойся, друг, я бывалый.

В рюкзаке начинка для пиццы и тибетские лепешки. Он сделает из них пиццу. Легкая маленькая жаровня. Соль и перец. Бутылка с молоком. Бутылка с водой. Банка ветчины. Он же ненадолго. Один, два дня. И вернется.

На горной тропе надо ставить ногу боком. Иначе нога соскользнет, и ты покатишься вниз. Все вниз. Только вниз и вниз.

Лео не боялся глядеть вниз. Он был лишен страха высоты. Любил горизонты, любил простор; простор, объем синего воздуха расширял сознание, насыщал легкие хмелем кислорода, а мысли — внезапным пониманием ранее неведомого. Тропа вела вверх, все вверх и вверх, и он шел все вверх и вверх, радуясь восхождению.

Внезапно за каменным топором угрюмой скалы распахнулась свобода. Небо стало резко уходить вдаль, синева сгустилась до крепости граппы. Лео чуть не свалился в пропасть, удержался, рассмеялся. Остановился. Глядел на пять крошечных домиков с плоскими крышами и один громадный чортен. Черт, высоко забрались эти люди!

Он не хотел видеть людей. Разговаривать с ними. Он не знал языка, и ему было трудно. Однако подумал: натура, и, может быть, красивая. И может быть...

Что могло быть? Да все что угодно. Запах Тибета. Запах топленого ячьего молока. Он никогда не забудет тебя. Кто выйдет первым мне навстречу, того я и нарисую, загадал он, как в сказке.

Село как вымерло. Молчали дома. Молчали горы. Над крышами развевались яркие цветные флажки. У него сильно забилось сердце. Он находился высоко в горах, и прав был шофер, когда предупреждал его.

Лео сбросил с плеч рюкзак и этюдник, сел на землю, скрестив ноги, положив руки на колени ладонями вверх. Закрыл глаза.

Изнутри, из-под раздувающихся ребер, стали возникать звуки и прорастать сквозь туман, сквозь глаза, уши и лоб. Губами беззвучно он повторял то, что нежно росло, оплетало его влажными кровавыми хвощами.

В этот синий ледяной день
под синим оком бесконечности,
среди острых скал ножевых,
среди синих снегов, жгущих сердце,
ветер и злая метель
вступили на вершине горы
в сраженье с моей жалкой и легкой одеждой...

Губы его еще шевелились, когда уши услыхали шорох на тропе. За спиной.

Лео не двинулся с места. Сердце колотилось все так же — больно, часто. Он ды-

шал с присвистом, хрипло. Человек, идущий за его спиной, прошел вперед и остановился, и Лео увидел его.

Ее.

Это была старая женщина. Волосы ее были убраны под высокий тибетский чепец. Щеку разрезал надвое шрам. Может, падала в ущелье и чудом спаслась. А может, кто полоснул ножом. Лицо ее напоминало серую печеную картошку. Женщина равнодушно рассматривала Лео, как если бы он был жук или мышь.

— Намасте, — сказал Лео, сложил руки и прижал к груди.

Его глаза, против его воли, просили о помощи.

— Плохо тебе? — сказала старая женщина на своем языке. — Вижу, плохо тебе.

Она сняла с плеча котомку, пошарила в ней, вынула глиняный кувшин, его узкое горло было заткнуто грязной тряпкой. Выдернув тряпку и вытерев ею глиняное горлышко, женщина протянула кувшин Лео.

— Пей, — ее голос странно успокаивал. — Глоток, другой. И будешь жив.

Задыхаясь, Лео припал к кувшину. Кислое питье ударило в нос.

Тяжело дыша, он сидел, держал на коленях кувшин, а женщина, смеясь, глядела на него.

— Откуда я тебя знаю? — У нее был жесткий, как наждак, голос. — Я тебя видела.

Он не понимал, что она говорила. Сердце билось медленнее, все медленнее. Он перевел дух. Раздвинул пальцы, двигал ими, пытаясь жестами объяснить, спросить, рассказать.

— Я издалека. О! Я прилетел на самолете. — Показал в небо, вверх, и замахал руками, как птица крыльями. — Я итальянец. Итальянец! — Тыкал пальцем в грудную кость. — Это очень далеко отсюда. Очень! Я люблю твой край! Я изучаю землю! Всю землю! Я художник!

Он видел — она не понимала ни слова. Изобразил, как кисть движется по холсту. Как карандаш наносит штрихи на бумагу. Брови женщины ломались, новыми морщинами покрывалось напряженное лицо: она хотела понять — напрасно.

— Не говори. Замолчи. Я все равно не понимаю тебя.

Вот это он понял. Замолчал мрачно. Насупился.

Женщина снова втиснула тряпку в кувшин. Протянула Лео руку, как ребенку.

— Пойдем. Тебе надо отдохнуть. Потом пустишься в свой путь.

Он схватил ее руку. Она потянула его на себя. Подняла с земли.

Когда они стояли так, рука в руке, родное тепло побежало по чужим жилам. Жилы нашли, нащупали друг друга, переплелись, засияли, кровь смешалась, заскользила, перевивала красными, золотыми, черными листьями жалкую плоть, что завтра исчезнет, и ее зароют под камнями, под сколами скал. Тепло пронизало насквозь душу и вышло в широкое небо с другой стороны снеговой горы.

— Иди, — сказала старая тибетка, — иди. Ноги идут! Ноги идут!

И ноги шли.

И они шли в ее дом вместе, рука об руку.

И они пришли к дому.

Дом стоял отдельно от других четырех. Бедный, маленький, камень уже разваливался от старости. Но все еще прочно врастали в землю каменные ноги. Из-за обвалившегося загона им навстречу выбежали две овцы, качая рогами, вышел старый як с черной свалявшейся шерстью, за ним — его супруга, глухо взмыкивая.

Лео и женщина низко наклонились и вошли в узкую дверь: хозяйка просто толкнула ее рукой. Лео ничего не различал во тьме. Потом глаза привыкли, и он стал видеть.

Женщина с коричневым, мятым, как сапог, лицом наливала Лео молока в плоскую чашку. Пальцами скатывала шарики из ячменной муки. Достала из шкафа длинную вяленую мясную полоску и на доске, выточенной из крепчайшей горной лиственницы, стала мелко и тонко нарезать мясо и класть на широкое деревянное блюдо. Потом поставила на горячую плиту большую кастрюлю, насыпала на дно чайные сухие зеленые листья, залила их молоком. Закрыла кастрюлю крышкой.

— Подождем, — сказала тихо. — Ешь. Пей молоко.

Лео пил молоко и глядел на женщину благодарно. Она сделала попытку улыбнуться. У нее не получилось.

Сухие, сведенные долгим, длиною в жизнь, молчанием губы. Трудно разлепить их. Да и зачем слова? О чем говорить?

Прошло время. Часы? Дни? Лео погрузился в блаженство молчания.

Он перестал был европейцем. Все, к чему он привык, внезапно умерло, отошло в иное пространство. И время тоже умерло: взамен времени за плитой стояла эта женщина с коричневым лицом и ворожила над варевом, и каменный ее профиль повторял склон горы.

Она вылила варево в длинную высокую маслобойку-донмо, добавила топленого масла из ячьего молока и насыпала соли из горсти. Стала неторопливо сбивать кушанье. Сидела, обняв коленями донмо, и била, била, била тяжелой ступкой с медным наконечником. Лео ждал и не ждал. Он уже ничего не ждал и не хотел. Блаженство было достигнуто. Этот полупустой странный дом, будто инопланетный, его пустые темные шкафы, его пустые старые сундуки. Воздух сушеных трав под потолком. Медные цилиндры для безмолвных молитв.

Шкафы молчали. Потолок молчал. Глаза молчали. Лишь лампада близ медного Будды в углу горела, источая запах ячьего масла. Разве возможно написать такую картину? Иногда вещи передают боль времени и радость освобождения лучше, чем люди.

У этого шкафа есть глаза. Он умеет смотреть.

У этой маслобойки есть медные губы. Она улыбается.

Лео тоже улыбнулся, закрыл глаза и прислонился к стене. Он сидел не за столом — на полу, на веселом цветном ковре. Ковер потертый, зато мандала на нем красочная, сложная, много узоров, они все бегут к центру, к одной точке. Точка. Точка в центре круга; точка в центре свастики. Вон они, и на стенах нарисованы — ладьи, круги, мандалы, свастики, фигурки Будды и его боддхисаттв. По-детски намалеваны слепящими красками — оранжевой, резко-синей, цыплячье-желтой, безумно-зеленой, малиновой — глаза, глаза, много глаз. Глаза глядят, из прошлого, из будущего, с высоких гор, с недоступных небес, и веки изогнуты, нависают над радужкой, и зеленые и синие зрачки прокалывают сердце, накалывают его на иглы свои, бедную бабочку.

Глаза под гнутыми бровями. Глаза под алой точкой во лбу. Красная точка, это тоже центр мандалы, в ней сходятся вся боль и вся радость мира. Значит, человек тоже мандала? Живая молитва?

Женщина налила питье в чашки, внимательно посмотрела на Лео. Протянула чашку Лео.

— Зачем ты носишь с собой, кроме сумки, еще и коробку?

Она кивнула на этюдник.

Лео осторожно взял в руки чашку и отхлебнул из нее. Он думал, его вырвет, а напиток странно понравился ему: жирный, как сметана, пахнет топленым молоком, острый запах чая бьет в ноздри, возбуждает.

Он понял ее вопрос, вернее, ее кивок.

— Я рисую мир.

Она настороженно вслушалась в звучание чужих пугающих слов. Пожала плечами. Вытерла руки о полосатый груботканый фартук.

— Тебе нравится часуйма?

Она показала на чашку, из которой Лео пил.

— Да, я могу и это нарисовать.

От шумно отхлебнул и обжег губы.

— Я могу нарисовать и тебя.

Он показал пальцем на нее. Его палец коснулся ее груди, укутанной в темно-коричневое платье. Рукава платья были обвязаны вокруг живота женщины. Руки торчали из прорезей. Она поняла его жест как приказ налить себе часуймы. Налила. Прихлебывала.

Вот теперь, согрев губы, она смогла улыбнуться.

Он понял ее улыбку как согласие.

— Сейчас допью чай и попробую.

Сидели друг против друга, пили чай, то улыбались, то прятали улыбки. Горячие чашки с часуймой согревали им ладони. Умиротворение обняло Лео.

— Я бы хотел остаться здесь навсегда.

Он обвел рукой комнату.

Она поняла это так: душно, и надо открыть окно.

Подошла к окну, отворила створки. Сухой холодный ветер ворвался в дом. Послышался далекий колокольный звон.

— Что за колокола?

Лео изобразил руками тяжелую работу звонаря.

Она поняла это так: часуйма недостаточно густая, надо сбить еще.

Взяла в руки маслобойку, ступку. Лео поставил чашку на ковер и нежно вынул у нее из рук донмо.

— Не надо. Сиди так. Сиди спокойно. Я буду рисовать тебя.

Он показал ей руками, приказал глазами: сиди и не шевелись. Встал, разложил этюдник, надавил на палитру краски из тюбиков. Женщина смотрела спокойно, равнодушно. Лишь на миг глаза ее сверкнули, когда Лео выдавил на маленькую доску с дырочкой для пальца ярко-алую, цвета свежей крови, краску.

Она тихо сидела, и он писал ее маслом на картоне. Кисть сама нащупывала морщины, выгиб шеи, смуглый загорелый лоб под тяжелым высоким шерстяным чепцом, гладила выступы голых надбровных дуг — она брила брови, а может, волосы выпали от старости, — чуть слышно касалась мешков под глазами, бледных тонких губ. Женщина в молодости была красива, он это понимал. Она и сейчас была красива. Старость тоже красива. Старость — время прощания, и по-особому блестят глаза под отечными, складчатыми веками, и седая прядь на сквозняке дрожит нежностью увядания. Такая нежность больше и чище юной слепой любви.

Такой красивый этот полосатый фартук, полоса синяя, полоса желтая, полоса темно-лиловая, полоса белая, как снег. Ярче всех красная полоса. Чем, какой краской они тут красят овечью и ячью шерсть?

Он менял и менял кисти, они стучали в руках друг об дружку. Постепенно он тонул в чистом синем озере восторга. Между ним и натурой протянулись крепкие невидимые нити, тоньше волоса, тоньше паутины. Нити натягивались и дрожали. Они оба стали слышать общую музыку. Женщина сжала губы, удерживая внутри крик. Их глаза скрестились, и теперь они тонули вместе, незримыми руками обхватив прозрачные тела друг друга. В них текла общая кровь.

Они дышали вместе. Вдыхали вместе. Выдыхали вместе.

Он слышал, как внутри него, в груди, под теплой рубахой, под смуглой кожей и крепкими костями, бьется ее сердце.

Вдох — выдох. Вдох — выдох. Вдох...

Кисть обласкала висок женщины. Ударила лучом света в ее глаз, в зрачок. Зрачок загорелся. Осветил дом. Дом тоже тонул вместе с ними, погружался во тьму близкой ночи.

— Ты проголодался?

Почти без звука задала она вопрос.

Лео оставил его без ответа.

Кисть ходила по картону, подцепляла краску. Кисть существовала в его руке отдельно от него, сама по себе, и это кисть приказывала ему — делай то и это, — а не он ей. Пахло скипидаром, и у женщины раздувались ноздри. Видимо, у нее затекла нога — она пошевелилась, и мучительно наморщился лоб.

Лео опомнился.

— Все. Хватит.

Встал и глядел на то, что у него получилось.

На картонке ничего не было.

Он видел пустой квадрат.

Он не видел ничего.

— Что со мной?!

Крикнул страшно, дико. Вращал глазами. Тер их кулаками.

Задрожал — и дрожал, не переставая.

Теперь он не видел. Только чувствовал.

Старые руки нежно легли ему на плечи. Ощупали его лицо. Его уши. Пальцы гладили его нос, его брови, его веки.

— У тебя болит голова?

Если бы знать, о чем она говорит. Если бы знать.

— Что со мной, скажи мне?!

Руки властно приказали ему: ложись. Рука сжала его перемазанную краской руку и сказала: успокойся. Перед Лео поплыл цветной воздух, стал сгущаться, из темноты нахлынула одна ярко-синяя горячая волна, потом поднялась другая, еще более страшная, густо-алая. Краски рушились на него водопадом, сбивали его с ноги, захлестывали ему лицо, залепляли нос и рот, и он стал задыхаться. Ловил ртом воздух, а воздуха не было. Вместо воздуха бешено плясали над ним, погребали его под собой краски.

Из синих и зеленых цунами родились пятна яркого до боли света, пятна превращались в лица, и он не знал эти лица, но узнавал их. Их узнавала его кровь. Рты орали, искаженные ненавистью. По щекам текла черная кровь. Дымы наслаивались, разбегались и снова заволакивали лбы и каски, подбородки и кричащие губы. Война, сказал он себе, это война, я на войне, и я ослеп. На него из серого дыма бежал человек в гимнастерке цвета болотной травы, он держал перед собой автомат, он стрелял, он кричал, и Лео узнал себя.

Что ты тут делаешь, крикнул он сам себе, давай вали скорей отсюда, тебя сейчас подстрелят, как куропатку, как утку на болотах, ты слышишь, куда ты?! — но он сам бежал на себя, и сейчас он проткнет себя штыком, и повалится на горячую землю, и дымы закроют его, и земля засыплет, и небо навалится всей тяжестью, а где же небо, где?! Он вертел головой, ища небо, но небо пропало, неба не было, он его не видел.

Он не видел неба. Он видел только одну черную краску боя, и серые дымы, и безобразно орущие лица. Он кричал и бежал на себя, и он выстрелил, огненная полоса прорисовала в нем красные дыры, и он ударил себя штыком, и штык вошел в живое тело с мерзким хрустом, и он кричал сам себе: а где же боль?! Я не чувствую боли! Не чувствую! Я ничего не чувствую!

Я мертв. Заморожен. Я высоко в горах. Я ослеп. Я больше никогда не увижу мир.

Никогда?! Ну это мы еще посмотрим!

Посмотрим... посмотрим...

Шарил руками вокруг себя. Чужие теплые руки схватили его за запястья.

— Я умер, и я под землей? — спросил он чужие руки.

«Мы тебе не чужие, мы тебе родные», — сказали руки.

Лео затошнило, он повернулся на бок, чтобы его вырвало на сырую, политую кровью землю, на дымы и огни. Он содрогался, прошлое вылезало из него вслепую, на ощупь, и потроха выталкивали наружу все забытое, тайное, скверное, гадкое, грешное. Утаить от себя свой грех! Скрыть, закрыть старой газетой, старой шубой, старой шляпной коробкой грех родивших тебя! Лицо Лилианы вынырнуло рядом с ним, он видел ее тело, оно билось и играло в дымной воде не хуже дельфина. Мама, ты видишь, я ослеп. Мама, ты видишь, я не могу без слез!

Голову схватило обручем. А, вот ты, боль, пришла. Он поднял слепые руки и плотно обхватил ладонями лоб, шепча: уйди, боль, уйди, уйди. Чужое дыхание обожгло его. Тихо, тихо, сказал старый скрипучий голос на чужом языке, не шевелись, ты должен лежать. Он именно так понял этот медный звон, доносившийся из чужого рта. Горячее молочное чужое дыхание обдавало его закинутое слепое лицо. Легкие застлала пелена. Легкие тоже ослепли. Забились сизым дымом.

«Так вот что такое война», — подумал он, а грудная клетка напрасно раздувалась, и зря он двигал ребрами туда-сюда, пытаясь заглотать кроху воздуха. Воздуха больше не было. Так же, как и неба. Под ним лежала, расстилалась лишь земля, и он спиной чувствовал ее, как чувствует мужчина женщину, лежа голой спиной на ее горячей мягкой груди, на пылающем животе. Легкие обратились в дым, и он теперь пытался вытолкнуть этот тяжелый, густой дым вон из себя, вместе с кислыми сгустками рвоты. Пища прошлого не пошла впрок. Пицца, паста, томаты, свежее кислое кьянти. Галеты, камамбер, шоколад из военных пайков. Ты же насквозь проткнут штыком, Лео, и ты лежишь на чужой земле! Ты умер в бою на чужой земле! Вот кто ты теперь! Труп!

«Я погиб на родной земле, врешь ты все», — из последних сил вышептал он сам себе.

Закинул голову в судороге. Выгнул горло. Старая женщина глядела на торчащий чужой кадык. Подтерла чужую блевотину цветным полосатым фартуком. Поднесла к чужим губам питье. Часуйма остыла, чужой рот не обожжет.

Губы увидели. Губы узнали. Губы припали к краю чашки, как к чужим губам.

— Тихо, тихо, родной, — сказал чужой голос.

А может, он сказал: лежи, лежи, люби?

Подо лбом, за глазами, внутри, в кромешной тьме, стал разгораться веселый и красивый свет. Вот бы написать такой, подумал Лео, и внезапно ему стало хорошо и спокойно — чужие руки гладили его по щекам, в горло лилось теплое жирное питье, дышать было уже нельзя, но и без дыхания было тоже хорошо. Еще светлее и нежней, чем прежде. Дым рассеялся, руины выступили из тумана. Под сапогом хрустел битый кирпич. Чужой город глядел на него, слепого, пустыми черными глазницами мертвых домов. Он не видел город — город видел его. Он шел, протянув вперед руки, бросив на землю ненужный автомат, шел прочь, уходил от своего мертвого, никому не нужного тела, брел, шагал, не оглядывался. Никогда не оглядывайся назад. Никогда.

Он шел прочь от себя, он покидал войну, на которой не был никогда, и ощущал, как в нем течет, переливаясь и тихо шепча, чужая кровь — кровь неба, кровь солнца, кровь синей Луны. Он уходил от себя, и уходил от людей, и шел навстречу тому, что еще только будет, когда-нибудь, не сейчас — миру, хрупкому, как глиняная чашка, вкусному, как жирное желтое молоко, — и тихо звучал, в такт его медленным

шагам, колокольный звон, летел в небо, улетал, парил над горами, над снегом, над синим ветром, над железным морозом. И чужая рука держала его руку, и он пальцами, теплой кровью видел эту руку и слепым дыханьем видел чужое лицо, оно наклонилось над ним, и слепыми мелкими, детскими слезами он целовал сморщенные печеные яблоки чужих щек. Чужая жизнь низко наклонилась над его незрячей жизнью, и обняла его, и крепко, крепко прижала его к себе.

Боль стала глазами. Легкие стали глазами. Кровь стала глазами. Ладони стали глазами. Лоб стал глазами. Щеки стали глазами. Губы стали глазами. Груди, ноги, ребра, живот стали глазами. Он весь стал одними глазами, и глаза эти теперь видели прошлое и настоящее, умершее и будущее, они глядели вдаль, и вширь, и вокруг себя, и внутрь себя, и внутрь других людей, и внутрь боли, и внутрь счастья, и внутрь земли, и внутрь последнего воздуха, и внутрь неба. Он прозрел, но прозрел так могуче, что сам себе удивился: я ли это?

И понял: да, это он, только иной, не такой, как прежде.

И становясь навек великими, нежными мира глазами, улетая, видя насквозь водоросли и звезды, зачатья и смерти, присутствуя свидетелем при рождении и при гибели мира, он услышал над собой, навзничь лежащим, этот голос, старый голос, чужой, сходящий на хриплый шепот голос:

— Молись, чтобы не стать в будущей жизни животным или рабом. И я буду молиться.

Далекий нежный голос забормотал слова на медном звонком языке, и он сверху, из-под потолка, из-под туч и облаков, клубящихся над снежными горами, увидел эту женщину: она стояла на коленях перед ним, лежащим и задыхающимся на ярком веселом ковре, сложила руки на груди, молилась, ссутулилась, чепец дрожал на затылке, белела на дне донмо жирная часуйма, синели крупные тяжелые камни ожерелья, сполз с живота полосатый фартук, и он не знал, уходя, улетая, что ее зовут Дава, что по-тибетски означает Луна, и что она его родная сестра.

[интерлюдия]

Так говорит товарищ Сталин:

> Товарищи! Соотечественники и соотечественницы!
>
> Наступил великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию.
>
> 7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляции. 8 мая представители немецкого главнокомандования в присутствии представителей Верховного Командования союзных войск и Верховного Главнокомандования советских войск подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось с 24 часов 8 мая.
>
> Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора и соглашения пустой бумажкой, мы не имеем основания верить им на слово. Однако сегодня с утра немецкие войска во исполнение акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие и сдаваться в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это — действительная капитуляция вооруженных сил Германии. Правда, одна группа немецких войск в районе Чехословакии все еще уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной Армии удастся привести ее в чувство.
>
> Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день окончательного разгрома Германии, день великой Победы нашего народа над германским империализмом.

Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией.

Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира между народами.

Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться». Это было три года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было сбыться, — ход войны развеял их в прах. На деле получилось нечто прямо противоположное тому, о чем бредили гитлеровцы. Германия разбита наголову. Германские войска капитулируют. Советский Союз торжествует Победу, хотя он и не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию.

Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей полной Победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития.

С Победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы!

Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом!

Слава нашему великому народу, народу-победителю!

Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа!

Военная симфония. Финал. Allegro vivace

Радостно идти по дороге.

Радостно идти по дороге вперед; солнце палит затылок, руки заложены за спину, глаза чуть прикрыты, линия горизонта лентой из косы трепещет на ветру и пляшет, деревья по сторонам дороги машут зелеными руками, и все это весна, и все это мир, и все это жизнь. Даже странно, что все это жизнь, хотя я знать не знаю войны. И меня зовут совсем не Ника; и, между прочим, тоже красивое имя — Неника, ну пусть меня так немного поназывают облака и птицы, ручьи и нивы. Неника! Я Неника, и я никого не побеждала. Никого не убивала. Я даже не знаю, как это — бороться, убивать и побеждать. Каково это — воевать. Я такая дура, что даже не знаю, сколько мне лет. Еще чего, открывать людям свой возраст! В детстве я была всезнающей старушкой, а в старости буду озорной девочкой. Все меняется местами. Мы отражаемся в самих себе — так в картах дама отражается в даме, а король в короле. Мы отражаемся в своем детстве, а детство весело и безжалостно выманивает нас из наших старых, потертых, исцарапанных ракушек — нас, серых улиток, медленно доползших до последней радости. Радость! Чудный отблеск Рая! Дочерь, милая богам! Мы вступаем, неземная, огнехмельные в твой храм! Власть твоя связует свято все, что в мире врозь живет; каждый в каждом видит брата там, где реет твой полет! Тот, кому быть другом другу жребий выпал на земли, кто нашел себе подругу...

...солнце бьет в глаза. Остановилась: птица поет прямо надо мной. Сидит на ветке, уцепилась коготками за ветку крепко, не оторвать, и поет, поет. И я пою

вместе с ней. Неника, а ты хорошо поешь! Ты училась пению? Нет, нигде не училась! Я просто люблю петь! И я пою о радости! И я пою в радости! Оттого, что иду по дороге, где не стреляют в меня! Что иду по полям, где не лежат друг на друге мертвецы! Что солнце не пробивает лучами смертоносный туман! Что тишина кругом, тишина, тишина! И я одна! Иду в тишине! И мир во мне! И в мире я...

...с нами радость тот дели! Также тот, кто здесь своею душу хоть одну зовет; кто не может — пусть скорее прочь, рыдая, отойдет! Радость! Ты души царица! Ты берешь меня в полон! Дай тобою насладиться — ярко вспыхнет небосклон! Реки, горы, храмов звоны — ясен, счастлив мир земной... Обнимитесь, миллионы! Слейтесь в радости одной!

Обнимитесь, миллионы... Слейтесь... в радости...

Тихо! Встань. Птица не поет больше. Тишина оборвалась. Гул. Он растет и поднимается издали. Изнутри? Извне? Кончилась тишина твоя. А где же, Неника, радость твоя?

Не бойся. Это просто гроза. Молнии играют. Тучи наплывают. Дождь встает стеной. Слейтесь в радости...

...одной...

[елена дьяк-померанская — ажыкмаа хертек]

Дорогая тетя Ажыкмаа!

От вас давно не было писем, и я беспокоюсь, как вы там, моя милая? Все ли хорошо со здоровьем? Сегодня день рождения Ники, я всегда помню про ее день рождения и отмечаю его. Вот сегодня на Никин день рождения я испекла пирог с ягодами, раньше мама тоже такие пироги летом пекла. Почему-то подумалось, что мы с Никой родились в один месяц, в августе. Не представляю Нику седой и с морщинами. Она для меня навсегда останется веселой девочкой со смоляными волосами и хитрыми раскосыми глазенками. Я нашла ее старую фотографию и повесила в рамочке над кроватью в нашей спальне.

У нас с мужем все хорошо. Недавно отметили ему юбилей. Гостей пришло много, дарили подарки, были и взрослые и дети, детки даже написали мужу песню, исполнили и посвятили, и преподнесли ноты и слова. Я играла и плакала. Очень слезливая я стала, сама себе удивляюсь. Надо, наверное, купить в аптеке валерьянки или какое другое успокаивающее. В Америке, наверное, хорошо с лекарствами: можно такое купить, чтобы навек забыть все горе. Говорят, сейчас такие таблетки уже есть.

У нас стоит ужасная жара, необыкновенная, такой еще никогда не было, даже когда мы жили в СССР. Сорок два градуса по Цельсию днем, ночью плюс тридцать. Я задыхаюсь и пью корвалол и валидол. Это старые советские лекарства, я новые не покупаю, для нас с мужем слишком дорого.

Машину мы так и не купили, не на что. А вот Славик хочет купить, хотя ему тоже не на что пока. Но он верит, что заработает. Я уже получаю пенсию, но с работы не ушла — пенсия очень маленькая. А в советские времена, при Сталине и Хрущеве, ведь тоже была очень маленькая: я вспомнила, что моя бабушка, мамина мама, получала пенсию двадцать восемь рублей и, чтобы свести концы с концами, пускала квартирантов.

Я убедилась за всю свою жизнь: жизнь всегда тяжела, она просто никогда не бывает легкой и сытой. И богатые тоже трудятся. И тоже плачут. Как и бедные. Был такой фильм: «Богатые тоже плачут». Я смотрела и плакала, такой хороший фильм. А у вас в Америке его показывали?

Я благодарю Бога за каждый день. Хочу жить долго. Но как Бог даст. Никто из нас не знает, когда уйдет. Вот о вас беспокоюсь: как вы там одна? Вы хоть кошечку

заведите себе. Будете сидеть в кресле, гладить бархатную кошечку и тихо плакать. Я часто подхожу к рисункам Ники, прикасаюсь к ним, глажу рамку, как гладила бы Никины волосы. Муж позолотил рамки, теперь рисунки как будто в нарядном платье. Я смотрю на войну на рисунках и все думаю: Ника умела летать по временам, ей это было дано. А нам — не дано.

Целую вас крепко-крепко, моя дорогая тетя Ажыкмаа. Я очень люблю вас и буду любить всегда. Не забывайте меня. Всегда ваша Лена.

[италия кафе сын ивана]

— Мне, пожалуйста... э-э-э, как это по-английски... черт!.. вэн, вина немного!

За ресторанным столиком, на ярком и жарком солнце, в кафе, на открытой веранде, в виду шумной улицы и бегущих мимо римлян, русский, не знающий итальянского языка, на пальцах показывал официантке, сколько же все-таки вина ему принести: столько или вот столько.

— Вот столько? — Официантка показывала пальцами размер длинного бокала. — Что господин желает? Бароло? Барбареско? Вальполичеллу? Речотто? А может, кьянти «Брунелло ди Монтальчино»?

Русский сжал кулак, изображая невероятную крепость напитка.

Официантка откинула голову с тяжелым черным пучком и расхохоталась:

— А, граппу! Так бы сразу и сказали!

Русский беспомощно развел руками. Засмеялся.

Так смеялись оба, заказчик и обслуга, и посетители кафе на них оглядывались.

Русского звали Юрий Макаров, и он приехал из СССР в Италию поснимать на хороший фотоаппарат страну, людей и великие произведения искусства. Юрий работал фотографом в маленьком городишке Козьмодемьянске, а об Италии много читал книжек и глядел альбомов; и вот однажды сказал жене: я буду не я, а в Италию съезжу! Возьму и съезжу, и баста!

Жена Рая не знала, что «баста» — итальянское слово. Да и сам Юрий не знал.

Однако слово оказалось волшебным: и денег всего за год удалось накопить, и путевки в иные страны подешевели.

— Граппа? Красиво звучит, черт побери! Давай тащи граппу!

Закивал согласно. Черноволосая официантка все так же смеялась, записывала в блокнотик заказ. Смуглая грудь поднималась в овальном вырезе платья, и Юрий косился на этот вырез, глаза сами туда так и ныряли. «Каково снять девчонку голой в постели? Порнография. В Союзе посадят. И не пикнут. А Рая узнает?»

Туристы, вся его группа, сидели за другими столиками, между столами сновал гид, вскрикивал, руками махал, мешая итальянские и русские слова.

Юрий оглядывался по сторонам. Узкие, с чувашским прищуром, хитрые веселые глаза все впитывали, запоминали. Он был сам себе фотоаппарат. Настоящий фотоаппарат висел у него на груди, на ремешке. Светло-желтые, цвета соломы, волосы поднимал легкий теплый ветер — столики кафе стояли под широченным полосатым тентом, и можно не бояться, что голову напечет. Официантка уже несла на подносе бутылку граппы, огромную пиццу и похожий на огурец зеленый бокал.

— Может, воды желаете? — спросила весело.

Юрий пожал плечами, улыбнулся. У него не хватало трех верхних зубов. Время съело. А к зубному недосуг сходить. Да и страшное это кресло. Пытают тебя сверлом, не зуб, а мозги дырявят.

Ушла красивая девушка, вильнув задом, махнув короткой юбчонкой. Юрий проводил ее глазами и принялся за пиццу. То ли нож попался тупой, то ли вилку плохо упирал в тарелку, да выскользнула пицца из-под руки, как скользкая живая

рыба, и полетела — вбок и вверх, и шлепнулась, подлая, прямо на грудь женщине за соседним столиком!

Юрий встал из-за стола, краснее красного перца.

Руку к груди прижал.

— Извините меня, простите великодушно...

«Что бормочешь, дурак, тут же никто русского не знает, болтай не болтай. Ох, теперь придется заплатить ей! Штраф какой-нибудь. Ведь такое красивое платье даме попортил, рукосуй. Тебе бы не по Италиям ездить, а в хлеву коровьем навоз нюхать».

Дама сидела растерянно, по белому летнему платью ползла вниз томатная паста, сползали кусочки помидоров и расплавленный в печи сыр, и белая, почти свадебная ткань впитывала красный соус и оливковое масло. Живая пицца, подумал тоскливо Юрий, вот бы снять. Но тогда уж точно на него в итальянский суд подадут.

Дама услышала его голос. Его речь. Обернулась. Вскинула голову настороженно, испуганно. Вытянула шею. Вот-вот вспорхнет, улетит, белая птица. Вокруг ее головы вилась седая, серебряная коса, вкрадчиво обкручивала лоб, заворачивалась за ухо с пронзительно сверкающей алмазной сережкой.

— Господи, — сказала седая дама по-русски. — Господи!

Ее смуглая сухопарая рука поймала падающую с подола пиццу и нервно, крепко сжала, смяла. Раздавленные томаты поползли между пальцев.

— Русская, — сказал Юрий и шагнул вперед. — Ой, да что же это я наделал!

Одним шагом допрыгнул до стола дамы. Встал на колени перед ней. Фотоаппарат мотался на груди, мешал собирать у нее с колен несчастное кушанье. Футляр в соусе извозился.

— Встаньте, — сказала серебряная дама тихо, — встаньте скорее. Вы русский турист? Вы надолго в Риме?

— Простите...

— Бросьте! Я рассержусь! Все чепуха. Ждите меня здесь!

Она встала, высокая, гордая, выше его ростом, и, не качаясь на высоких каблуках, твердым, почти строевым шагом прошла к двери кафе и вошла внутрь. В туалет, догадался Юрий и стал ждать. Скоро явилась: все платье мокрое, но чистое, и когда, и чем успела отстирать? Смеялась.

— Ну все, я как из моря! Как на пляже! Точно?

Он старался хохотать вместе с ней, хоть краска стыда со щек не сходила.

— Точно!

Вместе смеялись, хорошо, весело.

Дама, превратившись в девчонку, схватила его за руку.

— Откуда вы приехали? Из Москвы?

— Нет, не из Москвы! Из... Козьмодемьянска... это, знаете, на Волге...

Застыдился своего маленького, затерянного в лугах и полях городочка.

— Все равно! — Она сжимала его руку. — Расскажите про Россию!

— Про Советский Союз?

— Про Советский Союз!

— Попробую...

— Там у вас сейчас большие перемены! Горбачев хочет все изменить! Чтобы больше было свободы!

— Да. Чтобы больше было свободы.

Он больше не знал, что сказать. Сидел напротив нее за ее столиком. Тоскливо покосился на бутылку граппы — на своем столе.

— Можно, я нам сюда выпивку возьму? Я заказал, вон принесли.

— Конечно!

Она улыбалась белыми, ровными зубами, алмазы в мочках резали сиянием

воздух. Солнце палило. Машины шуршали по асфальту, гудели. Туристы из его группы осуждающе глядели на него, болтающего с незнакомой женщиной. Гид из-за чужих голов одобрительно помахал ему рукой: давай, брат, не теряйся! Он цапнул со стола граппу и зеленый бокал и опять присел к ней, на плетеный соломенный стульчик, поближе.

Разлил граппу по бокалам. Глянул на седовласую. Ее лицо внезапно сделалось чудесно молодым, ярким, розовели щеки, и морщин вроде было уже не так много. Он склонил набок голову, она ощупывала глазами его загорелое раскосое лицо.

— А вы нерусский.

— Нет, русский.

— Ну что вы мне говорите!

— У меня бабушка чувашка.

— Вот это ближе к истине.

— А вы... здесь живете?

Она продела ножку бокала сквозь пальцы, баюкала бокал в ладони.

— Нет. В Америке. Я прилетела в Италию в гости.

— А! А я думал, вы туристка, как и я же!

— У меня здесь похоронена подруга. Даже и не подруга, а... — Она задумалась. Грела ладонью граппу в бокале. — Не знаю, как вам объяснить.

— Не объясняйте, — он махнул рукой, — если не надо, то не надо.

— Сначала я у нее была служанкой, а потом... Я, знаете... Это как-то сразу трудно... Но тогда вы ничего не поймете, если я... Я была в лагере. Ну, в концлагере. В Аушвице.

— Где-где?

У Юрия вспотели руки. Он поставил бокал на стол.

— В Освенциме. Так по-польски. По-немецки — Аушвиц. Она была моей хозяйкой. Она... была... главной... над женскими бараками. И помощницей врача. Она убила много людей. Очень много. Я ей прислуживала. Меня угнали на работу в Германию. Так получилось. Слава богу. Ведь я осталась жива.

Дама смущенно улыбнулась и подняла бокал.

Юрий схватил свой. Ударил бокалом о бокал. Все плыло вокруг. Он ничего не понимал. Мокрое платье дамы облепляло ее плечи, грудь и живот, у нее была еще очень красивая фигура. Стройная. Под мокрым шелком ясно обозначались клавиши ребер, впадина пупка. Шею обматывала связка жемчугов. Искусственный или настоящий, подумал он, черт знает. Солнце падало наискось, из-за края полосатого тента, ей на колени, и шелк быстро высыхал. Она повела плечами и пригубила граппу.

— Ах... Хорошо!

У Юрия тряслись губы, и он выпил граппу залпом, чтобы успокоиться.

— Вы такой впечатлительный, — утешающе сказала дама. — Не надо мне было про войну. Давайте о чем-нибудь хорошем. Как вы живете в этом вашем... Кусмо... Космо...

— Козьмодемьянске.

— Козьмодемьянске.

— Живу хорошо. Жена Раиса, двое детишек у нас, девочки. Я фотографирую, а еще летом как строитель подвизаюсь, строю дома, баньки... ну, в марийских деревнях. Платят мне! Я фото цветные делаю. Места у нас красивые. Леса, грибы. Напротив, знаете, Юрино-на-Волге, там замок графов Шереметевых, так я там народу ужас сколько наснимал! Тьму. Так и живем... хлеб жуем. Не жалуемся! А вы там как, в Америке?

Она еще один глоток сделала. Скулы ее горели. Она опустила глаза, и он увидел: у нее ресницы тоже седые, белые, как у альбиноса.

— Я была замужем. И у меня тоже было двое детишек, как у вас. — Подняла глаза. Они насквозь были высвечены ярким, жестким светом. Он видел дно ее жиз-

ни, ее души. — Мой муж занимался автомобилями. Процветал. Девочки очень красивые... были.

— Были?

Он уже все понял.

— Мы все разбились на машине. На его новой машине. Он дорого купил. Самую новую, последнюю модель. Очень красивая машина. Как женщина. Такие женские формы. Плечо... бедро... — Она повела в воздухе рукой. Он не понимал, шутит она или нет. — Мы поехали во Флориду. На океан. На пляжи. Я хотела показать девочкам океан. Искупаться. Вдоволь накупаться в теплом море. В синем море. На просторе.

Он понимал: она говорит сейчас, просто чтобы говорить, чтобы выговориться. Застыл. И граппа куском льда застыла в бокале.

— Муж водил машину хорошо. Даже очень хорошо. Ездил быстро, но грамотно. Он безупречно водил машину. Не придерешься. Мы сначала хотели приехать в Новый Орлеан. Девочкам показать город. На подъездах к Новому Орлеану на встречную выехала грузовая фура. Она снесла нам весь левый бок. Я сидела справа, на заднем сиденье. Муж и Дези погибли сразу. Лили еще жила трое суток. Еще жила. Пока она жила, жила и я. А потом я умерла. А потом меня воскресили. Но я до сих пор не знаю зачем.

Она одним жадным глотком выпила граппу. Зажала рот рукой. Так сидела, закрыв глаза. Юрий положил руку на ее руку.

— Не тоскуйте. Это все жизнь.

— Да, — кивнула она, — это все жизнь.

Прикоснулась к темной бутылке прямо перед собой. Слабо улыбнулась. Ее улыбка улетела мотыльком-однодневкой.

— Еще нальем? Это хорошее кьянти. Я люблю кьянти.

Юрий разлил красное вино. Осторожно поставил бутылку на стол.

— Вы здесь живете у друзей?

— У друзей. В семье. Это родня моей бывшей хозяйки. Они ухаживают за ее могилой. А это ее кафе.

Она кивнула на столы, на стулья, на гудящую речами и смехом веранду.

— В каком смысле ее?

— В прямом. Она была его владелицей. Еще до войны. Я всегда приезжаю сюда, заказываю кьянти и долго сижу. Вспоминаю.

Опять эта просящая, умоляющая простить улыбка.

Юрий осмелел.

— Как вы можете приезжать на могилу убийцы?

Женщина опустила голову под тяжестью серебряных кос.

— Могу. Вот так, могу.

— Почему?

— В том аду, — голос русской был ровен и даже весел, будто бы она не о войне рассказывала, а о партии в гольф, — любое человеческое отношение уже было счастьем. Можно сказать, я была счастлива.

— Счастливы? В Освенциме?

— Да. Счастлива. В Освенциме. И я тогда была не просто молодая — я была ребенком. И я была жива. И меня хорошо кормили. И ко мне хорошо относились.

— Вот как, — Юрий сжал кулаки под столом. — За тарелку супа вы полюбили эту нечисть?

— А что вы хотели бы? Чтобы я пошла и убила из игрушечного автомата коменданта лагеря?

Ему нечем было крыть. Он опустил голову.

— И она не одну меня спасла. Она спасла еще одного человека. Мальчика. Как это, — она искала русское слово, — новорожденного, да, младенца.

— Младенца?

— Ну да. Его родила одна девушка. Еврейка. Родила и ушла в газовую камеру. А ребенка усыновила моя хозяйка.

Юрий положил руки на стол и опять сцепил кулаки.

— За две спасенных жизни — тысячи расстрелянных и сожженных? Хороши ваши весы!

Женщина провела пальцами по гладкой, ухоженной щеке. «Женщина без возраста, — подумал Юрий, — кремами мажется, молодится, ну да, богатая, муж погиб, состояние осталось. А как хорошо сидит! Вот сейчас надо снимать».

Его руки беззвучно вытащили из футляра фотоаппарат, как пистолет из кобуры. Он навел объектив, поставил выдержку — бессознательно, увлеченно, не сводя с белокосой дамы глаз.

Она увидела, что он делает, отняла руку от лица и беззвучно рассмеялась. Повернулась к нему в профиль. Он снимал, снимал и снимал. Аппарат тихо щелкал.

— Вы правы. Это неправильные чаши весов. Очень неверные. Каждый человек эгоист, да? Каждому — дороже всего его жизнь? — Она вздохнула. — А вы верите в то, что великий грешник может стать святым? Убийца — стать святой? Нет? Да?

Юрий опустил фотоаппарат. Поправил выдержку.

— Что вы молчите? Да или нет?

Он опять направил на нее объектив. Как дуло. Она вздрогнула.

— Да. Верю.

Она облегченно выдохнула. Поправила косы.

— А я не только верю. Я знаю. Это не миф. Не сказка. Я видела, как рос этот мальчик. Я приезжала сюда. Я видела, как эта женщина, эта, — она опять искала слово, — собака... сука... простите... стала женщиной. Матерью. Как в ней родилось сердце. Как она сама в себе родила человека. Не все преступники способны на это. Она смогла.

— Сядьте вот так, — Юрий облокотился на стол. — Смотрите вдаль. Да, вот так, хорошо.

— Зачем вы фотографируете меня? Для выставки?

Юрий перестал снимать, глядел в глазок объектива.

— Нет. Для себя.

— Вот как? Я вам так понравилась?

Смотрела прямо в глаза, беззастенчиво, весело.

Юрий не мог скрыть правды.

— Очень. Вы очень... — Теперь он искал слово. — Очень... В вас такое... несмотря на то, что...

— Несмотря на то, что у меня все умерли. Продолжайте. Мне нравится вас слушать.

Теперь она положила руку на его руку.

— Я так не смогу снимать, — беспомощно сказал он.

— А вы знаете, что я очень старая? — спросила она.

— Вы все... врете...

— Ну точно старше вас! Я помню войну, а вы не помните!

— Я тоже помню. Когда война закончилась, мне было уже четыре года.

Он сделал еще два снимка и затолкал фотоаппарат в футляр.

— Целых четыре года. Взрослый мальчик.

Ее губы опять сморщила милая, легкая, порхающая улыбка.

— А как вас зовут?

Она всплеснула руками.

— Болтаем, а даже не познакомились! Беда со мной! Это я виновата. — Она протянула руку. — Мария. Можно — Марыся.

— Юра. Просто — Юра.

— Юра.

— Марыся.

Он все еще держал ее руку.

— Вы так меня никогда не отпустите! — воскликнула Марыся.

— Может, и не отпущу.

— Но у вас жена!

Красным веселым светом горело в бокалах под солнцем душистое, славное кьянти.

— Жена не помеха.

— Вы легкомысленный!

— Уж какой есть.

Солнце клонилось к закату. На всю веранду раздался голос гида — по-итальянски и по-русски он зычно возглашал:

— Уважаемые советские туристы, дорогие русские друзья! Обед закончен! Сейчас мы с вами садимся в автобус и едем в собор Святого Петра! Там мы с вами увидим великую архитектуру несравненного Микеланджело Буонарроти и великие «Врата смерти» божественного Джакомо Манцу! Поспешите! Prego, presto, signore, presto, presto!

Юрий и Марыся вздрогнули и отпрянули друг от друга.

— Ну вот и все, — тускло, не своим голосом сказал Юрий.

— Да. Вот и все, — спокойно подтвердила Марыся. Она быстрее него овладела собой, снова тронула кончиками пальцев плотно заплетенную, обнимавшую смуглый лоб серебряную косу.

— Я должен идти.

Он беспомощно развел руками.

Она встала из-за стола. Встал и он. Ее платье уже совсем высохло и спадало с плеч торжественными античными складками.

Когда она вставала, подол на миг завернулся, и Юрий увидел грубые, страшные белые шрамы на голени и над коленом.

— Идите. Стойте!

Марыся пошарила в сумочке и вынула визитку.

— Здесь адрес и телефон. — Ей еще удавалось держать себя в руках. Ее губы продолжали весело улыбаться. — Звоните! Пишите! Сделаете фотографии — пришлите! На память!

Юрий сделал шаг от стола. Обернулся.

Он понял: он уходит от счастья, от радости, от женщины, сужденной ему. От той жизни, которую он должен прожить, но уже не проживет никогда. От самой важной, главной, единственной жизни, полной смысла, чуда, дней и ночей, огней и любви. От тайны, которую разгадать мог только он, и, разгадав, прижать к сердцу, дышать в нее, разгаданную, горячими губами.

На глазах у туристов и гида он рванулся к Марысе, обхватил ее руками, облапил, как медведь, прижимал к себе до хруста костей, покрывал поцелуями ее влажное загорелое лицо, ее пьяные плачущие глаза, ее смеющийся рот, и шептал, и бормотал: ты не забудь меня, ты только не забудь меня, ну я прошу тебя, ты помни меня, помни, помни, помни меня.

И черноволосая официантка, прижав ладонь ко рту, смотрела, как маленький раскосый иностранец с фотоаппаратом, как сумасшедший, целует, целует, целует донну Марию Даллес, не может оторваться, как они обнимают друг друга, как прощаются навеки.

Если Юрий начинал думать об этой встрече — он зажмуривался, не мог смотреть. Фотограф, не снимай больше мир! Он слишком ярок для тебя, тусклого и скучного! Дикое солнце висело перед глазами, ходило взад-вперед медным начищенным маятником, причиняло зрачку боль. Он открывал глаза — мир мотался перед ним мокрым ярким бельем на веревке, и сквозь колыхание он видел смерть — ту, что приходит ко всем, и каждый горделиво и наивно думает: ко всем придет, а ко мне не придет.

Марыся. Марыся. Марыся! Трясясь в автобусе, в поезде, летя в самолете, вышагивая по осенним полям в старенькую школу на окраине села — фотографировать детей первого сентября, он повторял ее имя. Он вел по раскисшей шоколадной грязи излизанной дождями проселочной дороги машину, свою разболтанную, погремушкой грохочущую «ниву», и шептал, шептал имя — заклинаньем, молитвой, ругательством, божбой. Его живая кровавая сердцевина сполна уместилась в шесть маленьких букв; он боялся — звуки рассыплются от неверного выдоха, и жизнь по капле вытечет из него и не вольется обратно.

Марыся. Тишина. Марыся!

Он во сне так бредово, пьяно чужим именем окликал жену — она гневно выпрастывала толстую руку из-под лоскутного одеяла, ударяла его по голому потному плечу тяжелым кулаком: «Зазнобу зовешь?! Кобель! Побалуй у меня!»

«Как ты не умерла тогда, как ты не умерла», — говорил, шептал, повторял он умалишенно, не зная, не думая, не чувствуя веса, смысла и боли слов. Марыся ангелом стояла у него за плечом; он мог поклясться, что видел белые лилейные крылья за ее спиной.

Ангелы только мертвые. Мертвые только ангелы. Почему же ты живая? И почему я встретил тебя?

Ночью он видел сны. Пламя вставало до неба. Взлизы огня метались, взмывали и покорно приникали к земле. Огонь, смеясь, целовал жнитво, сухую стерню. Огромная изба, куда загнали всех жителей деревни, догорала, но хищное алое пламя все еще страшно, органно гудело. Нельзя было кричать — крик сгорел. Нельзя было молчать — молчание черно-белой пятнистой коровой ушло, глухо, сдавленно мыча, далеко, за поля, за реку.

Громадный гул висел и плыл в воздухе. Единственный звук, оставшийся здесь и сейчас. Живой не вынес бы его. Мертвый плыл вместе с ним и уплывал за тучи, за черное летящее руно страшной и сладкой гари. Верхушки елей и берез гнулись под холодным ветром, кланялись горю. Лето? Осень? Когда ты горела, девочка? Когда сгорела? Когда ты не сгорела? Когда ты не умерла?

Пламя, в пасти его изба, тут раньше была сельская библиотека. Огонь, в глотке его мертвецы — гулко, густо гудя, полыхает печь крематория. Освенцим! Огонь! Звезда! Праматерь, из нее все же, и, стало быть, в нее же все и уйдет. Когда? Когда владыки подожгут маленькую Землю, кошачий клубок в ночи, и котенок подожмет хвост от страха, в угол забьется за печь, и моря-океаны мигом превратятся в одну высыхающую на лютом преисподнем морозе слезу?

«Марыся, отзовись», — просил он, и ему чудилось, что из тумана, из заоконной хмари и тоскливых деревенских сумерек наползает невнятный, неясный звук, плывет дрожащим пятном, бьется больным зайцем, пойманным в силок сердцем. Юрий клал руку на сердце, и оно билось под ладонью — нежное, глупое, детское.

Мы все дети. Мы только притворяемся взрослыми. Боимся сказать себе: мы навсегда остаемся там, откуда нас вынимает властная рука предсмертного ветра. Мы — дети, и все детские клятвы, которые даем мы себе, мы не держим.

Евгений ПОПОВ

* * *

Посмотрел в микроскоп Луны
И увидел душу свою.
Никакая она со спины,
А глаза... Как в строю стою.

А в строю-то меня трясет.
Я не чин в строю берегу.
Здесь никто на меня не орет.
Все начальство на том берегу.

А шуга-то в реке шуршит.
Разгулялась нынче шуга!
Кто там звездной рекой спешит,
Кто там прыгает с берега?

Оглянулся, увидел Смерть,
Помахала она рукой,
И опять ступила на твердь,
И пошла за целью другой.

Я отвел микроскоп Луны
И закрыл его облаком,
Посмотрел на квадрат стены,
Бухнул по столу кулаком.

За окном шелестит листва,
Спутник тихо меж звезд скользит.
Беспокойно блестит трава.
И ребенок с улыбкой спит.

* * *

Звездноводное животное
Под солнечным парусом
Пересекает Млечный Путь.
Трасса знакомая,
Как созвездие Малой Медведицы.
Кто знает песню
«Широка страна моя родная»,
Легко поймет меня,
Как поймут еще миллионов триста

Евгений Александрович Попов — автор сборников стихотворений «Птицы в городе» (1989), «Высокое небо» (2009), «Западно-восточный ветер» (2013). Стихи публиковались в антологиях, журналах «Нева», «Аврора». Живет в Санкт-Петербурге.

Моих соотечественников,
Гоняющихся по миру
То за колбасой,
То за адреналином,
То за землей
Какого-нибудь Франца-Иосифа,
Чтобы отдать ее крестьянам Кассиопеи.
А если без шуток:
Прислушайтесь, как шуршит космос
И переливаются мировые воды,
То сворачивая в черные дыры,
То разворачиваясь в светлое будущее,
Прибывающее с каждым днем.

* * *

Изобретатели русского языка
Выдвинуты на соискание Нобелевской премии.
В этой сказке участвуют:
Два англоязычных потребителя
Русского языка,
Полтора десятка его хулителей,
Восемнадцать внедрителей чуждоязычных слов,
А также четверо гробокопателей,
Извлекателей сернистого газа
Из останков исторических параллелей.

* * *

На полке лежа, в девятиэтажке,
Глядишь за край, где облаков болонки.
Там женщина идет в твоей рубашке,
Как будто бы по льду, он очень тонкий.

Все держится на призрачной улыбке,
На перистом пространстве поднебесья.
Вот-вот проснусь — и выскользнет, как рыбка,
Уйдет под лед, который резко треснет.

Нет ангелов под нашей светлой крышей,
Зато кружится снег огнеопасный.
Все сказано. Все холодней и выше.
И белый свет пока еще не гаснет.

* * *

Плотвица ночи. Блеск. Изнеможенье.
Звонков блокада. Речи ожиданье,
Как тетивы натянутой скольженье,
Как взрывы — птичье пенье утром ранним.

Как туча с градом, чей-то взгляд сторонний
Колотит по измученным растеньям.

И голос в этом шуме страстном тонет,
И пробегают листьев светотени.

Когда сдадут в аренду день вчерашний,
Когда ручья услышишь заиканье,
Когда скворцы скользнут над свежей пашней,
Ты примешь белой ночи послушанье.

И в дом войдет она неспешным шагом,
Уверенным, как четкий абрис жизни.
И выпорхнет в окно цветущим садом.
Скороговоркой. Тайной. Укоризной.

* * *

И взор малиновый, и речь без пунктуаций,
И сердце, торопящееся в гору,
И вся механика, и танец граций,
И телеграфный принцип разговора.

И вдох решительный, и окаянный ветер,
И самописец бортовой сознанья...
Вдруг стало тихо на родной планете,
И кружится вселенной рог бараний.

* * *

Нам было макдональдно, мнимо тепло,
Крупа ледяная стучала по стеклам,
И ветра широкое помело
Мело вдоль Невы — из далеко в далеко.

Мы в колбе стеклянной вели разговор,
Здесь все, как комарики, вьются поштучно.
Но серая стайка берет вдруг аккорд,
Увидев блистающей молнии кручу.

Бабахнуло. Заулыбался народ.
Тропическим ливнем дохнуло пространство.
Расправили плечи. Крутой разворот.
Мы чувствуем ярость и ласку баланса.

По тонкому льду, по шершавой лыжне,
По звонкой струне, колее танкодрома.
Под лодкой гребущего плавно Харона,
Внутри ощущая себя и вовне.

Атака! Косматая бьется сосна!
И солнца корона блистает над нами.
Заглочена плотно слепая блесна!
Тяни за собой это яркое знамя!

Владислав ФЕДОТОВ

РАССКАЗЫ

В КЛИНИКЕ ОСТРОУМОВА

Старик сидел за большим письменным столом и, услышав чьи-то шаги в коридоре, решил, что это его младшая дочь.

— Александра, подай мою палку, я оставил ее у дверей.

В комнату вошла Татьяна, старшая.

— Папа́, не говори так громко, Ванечка уснул.

— Прости. Что с ним? Опять температура?

— Да. Няня говорила, всю ночь капризничал и уснул только под утро.

— Возможно — простуда. Ничего, пройдет... Где мать?

Татьяна протянула отцу черную лакированную трость из эбенового дерева.

— Мама у себя, она тоже...

— Что ты мне принесла? — капризно перебил ее отец.

Этот подарок от Танеева, увивавшегося за Софьей Андреевной, он когда-то принял, превозмогая неприязнь, и никогда им не пользовался. Софья Андреевна корила мужа за самодельный посох: с такой палкой в Москве стыдно выходить на прогулку, ладно еще — в Ясной Поляне... Но Толстой был упрям.

— С танеевской тростью может гулять молодой повеса, я же... Принеси, душечка, мою коряжину, — старик недовольно хмыкнул, шевельнув дыханием седые волосы усов.

Татьяна, шурша длинным платьем, спустилась вниз, где у входных дверей стояла в углу суковатая палка отца.

— Вот эта — моя. Ты ведь знаешь, Семенов подарил... в лесу отыскал, старался. Мне другой не надо.

— Папа́, куда вы собрались?

— Ты не слышала новость?

— Какую?

— Вчера я встретил на прогулке Авилову, литераторшу. Узнал от нее, Чехов поступил в клинику Остроумова, с легочным кровотечением.

— Какой ужас!

— Надо успеть навестить. Он славный человек, да и писатель хороший.

— Неужели все так плохо? — Татьяна приложила ладони к горячим щекам.

— Не знаю... вероятнее всего — да.

Они медленно спустились по слегка поскрипывающим ступеням на первый этаж. Камердинер Иван Васильевич вопросительно смотрел на графа, ожидая указаний.

— Лев Николаевич, прикажете закладывать сани или бричку?

— Какие сани, братец. Снег почти весь сошел. Пешком пройдусь. До Девичьего поля рукой подать.

Владислав Сергеевич Федотов родился в 1940 году в Ленинграде. Окончил Высшие операторские курсы (Москва). Работал на Ленинградском телевидении. Публиковался в газетах и литературно-художественном журнале «Изящная словесность». Член Союза писателей России. Живет в Санкт-Петербурге.

— Папá, я провожу...

— Нет-нет, Таня, я один хочу.

Иван Васильевич помог графу надеть полушубок, подал шапку и загремел засовами, открывая входную дверь.

Весеннее солнце совсем не грело. За ночь тротуары, расчищенные от снега дворниками, покрылись ледяной коркой, и идти было трудно. Через несколько минут рубаха стала прилипать к телу. Толстой жалел, что надел полушубок, а не суконное пальто, которое он носил до поздней осени, до первых утренних заморозков. Он оглянулся назад: не попадется ли ему попутный извозчик, — улица была по-утреннему безлюдна. До клиники путь недолгий, но скользкая дорога напрягала и раздражала. Утреннее спокойствие уступало место непонятному недовольству. Недовольству всем: плохой дорогой, слишком теплой одеждой и даже горькой отрыжкой от выпитого кофе. Мелькнула стыдная мысль: «А для чего я иду к Чехову? Чем я могу помочь умирающему?»

Ему вспомнились старшие братья Николай и Дмитрий, умершие от чахотки.

«Я молился Богу, просил за их выздоровление... увы! Не в человеческих силах изменить предначертанное свыше».

В клинике Толстого узнали сразу. Уже в вестибюле медбрат, выдающий больничные халаты, с вытаращенными глазами кинулся в кабинет ординатора:

— Михаил Никитич, граф пожаловали-с!

— Какой граф? Толком говори.

— Толстой. С такой бородищей...

— Лев Николаевич... к Чехову приехал.

— Пришел.

Ординатор отложил в сторону свои журнальные записи и, поправив шапочку, вышел встречать гостя. Толстого он видел только на фотографиях и сначала растерялся, не узнав писателя, одетого в потертый полушубок. Толстой снял шапку и протянул руку спешившему навстречу врачу.

— Здравствуйте, милейший, не знаю, как вас величать.

— Михаил Никитич, ординатор отделения.

— Не могу ли я, Михаил Никитич, побеседовать с господином Остроумовым?

— К сожалению, это невозможно. Профессор находится в отъезде. На интересующие вас вопросы постараюсь ответить я.

— У меня только один вопрос: как здоровье Чехова?

Для ординатора это не прозвучало неожиданно. О чем еще могли спрашивать посетители, кроме как о здоровье пациентов.

— Обследуем больного. Сейчас он очень слаб: потерял значительное количество крови.

— Я могу его видеть?

— Разумеется, но ваш визит не должен быть продолжительным. Антону Павловичу пока нельзя разговаривать.

— Хорошо. Говорить буду я.

Толстой скинул жаркий полушубок и в сопровождении ординатора Маслова вошел в палату № 16.

Мартовское солнце прорывалось сквозь не слишком чистые стекла окон и заполняло просторную комнату сдавленным желтым светом: четыре кровати — три из которых были заправлены, а на четвертой лежал человек с тонкими руками поверх одеяла, — круглый стол посередине и клеенчатое кресло неподалеку от кровати больного.

Антон Павлович попытался привстать, увидев Толстого в дверях. Торопливо нащупав на тумбочке пенсне, надел на переносицу. Серый мешок со льдом, лежащий на груди, сполз на сторону.

Толстой торопливыми шагами подошел к постели:

— Лежите, лежите... Вам нельзя...

— Это слово я слышу здесь чаще всего. Здравствуйте, Лев Николаевич.

Голос Чехова был настолько слаб, что Толстой разобрал только — «здравствуйте».

— Милый мой... здравствуйте, — голос его дрогнул, — вы изменились.

— Я рад вас видеть, — волнение Толстого передалось Чехову. Он не решился подать свою худую руку и неловко убрал ее под одеяло.

Толстой придвинул белый табурет, стоящий у стола вплотную к кровати, и сел, по привычке закинув ногу на ногу. Хорошо начищенные ваксой сапоги (перестарался слуга) донесли до ноздрей больного запах дегтя. Тележные колеса пахли так же.

Знакомый запах напомнил Чехову весеннюю дорогу, по которой на санях ехать уже нельзя, а на бричке от Лопасни до Мелихова можно и увязнуть.

И так захотелось домой... «Были бы крылья — улетел», — подумал Чехов.

Толстой смотрел на него из-под густых бровей, и во взгляде его можно было уловить легкое недоумение или удивление. Он ожидал увидеть умирающего больного, а перед ним лежал Антон Павлович такой же, с которым он встречался два года назад в Ясной Поляне, только чуть похудевший, с теми же милыми беззащитно-близорукими глазами, с легким румянцем на щеках, как у брата Дмитрия, умершего от чахотки, давно — в 1856 году. Но Чехов не был похож на умирающего.

Видя, что Толстой в затруднении начать разговор, Антон Павлович первым нарушил молчание.

— Что пишете? «Воскресение» закончили?

— Ах, «Воскресение»... Есть кое-что другое. Пишу большую статью об искусстве.

— Интересно.

— И мне интересно... что из этого получится. Иногда видится, продвигаюсь в правильном направлении, а оказывается — прихожу в тупик. И все начинаю сызнова.

— Так бывает, — тихо произнес Чехов.

— Что? Да-да, бывает... но ведь вы статьи не пишете.

— Нет.

— Статью написать не легче, чем повесть или роман. Вот Тургенев меня укорял, что я взялся не за свое, — Толстой нахмурил брови. — Я же считаю статью более полезной, нужной, чем писательский вымысел. Да, да!

Чехов улыбнулся горячности Толстого.

— А как же «Война и мир»?

— «Война и мир» — это попытка молодого и самонадеянного объять необъятное. — Толстой сделал жест рукой, как бы отмахиваясь от своего великого романа.

Он долго говорил о своей статье — она была еще не окончена — и постепенно разговор зашел о театре. Чехов заметил:

— Театр существует с древних времен, по сей день.

— Но это совсем другой театр, согласитесь, Антон Павлович. Каменные ступени Колизея собирали десятки тысяч зрителей. Плебс рукоплескал. Сейчас театр далек от народа.

— Нужно создавать новый театр — народный.

Толстой знал о провале чеховской «Чайки» в Петербурге.

— Народный театр? Возможно. Но современные актеры — это ярмарка тщесла-

вия. Спорят, чей талант выше, значимее... непомерные амбиции... Не связывайтесь с театром, лучше пишите повести и рассказы. У вас неплохо получается.

Чехов улыбнулся скупой похвале Толстого, но его слова об актерах не убедили. Тщеславие присуще не только актерам, но и многим другим, в том числе и писателям, и это не самый тяжкий грех. Чехов промолчал, не стал возражать, но Толстой почувствовал за его мягкой улыбкой молчаливое сопротивление. То, что суждения Толстого воспринимались в его семье как безоговорочно верные, не требующие доказательств, приучили его к мысли, что так оно и есть.

Близорукий чеховский взгляд был мягок, спокоен, но неуступчив, когда речь зашла о бессмертии. Начал разговор на эту тему у постели больного чуткий и прозорливый писатель земли Русской Лев Николаевич Толстой. Может быть, он так хотел поддержать Чехова, укрепить его дух перед уходом в мир иной. Этот мир Толстой представлял в кантовской трактовке: все люди и животные будут жить **в начале** (разум, любовь).

Лев Николаевич долго излагал кантовскую теорию бессмертия, а Антон Павлович слушал молча и не возражал. Он понимал: переубеждать Толстого не имело смысла, а высказывать свое несогласие с теорией великого философа, с трудами которого он был не очень знаком, и подавно.

Прошло полчаса. В дверях палаты давно стоял ординатор Маслов, не решаясь прервать Толстого. Тяжелые шаги санитаров в коридоре, проносивших закрытое простыней тело, заставили Толстого обернуться. Маслов достал из-под халата луковицу часов на толстой цепочке и выразительно постучал ногтем по крышке.

Толстой неспешно поднялся с табурета:

— Ухожу, ухожу, любезный. Я уже порядком надоел Антону Павловичу своей болтовней, — он наклонился и положил свою широкую ладонь на горячую руку Чехова.

— Поправляйтесь поскорее и выписывайтесь из этой палаты номер шестнадцать. Ваша палата — Мелихово.

— Жду не дождусь.

— Дождетесь. Живите долго. Я стар, а вы еще молодой человек... — голос Толстого опять дрогнул, глаза налились слезами. Может быть, в этот момент он пожалел себя и свои ушедшие годы, потраченные на не любимую им теперь литературу. Русские раскольники, староверы интересовали его теперь больше, чем писание романов.

Возвращаясь, Лев Николаевич прошел мимо своего дома, по другой стороне улицы, никем не замеченный, и спустился к Москве-реке посмотреть, тронулся лед, или река все еще недвижима. Здесь за хамовническими огородами, на открытом пространстве задувал сильный ветер и по реке шли медленно поворачиваемые половодьем большие льдины. Ледоход начался.

— Что я ему наговорил? Что наговорил? — бормотал он в спутанную ветром бороду. — Какой театр? Театр едва не убил его. «Чайка»... Он сам как подстреленная птица.

Чехов долго не мог заснуть. Мысленно он продолжал разговор с Толстым. Но теперь он не молчал, он возражал ему. Бессмертие, в которое верил Толстой, ему совсем не нужно. Слиться с общей массой, потерять свою индивидуальность — это не бессмертие, а мираж. Такого бессмертия он не хотел, и эта мысль занозой сидела в голове и не давала заснуть.

Седая бородища великого старца превращалась в окутывающий холодный ту-

ман, и Чехов на какое-то время погружался в сон, но ненадолго. Маленькие колючие глаза смотрели на него строго, и он снова просыпался в непонятной тревоге.

Ночь прошла почти без сна. Под утро у Чехова вновь открылось сильное легочное кровотечение, которое с трудом удалось остановить.

Толстой спал спокойно.

НАДКУШЕННОЕ ЯБЛОКО

На Знаменской площади у Николаевского вокзала, несмотря на ранний час, выстроились в ожидании пассажиров несколько повозок.

Коляска, запряженная парой лошадей, подкатила к вокзалу, из нее вышли два господина. Один заметно прихрамывал, это был известный в Петербурге литератор, главный редактор журнала «Осколки» Николай Александрович Лейкин, другой — еще более известный, писатель Николай Семенович Лесков. Лейкин отправлялся в Москву, чтобы исполнить поручение своей любезной супруги и сделать заказ на несколько швейных машин «Зингер» для ее мастерской. В Петербурге это американское чудо с немецко-еврейским названием разобрали молниеносно. Заодно Николай Александрович намеревался навестить своих собратьев по перу — заглянуть в редакцию «Будильника». Лесков же, по укоренелой привычке путешествовать, ехал вроде как и без особой нужды. В Москве он не был давненько, а с ней было связано немало в пору литературной молодости, и потому уезжал от петербургских серых казематов и финской сырости не без удовольствия, в предвкушении предполагаемых московских отдохновений.

Подходя к билетной кассе, у них неожиданно возник спор, какие брать билеты. Понятно, что лучше ехать в вагоне первого класса, о чем и настаивал Николай Лейкин. Он как автор тысячи рассказов не мог позволить себе ехать вместе, как он выражался, с зипунами. Лесков хотел сэкономить в поездке и доказывал ему, что в третьем классе удобств меньше, но к простому народу ближе. Спор их продолжился у самого окна билетной кассы и был разрешен усато-свирепым кассиром:

— Берите билеты в вагон второго класса, если вы, сударь, не желаете ехать в третьем, а вы — в первом.

— Соломоново решение, — рассмеялся Лесков, — соглашайся, Николай Александрович.

— Будь по-вашему, — пробурчал в бороду Лейкин. — А ты, милейший, — обратился он к кассиру, — не блюдешь интересы железной дороги, урезаешь ее капитал.

— Мы люди маленькие. Как вам будет угодно-с.

Проворная рука кассира убрала в железный ящик три красненьких и услужливо протянула в окошко два билета.

Под монотонный стук колес, едва оставив за окном Колпино, бородатые пассажиры, достав из саквояжей домашнюю снедь, принялись коротать вагонное время в неспешной беседе. Лесков рассказывал Лейкину, как он лет двадцать назад возвращался в Орел из Киева на перекладных, и заняло у него это путешествие четверо суток.

— Теперь и паровозы не похожи на первые николаевские, через пятнадцать часов в Москве будем.

— Это да, — соглашался Николай Александрович, — скорости нынче неимоверные, не догнать нас гоголевской тройке-птице.

— Только вот русский мужик все на одном месте топчется, ему скорость ни к чему. Он никуда не торопится.

— А куда торопиться-то, Николай Семенович? В русской пословице мудрость заключена: тише едешь — дальше будешь.

— Пословица не до конца сказана. Ее продолжить надо бы: от того места, куда едешь. Вот и запрягает, все еще только запрягает, а когда поедет, одному Богу известно.

Выпили еще по одной лейкинской наливке, закусили домашним пирогом с грибами.

В Бологом вышли прогуляться на крытую платформу. Уже начал осенний день сереть, клониться к закату. Накрапывал дождь. Вдали виднелись не убранные еще стога сена, прикрытые сверху дерюжками, прижатыми неструганными жердями. Неказистые домишки, разбросанные в беспорядке, убегали от станции за холмистую местность, пропадая в вечерней мгле. Невеселый пейзаж и холодный ветер, задувавший на платформе, как из трубы, заставил писателей поспешить в вагон.

Следом за ними увязался разбитной мужичок с плетеным кузовком, предлагая купить за пятак с десяток крупных яблок.

— Небось с барского сада натаскал? — тиская яблоко толстыми пальцами, строго спросил Лейкин у торговца.

— Никак нет, ваше пресветлое благородие, заработал.

Лейкин надкусил зеленое яблоко и, скорчив страдальческую гримасу, бросил обратно в корзину.

— Ну и кисляк. Дичок небось...

— Что это ты, Николай Александрович, занебоськал? Или пятак пожалел? — перебил его Лесков и бросил медную монету в корзину мужика.

— Антоновка, ваш благородь... от всех болезней пользительна.

— Ступай, любезный, предложи свой товар другим. У господина зубы болят, ему не до яблоков.

— Ну да, от таких обязательно заболят, — уже в вагоне оправдывался Николай Александрович.

Он слегка обиделся на Лескова за то, что тот незаслуженно укорил в жадности. Николай Александрович был большим хлебосолом. У себя на петербургской даче любил принимать гостей, устраивая обильные застолья, и подозрение Лескова в его скопидомстве было обидным и незаслуженным. Дабы доказать обратное, он снова достал из саквояжа к вечернему чаю съестные припасы: белую румяную булку, масло, завернутое в пергаментную бумагу, фарфоровый жбанчик с медом — все домашнего производства, с заневских полей и лесов.

Вагонный кондуктор разносил по вагону на широком подносе ароматный чай в серебряных подстаканниках. Оставив на столе вазочку с сахаром и четыре стакана дымящегося чая, он с пожеланиями приятного аппетита отправился в следующее купе, а писатели вкушали чай и вели неторопливую беседу.

— Есть у меня в Москве один автор, очень талантливый молодой человек...

— Юморист? — перебил Лейкина вопросом Лесков.

— Юморист, но с большими задатками на серьезное писательство.

— Интересно. Вроде бы Толстой и Тургенев юмористические рассказики не кропали.

— А вы познакомьтесь с ним, поговорите и поймете, что за юмором стоит нечто большее. Он еще не раскрылся. У меня, как у легавой, нюх на таких людей, на таланты.

— Ну и что же представляет сей талант в настоящем, а не в будущем, которое вы ему пророчите?

— Он заканчивает университет, по медицинской части, так сказать. Будет врачевать людские тела.

— Прекрасно. Но для чего же ему писательство? Думается мне, что хороший врач привнесет пользу большую, чем посредственный писака.

— Спору нет, Николай Семенович, но почему же вы его сразу в посредственные записали?

— Да никуда я его не записывал, так как лично не знаком. Но придется познакомиться, чтобы убедиться в вашем чутье на таланты либо усомниться в нем.

Лейкин рассмеялся над недоверчивым Лесковым. В чем в чем, а в литературных способностях Чехова он не сомневался ни на йоту.

— Вся семья Чеховых Богом отмечена, — Лейкин скороручно перекрестился. — Со слов Антона Павловича, братья его старшие — один художник, другой рассказы пишет, и отец не без таланта: в молодости картины маслом писал. Семья большая. В Первопрестольную из Таганрога перебралась недавно.

— Заинтересовали, заинтересовали, Николай Александрович. Ведите в гости завтра к... как вы сказали? Антону Павловичу? — и, не дав ответить Лейкину, продолжил: — Чехов, Чехов. Нет, не помню, кажется, ничего не читал и нигде не встречал этой фамилии.

— Ну как же не читали, Николай Семенович? А чьи одобрительные восклицания слышал я в своей гостиной, когда в «Осколках» ваше внимание привлек рассказ «Толстый и тонкий» некоего А. Чехонте?

— Стало быть, это псевдоним Чехова? Московских литераторов знаю мало. Не знаком.

— Вот и познакомитесь.

Лейкин вырвал из записной книжечки листок, написав адрес Чехова.

— Это на крайний случай... Думаю, завтра вместе зайдем к молодому дарованию.

По приезде в Москву Лейкин отправился к родственникам жены в Немецкую слободу, а Лесков сел в пролетку и велел извозчику ехать на Никольскую, в «Славянский базар».

На другой день встретились у Сухаревской башни, оттуда по Сретенке до Головина переулка прогулялись пешком. Осеннее утро выдалось прохладное, солнечное. В третьем доме от угла, в тесной квартире обитала многочисленная семья Чеховых.

Дверь открыла женщина невысокого роста, одетая просто, в темное длинное платье и с накинутым на плечи платком. Лесков поначалу принял мать Антона Павловича, Евгению Яковлевну, за прислугу.

— Мы к Антону Павловичу...

— Из Петербурга, — добавил Лейкин.

— Проходите, снимайте пальто... вот сюда можно повесить, — хлопотала хозяйка. — Антоша ждал вас... говорил мне... Что же вы не раздеваетесь? Он сейчас придет. Пакет на почту понес.

Литераторы переглянулись и с молчаливого согласия стали разоблачаться от одежд.

— А вы, стало быть, матушка Антона Павловича? — догадался Лесков.

— И не только, а еще четверых братьев и сестры Антона Павловича, — уточнил Лейкин.

Не успели писатели пройти в комнату, как гулко хлопнула парадная дверь подъезда, и через минуту вошел Чехов. Он был в серой студенческой тужурке, но без фуражки. Увидев гостей, по его лицу быстро пробежала радостная улыбка. С Лейкиным он уже встречался, а Лескова сразу узнал: его сходство с портретом в со-

брании сочинений было абсолютным, если не считать того, что там он выглядел чрезмерно строгим.

— Вот и Антоша. Встречай гостей, а я сейчас чаю спроворю.

Евгения Яковлевна исчезла в маленькой кухне, собираясь потчевать гостей чаем и пирогом с визигой, специально купленным загодя.

Лесков первым протянул руку Чехову. Лейкин по-свойски похлопал Антона Павловича по плечу:

— Не робейте, Николай Семенович — человек простой, к когорте великих себя не причисляет.

Услышав звон посуды, доносившийся из кухни, Лесков попросил хозяйку не беспокоиться:

— Вы, матушка, не затевайте ничего. У вас и так хлопот хватает.

Лесков назвал мать Чехова матушкой, хотя сам был немного старше Евгении Яковлевны. Этим он подчеркивал свое уважение к ней как к хозяйке и матери.

— Мы сейчас заберем вашего Антошу и отправимся гулять по Москве. Давненько я не был в Первопрестольной.

— Ну как же? — недоумевала Евгения Яковлевна. — Только пришли и сразу уходите.

Головин переулок был малолюден, лишь дворники у подворотен заметали в кучи нападавшие вновь листья.

Лейкин вскоре откланялся: спешил по машинно-швейным поручениям дражайшей супруги.

Лесков с Чеховым, выйдя на Сретенку, остановились и решали, куда направиться дальше: повернуть к Сухаревской башне или идти прямо по Соболевскому.

— Не желаете ли ознакомиться с московскими вертепами? Самые злачные места у нас на Соболевском, — предложил Чехов.

Лесков изучающее посмотрел на молодого коллегу, дабы не ошибиться в своем предположении, что поход в эти вертепы будет носить этнографический характер, что молодого крепкого мужчину девочки из борделя не интересуют.

— Скажите, милейший, Антон Павлович, а не доводилось ли вам уже бывать здесь, так как сии заведения находятся неподалеку от вашего дома?

Чехов отвечал серьезно, не обращая внимания на язвительную улыбку Лескова:

— Да, заходил с друзьями-студентами года два тому назад. До сих пор под впечатлением.

— И каково оно?

— Жуткое, если одним словом. Изуродованные судьбы... И там нет падших ангелов.

— Вот и напишите рассказ об этом. Ваше направление — юмор. Смех — это хорошо, но есть жизненные пертурбации, которые требуют другого подхода. Здесь юмор не потянет. Согласны?

— Какой уж юмор сыщешь в проституции? Тема больная, а впечатление как рану расковырять. Пусть заживет, успокоится. Может, на холодную голову и напишу.

— Рассуждаете, Антон Павлович, здраво. Верно, замысел надо выносить, как мать носит в себе ребенка после зачатия.

Отзвенели колокола Сретенского монастыря, и Соболев переулок встретил их доносившимися из полуоткрытых дверей дома напротив звуками разбитого рояля и скрипки. Зашли, не сговариваясь, и сразу оказались в тесной и темной прихожей.

Швейцар внушительных размеров, с помятой физиономией встал со стула, на котором лежала какая-то утрамбованная его широким задом лоснящаяся подстилка, и прошлепал мясистыми губами:

— Проходите, милости просим.

Хозяйка, услышав звон колокольчика отворяемой двери, вышла к гостям. Пока швейцар принимал пальто, она успела крикнуть в залу хриплым голосом:

— Девочки, работать!

Две девицы встали лениво из-за стола и мутными глазами смотрели на вновь прибывших. Вульгарно раскрашенные лица девиц не могли скрыть следов вчерашнего трудового дня. По виду можно было понять, что они недавно проснулись. Одна из них остановилась рядом с Лесковым, предполагая в нем более богатого клиента. Его роскошная борода и щегольская одежда отличались от едва пробивающейся бородки и серого студенческого френча его молодого спутника. Наметанный взгляд девицы определил, с кого можно будет больше сорвать куш.

Еврей, стоявший неподалеку от буфетной стойки, сбивчиво возил смычком по скрипке, извлекая визгливые звуки. Буфетчик протирал бокалы не слишком свежим полотенцем, поглядывая на посетителей. Все были в ожидании, и нужен был неуловимый, совсем незначительный толчок, чтобы произошло какое-то действие.

Самая смелая из девиц подошла к столику, за который сели писатели, и попросила угостить ее портером. Темное пиво стояло на буфетной полке в фигурных бутылках, залитых сургучом.

— Эй, братец, принеси-ка нам три бокала портера, — распорядился Лесков.

— Четыре, — лениво добавила вторая девица, приближаясь к столу, за который сели гости.

— Хорошо, четыре. Любезный, исполни, — обратился Лесков к буфетчику.

Принесли пиво. Рыжеволосая, которая первая предложила угостить портером, только слегка пригубила пенную жидкость, а ее подруга осушила весь бокал. Лесков поинтересовался, куда же она так спешит. На что девица отвечала, что ей спешить некуда, здесь ее дом, а гостям просто так сидеть — только время убивать, а номера на втором этаже. Лесков пристально глянул на разговорчивую, сделал несколько глотков и обратился к Чехову:

— Пейте, Антон Павлович, не обращайте внимания на подстрекательные речи. А ты, милая, получи целковый и ступай в номер. Жди.

Буфетчик записал в книжечку и четыре бокала, и целковый, подаренный девице.

Девица быстро опустила деньги в кармашек платья и со словами «благодарствую, дяденька» удалилась на второй этаж.

— Жадная Машка до денег. Мы ее рыбалкой зовем.

— Это почему же? — спросил до сих пор молчавший Чехов.

— Дак она клиентов проворней всех вылавливает.

Лесков рассмеялся, а по лицу Чехова проплыла только тень улыбки.

— Как тебя звать? — спросил он.

— Матильда.

— Матрена небось?! — сделал предположение Лесков.

— А хоть бы и так! — вспыхнула рыжеволосая.

— Мотя... Это ведь русское имя не хуже Матильды, глупая.

Девица, видя добрую улыбку на лице бородача, успокоилась.

— Хозяйка придумала, — перешла она на шепот, — говорит, что так благороднее.

— А из каких краев будешь? Слышу по говору — не москвичка.

— Рязанские мы.

— Как же ты, Мотя, сюда попала? Это же грех.

— Вот и попала... Коль интерес есть — расскажу.

И она стала рассказывать свою историю, вероятно, придуманную хозяйкой. История обычная, одна для всех девушек: отец рано умер, семеро по лавкам, мать хворая, ребятишки с голода пухнут. В Москву приехала после того, как опозорил ее сын местного помещика.

— Ну, злодей, чтоб ему на том свете...

— Не надо так говорить. Он меня на коне катал, в поле для меня цветы рвал.

— Выходит, хорош подлец был?

— Красивый... высокий, как ты, — она кивнула головой в сторону Чехова.

— И ты теперь здесь по его милости?

Рыжеволосая не отвечала. Может быть, в ее рассказе о красавце, бариновом сыне, правды, как говорится, кот наплакал. Придумала все и поверила в свою придумку, чтобы забыть то стыдное, что случилось на самом деле. И чья вина в том, что здесь оказалась, ей было лучше знать, но прятала она правду от себя.

Звякнул колокольчик, и вошел высокий худой парень. Увидев за столом разговаривающих, остановился в нерешительности. Буфетчик недовольно глянул на него и бросил протирать стопку тарелок.

— Не вовремя, мил друг, пожаловал. Зайди в другой раз. Матильда Андриановна нынче заняты.

На лице парня появилась гримаса отчаяния.

— Что же ты, Матрена... обещала съехать отсюдова. Я ведь за тобой пришел...

— Уйди, постылый. Ничего я тебе не обещала. Нече тебе тут...

— Ой, пожалеешь, да поздно будет, — парень резко развернулся и, чуть не споткнувшись о порог, выбежал на улицу.

И только дрогнула бровь на холодном лице Матрены, когда резко, как выстрел, хлопнула дверь за спиной убежавшего парня.

— Что ж так и будем сидеть, лясы точить? — она зло глянула на писателей. — Моя комната номер четыре. Пойду приберусь.

— Погоди, Матрена. Вот возьми... — Лесков неловко сунул трехрублевую ассигнацию в карман цветастого платья.

Рыжеволосая быстро поднялась по скрипучим ступеням и исчезла в глубине темного коридора.

— Эх, Мотя-Матильда — наливное яблочко. Надкусили тебя да бросили.

Писатели молча допили пиво и под нерешительный звон колокольчика вышли на улицу. Лесков выказывал явное неудовлетворение визитом в одно из злачных московских заведений. Не удалось поговорить с Матреной по душам, хотя поначалу казалось, что сможет вызвать ее на откровение и расспросить о многом: как попала сюда, что собирается делать дальше, почему выгнала молодого человека. Чехов же сомневался, что Матрена разоткровенничалась бы перед ними.

— У них душа заросла коростой, и это страшно. Здесь исковеркали не только тело, но и душу.

— Вот вы, Антон Павлович, говорите о душе, а сами-то в Бога веруете?

— Это самый трудный для меня вопрос...

— Не отвечайте. Для меня он тоже нелегкий. Дед мой сельским священником был, а отец Богу служить не пожелал. А я вот как поп-расстрига.

— Мои родители — люди религиозные. Отец в Таганроге был регентом церковного хора. И я в том хоре пел вместе с братьями по воскресным и праздничным дням.

— Все мы христиане, потому что на крещеной земле живем и верующие, и неверующие. А что вы думаете о вертепах, подобных тому, где мы побывали? — Лесков резко поменял тему разговора.

— Это позорная работорговля.

— Ну не скажите, Антон Павлович, никто в рабство девушек не забирал. Они сами поступают сюда, добровольно.

— Добровольно? Нет, Николай Семенович, эта вынужденная добровольность, от сложившихся тяжелых обстоятельств.

— Вы рассуждаете как юрист, как адвокат. Может, оно и так, как вы говорите, но только истинно верующий человек скорее руки на себя наложит, чем примет столь тяжкий грех.

— Но Библия нам свидетельствует слова Иисуса: «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень». И никто не бросил.

— Вы еще скажите: «Не согрешишь — не покаешься», — Лесков недовольно посмотрел на Чехова. Что может знать о жизни этот двадцатитрехлетний человек? — Нет, нет, здесь грех лежит на продавце не меньший, чем на покупателе.

— А вы думаете, что эти несчастные женщины не страдают, не мучаются от сознания своего греха?

— На лице Матильды я не заметил следов раскаяния и мук совести.

— Да разве можно раскрыть и понять человеческую душу за несколько минут?

Лесков посмотрел в открытое взволнованное лицо Чехова, и оно показалось ему прекрасным.

— В этом я соглашусь с вами. Человеческую душу, а тем паче русскую, невозможно понять и за многие годы. Ох, не проста она. Ох, не проста!

Разговаривая, они незаметно дошли до Сретенского монастыря. Неподалеку от закрытых ворот монастырской ограды стояли в ожидании пассажиров две пролетки.

— Поеду-ка я по московским друзьям да по орловским знакомым, которые обосновались в нашей матушке Москве. Рад был знакомству. Читал вашего писания немного. Бойко написано, и смешно, и грустно.

— А ваши книги у меня на полке не пылятся, прочитаны все. Интересно пишете, умно.

— Не обо мне речь. Вам от «Осколков» надо уходить. Салтыков-Щедрин из вас не получится, а Чехов из Чехонте может получиться. — Лесков опустил голос до протодьяконских низов и церковым речитативом продолжил:

— Помазую тебя елеем, как Самуил помазал Давида... Пиши, — и он приобнял Чехова в искреннем порыве чувств.

Видя столь бурное прощание, возница спрыгнул с облучка на мостовую и пригласил:

— Садитесь, господин хороший. Довезу с ветерком, куда прикажете.

— Ну вот, у него я хороший, а у графа Алексеева в цензурном комитете — плохой.

Лесков встал на высокую ступеньку пролетки и молодо перекинул груз своего полноватого тела на мягкое сиденье.

— Будете в Петербурге — милости прошу ко мне. Лейкин мой адрес знает.

— Спасибо. Непременно воспользуюсь при удобном случае.

Возница слегка дернул вожжи, и лошадь, как будто ждала команды, быстро покатила легкую коляску.

Марина ГАРБЕР

ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО

* * *

Человек без прошлого лежит на спине,
Веки опущены, взгляд — вовне:
Позывное мигание в потолок.
Сверху-снизу — небесный, морской ли бог? —
Как пятно на карте, нераспознаваем.
Человек — это остров — необитаем.

Человек без любви шевелит рукой,
А под ней река говорит с рекой,
Обжигает ладонь меловой песок,
На рассветном небе горит восток,
Но и тот исчезнет в завесе туч.
Человек — это зверь — живуч.

Человек без будущего зажигает маяк,
Никого вокруг, чтоб сказать, дурак,
Твой огонь не разбудит того, кто спит,
Потолок над тобой — монолит, гранит,
И стучать в него — что воду толочь,
Человек потерянный, бестолочь.

Человек плывет мимо белых врат,
Окаянный остров, треклят, заклят,
Жжет последний уголь и керосин
Под морской баюкающий клавесин,
Прикрывает последний клочок спиной.
Человек — это суша, Ной!

Человек без имени плывет налегке,
Только мысль о потопленном материке
Прожигает от головы до ступни,
Только чайки клекочут над ним: распни!
Но некого ни распять, ни обнять.
Человек — это пустая пядь.

Марина Гарбер — поэт, эссеист, критик. Родилась в Киеве. Эмигрировала в США в 1989 году. Окончила аспирантуру Денверского университета, штат Колорадо (факультет иностранных языков и литературы). Преподаватель английского, итальянского и русского языков. Автор трех поэтических сборников. Публикации в «Интерпоэзии», «Крещатике», «Неве», «Новом журнале», «Слово/Word», «Студия» и др. Живет в Люксембурге.

Человек вне времени, посмотри,
Сколько мертвой зелени — вне земли:
Прорастают водоросли сквозь грудь,
В глотке илова вызревает муть,
Пресноватая в жилах течет вода —
Человек, гореть тебе от стыда!

Человек без корней ощущает спиной
Иллюзорную близость с былой страной,
Что, однажды сгинув, не родилась,
У ворот осела, стопталась в грязь...
Но не гаснет огненный окоем —
Человек — этот свет в проем.

* * *

Вдоль речки, по недотканному льну,
Где камыша — убористый заборчик,
Идти на ощупь — так слепой стекольщик
Нащупывает раму, как струну.

Вдоль полосы пустой береговой
В лиловом свете сумерек неспешных
Водить рукой — так крестит постовой
Рассеявшихся в воздухе безгрешных.

Но только воздух катится из рук,
И пухом камышовая ограда —
Прилив — так обессиленный хирург
Идет к тебе, не подымая взгляда.

Врастая корнем в топкий перегной,
Не вырываясь из тягучей глины —
Естественно — так скульптор надземной
Разглаживает грубые морщины.

Песчаное и водное родство
Последнее прокладывает русло —
Так смерти безыскусное искусство
Одолевает жизни мастерство.

ДЕВОЧКА НА МОСТУ

На мосту стоит девочка, еще молодая, уже старуха,
ноготки, каблучки, колечко продето в ухо,
ветер ее покачивает, словно лодчонку,
теребит рукава, парусиновую юбчонку.
У нее под ногами — надежная грудь цемента,
под цементом — автомобилей цветная лента,
выхлопные метафоры: жизнь — скоростная трасса

цвета лобового стекла, неживой пластмассы,
запаха коньяка, сигарет и воды из Кёльна,
интонаций без вариаций — от «смирно» к «вольно»,
там живут на святой воде, ячмене и яде,
уплотняют ряды, равняясь, как на параде,
рассчитываются по одному, поднимают флаги —
лоскуты невоспламеняющейся бумаги,
справа кричат «война», воздвигают стены,
из картона, соломы, льна, полиэтилена,
а слева ложатся спать, покрывают мили,
смотрят сны про то, как мы победили.

У старушки-девочки дрянью полны карманы:
горсть таблеток, мелочь, нечищеные каштаны,
пузырек с настойкой, ключи, нашатырь и вата,
письмецо без марки и даже без адресата.
А вокруг нее пританцовывает, резвится ветер,
говорит, и тебе есть место на этом свете —
для родного хлева, гнезда, своего насеста,
а она стоит на мосту — и ни шагу с места.
Он поет, что рассеет воздух копченый, мглистый,
что внизу заждались священники и туристы,
наготове линзы, камеры, фотовспышки,
накладные ресницы и выбритые подмышки.
Озирается, осыпается, ветру верит,
ищет дверь в стене — где еще могут быть двери?
Ну глоток, ну шажок, ну рывок, остальное — титры:
поскользнется ли, обернется ли, долетит ли?
И она растворяется в теплом, густом тумане,
рассыпая по ветру скарб из дыры в кармане.

* * *

Фонарный луч — как от пореза, звезды серьга.
Ночное мягкое железо — медь и фольга.

Стоит солдатик оловянный, лесной Гермес:
Узорной сабли лоск обманный — наперевес.

Орнамент каверзен и тонок: крапь, бирюза.
И завороженный ребенок — во все глаза.

Смотри, пока не оторвали от красоты!
Ты вылит из такой же стали — и ты, и ты.

Пока поблескивают ножны в ночной реке,
Прообраз дышит осторожно в твоей руке.

А у него (ах, у него ли?) — лес за спиной,
И горлом олово от боли — волной, волной.

Миниатюрен и зеркален щит из фольги.
Из мастерских и наковален таких — полки.

Под тесаком и молоточком — погон пыльца,
Сверкают пуговки, цепочки и пот лица.

Поляжет — в выправке и стати — отряд и полк...
Да новых вылепит ваятель — он знает толк.

* * *

На черном, на тамошнем свете,
Где правды уже не найти,
Ты тоже предстанешь в ответе
За эти земные пути.

За все, что жилось или мнилось
И вылилось в аутодафе,
За снежную непроходимость
Из А в неизвестное Б.

За то, что горели страницы,
За их обессловленный дым —
Меж греком и финикийцем
Ты снова пребудешь чужим.

За известью мазаной дверцей —
Стерильно, как будто хирург
Берет твое бледное сердце
Из первых протянутых рук.

За ней, как в музее, безмолвно,
Ни шепот не слышен, ни стон,
И дышит спокойно и ровно
Почивший земной Вавилон.

Там каждый в свое оправданье
Сжимает лишь пепел в горсти.
Молчанье, и только молчанье
Способно помочь и спасти.

Прядут италийцы-этруски
Для панцирей плотную нить...
Но ты говори с Ним по-русски,
Коль в силах еще говорить.

* * *

Потому что — снег, и в глубоком снегу пророс
Робкий саженец — подснеженный, снеговой,

Потому что вчера закончился сенокос
И усталые пахари дружно пошли домой,

Потому что пока они шли, бездорожьем шли,
С неба сыпалось — в чисто поле, на лес и луг,
Потому что саженец вырвался из земли —
Ни коса не возьмет, ни вездесущий плуг,

Потому что корень надежно в снегу сокрыт,
Из-за крепких спин проглядывает рассвет,
Завтра каждый будет одет, обогрет и сыт
И доволен тем, чего в самом деле нет,

Потому что в поле один — не воин, и там, в стогу
Полегли бессчетные — и правдолюб, и льстец,
И наивный тот, который растет в снегу,
На бескрайнем свете — заведомо не жилец.

Потому и нужен, чтоб жизнь попирала смерть,
Чтоб смешался с кровью сухой и недвижный мел,
Чтоб зима плевалась, вобрав в ледяную клеть
Мягкотелый стебель и лиственный глазомер.

* * *

М. Шербу

Раскрыляйся, лесная сова,
размыкай свои очи!
Ночь, упруга твоя тетива,
и торопок охочий
Прикоснуться недрогнувшим пальцем
к тому, что осталось...
Нам, лесным нерадивым скитальцам,
не свойственна жалость.

Бесполезные охи твои,
придыхания, ахи —
Нынче в небо летят соловьи,
а не грузные птахи,
А тебе — ни стрелы, ни кола,
ни возвышенной трели,
Лишь текла бы, тянулась смола
у дневной колыбели.

Лишь бы ночь загоралась стежками
серебряных ниток,
А что там — за лесами, флажками —
излишек, избыток.
Ты еще подыши, поживи
на лесном непросторе!

Соловьи — в небесах соловьи,
канарейки — в неволе.

Что смогло, утекло,
заклубилось, зарделось, забылось,
Забирай под крыло
это гулкое счастье на вырост,
Эти перышки, эти слова,
этих крыл безудержность...
Нам не свойственна жалость, сова,
нам обещана нежность.

Адам КУЗНЕЦОВ

УКРАИНСКАЯ СМУТА ГЛАЗАМИ КЛИО

О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?..
Оставьте старый спор славян между собою...
Александр Пушкин

Долог и труден путь каждого народа от племенного устройства социума до государственного. Триста-четыреста лет ушло у иудейских племен от вторжения на берега Иордана до создания собственного царства. Примерно столько же — на превращение латинов в Древнеримскую республику, вестготов — в Испанское королевство, гуннов — в Венгерское, франков — во Французское, германцев — в Немецкое, норманнов — в Британское. Процесс этот продолжается и в наши дни. Спотыкаясь — на ощупь — сквозь кровавое противоборство прокладывают свой путь к государственной форме бытия курды, пуштуны, тамилы, палестинцы.

Украинская народность долго вызревала на территориях, принадлежавших Польско-Литовскому королевству, Крымскому ханству, Турецкой империи, княжеству Московскому. Первая серьезная попытка украинцев обрести государственную независимость имела место в середине XVII века и была связана с именем гетмана Богдана Хмельницкого. О нем знаменитый историк Ключевский писал:

«Успехи Богдана превзошли его помышления: он вовсе не думал разрывать с Речью Посполитой [то есть Польшей], хотел только припугнуть зазнавшихся панов, а тут после трех побед почти вся Малороссия очутилась в его руках... Он очень досадовал на московского царя за то, что тот не помог ему с самого начала дела, не наступил тотчас на Польшу... грозил сломать Москву, добраться и до того, кто на Москве сидит. Простодушная похвальба сменялась униженным, но не простодушным раскаяньем. Эта изменчивость настроения происходила не только от темперамента Богдаа, но и от чувства лжи своего положения. Он не мог сладить с Польшей одними казацкими силами, а желательная внешняя помощь из Москвы не приходила»[1].

В таком же двойственном положении оказался следующий лидер — гетман Мазепа. Историк Костомаров так описывает его метания между вторгшимися шведами, Петром Первым и Запорожской Сечью: «Перед царем, выхваляя свою верность, он лгал на малорусский народ и особенно чернил запорожцев, советовал искоренить и разорить дотла Запорожскую Сечь, а между тем перед малороссами охал и жаловался на суровые московские порядки, двусмысленно пугал их опасением чего-то рокового, а запорожцам сообщал тайными путями, что государь их ненавидит и уже искоренил бы их, если бы гетман не стоял за них и не укрощал царского гнева»[2].

[1] В. О. Ключевский. Собрание сочинений. М.: Госполитиздат, 1957. Т. 3. С. 116.

[2] Н. И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее деятелей. Глава 16. Мазепа. Цитируется по: http: //русскоедвижение.рф/index.php/history/52-articles/9452.

После двух веков существования в рамках Российской империи мало что изменилось для тех украинцев, которые рвались к независимости. После Февральской революции в 1917 году гетман Скоропадский искал помощи у германского кайзера, сменивший его Симон Петлюра вступил в союз против большевиков с польским маршалом Пилсудским, двадцать лет спустя Степан Бандера надеялся избавиться от власти «москалей» с помощью Гитлера.

Создание независимой Украины в 1991 году не смогло прервать эту традицию. Разнородное сорокамиллионное население не чувствовало достаточной прочности в государственной постройке, привычно искало опоры либо на Западе, либо на Востоке. Прозападный президент Ющенко, играя на карте украинского национализма, приказал установить памятник Мазепе и обращался к Православной церкви с просьбой снять анафему с гетмана, объявленную ему за измену царю Петру Первому в 1708 году. Пришедший ему на смену Янукович, поколебавшись, засадил бывшего прозападного премьер-министра Юлию Тимошенко в тюрьму и шатнулся в сторону России. Тогда прозападные украинские радикалы и националисты вышли на киевский майдан и испустили свой традиционный клич: «Москалей нэ трэба!» Если к Хмельницкому и Мазепе спешили с посулами и дарами посланцы из Варшавы, Кракова, Вильнюса, Стокгольма, Вены, то к нынешним самостийщикам ринулись с кренделями и долларами доброхоты из Вашингтона, Лондона, Брюсселя, Парижа.

Вот к этим послам «свободного мира» стоит приглядеться внимательно.

Они объявляют себя защитниками демократии и прав человека во всем мире. Японо-американский философ Фрэнсис Фукияма объяснил им, что история подошла к концу, что идеальная форма сосуществования людей найдена, что ее можно учредить даже у народов, не знающих еще колеса, и остался лишь пустяк: насадить свободный рынок и свободно избираемых правителей во всех уголках планеты Земля. Ради этой великой цели можно порой и нарушать какие-то пункты и статьи международного права.

Например, пункт о соблюдении суверенитета независимых государств и неприкосновенности их границ в принципе заслуживает поддержки. Но иногда и на него можно закрыть глаза. Вот советники двух политических недорослей, Билла Клинтона и Тони Блэра, никогда не бывавших ни в Косове, ни в Белграде, объяснили им, что выступить в защиту албанских мусульман от недоброго сербского лидера Милошевича может принести несколько сотен голосов мусульманских избирателей. И на суверенную Сербию, никогда ни словом, ни делом не угрожавшую ни Америке, ни Англии, десять недель сыплются новейшие ракеты и бомбы — о, исключительно с гуманитарной целью защиты обижаемых косоваров! Результат: разрушенные дома, мосты, вокзалы, больницы, две с половиной тысячи погибших сербов и создание посреди Европы независимого мусульманского государства Косово, которое наконец смогло преуспеть в своем уникальном бизнесе: переправке проституток из стран Восточной Европы в страны Западной.

Трагедия 11 сентября потрясла американцев, возбудила ярость и справедливую жажду мести в миллионах сердец. Но кому мстить? Большинство террористов-самоубийц, захвативших американские лайнеры, были родом из Саудовской Аравии. Их главарь, миллионер Осама бен-Ладен, много лет возглавлявший беспощадную войну против Америки и Израиля, глава «Аль-Кайды», с руками по локоть в крови погибших от взрывов дипломатов и моряков, — тоже саудовец. Но нет: в Саудовскую Аравию вложено слишком много американских денег, она исправно поставляет нам нефть и выступает союзником в опасном регионе. Зато рядом есть два безусловно злодейских режима: талибы в Афганистане и Саддам Хусейн в Ира-

ке. Ударим по ним, поможем учредить в этих странах власть святой западной демократии и заодно покажем всему миру, что с нами шутки плохи.

В результате после десяти лет оккупации «демократический» Ирак превратился в вулкан межрелигиозной и этнической вражды, взрывы бомб террористов-самоубийц уносят сотни жизней каждую неделю. Тринадцать лет войны в Афганистане привели к тому, что талибы окрепли, разбогатели, выйдя на первое место в Азии по выращиванию и экспорту опийного мака, и только и ждут ухода американцев, чтобы снова воцариться в Кабуле.

И что же наши идолопоклонники демократии? Усвоили уроки, убавили пыл, осознали, что не каждый народ и не в каждый исторический момент способен учредить у себя этот сложный вид государственного правления?

Да ничего подобного!

В 2011 году наперегонки кидаются бомбить злодея Каддафи и его суверенную Ливию. Подбодренные такой поддержкой, в страну слетаются джихадисты и алькайдовцы со всего мира. В аэропорту Триполи приземляется вечный седовласый подросток, американский сенатор Мак-Кейн, трясет руки «героям», свергнувшим диктатора, обещает помощь деньгами и советниками. Для его двухмерных мозгов, видимо поврежденных во вьетнамском плену, представить, что враги злодея Каддафи могут оказаться в десять раз страшнее него, — непосильное усложнение картины мира.

Ливия, конечно, погружается в смуту со стрельбой, взрывами и поджогами. «Борцы за свободу» убивают американских дипломатов в Бенгази, сотрудников Красного Креста, тысячи беженцев пытаются спастись морем и тонут на пути в Италию. Но сенатору Мак-Кейну не до того. Он уже в Киеве, на майдане, помогает свергнуть «злодея» Януковича, посмевшего предпочесть сотрудничество с Москвой союзу с Брюсселем.

Казалось бы, что должны были сделать первым делом в Киеве провозвестники святой демократии — американский госсекретарь Керри, его помощница Виктория Нулан, британский министр иностранных дел Хейг и десятки других «спасителей», приземлившихся за баррикадами из горящих шин? Не следовало ли им организовать семинары по политическому ликбезу и объяснить украинцам, веками жившим под властью королей, ханов, императоров, большевиков, что устраивать кулачные драки в парламенте-раде есть атавизм, несовместимый с правилами демократического правления? Что если вы недовольны законно избранным президентом, то нужно дождаться перевыборов и усадить в кресло нового, а не свергать неугодного силой? Может быть, разумная Ангела Меркель могла бы позвонить Юлии Тимошенко и посоветовать ей не заявлять публично во время предвыборной гонки на пост президента: «Я не признаю ничьей победы на выборах, кроме своей, потому что знаю цену всем другим кандидатам»?

Увы, такого разумного подхода от западных политиков сегодня ждать не приходится. Они зависят от голосов избирателей, чья политическая ментальность формировалась ковбойскими фильмами, в которых хороших парней всегда легко было отличить от плохих, а победа добра достигалась при помощи меткой стрельбы и быстрой езды на лошади. Образованная часть избирателей, конечно, брала в колледжах курсы политических наук (political science), но, похоже, никто уже не считает нужным учить политическую азбуку. А как было бы хорошо, если бы муза Клио появилась на кафедрах истории западных университетов и повесила бы на стенах крупные плакаты обязательные к заучиванью:

А. Опыт всех мировых революций — американской (1776), французской (1789), итальянской (1849), мексиканской (1854), турецкой (1909), российской (1917),

германской (1918), испанской (1936), китайской (1949), снова российской (1991) и т. д. — ясно показывает, что после свержения существовавшей верховной власти вы получите либо гражданскую войну, либо распад государства, либо террор, либо все эти три беды в разных сочетаниях.

Б. Свергнуть властителя можно за один день, но на переход от единовластия к республике всегда уходит около ста лет. Примеры: Афинская республика, Древний Рим, Англия, Франция, Германия, Испания, Россия.

В. Народы часто отказываются от демократических форм и смиряются с деспотической властью не потому, что они темны и запуганны, а потому, что, зная свою застарелую взаимную беспощадную вражду, ясно понимают: альтернатива деспотизму — кровавый хаос и война всех со всеми.

Но ведь слушаться старушку Клио — это означает снова садиться за парты, изучать исторические реалии всех этих неблагодарных племен, неспособных оценить дары демократии, заучивать их головоломные названия: албанцы, боснийцы, галичане, запорожцы, молдаване, русины, хорваты, черногорцы — и несть им числа. То ли дело отстаивать священные принципы! Например, право народов на самоопределение. Тем более что мы оставим за собой обязанность решать, кто и от кого имеет право отделяться.

Да, мы поддержали отделение косоваров от Сербии и даже слегка побомбили ее для этого. Неважно, что Косово — такое же священное место для сербов, как для израильтян — Иерусалим. Что косовары-албанцы появились здесь лишь после Второй мировой войны, спасаясь от собственного коммунистического диктатора Энвера Ходжи, и потом, стремительно размножаясь, вытеснили приютивших их сербов. И что становиться обратно албанцами они никак не хотят, потому что им очень понравилась вся индустриальная инфраструктура, выстроенная в Косове сербами.

Мы будем неустанно требовать самоопределения палестинцев. Этот многострадальный народ почему-то отказывается ассимилироваться в других арабских странах, где говорят на их языке и верят в того же Аллаха. Мы будем кормить их в лагерях для беженцев до тех пор, пока в израильтянах не проснется совесть и они не дадут свободу угнетенным и оккупированным. То, что палестинцы открыто объявляют своей главной целью физическое уничтожение восьми миллионов израильтян, не должно нас остановить. И то, что в независимой Газе они немедленно попали под власть террористической организации «Хамас», тоже не должно рассматриваться как аргумент «против». Палестина будет принадлежать палестинцам!

Мы благосклонно отнесемся к стремлению других народов выделиться из имеющихся государств — до тех пор, пока они останутся в сфере нашего влияния и подчинения. Пусть путем проведения всенародного референдума квебекцы отделяются от Канады, каталонцы — от Испании, шотландцы — от Англии, фламандцы — от Бельгии, даже венецианцы — от Италии (дуют и такие ветры). Вот попытки курдов выделиться из Турции и Ирака как-то не вызывают у нас энтузиазма. Ведь для них придется отнять территорию от «нашей» Турции и «нашего» Ирака, а захотят ли они сами стать «нашими» — гарантии нет. Зато самоопределение тираспольцев, абхазцев, осетин, крымчан — это уже такое возмутительное нарушение всех международных норм, что ни один западный лидер с ним никогда не смирится. И станет набирать голоса избирателей, противоборствуя очередному удобному «злодею» — российскому президенту Путину.

Ох, этот Путин! Вот он — враг священных принципов свободы и демократии, ухитряющийся без бомбежки чужих столиц достигать своих целей. Жаль только,

что у него от советских времен остался мощный ядерный арсенал. Не то бы наши гуманитарные ракеты и бомбардировщики давно вылетели в направлении Москвы, как они уже вылетали в сторону Могадишо, Белграда, Кабула, Багдада, Триполи. Не дал, злодей, нам хотя бы разбомбить Дамаск!

Ах, как хорошо, как удобно иметь универсального суперагрессора, борьба с которым оправдывает — затеняет — все наши отступления от высоких принципов. Раньше мы лелеяли такие обременительные правила, как «презумпция невиновности», «тайна банковских вкладов», «священное право собственности», не отступали от них даже в противоборстве с безжалостными главарями мафиозных кланов. Теперь все стало гораздо проще! Без суда и следствия, без улик и свидетелей мы включим соратников Путина в черные списки и обрушим на них всевозможные кары, как это делала когда-то большевистская ЧК — по классовому признаку! — да еще назовем это красивым словом «санкции».

То, что за этим красивым термином прячутся и огромные финансовые потери для западного мира, теряющего выгодные связи с бескрайним российским рынком, нужно старательно и изобретательно замазывать. Поневоле задаешься вопросом: каким образом США, погрязшие в шестисоттриллионном государственном долге, могут позволить себе вмешиваться в военные конфликты по всему свету, содержать крупные войсковые соединения в Японии, Южной Корее, Германии, на Ближнем Востоке, рассылать авианосцы и атомные крейсера по всем океанам, обещать миллиардные дотации разным неустойчивым режимам. Оказывается, они нашли трюк, которому могли бы позавидовать персонажи О'Генри и Ильфа–Петрова: раз за разом поднимая потолок государственного долга, грабить неродившихся внуков, переваливая на них заботы о выплате непосильных займов и неоправданного транжирства налоговых ресурсов.

Один за другим разгораются кровавые межплеменные пожары в Африке: Берег Слоновой Кости, Руанда, Чад, Эфиопия, Дарфур, Нигерия... Не могло бы наше ЦРУ и здесь отыскать руку Москвы, происки все того же Путина? Не то разные темные силы могут потребовать возложения санкций на нас самих — за преждевременное навязывание священной демократии незрелым народам.

Шумят, грозят, протестуют политические недоросли — «народные витии». Никогда не признают простой истины: своими подзуживаниями и несбыточными посулами они раздули очередной пожар в очередной стране, разрушили шаткую постройку незрелой Украинской республики, лишили миллионы людей укрытия от социальных бурь.

Когда в Канзасе очередное торнадо разнесет в щепки городок, выстроенный не из железобетона, а из досок и картона, никто не осудит соседние города, давшие приют бездомным. Но Россию, давшую укрытие двум миллионам соотечественников в Крыму, оставшимся без социальной крыши над головой, будут проклинать неустанно. Потому что посмели истолковать право народа на самоопределение по-своему. И потому что краткосрочный политический капиталец можно зарабатывать на антироссийской брани легко и безотказно.

Конечно, пропагандная война вокруг разгоревшегося кризиса ведется свирепо и с реальностью считается мало. Каждая сторона спешит изобразить своих противников кровожадными негодяями, зловредными заговорщиками, грабителями и насильниками. На самом же деле, как это всегда и бывает при любой политической смуте, в глубине народного сознания идет невидимая война между страстными упованиями и неодолимыми страхами. Население западных районов Украины верит, что союз с культурной и пока благополучной Европой принесет им желанное облегчение. Население восточных страшится, что ни их донецкий уголь, проклина-

емый защитниками чистой атмосферы, ни их подсолнухи и кавуны не смогут конкурировать с продукцией развитых европейских стран и им придется опуститься еще ниже в болото безработицы и нищеты, оказаться на одном уровне с Албанией, Грецией, Болгарией.

Чем кончится противоборство, никто предсказать не может. Хотелось бы надеяться, что украинцы преодолеют очередной порог на трудном пути к строительству своего устойчивого государства. С другой стороны, нелегко представить себе, чтобы шесть миллионов, живущих по берегам Северского Донца, сказавших на своих референдумах такое решительное «нет», согласились снова подчиниться киевским властям. И, конечно, вспоминаются печальные строчки Бродского: «Но Клио выбирает почему-то из многих — наихудший вариант».

Владислав БАЧИНИН

«ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ УЖЕ В ДЕЙСТВИИ».
Философский триптих

I. Окаянное столетие и экзистенциальная катастрофа гуманитарного сознания

Что происходит с добром, истиной и справедливостью в эпоху перманентной аномии?

На исходе XX столетия поэт Владимир Соколов писал:

Я устал от двадцатого века,
От его окровавленных рек.
И не надо мне прав человека,
Я давно уже не человек.

В запасниках индивидуальной и коллективной памяти хранится много горьких признаний, подобных этому. Слова отчаяния звучат в них и трагическими исповедями, и настоящими реквиемами по погибшим временам и гибнущему человеку. Они свидетельствуют о роковых мутациях, происходящих в современном гуманитарном сознании. Посредством стенаниий такого рода совершалось прощание не столько с XX веком, сколько с надеждами на возможность торжества права и добра, истины и справедливости.

У эпох, на протяжении которых доминируют подобные умонастроения, налицо, как правило, все признаки аномии. В такие периоды, когда кажется, что социальный мир поражен какой-то всепроникающей скверной и по нему расползается мерзость духовного запустения, аналитическая работа с категориями добра, истины и справедливости, непростая и нелегкая сама по себе, становится еще труднее, а для многих и вообще делается невозможной.

Владислав Аркадьевич Бачинин — доктор социологических наук, профессор, автор более 700 опубликованных работ по философии культуры, истории религии, социологии литературы, в том числе более 50 книг, среди которых: «Достоевский: метафизика преступления» (2001), «Энциклопедия философии и социологии права» (2006), «Девиантология и теология: от Библии к Достоевскому» (Saarbrucken, Deutschland. 2012), «Теология, социология, антропология литературы (Вокруг Достоевского)» (2012). Победитель конкурса философских трактатов на тему «Возможна ли нравственность, независимая от религии?», проведенного Российской академией наук (Институтом философии РАН). Живет в Санкт-Петербурге.

С этими понятиями происходят удивительные мутации: их смыслы как будто перемещаются за горизонты здравого смысла, оставляя вместо себя какие-то странные тени, будто препарированные чьей-то коварной политической хирургией. Превратившиеся в химерические карикатуры, в двойников-симулянтов доброго, истинного и справедливого, они творят свои темные дела: затмевают умы, растлевают души, парализуют дух, по-своему обустраивают социальное пространство, делая его удобообитаемым для всех видов зла, всепроникающей лжи, циничного лицемерия и наглой, бесчинствующей несправедливости.

Когда русский философ Владимир Соловьев написал свою книгу «Оправдание добра», то он фактически открыл путь для появления в будущем целого аналитически-апологетического сериала. Его проницательная философская интуиция подсказала, что приближаются времена, когда в оправдании и защите будут нуждаться не только добро, но и истина со справедливостью. И действительно: гибельные времена повсеместных публичных надругательств над этими ценностями не только вскоре наступили, но и растянулись в целую эпоху. И по сей день мы остаемся погруженными в разнообразие неисчислимых следствий этих надругательств: в бездонную пучину травматического опыта, в гигантское собрание человеческих трагедий, изломанных судеб и загубленных душ. Аномийный социум с его атмосферой духовной смуты, разметанными в разные стороны жизненными смыслами, оскверняемыми на каждом шагу ценностями истины, выброшенными на свалку нормами справедливости продолжает работать как гигантская фабрика по производству негативного опыта, которого с избытком хватает всем поколениям.

Признание исторического факта массовой экзистенциальной катастрофы, переживаемой симфонической личностью некогда великого народа и грозящей ему полным духовным банкротством, побуждает к разнообразию активных действий, в том числе и к таким, как мозговые штурмы проблем своего духовного поражения. Получается, что аномия, сознающая себя не нормой (как это считалось на протяжении десятилетий), а исторической аномалией, обнаруживает внутри себя глубоко запрятанный духовный ресурс, чудом сохранившийся в обстановке общего распада. Он-то и позволяет гуманитарному сознанию не погружаться в сумрачную, инертную обреченность «бытия-к-смерти», а занять позицию целенаправленного преодоления собственных духовных немощей. Целенаправленные рефлексии гуманитарной мысли, ведающей о смертельной угрозе всему, что ей дорого, — это проявление интеллектуальной трезвости, честности и духовной ответственности, бросающих вызов силам распоясавшегося зла.

Даже если в доминирующих социально-политических структурах не наблюдается присутствия должных форм добра, истины и справедливости, это не означает, что они совершенно отсутствуют. Древнегреческий философ Парменид утверждал: «Отсутствующее все же твердо присутствует в уме». Если добро, истина и справедливость лишены возможности облекаться в эффективные институциональные формы, то их экзистенциальные смыслообразы все же продолжают сохраняться в надежно архивированных ареалах классической культуры, в запасниках религиозного, философского и художественно-поэтического опыта, давая о себе знать самыми разными, порой неожиданными путями. Вопросы, связанные с ними, потому и именуются «вечными», что, будучи исключенными из одних сфер, они не погибают, а оказываются включенными в другие области и, таким образом, продолжают жить, готовя духовную почву для социальных перемен.

Отблески трансцендентного в триаде «истина-справедливость-правда»

Собрания представлений об истинном и справедливом менее всего напоминают разъединенные философские материки. Им свойственно родственное тяготение друг к другу, и это с особой отчетливостью проступает там, где речь заходит о высших смыслах существования человека. Когда истина рассматривается в экзистенциальном ракурсе, то она предстает в особом свете, совсем не таком, как в теории познания. В качестве экзистенциала она являет собой интегральное, симфоническое понятие, обозначающее не какое-то конкретное, теоретически доказанное положение, а целый ансамбль смыслов, освещающих пространство жизненного мира человека или человеческого сообщества и проясняющих им суть того, что было, есть и может быть с ними и с их судьбами. Похожим образом выглядит и экзистенциал справедливости, которым равно пользуются и индивидуальное, и коллективное сознание, применяющие этот гуманитарный интеграл в оценках малых и больших социальных явлений.

То экзистенциальное сродство, которое обнаруживается между понятиями истины и справедливости, напоминает музыкальное сходство родственных, тяготеющих друг к другу созвучий. Их логосы и этосы как бы рифмуются, выказывая внутреннюю, глубинную близость друг другу. Справедливость способна выступать практическим выражением истины, а истина — духовным аналогом справедливости. Их контекстные сближения, смысловые взаимоотражения, ценностные переклички, пересечения нормативных траекторий создают необходимые и достаточные предпосылки для образования устойчивых ансамблей гуманитарных идей.

Одно из подтверждений действенности принципа констелляции присутствует в тексте Нового Завета, где греческое слово — *aletheia* — *истина* имеет несколько значений (их насчитывают до шести), близких по смыслу таким понятиям, как *верность, надежность, правда, правдивость, справедливость.*

В смысловом пространстве между экзистенциалами истины и справедливости, при всех их различиях, присутствует средний термин. В русском языке оба экзистенциала практически сливаются воедино в слове *правда.* Это отдаленно напоминает механизм смыслообразования в древнегреческом идеале *калокагатии* (*kalos — прекрасный* и *agathos — хороший, нравственно совершенный*), где соединились в неразрывное целое два семантически созвучных и аксиологически родственных начала — красота и добро.

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даля истина и справедливость прямо отождествляются: истина трактуется как «все, что верно, подлинно, точно, справедливо». Она помещается в морально-правовой регистр, где вместе с понятием *справедливости* они образуют смысловой ареал, обозначаемый все тем же общим, объединяющим русским словом *правда,* которая есть «истина во образе, во благе; правосудие, справедливость». В *правде* истина и справедливость сливаются в единый ансамбль смыслов, ценностей, идеалов, норм: «Ныне слову этому [истине] отвечает и *правда,* хотя вернее будет понимать под словом правда: *правдивость, справедливость, правосудие, правота. Истина от земли,* достояние разума человека, *а правда с небес,* дар благостыни»[1].

Даль подчеркивает связь правды, вбирающей в себя представления об истине и справедливости, с высшим, трансцендентным миром: «Истина от земли воссия, и правда с небесе... правосудие свыше... По правде, по истине, по справедливости... У Бога правда одна... Не в силе Бог, а в правде... Бог тому дает, кто правдой живет... Ве-

[1] Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. Т. 2. СПб.; М., 1905. С. 140.

лика святорусская земля, а правде нигде нет места!.. Правдивый путь до небес... Для праведных у Бога места много»[2].

Все три понятия существуют в едином поле смыслов и ценностей. В слове *правда* обе темы, истинного и справедливого, не просто пересекаются, а буквально сливаются воедино[3]. При этом у Даля отношения между ними носят не иерархический характер вертикальной соподчиненности, а имеют вид симбиоза равновеликих начал, проникающих друг в друга: истина обретает черты справедливости, а содержимое справедливости как бы плавно перетекает в словесный сосуд, именуемый истиной. Происходит взаимное оплодотворение, и образуется нечто единое и нераздельное. Каждая тема преспокойно, без малейшего напряжения умещается внутри темы *правды,* не утрачивая ни смысловой идентичности, ни своих аксиологических пропорций. Происходит как бы сращивание их смысловых, ценностных и нормативных структур в некое подобие то ли кентавра, то ли сфинкса — *высшую правду* с головой истины и туловищем справедливости.

Являя собой экзистенциал особого рода, высшая правда соотносится с аксиологической запредельностью, обозначаемой метафорами верха, неба, света и отсылающей сознание к трансцендентному первоначалу бытия, к тому общему истоку истины, справедливости и правды, привязанность каждой к которому и позволяет им всем сосуществовать в качестве целостного ансамбля.

Благодаря слову *правда* понятия истины и справедливости выказывают существующие между ними отношения релевантности, а зачастую и тождества. Образуя все вместе констелляцию-триаду, они тем самым подтверждают действенность философского принципа всеединства. Как будто три концептуальных зеркала устанавливаются друг против друга, образуя треугольную композицию, и каждое несет в себе множественности отражений двух других. Обладающие уникальной социокультурной природой, исключительной философско-экзистенциальной значимостью, неисчерпаемой семантикой и богатейшей аксиологией, эти вариативные ансамбли предстают в виде либо триады *истина-справедливость-правда,* либо диад *истина-справедливость, истина-правда, справедливость-правда.*

Триада *истина-справедливость-правда* являет собой одну из фундаментальных конструкций гуманитарного сознания. Она привносит в социокультурные тексты чрезвычайно значимую подтекстовую ценностно-нормативную фактуру миросозерцательного, этического и экзистенциального характера. Ее пребывание в центре самосознания симфонической личности социального сообщества, будь то какое-либо малое локальное товарищество или масштабный субъект (народ, гражданское общество, государство), — важнейшее условие сохранения ими своей идентичности. Вокруг этой констелляции, как вокруг созвездия Большой Медведицы, группируется вся символическая вселенная, все смыслы, ценности и нормы, какими живет данное сообщество. И когда внутри такого ансамбля начинают возникать смысловые разломы, аксиологические разрывы и нормативные каверны, то это свидетельствует о наличии серьезных духовных проблем, переживаемых социальными субъектами.

Смещения констелляции из центра символической вселенной в сторону периферии практически всегда сопровождаются сбоями в системе социальных координат и этических ориентиров. Симфоническая личность погружается в кризис идентичности, перестает ясно сознавать, кто она есть и куда движется. Приходит

[2] Там же. С. 140–141.

[3] Аналогичное подчеркивание ценностного статуса понятия правды, только без отсылок к трансцендентному миру, присутствует и у С. И. Ожегова (См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999).

эпоха аномии, заставляющая симфоническое начало отступить под натиском начала *какофонического,* в ценностном сумбуре которого тонут и теряются чистые мелодии идеалов истины, справедливости и правды.

В. Даль был не единственным, кто хотя и лаконично, но вполне внятно прописал в русском сознании идею триединства истины, справедливости и правды. Своеобразным подтверждением культурно-исторической значимости его подхода можно считать художественно-философскую концепцию его младшего современника И. С. Тургенева. Она представлена в знаменитом очерке «Гамлет и Дон Кихот», напоминающем небольшой трактат по антропологии культуры.

Писатель уловил в образах датского принца и испанского идальго нечто чрезвычайно близкое русской душе, а острый ум тут же подсказал мысль о важности этих двух антропологических типов для понимания глубинной сути отношений между жизнью и культурой. Усмотрев в диаде классических образов хотя и различные, но равно яркие манифестации человеческого духа, он выстроил на их основе любопытную аксиологическую конструкцию, где Гамлет и Дон Кихот предстают носителями-манифестантами экзистенциалов истины и справедливости.

Индивидуалист, интроверт и скептик Гамлет, олицетворяющий принцип анализа, жаждет прежде всего истины. Альтруист и экстраверт Дон Кихот, как воплощенный принцип энтузиазма, стремится к справедливости. В каждом из них присутствует избыточная полнота указанных наклонностей. И хотя каждый по-своему односторонен, вместе они олицетворяют неизбывную потребность человека в высшей правде. Гамлет ищет истину и при этом пребывает настороже, подозревая, что в ее маске ему может явиться ложь. Он пытается противостоять коварным подменам и опасным слияниям истины и лжи в «немое, тупое нечто». Но избыток рационального скепсиса мешает ему: опасаясь лжи, он не склонен доверять и очевидным картинам являющейся истины. Он — экзистенциальный мыслитель, пропускающий все, что для него важно, сквозь «примерочную» собственного «я». Но Тургеневу не нравятся именно эти свойства личности Гамлета. Он считает их проявлениями эгоцентризма и относится к его склонности постоянно рефлексировать как к чему-то предосудительному. В его глазах принц смертельно отравлен ядом разлагающего самоанализа. Он видит в гамлетовском рационализме «дух тяжелый, мрачный, лишенный гармонии и светлых красок»[4].

Гораздо ближе писателю образ Дон Кихота, духу которого доступно трансцендентное измерение бытия. Рыцарь Печального Образа олицетворяет справедливость, опирающуюся на веру. Именно вера придает чрезвычайную прочность его убежденности в незыблемости принципа справедливости, в неразрывности его связи с высшей правдой.

Перед нами, в сущности, один из главных уроков классической эпохи, убеждающий в том, что экзистенциальная констелляция *истины-справедливости-правды* есть не что иное, как духовное оружие личности, позволяющее бороться с враждебными стихиями невежества и лжи, противостоять несправедливости, беззаконию, духовному и физическому насилию. Имеющая трансцендентные основания, эта констелляция вплетена в самую сердцевину экзистенции. Без нее не смогли бы существовать человек и человечество, не развились бы цивилизация и культура. Ее главное предназначение в том, чтобы не давать человеку терять свою идентичность «образа и подобия». Она не позволяет рассыпаться общему тексту культуры, сцепляет его духовными скрепами, придает ему высокий запас внутренней прочности, позволяющий сдерживать натиски разрушительных сил, атакующих со всех сторон и человека, и культуру.

---

[4] Тургенев И. С. Статьи и воспоминания. М., 1981. С. 117.

Через ансамбль понятий *истины-справедливости-правды* отдельный человек получает доступ в экзистенциальные пространства тех масштабных симфонических личностей, частью которых он является, и тех символических миров, внутрь которых его зазывает культура. Они служат чем-то вроде семантических и аксиологических «шлюзов», на «входе» которых субъект выступает в качестве частного лица, «естественного человека», а на «выходе» становится составной частью симфонической целостности, «гражданином» символической вселенной.

Глубинное содержательное единение этих понятий можно считать прямым свидетельством столь же глубокого внутреннего единства соотносящихся с ними миров науки, нравственности, религии, только на первый взгляд кажущихся самостоятельными, но на самом деле являющихся составными частями целостного культурного универсума. И хотя истина требовательна, справедливость принудительна, а правда может быть тяжела, все же «иго их легко». Отсутствие же этого «ига» делает жизнь человека и культуры не легкой и приятной, а, напротив, тягостной, сумрачной, духовно опустошенной, а существование локальных цивилизационных «подмиров» бесперспективным.

Множественность реальностей и полифонический мир идей истинного и справедливого

Различные смыслообразы истины, справедливости, правды, циркулирующие в социокультурных пространствах, менее всего похожи на замкнутые в себе монады. Присутствующие в них смыслы обладают внутренней энергетикой, контактируют между собой и входят в соприкосновения с представителями различных внешних сил. По горизонтальным, вертикальным, диагональным, параболическим, зигзагообразным и прочим траекториям от одних к другим перемещаются энергетические импульсы, питающие, заряжающие или, напротив, расслабляющие и даже отравляющие своих контрагентов. Этот мир, напоминающий и платоновский духовный космос, и бахтинскую полифоническую композицию, только на первый взгляд может показаться демократично-плюралистичным. Но в действительности между его обитателями нет отношений равноценности и равноправия. Не все они в равной степени жизненно важны, социально значимы и творчески продуктивны. Среди них имеются и очень ценные, и довольно посредственные, и откровенно вредоносные. Все это придает общему *полемосу* с его диалогами, конфронтациями и антиномиями неподдельный драматизм, временами оборачивающийся завихрениями гуманитарных скандалов и взрывами острых кризисов и даже катастроф.

То, что разновидности смыслообразов истинного и справедливого рассредоточены по множеству социокультурных ареалов, что каждая их форма живет своей собственной, самостоятельной жизнью, соответствует *идее множественности реальностей Джемса–Шюца*, согласно которой каждый из миров и «подмиров» обладает особым стилем существования и способностью оказываться в эпицентре обращаемого на него внимания[5].

Содержимое констелляции *истина-справедливость-правда* рассредоточено по различным «подмирам» — объективным и субъективным, действительным и воображаемым, индивидуальным и массовым, нормативным и анормативным, рациональным и иррациональным, долговременным и мимолетным. Исследователь, чтобы не оказаться заложником непомерной избыточности наличного материала и не впасть в методологический ступор, должен быть готов к продуманному, но ре-

[5] См.: Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М., 2004. С. 401–455.

шительному жесту по радикальному избирательному ограничению множественности доступных его взору «подмиров». Он обязан в полной мере проявить свою творческую волю, продемонстрировать интеллектуальный суверенитет и оставить в поле собственного аналитического внимания лишь необходимое и достаточное число «подмиров», требующихся для успешного решения собственных исследовательских задач.

В случае с множественностью представлений об истине, справедливости, правде одним из целесообразных методологических предпочтений можно считать шаг навстречу идее единства трех базовых онтологических уровней — *трансцендентного*, *сакрального* и *профанного.* Все вместе они маркируют структуру целостного универсума: над реальностью *профанного* возвышается реальность *сакрального*, а над ними обеими царит и их осеняет абсолютный, вечный, бесконечный мир *трансцендентного*. Отношения между ними вертикально-иерархичны, и познающая мысль, устремляющаяся вверх по ним, как по ступеням, подчиняется логике принципа *«a realibus ad realiora» («от реального к реальнейшему»)*. Введение данной триадической градации в эпицентр интеллектуальной интриги позволяет прочертить отчетливую аналитическую перспективу.

При определенных условиях любая из указанных сфер способна занять в гуманитарном сознании доминантное место. Так, в эпоху господства классической теологии главное место принадлежало трансцендентному: Бог выступал ведущим онтологическим, эпистемологическим и экзистенциальным принципом мирообъяснения. Но затем с приходом эпохи секуляризма защитников теологии стали обвинять в том, что они используют Бога в качестве «Большой Отмычки» (Х. Кокс), и аналитический вектор гуманитарного познания был перенацелен на сугубо профанную, посюстороннюю, приземленную реальность. А в XX веке начал прорисовываться все более возрастающий интерес гуманитарного сознания к теме сакрального. Обозначаемый этим понятием мир религиозных и светских структур, наделенных статусом *священного,* постепенно становится одной из доминантных сфер в современных гуманитарных исследованиях[6].

На протяжении последних десятилетий вниманием пользуется тематическая область, маркируемая категориальной парой *сакральное-профанное.* Другая диада, не менее важная, *трансцендентное-сакральное*, почти не привлекает к себе внимания авторитетных интеллектуалов-гуманитариев. Если в первом случае сакральное выглядит реалией, задающей тон и ставящей профанное в зависимость от себя, то во втором оно предстает зависимым от трансцендентной реальности. В первом случае вектор исследовательского внимания устремляется как бы вниз — от сакрального к профанному. Во втором он направлен вертикально вверх — от сакрального к трансцендентному. В обоих случаях образуются обширные проблемные поля, настоятельно требующие к себе внимания. При этом, если среди исследователей отношений между сакральным и профанным преобладают философы, рели-

[6] См.: Агамбен Дж. Homo Sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М., 2011; Агамбен Дж. Homo sacer. Чрезвычайное положение. М., 2011; Агамбен Дж. Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель. М., 2011; Жирар Р., Насилие и священное. М.: 2000; Зенкин С. Н. Небожественное сакральное. Теория и художественная практика. М., 2012; Мосс М. Социальные функции священного. Избранные произведения. СПб., 2000; Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным. СПб., 2008; Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994; Agamben G. Profanation. Payot & Rivages. 2005; Goldhammer J. The Headless Republic: Sacrificial Violence in Modern French Thought. Cornell UP. 2005; Nancy J.-L. The Unsacrificeable. Yale French Studies, n.79.1991; Strensky I. Theology and the First Theory of Sacrifice. Leiden-Boston, Brill. 2003.

гиоведы и культурологи, то среди аналитиков, интересующихся связями сакрального с трансцендентным, доминируют теологи.

Если объединить оба аналитических направления, то возникает сложнейший предмет исследований — полномасштабная иерархическая композиция *трансцендентного-сакрального-профанного* с присущей ей онтологической полнотой духовных ресурсов, обеспечивающих не только витально-социальные, но и духовно-экзистенциальные запросы человека, в том числе его потребности в высшей правде, истине, справедливости, благе, свободе, добре, красоте, смысле жизни и прочем. Эта композиция, охватывающая все формы бренного и вечного, подчинена иерархическому принципу, который получил у Жака Маритэна название *закона первичности духовного*[7] и который вполне может быть назван *законом первичности трансцендентного*, законом его приоритетного положения над сакральным и профанным.

«Каждый творческий философ является тайным теологом»

Цепкое внимание гуманитарного сознания к *антропологии относительного* и к *онтологии абсолютного* составляет двоящуюся готовность мысли опрокидываться в глубины экзистенции и тянуться ввысь, к трансцендентному. Потому не кажется неуместным предположение о том, что экзистенциалы такого уровня, как истина, справедливость, правда, нуждаются в анализе их отношений с трансцендентной реальностью как с философско-экзистенциальных, так и с теологических позиций. Впрочем, никаких особых препятствий для этого сегодня нет, и любой философ может испробовать свои силы на этом поприще. Тем более что, как некогда прозорливо заметил Пауль Тиллих, «каждый творческий философ является тайным (а иногда даже и явным) теологом»[8]. Кстати, аналитики именно этого склада выказывают повышенный интерес к той мировоззренчески-методологической трансформации гуманитарного дискурса, которую ныне нередко именуют *теологическим поворотом*.

Когда-то, в первой половине XX века, Вальтер Беньямин отозвался о теологии как о чем-то «маленьком и отвратительном», которому лучше не показываться на глаза никому[9]. Однако сегодня, в начале XXI века, мало у кого повернется язык сказать о теологии что-либо подобное. И это одно из свидетельств того, что современный гуманитарный мир переместился из модерности в постмодерность, из пространства агрессивного богоборчества в состояние постсекулярной толерантности, породив тем самым ситуацию начавшегося *теологического поворота* как процесса метанойи, внутренней перестройки гуманитарного сознания.

Классический опыт подсказывает: метанойя является одной из самых удачных форм выхода из тупиковых ситуаций мировоззренческого и методологического характера. Когда субъект, движущийся по определенной траектории, начинает ощущать угрозу оказаться в тупике, поворот становится для него не капризной прихотью, а суровой необходимостью. Ведь если не изменить направления движе-

---

[7] Maritain J. Primaté du spirituel. Paris. 1927.

[8] Тиллих П. Систематическая теология. Т. I–II. М.; СПб., 2000. С. 31. Процитированное высказывание Тиллиха перекликается с утверждением Ницше о том, что немецкая философия — это в своей основе теология, лишь прикинувшаяся философией. К этому можно прибавить аналогичное оценочное суждение и относительно русской религиозной философии, в которой также можно увидеть богословие, облаченное во внецерковные, метафизические одеяния и снизошедшее с горних вершин богопознания в дольний, профанный мир философских, социальных, антропологических рефлексий.

[9] Беньямин В. О понятии истории // Новое литературное обозрение. 2000. № 46. С.86.

ния, то придется уткнуться в стену безвыходности, убедится в исчезновении перспективы и того манящего света, который дает надежду и силы вести продолжительный духовный, интеллектуальный поиск.

Нынешнему теологическому повороту предшествовала давняя метаморфоза, которую сегодня, если использовать нынешнюю терминологию, можно было бы назвать *атеистическим поворотом*. Он начался в эпоху Возрождения, обрел радикальность и масштабность во времена Просвещения и достиг апогея в период модерна. Это был отказ от библейско-христианского духовного наследия, от очень многого из того, что было связано с ним в жизни западной цивилизации. В результате не только западный, но и российский человек оторвался от своих духовных корней, отстранились от живительных источников жизненно важных смыслов, ценностей и норм. Нынешний же теологический поворот следует рассматривать как вынужденное признание эвристической значимости и явной востребованности классического духовного опыта библейского происхождения. Далеко не все гуманитарии воспринимают его с восторгом. Среди них немало тех, кто относится к нему с явным неодобрением[10]. Он их не устраивает из-за того, что они усматривают в нем свидетельство «великой измены». Им видится вина гуманитарного сознания в том, что оно перестало дорожить рационализмом и уже не считает его главным стратегическим направлением гуманитарных изысканий.

И все же, несмотря ни на что, процесс разнонаправленных рецепций библейского гуманитарного наследия идет своим чередом. Проводятся опыты избирательных переносов отдельных библиологем и теологем внутрь современных смысловых полей и ценностно-нормативных структур. При этом нередко возникает впечатление, будто гуманитарное сознание встречается не с какими-то чужеродными конструктами, но с богатейшим репертуаром смысловых, символических и образных форм, узнаваемых на глубинных уровнях культурной памяти как что-то родственное и потому обладающих почти неизъяснимой притягательностью. Приоткрываются духовные ресурсы уже основательно забытого религиозно-экзистенциального опыта. Факультативно присутствующий на отдаленной периферии современного дискурса, этот опыт выказывает признаки духовного капитала, который еще предстоит пустить в ход.

На фоне данного сдвига приходится признать, что философско-теологическая аналитика заметно сложнее аналитики сугубо философской. Это объясняется не только тем, что междисциплинарные штудии всегда затратнее монодисциплинарных опытов, но в первую очередь той особой экзистенциальной усложненностью, которой всегда отличался теологический дискурс. А если учесть, что вот уже на протяжении нескольких столетий секуляризм настойчиво воздвигает на пути гуманитарного сознания, интересующегося трансцендентной реальностью, всевозможные препятствия, то становится понятным, насколько трудно поприще современного теологизирующего философа и насколько важным становится вопрос, на особую значимость которого обратил внимание Славой Жижек: «Так вы верите на самом деле или нет?»[11]

---

[10] Вот пример сетований такого рода: «Одна из наиболее прискорбных особенностей эпохи постмодернизма и ее так называемой “мысли” заключается в возвращении в нее религиозного измерения во всех его самых разнообразных проявлениях, от христианского и прочего фундаментализма через множество спиритуалистических тенденций “нью эйджа” до возникающей религиозной чувственности в пределах самой деконструкции (так называемая “постсекулярная” мысль)» **(**Жижек С. Хрупкий Абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие. М., 1999. С. 31).

[11] Жижек С. Кукла и карлик. Христианство между ересью и бунтом. М.: Европа, 2009. С. 12.

Теологический поворот как поворот к сакральному

Интеллектуальные трансформации противосекулярного характера совершаются не быстро. Гуманитарное сознание не выказывает на этом пути излишней поспешности. Ошеломленное ужасами XX века, но при этом убежденное в том, что разрыв отношений экзистенции с трансценденцией, человека с Богом не имеет к этим ужасам прямого отношения, оно, подобно пушкинскому Сальери, склонно лишь меланхолически констатировать: «Нет правды/истины/справедливости на земле, но нет их и выше». Не наблюдая вокруг себя достаточного числа утешительных свидетельств торжества этих идеалов, оно в размышлениях о них не апеллирует к трансцендентному миру, поскольку не верит в его существование. Но чтобы не оставаться в стороне от тех, кто признает значимость теологического поворота, оно находит промежуточную сферу приложения своим силам — мир сакрального. В его глазах эта промежуточная духовно-практическая область, не являющаяся ни чисто земной, ни исключительно трансцендентной, обнаруживает в себе немалый потенциал интригующих познавательных задач, будит метафизический интерес и позволяет включиться в общий теологический поворот, который обретает для него вид *поворота к сакральному*.

Следует отдать должное гуманитарному сознанию XX века, сумевшему выделить собственное проблемное поле в антропосоциокультурном материале, отмеченном печатями реальной или ложной религиозности. Произошло смещение гуманитарного интереса в область «небожественного сакрального», которое оказалось чем-то вроде промежуточной зоны, откуда рукой подать до привычных профанных зон десакрализованной повседневности[12]. Но беда в том, что при этом обнаруживаются методологические сбои, обусловленные игнорированием принципа онтологической полноты триадического ансамбля *трансцендентного-сакрального-профанного*. То, что внимание аналитиков сосредоточивается преимущественно на диаде *сакральное-профанное,* можно сравнить разве что с изданием какого-нибудь анатомического атласа, где были бы размещены изображения всех частей и органов человеческого тела, за исключением головы. Содержащий обширную информацию, он отличался бы принципиальной неполнотой и порождал бы множество недоуменных вопросов касательно того, куда же уходят те сосуды и нервы, которые обрываются на уровне шеи?

Еще одна особенность современного дискурса сакрального состоит в том, что он находится под влиянием процесса *паганизации*. Гуманитарное сознание, высвобождающееся из-под диктатуры атеизма, сегодня охотно делает шаги навстречу не только библейско-христианскому духовному наследию, но и резидиумам старого языческого опыта, прощупывая его на предмет пригодности для размещений на его территориях своих концептуальных построений. При этом трансцендентное приносится в жертву сакральному, выдворяется за пределы рефлексии, так что остается все та же усеченная диада *сакрального-профанного*.

В результате возникает характерная ситуация. Несмотря на существование давних традиций и большого опыта интеллектуального освоения проблем трансцендентной реальности и божественной сакральности, тема трансцендентного в ее теологически разработанном виде оказывается практически закрытой для интеллектуалов-атеистов, как закрыт, скажем, мир живописи для слепорожденных или мир музыки для глухих. В пределах теоретической досягаемости остается лишь все то же «небожественное», насквозь профанированное сакральное.

---

[12] В этом отношении характерен труд С. Н. Зенкина «Небожественное сакральное. Теория и художественная практика» (М.: РГГУ, 2012).

Однако сакральное, берущееся в отрыве от трансцендентного, иссеченное из общей триадической иерархии *трансцендентного-сакрального-профанного*, в которой оно изначально пребывает, теряет многие из присущих ему смыслов, а временами и просто перестает быть сакральным, становясь чем-то беспризорным по своему статусу. Но гуманитарное сознание не спешит признавать несуразности этой ситуации. Не умеющее сказать о трансцендентной реальности ничего сверх ницшевского трюизма о «смерти» Бога, оно набрасывается на тематику сакрального, как голодный на протянутый ему кусок хлеба. Не совсем ясно сознавая, отчего его влечет эта тема, оно связывает с ней какие-то смутные ожидания и не слишком внятные надежды. Не исключено, что мир сакрального играет в данном случае роль переходного, связующего звена, выполняет функцию того «моста», по которому философствующий рассудок сможет в конце концов совершить решающий мировоззренческий и методологический исход из атеистического тупика.

Николай НАБОКОВ

СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ и НОВАЯ МУЗЫКА.

Глава из книги*

Вместо предисловия

Но, брызнув бешено, все разметал прилив.
Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете,
В тебе востосковал оркестр о звонком лете,
И в бубен солнца бьет непобедимый скиф.
Константин Бальмонт

Перед вами новая глава из мемуарной книги русско-американского композитора, музыканта и общественного деятеля Николая Дмитриевича Набокова «Старые друзья и новая музыка» в переводе с английского и с примечаниями М. Ямщикова. Глава посвящена С. С. Прокофьеву, с которым Н. Д. Набоков был дружен и в царской России, и в эмиграции, — до самого возвращения Сергея Сергеевича в Советский Союз в 1936 году.

Я не знал Прокофьева лично: когда он умер, мне было 12 лет, и в моей семье и среди самых дальних родственников не было музыкантов. Более того, сам я напрочь лишен музыкального слуха, правда, в детском саду и в школе на уроках музыки я пел вместе со всеми, но это был ужас — мою маму постоянно корили за то, что я своим басом порчу им праздники, но она только улыбалась. Как вы понимаете, ужас состоял в том, что мне очень-очень хотелось петь, как все, и от этого было еще хуже.

Однако по мемуарному «Закону Мнемозины» (см. зачин романа В. В. Набокова «Другие берега», кузена автора представляемой книги) я просто обязан поведать о «своем Прокофьеве», хотя мое призвание — биографии писателей и история русской литературы начала двадцатого века. Ибо одно дело — музыка, а другое — сами музыканты, живые люди...

В 1980–1990-е годы я был связан доверительной дружбой и общим делом по Фонду культуры с профессором физики и оптики Никитой Алексеевичем Толстым. Он знал Сергея Прокофьева лично. Были у нас и прогулки. И вот как-то раз, проходя мимо Малого зала филармонии, Толстой остановился у большого живописного щита — афиши, возвещавшей о концертном исполнении «Войны и мира» Прокофьева. На щите по углам были помещены рисованные портреты двух гениев, причем слева как главный автор — Прокофьев (почему-то без очков), а справа — Толстой. Лица обоих были обращены не навстречу, а врозь, как будто они были недовольны друг другом. Никита Алексеевич нашел обстоятельство довольно

* Перевод и примечания М. А. Ямщикова.

странным, мы прошли в фойе, к дежурной, и громко заявили: либо уберите щит, либо поменяйте местами портреты так, чтобы они смотрели друг на друга и на афишу, и непременно наденьте на нос Прокофьева очки... Наша беседа продолжилась, и Толстой (физик, материалист) сказал, что после общения с Прокофьевым и его музыкой он утвердился в мысли, что сочинители музыки, Творцы Ее (и прежде всего сам Сергей Сергеевич) ближе всех к Богу, говорят с ним на одном языке и своей музыкой утверждают его существование. Одного только Никита Алексеевич не мог взять в толк (и в шутку, и всерьез): как это бывший белоэмигрант Сергей Сергеевич Прокофьев умудрился счастливо жениться второй раз на юной комсомолке с музыкальной фамилией Мендельсон; написать свою «Войну и мир»; стать лауреатом аж шести самых главных премий страны и кавалером ордена Ленина... И еще: умереть в один день и год с самим Хозяином и в один календарный день с боготворимой им Анной Ахматовой... Нет-нет, мой дорогой друг, это — тоже от Бога.

Все это так! А для меня, «глухого», Прокофьев — прежде всего зачинатель или, точнее, по Маяковскому, «глашатай и главарь» того неповторимого феномена русской петербургской музыкальной культуры, имя которому «Серебряный век». Сказать, когда впервые я услышал имя «Прокофьев» и что с этим связано, не скажу. Помню, году в 1973-м или 1974-м в Ленинград приехал Шкловский, и вечером в Доме архитектора, на ул. Герцена, была встреча с нами, молодыми писателями. Народу — тьма. Гостя, Виктора Борисовича, представляет замечательный Ефим Григорьевич Эткинд. Звучат слова «футуризм», «формализм», «остранение», стихи Крученых, Васи Каменского... Мафусаил Шкловский сидит на сцене верхом на стуле, футуристически сложив ноги калачиком, и слушает (улыбаясь, вполуха), сжав квадратный подбородок (как на фотографии Моисея Наппельбаума), что о нем говорят. Было интересно — безумно... Потом — вопросы, куча вопросов про всех, кого В. Б. знал, видал на своем веку и кого — нет! Я вдруг спросил про Олешу (я тогда им сильно «болел» и еще не «вылечился»). Шкловский обрадовался, преобразился (а то все Маяковский и Есенин, Маяковский и Есенин), развернулся на стуле, разжал челюсти и начал так: я, мол, про Олешу вам потом расскажу, а сначала — про Прокофьева и про то, что Олеша обладал неимоверным даром и привычкой странно слушать его музыку (я передаю п о ч т и дословно, такое не забывается). Итак, Олеша ставил на патефон пластинку со знаменитым Третьим фортепианным концертом Прокофьева и через каждые две-три минуты останавливал ее бег, поднимал иглу и принимался быстро что-то записывать в тетрадку; потом опять — две минуты музыки и стоп — тетрадка, и так почти весь концерт. До финала! Что это, что... А я вам скажу: это гениально, ибо каждый фрагмент концерта Сергея Прокофьева он, Олеша, «переводил» в прозу, в метафоры, поверял гармонию алгеброй прозы, так родились его лоскутные «Ни дня без строчки», его роман — великий. И добавил еще, что, по словам Юрия Карловича, ни один композитор, кроме Прокофьева, не поддается такому маневру, разве что Бизе и Мендельсон, но Мендельсона сейчас не слушают...

Или вот еще история. Мой старший друг, писатель-достоевист Сергей Владимирович Белов, зайдя в «Сайгон», где мы частенько встречались, захватил меня с собой в гости в один дом вблизи Академии художеств. Там, в квартире художницы Визель, остановилась на несколько дней приехавшая из Москвы дочь Константина Бальмонта, Нинка Бальмонт (этому вечеру посвящена мною особая статья, памятная, как сказал бы Достоевский, до последней складочки души). Скажу лишь, что в то время С. В. Белов писал книжку о братьях Сабашниковых, а как известно, на младшей сестре знаменитых московских книгоиздателей был женат первым

браком Бальмонт. Зашел разговор о трудной жизни Бальмонта за границей. О том, что в самые кромешные дни Константин Дмитриевич обращался к своим стихам, положенным на музыку Прокофьева... Он читал их наизусть слабым голосом и по мере сил подпевал (напевал, едва дыша, как сказала Ниника, и тогда на миг приходил в себя). Нина Константиновна, дочь поэта, вдруг вышла из-за стола (стройная, изящная пожилая дама) и, закурив сигарету с длинным мундштуком, прочитала глухим, прокуренным голосом все пять стихотворений отца, посвященных Прокофьеву и тогда нам совсем незнакомых...

В годы учебы в Литинституте, в Москве, я в одну из зимних сессий, в морозный день забрел погреться в Музей имени М. И. Глинки (ах, эти маленькие московские музеи, сколько там всего и, кроме всего прочего, тепло). В музейных витринах была выставка книг, книжек и книжечек с автографами и владельческими надписями русских композиторов разных времен, из коллекции музея. Автографы, всякие надписи, инскрипты, пометы на книгах — это «мой хлеб»! И вот я вижу книжку стихов: Борис Божнев. Silentium Sociologicum. Париж, 1936. И автограф: «С. Прокофьеву — громовсемирному». И подпись: «Б. Божнев. 1936». А на табличке (поверх стекла, на деревянной раме) рядом с фамилией поэта — жирный вопрос. Мне же имя поэта русского зарубежья Бориса Божнева было давно знакомо. Божнев был одним из учеников знаменитой на весь дооктябрьский Петербург гимназии и реального училища Карла Мая, то есть мой герой: я в ту пору, с легкой руки бывших «майцев» и их потомков (Н. А. Бенуа, Л. В. Успенского, А. В. Ливеровского, Д. С. Лихачева, В. Я. Френкеля) изучал историю гимназии и ее выдающихся выпускников и даже написал книгу. И я украдкой, карандашиком, зачеркнул вопрос и поставил даты: «1898–1969. Марсель». А потом, дома, в свой «майский» конвалют, к заметке о Борисе Божневе (настоящая фамилия Гершун), приписал: «...в юные годы дружил с Прокофьевым, был его поклонником. Одно время служил переписчиком нот».

И — последнее. Композитор и дирижер Николай Леонидович Слонимский, любивший собирать курьезы из жизни собратьев по цеху, как-то заметил в разговоре со мной, что Рахманинов и Стравинский поначалу не только не принимали музыку молодого Сергея Прокофьева, а прямо-таки прилюдно, на публике, и чуть ли не вслух в открытую смеялись над его «новой» музыкой, а потом, в зрелом возрасте, добившись мировой славы, ставили Прокофьева подчас выше всех и даже самих себя... Остается добавить, что при подготовке этой публикации мне в фундаментальной музыкальной библиотеке филармонии имени Д. Д. Шостаковича показали известную книгу статей и материалов «Прокофьев о Прокофьеве» (моя неизменная благодарность заведующему библиотекой Павлу Вячеславовичу Серебрякову), в которой опубликовано интервью С. С. Прокофьева для американской газеты «Musical America» (от 10 января 1930 года). В нем Сергей Сергеевич, в частности, сказал: «Мой соотечественник Николай Набоков, живущий в Париже, написал симфонию, которая очень понравилась Стравинскому и мне. Недавно она исполнялась в Брюсселе и будет вскоре исполнена в США».

Глава 8

«Совсем не похоже на Париж», — подумал я, выйдя из парадной дома номер 2 по улице Валентина Гаюи (rue Valentin Haüy)[1] на яркий солнечный

[1] 13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи (Valentin Haüy) — известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых. Теперь 13 ноября — Международный день слепых.

свет и повернув налево. Мороз щекотал ноздри; вдалеке пробил колокол. Я сосчитал удары: двенадцать.

«Что вы делаете здесь, в районе моего обхода? — прозвучал веселый, жизнерадостный голос за спиной. — Разве вы не знаете, что это моя частная территория?» Я повернулся и увидел Сергея Сергеевича Прокофьева. Он был в громоздком сером пальто из дешевого, в елочку, твида и плоской твидовой шапке. Он только что вышел из парадной. Я объяснил, что оставил мои новые песни у консьержки. Его жена Лина Ивановна просила принести их, и сейчас я иду домой. «О нет, — произнес он тем же жизнерадостным баритоном. — Вы не идете домой, вы идете со мной. Мы опишем круг вокруг вон той штуковины», — и он указал на приземистый желтый купол гробницы Наполеона. Он положил руки в перчатках кремового цвета мне на плечи, повернул меня кругом и сказал: «Вперед, марш!»

«Каким здоровым он выглядит», — подумал я, глядя на пар, выходящий ритмичными клубами из его ноздрей, как из игрушечного паровоза. Лицо было розоватым, округлым и сияющим, а толстые выдающиеся губы, которые часто выглядели такими надутыми, складывались в счастливую улыбку.

«Вы знаете, — сказал он, — это для меня ритуал. Я ввел его год назад. И теперь проделываю каждый день. Выхожу из дома перед ланчем и иду верх по Avenue de Breteuil[2]. В конце поворачиваю направо и налево и в тот момент, когда оказываюсь перед Инвалидами, начинаю чувствовать сильный голод. Не могу думать ни о чем, кроме еды. Готов съесть пять ланчей. Вы почувствуете то же самое через минуту, — усмехнулся он, когда мы с важным видом двигались по пустой улице. — Я установил жесткий временной график, — добавил он. — Этот маршрут занимает у меня ровно от двадцати шести минут семнадцати секунд до двадцати шести минут тридцати пяти секунд — от двери до двери. Но... — он посмотрел на ручные часы, — сейчас, из-за вас, я опаздываю. Одна минута четыре секунды... я всегда прохожу этот дом через четыре минуты и десять секунд после того, как вышел на улицу. Пойдемте быстрее. Не ленитесь. Двигайтесь!» Он ускорил шаг. Я последовал за ним, и скоро мы пересекали площадь позади Инвалидов[3]. Некоторое время мы маршировали в сосредоточенном молчании, как солдаты на параде. Прокофьев при этом считал секунды, а я вслушивался в гулкий звук наших шагов. Он снова посмотрел на часы и воскликнул: «А видите, мы добились своего — прошли отметку на половине пути. Вот она, — он показал на фонарь, — теперь мы можем идти медленнее и разговаривать. У нас уйма времени».

Накануне вечером мы вместе были на концерте современной музыки, одном из первых концертов сезона Общества современных композиторов (*La Serenade)*. Оно было организовано год назад, в 1930 году, и теперь давало серию концертов в концертном зале — Salle Gaveau[4]. Общество имело богатых покровителей, и его концерты посещались изысканной публикой, отмеченной тем же снобизмом, который окружал балетные сезоны Дягилева. Оба мы, Прокофьев и я, были членами общества (в него входили всего восемь композиторов), но Прокофьеву не нравилась атмосфера концертов. Накануне вечером он исчез во время перерыва, перед исполнением *clou* — главного произведения, гвоздя программы. «Почему вы ушли

---

[2] Улица названа в честь государственного секретаря Франции по военным вопросам с 1 июля 1723 года до 19 июня 1726 года. Франсуа Виктора ле Тоннелье де Бретейла (Francois Victor le tonneller de Breteuil).

[3] Дом инвалидов или Инвалиды — архитектурный памятник в Париже.

[4] Большое здание в Париже, включающее в себя штаб-квартиру компании, производящей фортепиано, названную по имени ее основателя Gaveau, и концертный зал на 1020 мест, открытый в 1907 году.

так рано вчера вечером, — начал я, — перед исполнением произведения Маркевича (Markevitch)?»[5] — «Потому, — ответил он, и его лицо приобрело хмурое выражение, — что с меня довольно было скверного концерта. Кроме того, я прослушал часть произведения Маркевича на репетиции и... — он замолчал на мгновение, но, прежде чем я успел что-нибудь сказать, продолжил, как бы развивая мысль: — Знаете, музыка Маркевича удивляет меня» (Маркевич, молодой композитор русского происхождения, внезапно получил большую известность). — «Она звучит ужасно умно, но в действительности не имеет никакого смысла. Это как если бы кого-то наняли для акустических экспериментов с инструментами оркестра». И он повернулся ко мне, глядя нетерпеливо и иронично. «Но... *вам* она нравится? Нравится?» — «Ну, — начал я, — этот человек еще очень молод. Он очень... одарен, как вы знаете, но... но...» — «Но что? — прервал Прокофьев ворчливым тоном. — Почему вы никогда не говорите, что чувствуете? Это ваша постоянная манера. Почему вы не скажете: „Да, мне нравится это, — и затем не объясните, почему, или наоборот. — Нет, мне это не нравится“? Вместо этого вы ищете извинений. „Этот человек очень одарен... Он молод“. Что это значит? Абсолютно ничего. Это звучит, как жаргон светских леди, которые в действительности не знают, *что* сказать, — и он добавил более спокойным тоном: — Я сказал Маркевичу, что мне не нравится его чепуха, и сказал почему. — Он остановился, и снова мы шли в молчании до тех пор, пока он не посмотрел на часы и не просиял. — Отлично! — сказал он. — Теперь мы можем идти нога за ногу. Мы опережаем расписание“».

Мы прошли мимо старых пушек перед площадью Инвалидов. Прокофьев остановился и указал на одну из них.

« — Посмотрите, как злобно она выглядит, — заметил он. — Такую же злость я испытываю, когда иду на один из этих парижских концертов. Все эти графини, принцессы и старые глупые снобы бесят меня. Они ведут себя, как если бы все в мире было изобретено для того, чтобы позабавить *их*. И... — его голос стал резким и раздраженным, — посмотрите, что все их *салонные композиторы (salonarisme)* сделали для французской музыки. Не было первоклассного французского композитора со времен Шабрие (Chabrier)[6] и Бизе (Bizet). Потому что французские композиторы заняты развлечением и лестью принцессам, графиням и маркизам.

— Но, Сергей Сергеевич, — пытался я вставить замечание.

— Знаю, знаю, — прервал он. — Вам нравится все французское. Вам нравится даже старый чудак Сати (Satie)[7]. Знаю, что вы думаете о его последователях. Вы думаете, что они имеют большое значение. Нет, они не имеют большого значения. Они — просто чепуха. Единственный во Франции, кто знает, что делает, это Равель (Ravel). Все остальные безнадежны.

— Но как насчет... Дебюсси? — сказал я робко, когда мы поворачивали на улицу Валентина Гаюи.

— Дебюсси! — он усмехнулся. — Дебюсси! Вы знаете, что такое Дебюсси: это — *студень (stouden)*... это — желе, это абсолютно бесхребетная, мягкотелая музыка[8]. — Его голос стал возбужденным и громким: — Нет, я не могу разделить чьего бы то ни было восхищения Дебюсси. Впрочем, пожалуй, — он снова усмехнулся, —

---

[5] Маркевич Игорь Борисович (1912–1983) — французский дирижер, пианист, композитор русского происхождения.

[6] Шабрие, Эманюэль (Chabrier, Emmanuel) (1841–1894) — *французский композитор.*

[7] Сати, Э. (Satie, Eric) (1866–1925) — французский композитор и пианист. Равель М. (Ravel Maurice) (1875–1937) — французский композитор. Дебюсси К. (Debussy Clod) (1862–1919) — французский композитор.

[8] Русское слово *студень* написано латиницей.

это очень «персональное» желе, и изготовитель желе знает, что изготавливает. Вы знаете, — он резко оборвал себя и поднял вверх указательный палец правой руки. Мы остановились перед его домом. Он посмотрел на часы и просиял. — Превосходно! — сказал он. — Двадцать шесть минут и двадцать секунд. Прекрасное время. Ника, не зайдете ли позавтракать с нами?

...Когда я думаю о Прокофьеве и пытаюсь вспомнить, как он выглядел, я всегда вспоминаю эту прогулку вокруг Инвалидов. Я вижу его, стоящего перед своей входной дверью, жизнерадостного, мужественного, полного грубоватого, неистребимого оптимизма. Этот образ так ясно стоит перед глазами и в то же время так соответствует тому типу человека, каким он *был* в те годы, когда я знал его в Париже, что я инстинктивно вспоминаю его первым, прежде чем на память приходят другие его образы, которые запомнились мне в течение пяти или шести лет нашей дружбы.

Первый раз я увидел Прокофьева много, много лет назад. Я был мальчиком двенадцати или тринадцати лет, жившим со своей семьей в Санкт-Петербурге. В 1915 или 1916 году, после смерти Александра Скрябина, Сергей Рахманинов приехал в Петербург и дал концерт в пользу вдовы Скрябина. Концерт проходил в Санкт-Петербургской консерватории, куда я был взят моим воспитателем Це-Це (Tze-Tze). Это было мое первое посещение концерта Рахманинова, известного пианиста и композитора, разговоры о котором я слышал с малых лет. Особенно волновало то, что Рахманинов исполнял целую программу из произведений Скрябина, под очарованием музыки которого я находился в то время. Я плохо помню тот концерт, но одно поразило меня: в первых рядах, недалеко от нас, сидела группа странно выглядевших людей, которые болтали и шептались во время всего исполнения Рахманинова. Среди них был худой молодой человек с мясистыми, выдающимися губами и чрезвычайно большой белокурой головой, несоответствующей тонкой шее. Я спросил Це-Це об этих людях и, в частности, о молодом человеке. «Я не знаю, кто они, — ответил Це-Це, — но этот человек, я думаю, молодой композитор Сергей Прокофьев».

Много лет спустя в Париже Прокофьев рассказал историю, связанную с тем концертом. Рахманинов в то время был идолом Москвы, в то время как Скрябина восторженно почитала небольшая группа эстетов и музыкальных любителей, псевдомистиков и псевдофилософов в Санкт-Петербурге. Они относились к Рахманинову с определенным пренебрежением и видели в нем главного представителя романтизма, характерного для декадентского салона, центром которого была московская школа наследников Чайковского. Поэтому появление Рахманинова в Санкт-Петербурге для того, чтобы сыграть целый концерт из произведений Скрябина и посвятить выступление его памяти, явилось совершенно неожиданным событием. После того как Рахманинов исполнил эзотерические произведения Скрябина со своей обычной точностью, тщательностью и верностью оригиналу, эта небольшая группа санкт-петербургских меломанов разразилась язвительными замечаниями, обсуждая то, что Рахманинов не сумел понять значение музыки Скрябина. Но Прокофьев считал, что Рахманинов хорошо справился со своей задачей. Он прошел прямо в комнату артиста и в своей обычной, прямолинейной и грубой, манере сказал московскому идолу, великому и известному, что его исполнение «было неплохо, совсем неплохо».

«Что вы имеете в виду под словом неплохо?» — спросил Рахманинов и, возмущенный, повернулся к Прокофьеву спиной. Размолвка длилась много лет, потребовалась случайная встреча за шахматной доской на океанском лайнере для того, чтобы уладить давний петербургский инцидент.

В следующий раз я увидел Прокофьева во время шахматного турнира в Санкт-Петербурге, куда Це-Це, страстный шахматист, и я пришли как зрители. Прокофьев сидел за шахматным столиком, его большая блондинистая голова была наклонена над шахматной доской, он выглядел отрешенно, сосредоточенно и мрачно. Победитель турнира Алехин, тогда еще молодой человек в форме университетского студента, но уже ставший шахматной звездой, двигался от стола к столу; останавливался на мгновение около каждого, делал ход и переходил к следующему[9].

Прокофьев сидел неподвижно, все время с одним и тем же напряженным и внимательным выражением лица. Он даже не поднимал глаз, когда Алехин подходил к его столу. Я наблюдал за игрой в течение нескольких часов, до тех пор, пока большинство игроков не потерпели поражения. Остались только Прокофьев и еще один или два шахматиста. Когда мы покидали переполненный зал, был объявлен окончательный результат. Алехин выиграл двадцать восемь партий, одна закончилась вничью, и одну он проиграл молодому Прокофьеву. Таким образом, в России я видел Прокофьева только два раза — на рахманиновском концерте и на шахматном турнире. И больше не видел до тех пор, пока много позже, в 1923 или 1924 году, не встретил в Париже, когда молодым, двадцатилетним человеком переехал из Германии во Францию и поступил в Парижский университет. Но за время, прошедшее между шахматным матчем и Парижем, я узнал музыку Прокофьева и начал любить ее.

Первый раз я обратил внимание на произведения Прокофьева в Ялте в 1919 году в результате странного и нелепого случая. Благодаря ряду невосстановимых событий я получил ноты двух произведений Прокофьева для фортепьяно. Может быть, их в качестве рождественского подарка принес маленький старый органист ялтинской католической церкви, знавший о моей сильной тяге к новой музыке. Новая музыка была редкостью в те послереволюционные годы Гражданской войны. Так как правительство Ленина национализировало издательства, ничего или почти ничего не печаталось. Наш старый ялтинский магазин был пуст, и единственное новое произведение, которое я видел с 1917 года, было произведение Артура Лурье[10] (Arthur Lourie), называвшееся *Наш марш* (Лурье был тогда вице-комиссаром по музыке в правительстве Ленина), которое было напечатано тиражом в несколько миллионов экземпляров и распределялось по всем музыкальным магазинам России. Полученные мною произведения Прокофьева содержали нежные лирические *Бабушкины сказки,* и я набросился на них с жадностью и энтузиазмом человека, который был слишком долго лишен свежей музыкальной пищи. Я проигрывал их снова и снова, завороженный их удивительно запутанной (twisted) и в то же время наивной и откровенной простотой. Конечно, я захотел показать новые приобретения моему учителю гармонии композитору Владимиру Ивановичу Ребикову[11].

---

[9] Речь идет о сеансе одновременной игры, который, видимо, состоялся по окончании турнира. Всероссийский турнир мастеров, на котором Алехин разделил первое место, состоялся в Санкт-Петербурге в декабре 1913 — январе 1914 года. Слово «champion» здесь означает «победитель турнира». Алехин стал чемпионом РСФСР в 1920 году, в 1921 году он покинул Россию. Чемпионом мира Алехин стал в 1927 году. Кстати, Алехин не учился в университете, а окончил училище правоведения в мае 1914 года. Этот случай произошел, таким образом, *до* описанного выше концерта Рахманинова, а не *после.*

[10] Лурье Артур (1891–1966) — русский композитор, пианист, музыкальный писатель. С 1918-го по 1921 год работал начальником музотдела Наркомпроса. «Наш марш» — произведение для чтеца и фортепиано, стихи В. В. Маяковского.

[11] Ребиков В. И. (1866–1920) — русский композитор. Очевидно, имеется в виду произведение Прокофьева *Сказки старой бабушки* (1918).

Ребиков был капризным пожилым человеком, из тех, кого в России обычно называют *оригиналами (original)* (эксцентриками). Он обладал буйным характером, настроение его было совершенно непредсказуемым. Кроме того, он выглядел совершенным чудаком. Он был большим и обрюзгшим. Его лицо, большой, плоский розовый овал разделял на две половины багровый тыквообразный нос. У него были тройной подбородок, пара маленьких, близоруких и безнадежно косящих глаз, спрятанных за толстыми линзами, и крошечный рот, наполненный беспорядочными зубами, выступавшими из-под плохо подстриженных зеленоватых усов. Большой, громоздкий череп, низко нависавший над узким лбом, был покрыт тонким слоем скудной растительности. Она росла, или то, что осталось от нее, росло на затылке, полукругом, от уха до уха, и тщательно зачесывалось к середине лба, как если бы волосы притягивались магнитным полем. Из его чудачеств самым выдающимся был способ приготовления будущего парика. Ребиков обычно держал на фортепиано два картонных квадрата, белого и черного цвета. Во время урока гармонии он, бывало, внезапно останавливался и начинал близоруко искать на клавиатуре упавший волос. Заметив, он поднимал его большими неуклюжими пальцами и, после тщательного исследования, помещал, если тот был седым, на черный квадрат, если же темным, на белый. «Вы видите, — объяснял он каждый раз, — когда я стану старым, у меня будет парик, сделанный из моих собственных волос».

Ребиков был тем, кого назвали бы «сочинителем нотных знаков» (composer of note). Он написал приятный небольшой вальс в своей опере *Елка (The Christmas Tree),* пользовавшийся большой популярностью в России и за границей. Даже сегодня он внезапно изливается из затянутых раструбов (muffled orifice) громкоговорителей Музак (Muzak) (по-видимому, имеется в виду американская компания Muzak Holdings, основанная в 1934 году. — *Прим. пер.*). Музыка, написанная им, была удивительно диссонантной и по своей гармонической текстуре (структуре) напоминала новейшие работы Скрябина и Дебюсси. По его словам, использование им «новейших» гармоний (harmonies) всегда опережало применение их известными современниками лет на десять. «Они скопировали, они украли мои изобретения, это — плагиат», — бывало, восклицал он, указывая на дату публикации одного из своих произведений, тем самым доказывая вам, что оно было опубликовано задолго до «этого» произведения Дебюсси или «того» произведения Скрябина. «Но худшее заключается в том, что они исковеркали мои изобретения», — бывало, добавлял он высокопарным тоном.

Когда я пришел на урок с произведениями Прокофьева в руках, он сразу же сделал кислое лицо. Да, сказал он, он слышал об этом молодом человеке, но то, что он слышал, было не воодушевляющим; в действительности все было «довольно неудачно». Юноша был «грубым», «варварским» в своих музыкальных вкусах и «ужасно самонадеянным». Как только Ребиков открыл ноты и начал играть Прокофьева, он рассердился. В конце первой вещи он спросил насмешливо: «Что вы предполагаете, я сделаю? Вы предполагаете, что я скажу вам, что эта... чепуха, — и он с силой бросил ноты перед собой, — хороша?» Затем он проиграл несколько других произведений, бормоча «абсурд», «дурацкая», «бессмысленная», «отвратительная». Внезапно в середине одного из прекраснейших и наиболее лиричных произведений, *Старые бабушкины сказки («Grandmother Tales»),* он схватил ноты с пюпитра, встал, подошел к окну и, не говоря ни слова, выбросил их вон. Я вскочил, чтобы остановить его, но ноты уже плавно опускались на улицу. Ребиков подошел к двери, церемонно открыл ее и сказал торжественным, театральным тоном: «Молодой человек, покиньте сейчас же эту комнату. Принеся этот, — и его правая рука указала на окно величественным, наполеоновским жестом, — этот мусор мне,

вы нанесли оскорбление и проявили неуважение к учителю». Взбешенный, я выбежал на улицу и начал собирать разрозненные, в пятнах грязи, страницы нот. Приведя их в порядок, я пошел домой, решив никогда больше не показывать никаких новых произведений старому сумасшедшему. Таким было мое первое знакомство с музыкой Прокофьева.

Моя дружба с Прокофьевым началась в 1926 и 1927 годах, когда Дягилев поставил его балет *Стальной скок* (*The Steel Leap*), первый и единственный балет о послереволюционной жизни в России, когда-либо поставленный за границей. Так начались наши оживленные отношения на основе общих музыкальных интересов, это были дружеские отношения, которых было так много в Париже в двадцатые годы и которые постепенно угасли под воздействием изменившегося мира тридцатых годов. В течение четырех или пяти лет наши взаимоотношения состояли в проигрывании друг другу наших новых произведений, а также произведений других композиторов и резкой критике и яростной реакции на все вещи, которые нам нравились и не нравились. Были долгие телефонные разговоры обо всем и ни о чем: о самых последних концертах, о Мейерхольдовском «Ревизоре»[12], об «Аполлоне» Стравинского и о лучших ресторанах Парижа, и все это происходило в особенной атмосфере неопределенности (suspense) и веселья, символом чего в то время являлся Русский балет.

<...> Сергей Прокофьев происходил из русской семьи среднего класса. Его отец был служащим у богатого землевладельца в южной России, где он очень успешно управлял большим поместьем. Мать принадлежала к интеллигенции и вышла из кругов, придерживающихся оппозиционных, революционных идеалов ушедшего девятнадцатого столетия. Я полагаю, именно она научила его играть на фортепьяно, я видел фотографию, на которой был изображен Прокофьев-мальчик, сидящий у раскрытого фортепьяно с нотами своей первой оперы, *Великан (The Giant)*, написанной в возрасте восьми или девяти лет.

Спустя два или три года мальчик написал увертюру, названную *На пустынных островах*. С. И. Танеев, известный московский композитор и педагог контрапункта Московской консерватории, кому он имел случай проиграть увертюру, предложил ему изучать композицию и теорию у Померанцева и Глиэра — преподавателей Московской консерватории. Глиэр был другом семьи Прокофьева и провел два лета (в 1902 и 1903 годах) в Сонцовке (Sontzovka), где отец Прокофьева служил управляющим. Таким образом, именно от Глиэра Прокофьев получил первые уроки теории. Позже, в 1904 году, Прокофьева привезли в Санкт-Петербург и представили Глазунову. Он стал его наставником и защитником в последующие годы, предложил поступить в консерваторию в Санкт-Петербурге. Прокофьев так и сделал осенью того же года. Там его преподавателями были Лядов, Витоль, Римский-Корсаков и Черепнин — по теории, композиции и дирижерстве и Винклер и Есипова — по фортепьяно[13]. Эти люди составили плеяду блестящих мастеров, первоклассных

---

[12] «Ревизор» — одна из самых знаменитых постановок Вс. Мейерхольда. Она была осуществлена в октябре 1926 года. Премьера 9 декабря 1926 года. «Аполлон Мусагет» — балет И. Стравинского, премьера 12 июня 1928 года.

[13] Танеев С. И. (1856–1915) — композитор, пианист, педагог. Померанцев Ю. Н. (1878–1933) — композитор и дирижер. Глиэр Р. М. (1875–1956) — композитор, дирижер, педагог. Глазунов А. К. (1856–1936) — композитор, дирижер. Лядов А. К. (1855–1924) — композитор, дирижер, педагог. Витоль И. И. (Витолс, Язепс) (1863–1948) — композитор и педагог. Римский-Корсаков Н. А. (1844–1908) — композитор, дирижер, педагог. Черепнин Н. Н. (1873–1945) — композитор, дирижер, педагог. Винклер А. А. (1865–1935) — композитор, пианист, педагог. Есипова А. Н. (1851–1914) — пианистка, педагог.

педагогов, каждый в своей области, которые выпестовали целое поколение известных инструменталистов, композиторов, педагогов и критиков. Московская и Санкт-Петербургская консерватории, основанные братьями Рубинштейнами, всегда были важнейшими центрами музыкальной активности и в то же время центрами различных группировок и эстетически настроенных групп. Старая вражда идеологически разделила две консерватории со времен Чайковского и «большой пятерки». «Большая пятерка» (Балакирев, Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков, Кюи) представляла националистическую традицию Санкт-Петербурга, в то время как Чайковский следовал западноевропейским наклонностям Москвы. Для нас сейчас эта идеологическая война подобна буре в стакане воды, но в годы юности Прокофьева антагонизм между двумя институтами и их последователями был очень острым. Москва была охвачена салонной эмоциональностью, характерной для Чайковского и последователей Шопена, примером которой служило творчество Рахманинова и Аренского. Декадентскому салонному романтизму не могли противостоять энергичные преподавательские усилия Танеева или однообразный формализм Метнера (Medtner). Санкт-Петербург, после окончания шумихи, поднятой музыкальной народностью «большой пятерки», закостенел в сухом ренессансе академической техники под руководством Римского-Корсакова и Глазунова. Совершенно в стороне возвышалась одинокая фигура Скрябина, чье творчество развивалось трудно, используя все технические атрибуты девятнадцатого столетия, сквозь эзотерические облака беспорядочного мистицизма. Вокруг Скрябина сплотилась группа верных поклонников, которые видели в нем нечто среднее между пророком и мессией.

Такова была атмосфера, в которой внезапно оказался юный Прокофьев. Я могу хорошо представить его (для которого эзотерические, эстетические мечтания Скрябина были чистой чепухой), с открытой, здоровой, приятной усмешкой смеющимся от души над Санкт-Петербургом 1904–1908 годов. К счастью для Прокофьева, кроме ерунды и тайных интриг, там были прекрасные мастера, великие техники и педагоги, и прежде всего Римский-Корсаков, величайший педагог оркестровки со времени Берлиоза. Именно от них юный Прокофьев вскоре научился удивительному инструментальному умению, безукоризненной технике письма и безошибочному, хотя в чем-то академическому стилю в оркестровке.

‹...› Санкт-Петербург непосредственно перед и во время Первой мировой войны был застывшим (congealed) городом. Каждый знал, что старый мир императорской России шел к концу. Каждый понимал, что этот конец принесет с собой бесчисленные перемены. Воздух был полон замороженных неврозов, замороженной истерии. В то же время среди столичной интеллигенции царило напряженное ожидание перемен, но оно носило пассивный характер — следствие разочарования и признания неизбежности приближающейся бури.

Однако для того, чтобы произвести бурю, появилось поколение трезвых, реалистичных, ни перед чем не останавливающихся и оптимистичных людей, принявших на себя ответственность за будущее. В некотором смысле Прокофьев был одним из таких молодых людей, предназначенных играть важную роль в этом будущем, и его появление в разъединенном артистическом обществе Санкт-Петербурга около 1910 года стало одной из тех аномалий, которые всегда предшествуют революциям.

Врагами (а в ранние годы у него их было много) он был вскоре прозван «футбольным композитором». Его обвиняли в ломке всех священных традиций девятнадцатого века, в сочинении «глупой, мещанской, маршевой музыки, которая ничего не выражает», как выразился некий петербургский критик. Для старших со-

временников Прокофьев представлял собой нечто неудобное. Его грубый сарказм, шутки, сердечный смех, откровенная, дикарская, прямолинейная стройность его музыки не соответствовали пасмурности, которая была характерна для Санкт-Петербурга 1910–1915 годов.

Учеба Прокофьева в консерватории затянулась на тринадцать лет. Сейчас это кажется невообразимо долгим сроком, когда один год или даже шестинедельные курсы включают изучение гармонии, контрапункта, композиции, оркестровки, некоторое «понимание музыки» и, может быть, даже немного тренировки в музыкальном творчестве, иначе называемой музыковедением. Это не означает, что Прокофьев провел все тринадцать лет в консерватории. В то же самое время он проходил регулярную студенческую тренировку. Задолго до окончания консерватории он стал широко известен среди передовых любителей музыки и в кругах вокруг консерватории. Уже в 1911 году Юргенсон в Москве начал публиковать его музыку (к тому времени Прокофьев уже написал дюжину оркестровых произведений, одну оперу и около сотни фортепианных пьес). Впервые неординарный молодой человек появился перед публикой в качестве исполнителя в 1909 году, и примерно в это же время его музыкальные произведения были исполнены в Обществе современной музыки, организованном группой предприимчивых любителей музыки, некоторые из которых входили в круг Дягилева. Очень скоро он стал известен как один из тех, кто нападал на каждую условность, кто пытался разрушить традиции и кто был так высокомерен, что выражал резкими словами свое мнение о людях и ценностях, давно признанных не подлежащими критике.

Его музыка этого периода не соответствовала той сильной враждебности, которую он возбуждал. Несомненно, она не вписывалась в обычный академический ряд, так же несомненно и то, что большая часть ее была вне мелодичности музыки его старших современников и не имела тех нервных, душераздирающих черт, которые отличают постромантизм, постимпрессионизм и более поздний постэкспрессионизм. Однако вплоть до *Скифской сюиты* его музыка была достаточно привычной и спокойной по сравнению с некоторыми яростными поздними работами Скрябина или шумными экспериментами Рихарда Штрауса. Конечно, такая музыка не могла оправдывать ту особенную ненависть, которую Прокофьев заработал в юности от коллег старшего поколения. Она была вызвана в значительной степени грубоватыми манерами Прокофьева в сочетании с неисправимой откровенностью, проявлявшейся в публичных и частных отношениях. Однако те же самые качества его характера располагали к Прокофьеву многих других людей.

Прокофьев всегда казался мне большим ребенком, который должен говорить правду во всех случаях и для которого скрывать собственные мнения — самая трудная вещь на свете. Если ему кто-нибудь не нравился, он говорил это человеку прямо в лицо, и даже когда ему удавалось контролировать себя и не говорить, человеку не требовалось большого воображения и чувствительности, чтобы понять, что о нем думают. Как часто я видел его напыщенным, надутым и брюзжащим в присутствии кого-то, кого он считал занудой! Однажды в концертном зале в Париже достаточно известный композитор подошел к нему, представился и, в обычной, преувеличенной манере французских салонных завсегдатаев, начал со слов: «Мое глубокое и непередаваемое восхищение вашей работой, дорогой мастер... какое бесконечное удовольствие встретить вас!» Прокофьев посмотрел на него в упор и пробормотал: «С моей стороны нет *никакого* удовольствия» — и отвернулся.

В другой раз после концерта он сказал знаменитой певице, которая только что исполнила несколько его песен, что она ничего не понимает в его музыке и лучше бы она перестала ее исполнять. Он сказал это в присутствии большой группы оша-

рашенных свидетелей и таким грубым тоном, что довел бедную полную леди до слез. «Вы видите, — продолжал он свои замечания, — все вы, женщины, прибегаете к слезам, вместо того чтобы выслушать, что человек вынужден вам сказать и научить вас, как исправить свои недостатки». В среде профессиональных музыкантов, критиков и композиторов подобное поведение едва ли могло завоевать дружескую репутацию. Это привело к тому, что у немногих композиторов было столько ссор, неприязненных отношений, судебных процессов и врагов, как у Прокофьева.

Но раздражительное поведение было предназначено не только для закулисных столкновений с примадоннами или для того, чтобы отделаться от тех, кого он считал надоедливыми занудами. Он мог быть таким же грубым и несогласным со своей женой и друзьями. Обычно жизнерадостный и дружелюбный, Прокофьев был легко возбуждающимся. Бывало, он взрывался немедленно при малейшей провокации. Тогда его лицо багровело, и он разражался гневными тирадами и становился оскорбительным. К счастью, взрывы обычно не были длительными, но после них он, как ребенок, долго дулся, и тогда ему нужно было побыть в одиночестве, в противном случае гнев мог вспыхнуть снова. Однажды летом, в 1930 или 1931 году, я вместе с ним и его женой участвовал в том, что по-французски называется *le tour gastronomique.* Последним участком поездки был переезд из Страсбурга через горы Vosges в Нанси и оттуда в Париж. Я горел желанием поскорее вернуться и начать восстановление расстроенного пищеварения. Поездка была долгой и утомительной, частично потому что большую часть дня мы тратили сначала на заказ блюд, затем на поедание и затем на старания их переварить. Но тяготы усиливались еще и тем, что чета Прокофьевых ежечасно ссорилась из-за пустяков (что часто заканчивалось слезами). В то время как Лина Ивановна хотела останавливаться в каждой деревне, посещать каждый собор, замок, виноградник (chateau) и музей, ее муж хотел ехать от одного трехзвездочного ресторана до следующего в городе, который он наметил в качестве следующей остановки. В то время как жена искала «уютные» гостиницы с «прелестными» видами, которые были бы спрятаны в «зеленых долинах» или располагались на склонах «очаровательной» горы, он хотел остановиться в городке в лучшем отеле, рекламированном в *Guide Michelin*[14].

Он не испытывал ни малейшего интереса к музеям, виноградникам и соборам и, будучи вынужден присоединяться к нам в том, что он называл «скверным гробокопательным ритуалом», выглядел скучным и мрачным. Единственная фраза, которую он смог произнести, глядя на Шартрский собор, была такая: «Удивляюсь, как они смогли взгромоздить статуи так высоко и не уронили их». Но когда у него в руках оказывалось большое, фантастическое меню, выражение лица сразу менялось, он расцветал и начинал заказывать для каждого из нас *plat du jour (блюдо дня)* или *specialite de la maison* (*фирменное блюдо*) с соответствующим *vin du pays (местным марочным вином)*.

Кроме того, во время поездки я изнемогал из-за отвратительного вождения Прокофьева. Это был, я думаю, его первый длительный опыт вождения, он ехал медленно, сверхосторожно, и нас потряхивало каждый раз, когда нужно было переключить передачу или остановиться. Поэтому мы ползли по дорогам Франции в крошечном новом четырехместном автомобиле со скоростью 20 миль в час (32 км в час). Он рассчитывал скрупулезно время перемещения при этой средней скорости и планировал все остановки заблаговременно. Куда бы мы ни направлялись, мы должны были прибыть точно в заранее определенное время и таким же образом уехать.

---

[14] Ресторанный гид «Мишлен» выпускается с 1900 года.

В тот день мы выехали в Нанси в 9.30 утра. День был серым и туманным, но нам удалось уложиться в «наше расписание» и прибыть точно в час дня на вершину Вогезских гор (Vosges Mountains), прямо к известному ресторану, где туристы останавливаются на два часа для того, чтобы отведать лангуста (crayfish), форель (trout), куропаток (partridge), гусиную печенку и сладких пирогов (tarts). Едва мы покончили с лангустом, как Прокофьев сказал, что из-за тумана мы должны выехать прямо сейчас, чтобы быть в Нанси к обеду. Лина Ивановна стала протестовать и сделала слабую попытку изменить маршрут, предложив вместо Нанси поехать в Домреми (Domremy), место рождения Жанны д'Арк. Конечно, Прокофьев вскипел. «Чепуха, — сказал он, — давно решено, что мы проведем ночь в Нанси. Кроме того, если мы поедем в Домреми, то сделаем большой крюк». Но я поддержал Лину Ивановну, и, к моему удивлению, без большого спора, он согласился.

К сожалению, посещение Домреми обернулось полным провалом. Деревенская гостиница оказалась некомфортабельной и ужасной. Обед — по-монастырски скудным. Пошел дождь, и, когда мы приехали, все было закрыто. Прокофьев помрачнел и стал упрекать нас за нелепый «крюк» и за образовавшуюся «потерю времени». Он ворчал во время всей трапезы, был груб с официанткой, когда она принесла счет, а затем и с швейцаром, когда тот не выразил одобрения полученными чаевыми. После того как мы пожелали друг друг спокойной ночи и разместились в соседних комнатах, я слышал, как он ворчал на Лину Ивановну до тех пор, пока не потушил свет.

Нам было сказано, что на следующее утро следует выехать из Домреми в 9.30 утра («и ни минутой позже»). Но Лина Ивановна и я хотели посетить место рождения Жанны, музей Домреми и базилику. Мы встретились в 8.30 и отправились в путь, когда Прокофьев еще брился. Мы шли от одного отвратительного памятника Жанне дґАрк к другому, пока не добрались до чудовищной базилики, построенной уже после беатификации (этап, предваряющий канонизацию) Жанны. Здесь, в склепе безвкусной базилики, окруженной всеми возможными патриотическими и благочестивыми эмблемами, мы увидели единственный экспонат, привлекший внимание. Это была коллекция монет, преподнесенная музею Жанны дґАрк мадам la Marechale Foch[15]. Она включала несколько больших серебряных русских монет времен Петра Великого и его дочери Елизаветы. Когда мы покинули склеп базилики, было 9.35. Предчувствуя скандал, мы помчались к гостинице. Прокофьев стоял у входа, его лицо буквально посинело от гнева. При первом сердитом окрике Лина Ивановна разразилась слезами. Это рассердило его еще больше, и последующие раздражительные фразы были еще громче и грубее. Он обрушился на меня: «Кто я такой, по-вашему? Я не ваш лакей, чтобы ждать вас. Вы можете забрать к черту свои вещи и ехать поездом». Вспышка продолжалась, по крайней мере, четверть часа, в то время как швейцар невозмутимо укладывал наш багаж в автомобиль. Когда мы наконец поехали, Прокофьев и я сидели в полном молчании на передних сиденьях. Его надутые губы казались еще толще, чем обычно. Он выглядел неумолимым, а с заднего сидения раздавались плохо контролируемые рыдания супруги. Через час я повернулся к Прокофьеву и сказал: «Сергей Сергеевич, или мы прекратим немедленно ссору, или разрешите мне выйти в следующей деревне, и я поеду поездом». Сначала он не отвечал. Затем, примерно через пять минут, неловко улыбнулся и сказал спокойно: «Да, это выглядит смешно, не так ли? Два взрослых человека сидят впереди с кислыми лицами, а третий хнычет на заднем сиденье».

---

[15] Вероятно, имеется в виду супруга маршала Фоша (1851–1929).

Но невоспитанность Прокофьева, неделикатность, грубость характера имели и другую сторону, — и она проявлялась в постоянной, верной дружбе. Прокофьев, по самой своей натуре, не мог сказать ложь. Он не мог сказать даже самую обычную неправду, например, «это очаровательное произведение», когда считал, что произведение не очаровывает. Также не мог он, если кто-нибудь показал ему свое новое музыкальное произведение, уклониться от критического суждения и промолчать. Напротив, он говорил то, что думает об этом произведении, судил его недостатки и достоинства и давал ценные предложения, как его улучшить. Таким образом, для тех, кто был готов мириться с грубой манерой поведения и выслушать откровенное мнение, он был бесценным другом.

Между Прокофьевым и мною за все годы нашей дружбы никогда не возникало непонимания, никогда не было ни малейшей фальши. Со времени нашего знакомства и до тех пор, пока он не возвратился в Россию, он оставался для меня добрым и понимающим человеком, всегда готовым помочь. Я восхищался его искренней, веселой и оптимистической индивидуальностью, огромной жаждой жизни и (как я обнаружил) похожей на детскую кротостью. Тот же самый человек, который в публичной жизни был часто невыносимо высокомерным и даже неразумным, мог быть заботливым, забавным и очаровательным товарищем, искренне заинтересованным и заботливым другом. Тот же самый человек, который самым упорным и неделикатным образом возбудил уголовное дело против Чикагской оперной компании за то, что она не осуществила в срок постановку его оперы, который на одном из концертов в Берлине отказался играть программу и заставил публику прождать несколько часов только потому, что импресарио заранее не заплатил ему гонорар, тот же самый человек, не считаясь со временем, бывал невероятно внимательным, когда обсуждал музыку друга-композитора, давая исчерпывающие и разнообразные советы.

‹...› Прокофьев всегда любил реальные (practical — осуществимые, целесообразные) системы. Он планировал день в соответствии с расписанием и во всем любил метод. Поэтому он со страстью играл в такие игры с систематическими вычислениями, как шахматы и бридж. В летние месяцы он обычно играл в шахматы по переписке со своим парижским издателем. Что касается бриджа, я помню две майские недели в Париже в тридцатые годы, когда мы, группа из двенадцати человек, бывало, садились и играли каждый день с трех часов дня до двух часов ночи в переполненной и прокуренной квартире Прокофьева около Дома инвалидов. Для этих турниров Прокофьев изобрел особую систему графиков. Они показывали относительное положение каждого игрока в каждой фазе игры.

В чисто грамматическом написании музыки Прокофьев был самым педантичным и дотошным композитором из всех, кого я знал. Каллиграфия его рукописей не так удивительна в своем совершенстве, как у Стравинского (партитуры Стравинского выглядят как иллюстрированные рукописи), но, когда его рукопись попадала к издателю, в ней не было ни одной ошибки. Прокофьев очень точен в метрономических пометках, в номерах опусов и в датах композиций. Все несложные схемы, которые он изобрел, построены исходя из того же принципа практической разумности, которую мы видим в его музыке. Русский алфавит использует две буквы *и:* одна подобна латинской букве *i*, а другая, происходящая из церковнославянского языка, соответствует латинской букве *и*. Задолго до того, как была проведена реформа русского алфавита, Прокофьев опустил старославянское *и*, используя только латинское *i*, которое есть и в украинском языке, и это придает украинский оттенок русским рукописям Прокофьева. Как ни странно, при реформе алфавита была оставлена славянская буква *и*. Однако Прокофьев продолжал использо-

вать украинское *i*. Когда он писал почтовые открытки, то часто применял схему, экономившую место: опускал все гласные. Таким образом русский текст начинал походить на один из многочисленных русских диалектов, где преобладают согласные. Почтовая карточка от него, бывало, начиналась так: «Dr frnd»[16].

<...> С самых ранних лет Прокофьев, как композитор, работал весьма напряженно. В то время, когда я знал его, он работал главным образом за фортепиано, и часы его работы были тщательно распределены согласно расписанию. Насколько я знаю, единственное произведение, которое Прокофьев сочинил не за фортепьяно, — это его известная *Классическая симфония* 1916–1917 годов. Он, бывало, смеялся над сложными дискуссиями критиков о его «неоклассическом стиле», ярким примером которого, как предполагалось, была *Классическая симфония*. Он говорил мне, что причины для написания такого рода симфонии были чисто практические: он хотел определить для самого себя степень самоконтроля, который мог развить с помощью прослушивания. Поэтому он решил написать произведение без помощи какого-либо инструмента. Для того чтобы хорошо слышать гармонию и быть уверенным в том, что делает, он выбрал упрощенный, так называемый классический стиль! Таким образом ограничил себя использованием традиционных аккордов (chords). Остальная часть музыки Прокофьева, конечно, далека от того, чтобы быть неоклассической в узком смысле слова; она слишком органически выросла из нашего времени для того, чтобы быть таковой.

У Прокофьева была прекрасная музыкальная память. Я вспоминаю, как он цитировал темы других композиторов, темы, которые он слышал только один или два раза, иногда несколько лет назад. Он мог сесть за пианино и играть непрерывно в течение нескольких часов самую разнообразную музыку, русскую и западноевропейскую, некоторые образцы которой были мало известны или достаточно сильно забыты. Он вспоминал такие произведения, как ранние оперы Чайковского.

У него была прекрасная память и в другом смысле. Я вспоминаю, как однажды сделал несколько пренебрежительных замечаний о его произведении, названном *Chose en Soi* (*Вещи в себе*, Две пьесы для фортепиано, 1928). Несколько лет спустя, когда я полностью забыл это произведение и сам случай, он проиграл мне его снова и спросил, как мне оно нравится. Я сказал, что оно мне очень нравится, на что он саркастически рассмеялся и дал мне соответствующий нагоняй.

<...> В 1917 году Прокофьев закончил Петербургскую консерваторию. К этому времени он был достаточно хорошо известен в музыкальных кругах как Санкт-Петербурга, так и Москвы, и в то же время нельзя сказать, что он был совершенно неизвестен за рубежом. Дягилев заказал ему в 1914 году балет, но когда он был написан, то поставлен не был. Фабула и во многом музыка были слишком похожи на *Весну священную* Стравинского, которую Дягилев только что поставил в Париже. Из музыки балета Прокофьев создал симфоническую сюиту и назвал ее *Скифской сюитой*. Она в конце концов была поставлена в Санкт-Петербурге в 1916 году и имела огромный успех. В 1915 году он отправился в Италию, чтобы обсудить с Дягилевым другой балет, *Chout (The Buffoon)*[17], поставленный в 1921 году. К моменту отъезда из России он уже начал работу над оперой на сюжет пьесы Гоцци *Любовь к трем апельсинам*. Эту работу предложил Прокофьеву Мейерхольд, оперу поставили в Чикаго в 1921 году.

---

[16] Вместо Dear friend = дорогой друг и заканчивалась «Yrs, Srg Stgvtch Prkfv» (Вместо Yours = Ваш, Сергей Сергеевич Прокофьев.)

[17] «Chout (The Buffoon)» — «Шут (Клоун), Сказка про шута, семерых шутов перешутившего» — балет С. Прокофьева, сочинен в 1920 году Гоцци К. (1720–1806) — итальянский драматург. «Любовь к трем апельсинам» — пьеса К. Гоцци, написанная в 1760 году.

‹...› Прокофьев покинул Россию зимой 1917 года, сразу после Октябрьской революции. Он был одним из первых русских, кто получил советский заграничный паспорт и законно покинул Россию не как *эмигрант* (*emigre*). Он отправился в концертное турне в Америку через Японию. После пребывания почти в течение года в Соединенных Штатах он приехал в Париж и обосновался там, как и многие русские интеллектуалы из про- и контрреволюционных лагерей. В Париже он жил жизнью композитора, чья слава быстро росла и чью музыку исполняли по всему миру.

В начале двадцатых годов он неоднократно ездил в длительные и выгодные концертные турне по Северной и Южной Америке и Западной и Центральной Европе. Почти повсюду его шумно приветствовали как одного из самых выдающихся современных композиторов и исполнителей (подобно многим русским композиторам, Прокофьев был блестящим пианистом и интерпретатором своей музыки). В Америке он встретил привлекательную певицу испанского происхождения, но русского воспитания, на которой впоследствии женился и которая стала его близким сотрудником. Вплоть до начала тридцатых годов супруги Прокофьевы часто путешествовали вместе, выступая с сольными концертами: она исполняла его песни, а он ей аккомпанировал[18].

В 1924 году Франция признала Советский Союз, и страны обменялись послами. Одним из первых посетителей советского посольства на улице rue de Grenelle был Сергей Прокофьев. Подобно другим русским в Париже, он стал «лицом без подданства» («stateless person») и получил паспорт беженца (нансеновский). На дне чемодана сразу отыскался старый советский паспорт, и Прокофьев отправился в посольство, чтобы начать процедуру восстановления советского гражданства[19]. В 1925 году он его получил и по приглашению Российской ассоциации пролетарских музыкантов отправился в длительное турне по Советскому Союзу[20]. Везде его принимали триумфально, как известного русского композитора, который симпатизирует советскому режиму и который, хотя и проживал в Париже, тем не менее отвергал идеологическую позицию эмиграции (*emigre*). Его музыка исполнялась по всей стране, оперы и балеты имели огромный успех в лучших театрах обеих столиц — Москве и Ленинграде.

Что подтолкнуло Прокофьева к тому, чтобы вернуться в Советский Союз и стать советским гражданином? Можно выделить две причины. Во-первых, Советский Союз тогда не был таким, как сегодня. Во-вторых, чувства с надеждой смотрящего вперед (forward-looking), революционно настроенного русского интеллектуала по отношению к своей родине и к своему правительству в то время коренным образом отличались от аналогичных чувств сегодня. Тогда они были довольно неоднозначны. В середине двадцатых годов Советский Союз проходил через период так называемого нэпа, который для многих людей за рубежом и внутри страны представлялся передышкой или временным облегчением (reprieve or respite) после кровавых ужасов красного террора и Гражданской войны. Небольшому числу советских граждан впервые было разрешено не только путешествовать за границей, но даже проживать в зарубежных странах. В то время разделительная линия между сторонниками коммунистов и антикоммунистами была еще не так четко проведе-

---

[18] Речь идет о первой жене Прокофьева, Лине Ивановне, см. выше.

[19] Нансеновский паспорт — международный документ, удостоверяющий личность, начал выдаваться Лигой Наций для беженцев без гражданства. Разработан в 1922 году Ф. Нансеном, комиссаром Лиги Наций. Было выдано около 450 000 таких паспортов.

[20] РАПМ — музыкально-общественная организация, 1923–1932. В тексте — Советская ассоциация пролетарских музыкантов.

на, как это будет сделано позже. При этом Прокофьев, хотя и не был коммунистом (насколько я знаю, он никогда не был членом партии), полностью симпатизировал советскому режиму, рассматривая советское правительство совершенно законным правительством своей страны. Он, подобно многим другим в то время, оправдывал экстремистские и террористические политические меры режима, считая, что они вызваны исторической революционной необходимостью. С другой стороны, Прокофьев, когда жил в Париже, свободно общался со многими деятелями культуры русской эмиграции. Он принимал активное участие в художественных коммерческих предприятиях, которые проводились людьми, подобными Сергею Дягилеву, сотрудничавшему в основном с русскими эмигрантами, и в то же время пользовался всеми преимуществами и радостями западного буржуазного мира. Но такое двойное положение, без сомнения, в то время не было необычным. В те годы можно было увидеть поэта Илью Эренбурга, который только что сделал свой первый крутой разворот (about-face) и из яростного противника советского режима превратился в одного из его наиболее активных низкопоклонников (sycophants), сидящего за дружеской беседой с каким-нибудь антисоветским писателем в парижском кафе. Это зрелище было нормальным и не вызывало удивления. В то время советские писатели, поэты и музыканты посещали Центральную и Западную Европу, а известные советские театры (Московский художественный, театр Мейерхольда, Камерный театр Таирова) давали спектакли за границей для публики, состоявшей главным образом из русских эмигрантов. Только спустя несколько лет положение Прокофьева изменилось: из ординарного, обычного оно стало действительно привилегированным.

‹...› Что касается музыки Прокофьева, то можно отметить одну ее интересную особенность — она практически никогда не менялась. На это обратил внимание русский критик Сабанеев примерно двадцать пять лет назад: «За импрессионизмом, футуризмом последовали атональность, политональность и другие тенденции, однако Прокофьев оставался точно таким же, каким мы знали его в начале карьеры: невосприимчивым к различным движениям; его искусство является таким же простодушным (naive), как искусство Шуберта, Шопена или даже Моцарта». Не касаясь вопроса о простодушии (naivete) музыки трех композиторов, я полагаю, что Сабанеев уловил нечто характерное для музыки Прокофьева, что является верным по существу. Его музыка с 1914–1915 годов испытала очень мало изменений. У Прокофьева много музыки различного качества, но если кто-нибудь прослушает его ранние и поздние произведения и попытается найти проявления какой-либо эволюции, хронологические изменения в стиле и манере, я уверен, что этот человек потерпит неудачу. Со времени опубликования трех произведений, *Сарказмы, Первый концерт для скрипки* и *Мимолетности (Visions Fugitivies),* мало что изменилось как в стиле, так и в технике.

Поначалу сам Прокофьев и его музыка представляли собой реакцию на эстетство, переполненное философией, литературой и мистицизмом. Он видел свою задачу в том, чтобы вернуть музыку в мир чистого звука. Поэтому избрал аккуратный (cutting), прямой, правильный (square), жизнерадостный стиль, в противоположность музыке современников, «изобилующей арпеджио (arpeggio-ridden)», отсюда и преобладание у него упрощенной гармонической структуры (texture), четко выраженной (clear-cut) мелодии и главного характера всей конструкции, а также секционная (sectional), иногда почти механическая форма. Определенные особенности его мелодической линии и особенные гармонические соотношения (relations), используемые снова и снова, делают его музыку безошибочно индивидуальной. Прокофьев любит, например — или, по крайней мере, любил до своих

последних работ, — воспроизвести небольшой отрывок (game) мелодической конструкции, который можно легко обнаружить в любом из его произведений. Этот отрывок состоит из обычного ритмического узора, такого очевидного, что граничит иногда с тривиальностью. Затем он усиливается путем заключения этой мелодической линии в гармоническую рамку, которая кажется удивительно произвольной, и возникает чувство, что мелодия оживлена (refreshed) с помощью гармонического изменения (mishandled). Другим несложным приемом (game) в тематической структуре Прокофьева является внезапность (abruptness) и неожиданность его музыкальных интервалов (leaps). Некая мелодия начинается в стереотипной манере, а затем внезапно резко изменяется к абсолютно неожиданному тону (tone) через кажущиеся несвязанными интервалы. Эти особенности обусловили шутливую, саркастическую природу значительной части его музыки. Преднамеренный разрыв обычных рисунков производит ряд звуковых потрясений (shocks), которые, в свою очередь, вызывают чувство иронии. В некотором смысле подобный прием (game) он использует и внутри гармонической текстуры. Аккорды (chords), обычно очень простые, связаны в такой совершенно неожиданной манере, что справиться с ней невозможно без удивления. Конечно, характер этих соотношений только кажется случайным, потому что в их основе лежит органическая логика, которой Прокофьев следует в своем творчестве.

Несколько озадачивающей (perplexing) является механическая форма его музыки. В этом Прокофьев является традиционным русским композитором, ибо, за небольшими исключениями, большинство из них подстраивали свою музыку в уже существующую форму и не позволяли этой форме переходить за границы их музыкального изобретения. В недоумение приводит и еще одна черта музыки Прокофьева: несмотря на всю равноформатность (геометрическую точность, squareness), сжатость (выразительность, conciseness) ритма, ритмический аспект его музыки не вызывает сомнений (является беспроблемным unproblematic). Ритм обычно является достаточно обычным и, будучи очаровательным и привлекательным сам по себе, он, в большей своей части, отличается от современных ритмических пристрастий, типичные примеры которых можно найти в работах Стравинского и Бартока. Прокофьев обычно говорит, что его главный интерес не в ритме, а в изобретении хороших тем. Под хорошими темами он имеет в виду те мелодии, которые слушатель понял бы и узнал как свои собственные. В музыке он презирает именно бесформенные и аморфные мелодии. Этот упор на создание мелодий (на мелодические инвенции) очень важен для понимания музыки Прокофьева. Часто говорят, что современный фортепьянный стиль во многом обязан Прокофьеву и что Прокофьев был одним из первых, кто открыл вибрационное, ударное (percussive) использование фортепиано. Несомненно, Прокофьев является одним из главных современных композиторов, сочиняющих для фортепиано, и одним из тех, кто лучше всех владеет техникой этого инструмента. Он наилучшим образом разработал вибрационные (ударные, percussive) возможности фортепиано. Неудивительно, что такие его произведения, как вторая, третья и седьмая сонаты, третий концерт для фортепиано, *Мимолетности, Сарказмы* и *Suggestion Diabolique*[21], регулярно включают в свой репертуар многие пианисты. Прокофьев в фортепианных произведениях не избегает традиций девятнадцатого столетия. Он не боится чрезмерно использовать наследие Листа–Шопена–Шумана. Возможно, одним из его наиболее важных достижений является создание некоего универсального, единого (unified) современного стиля фортепианной музыки, который представляет

[21] Дьявольское предложение, наваждение (*франц.*).

собой соединение традиций восемнадцатого и девятнадцатого столетий с современными техническими открытиями. Очевидно, он является одним из лучших фортепианных композиторов после Дебюсси.

Что касается меня, то я думаю, что лучшая музыка, которую Прокофьев когда-либо написал, — это не ироничная, шутливая музыка, так хорошо известная в Америке, но скорее те нечасто встречающиеся страницы, созданные в более лирическом настроении: например, ностальгические и мелодически прекрасные последние страницы *Блудного сына (The Prodigal Son)* — балета, поставленного в последний год царствования Дягилева в Париже в 1929 году, вторая часть Третьего концерта для фортепиано, ранние песни на стихи Ахматовой, даже сюита *Поручик Киже* и в чем-то чересчур простые, но нежные и искренние темы *Пятой симфонии*[22].

Другая особенность музыки Прокофьева состоит в том, что в ее стиле отсутствует какое-либо последовательное полифоническое развитие. Кажется, что Прокофьев питает особую нелюбовь к стилю неоригинального контрапункта (изобразительной, искусственной многоплановости, imitative counterpoint) и обычно высмеивает некоторых своих современников за написание фуг и фугато (fugatos). Он считал, что это неизбежно делало их стиль производным от стиля полифонической музыки восемнадцатого столетия. Или похожим на такой стиль. Это звучит несколько парадоксально для тех, кто свободно использовал механические стандарты музыкальной формы восемнадцатого столетия и применял ее к структуре своих музыкальных тем.

Музыка Прокофьева со всеми ее индивидуальными характеристиками — урбанизмом и внешним «классицизмом», особенно в ее мелизматической (melismatic) природе, имеет глубокие корни в русском прошлом. Иногда она напоминает музыку Мусоргского, иногда — музыку Чайковского. (Мелизматическое пение — способ распева текста, когда на один слог приходится несколько звуков мелодии.) Это увеличивается мастерской оркестровой техникой, техникой, рожденной изучением таких русских работ, как балеты Чайковского, оперы Глинки и последние оперы Римского-Корсакова. Его оркестровка намного более обычная, чем оркестровка Стравинского. Она более грубая, менее гладкая (polished), и ей иногда не хватает удивительной прозрачности партитур (scores) Стравинского.

Но, несмотря на все индивидуальные характеристики музыки Прокофьева и на то, что он многим обязан русским мастерам девятнадцатого столетия, необходимо отметить сильную взаимосвязь между Прокофьевым как творческой личностью, как человеческим существом и Россией сегодняшнего дня. В частности, его искусство оказало существенное воздействие на молодое поколение советских композиторов. Действительно, немногие страницы ранних работ Шостаковича, Хачатуряна и других свободны от специфического родства как с методами Прокофьева, так и с его техникой. В созвездии советских композиторов в течение долгого времени Прокофьев занимает положение старейшего мастера (положение, которое он делит с Мясковским). Его произведения считаются образцами художественного совершенства, образцами для подражания, а также «несомненным свидетельством прогресса советской музыкальной культуры». Интересно сравнить положение Прокофьева с положением Шостаковича. В то время как Прокофьев представляет собой, точнее, представлял до гонений (purge) 1948 года выдающегося старого мастера, Шостаковичем может (или могла) «гордиться советская музыкальная культура».

---

[22] «Блудный сын» — балет (1929), «Поручик Киже» (1934) — симфоническая сюита из музыки к фильму. Пятая симфония написана Прокофьевым в 1944 году.

Шостакович — дитя новой, советской цивилизации, «великолепный плод, выросший на дереве Октябрьской революции». В то время как музыка Прокофьева отражает предполагаемые внешние качества советской жизни (оптимизм, простоту структуры и некоторую неуклюжую грубоватость — uncouth roughness), музыка Шостаковича пытается иллюстрировать внутренний смысл революции, советского социализма, классовой борьбы, патриотизма и героизма. Отсюда длинные, «описательные» симфонии Шостаковича, его примитивные (naive) и очевидные попытки писать «программную музыку».

Возможно, в этом месте стоило бы бросить взгляд на музыку Дмитрия Шостаковича, чтобы понять то положение, которое оба композиторы занимают сегодня в Советском Союзе.

‹...› Трудно описать музыку Шостаковича, так же как трудно описать форму и цвет устрицы не потому, что его музыка сложна или «непостижима из-за своей глубины» (как советская критика привыкла представлять ее), но потому, что она бесформенна по стилю и форме и безлика по цвету. У устрицы. по крайней мере, есть собственный вкус, чего, к сожалению, не хватает музыке Шостаковича. Одна из ее главных слабостей — абсолютная, эклектическая безликость. Даже в начальный период творчества, когда он еще чувствовал себя относительно свободным для того, чтобы выбирать или изобретать собственную технику, его музыка была безликой. Он все еще пользуется техническими и стилистическими изобретениями других, как если бы они находились в общем пользовании. Он все еще копирует беспорядочно (и я полагаю, совершенно неосознанно) в одном месте Чайковского и Бетховена, в другом — Берлиоза и Малера; в одном месте он пытается построить схему, которую узнал из партитуры Стравинского, или Прокофьева, или Равеля, или Хиндемита, или из партитур некоторых менее известных композиторов двадцатых годов.

В начале творчества он писал более разнообразную музыку, чем позже, при этом использовал особенности (tricks), схемы (devices) и технические приемы, взятые из столь различных источников, что они и не могли привести к некоему единообразному стилю. Тогда он легко переходил от музыки Чайковского к джазовым ритмам среднеевропейского варьете *(Mitteleuropa* variety*)*. Его оперы так отличаются от его симфоний, а его камерная музыка — от музыки его балетов, что трудно поверить, что они написаны одним и тем же человеком. Легко узнаваемыми остаются скорее недостатки его музыки, нежели ее достоинства. Например, он пишет несколько мелодий, в которых увеличенный четвертый интервал (augmented forth) не появляется, однако такой интервал немелодичен и по ассоциации напоминает очень устаревшие (stale) «мелодии» позднего девятнадцатого столетия. Преувеличенная любовь Шостаковича к маршевым ритмам четырехчастного и двухчастного тактовых размеров (4/4 and 2/4 time) приводит к безжизненной прямоугольности (wooden squareness) в быстрых частях его музыки. Длинные мелодичные кантилены бесформенны и неуклюже построены. Его «мелодии» («tunes») часто взяты из заурядных источников. В Советской России в годы упадка его славы их называли «болотными», «вязкими», «marshy». Они подражают весьма обычным и малоинтересным заводским или армейским песням. Возможно, они бы не вызывали возражений, если бы были оригинально обработаны. Известно, что Гайдн, Бетховен, Стравинский часто использовали мелодии (tunes), приходящие из низов общества (gutter).

Два положительных качества, которые я нахожу в музыке Шостаковича, носят довольно неоднозначный характер. Первое — большая разносторонность (versatility) и эффективность его консерваторской подготовки, которые позволяют ему

весьма умело решать самые разнообразные технические проблемы. Шостакович, несомненно, является прекрасным профессионалом, и его изобретательность выражается в таких музыкальных умениях, как оркестровка и квалифицированное написание частей (past writing) — в том, что немцы называют *Guter Tonsatz*[23]. Нечасто среди современных композиторов такое техническое умение скрывает скудость оригинальных музыкальных идей. Вторым качеством Шостаковича, удивительным для иностранцев, является внутренний оптимизм его музыки. Обычной особенностью русской музыки и русского характера являются угнетенность и меланхоличность или, наоборот, грубая (boisterously) и дикая веселость без какой-либо видимой причины. Это мнение, по сути ошибочное, прочно внедрено в сознание людей. Поэтому когда какой-нибудь композитор из России не предстает безысходно (desperanely) меланхоличным или не впадает в состояние неистового исступления (frenzy), как в финале какого-нибудь русского балета, то на него смотрят как на потерявшего свои типично русские качества. Никто не станет отрицать, что теперь в России установилась совершенно другая жизнь, однако это мало повлияло на национальный характер народа и на его искусство, которое и раньше нередко было таким же оптимистичным, как музыка Шостаковича. Глинка, отец современной русской музыки, Бородин, Мусоргский и сам Чайковский написали огромное количество самой счастливой, самой легкой, самой веселой музыки девятнадцатого столетия. Таким образом, для русского человека оптимизм Шостаковича не представляет ничего удивительного. Но характер его оптимизма принимает чрезмерную, вульгарную и неубедительную форму. За таким оптимизмом всегда чувствуется присутствие некоей вынуждающей силы, силы, которая лежит вне пределов музыки. Представляется, что она основана на официальной силлогической формуле: до революции жизнь была безнадежной, поэтому искусство было мрачным; теперь революция победила, поэтому искусство должно быть оптимистичным. Очевидно, что это «*должно*» звучит как некая команда богов, верховных правителей, а не как логический вывод из некоего силлогизма. «*Должно*» часто принуждает композитора к напряженному усилию, неестественному для его темперамента и поэтому неудачному.

Достойно сожаления то, к чему «*должно*» приводит русскую музыку в целом и музыку Шостаковича в частности. Оно понуждает молодого композитора к наивным и рискованным (dared) формулам, таким, как усиленное и столь обычное использование главных триад, мелодий и каденций в мажорных тональностях, которые все как одна описывают славные и победные события настоящего на наиболее эмоциональном (emphatic) и банальном музыкальном языке. (Минорные лады используются для описания темных и мрачных дней прошлого.) Это приводит к тому, что музыка в целом сдвигается в сторону растянутого (verbose) и вульгарного (brassy) стиля, который вскоре становится безрадостным (dreary) и монотонным. В результате возникает тот безжизненный ритм двухчастных или четырехчастных тактовых размеров (2/4 or 4/4 rhytm), о котором я уже говорил и который, я полагаю, считается «более мужественным (manlier)» и «более жизнеспособным (more virile)», нежели «изнеженные тактовые размеры (effeminate)» 3/4 или 6/8. Этот ритм наполняет тематический материал такими обычными метрическими паттернами (patterns), как одна восьмая нота, за которой следуют две шестнадцатых (или наоборот), которые большинство композиторов используют очень скупо.

В послевоенной музыке Шостаковича все эти неудачные качества расцвели пышным цветом. У композиций Шостаковича теперь появилась тенденция стать

[23] Хорошая музыкальная фраза (*нем.*).

такими доходчивыми, что его музыка перестает быть художественным языком, при знакомстве с которым ищущий человеческий разум открывает для себя новые законы и новые проблемы и стремится разрешить их по-новому. В музыке Шостаковича каждый технический прием, каждая мелодическая линия, каждая разработка, полифоническая или монофоническая, каждый ритм, каждая формальная схема заставляют вспомнить музыку или современных композиторов, или композиторов девятнадцатого столетия. Все элементы используются столь банально, что спустя некоторое время начинаешь удивляться, неужели вскоре даже самые необразованные массы не устанут от нее. (Я часто задавался вопросом, не свидетельствует ли априорное мнение, столь распространенное среди интеллектуалов и политиков, что народным массам свойственны от природы грубые вкусы во всем, что касается искусства, всего-навсего об отсутствии у самих «знатоков» умения разбираться в искусстве.)

Упрощение музыки само по себе полезное (salutary) явление, но существует предел, за которым упрощение становится слишком обычным и абсурдным. Эклектизм часто представляет собой крепкую (sturdy) основу (backbone) здоровой традиции (разве Иоганн Себастьян Бах не был великим эклектиком?), но когда он преобладает (pervades) в музыке какого-нибудь композитора или препятствует созданию собственного стиля, то становится достойным сожаления (deprolable). Объективность не следует путать с безликостью, так же как романтизм необязательно подразумевает высокопарную (grandiloquent) сентиментальность и отсутствие формы. Композиторы старшего поколения столкнулись с ключевой, решающей проблемой — этой проблемой явилось их отношение к Октябрьской революции. Такая проблема никогда не существовала для Шостаковича. Каждому из более старших композиторов пришлось сделать собственный выбор: принять ее, отвергнуть, подобно Стравинскому, или принять только частично, подобно Александру Глазунову. Шостакович же был рожден революционными годами, он возник в условиях советского окружения, и, следовательно, для него революция как бы установила заданные условия теоремы — прагматичную, безоговорочную реальность.

Прокофьев принял русскую революцию в ее «совокупности» и увидел в новой России логическое последствие развития старой России, результат векового процесса освобождения. Он был и, несомненно, все еще остается искренним и *инстинктивным, безотчетным* русским патриотом, который мало думает о вопросах справедливости или несправедливости действий советского правительства и рассматривает их как результат своего рода необъяснимой (inexplicable) исторической необходимости. Другими словами, он является человеком, чье политическое мышление никогда не развивалось и кто, в отличие от многих американских деятелей культуры, полагал, что его главная работа состояла в том, чтобы заниматься собственным делом и оставить политические вопросы и сложности (entanglements) другим. В то же время он чувствовал профессиональную или, скорее, органическую связь с Россией, с русским народом и с русской культурой. Несмотря на то, что он много лет провел за границей, несмотря на свое положение известного композитора в западном мире, он оставался русским человеком во всем, что касалось его привычек, его поведения и его искусства.

Когда в 1930 и 1931 годах стали известны первые планы советского правительства, касающиеся будущего советской музыки, то стало ясно, что они направлены *против* «формалистических экспериментов» (это ознаменовалось первой музыкальной чисткой в 1931 году) и направлены *в поддержку* музыки, «которая была бы приемлема для широких пролетарских масс Советского Союза и была бы понятной для них». Тогда Прокофьев приветствовал официальный декрет (edict) как

реализацию некоторых собственных идей относительно функции музыки. Он часто замечал: «Я всегда хотел изобретать мелодии, которые были бы понятны большим массам народа — простые напевные (singable) мелодии». Он рассматривал это как самую важную и трудную задачу современного композитора. Но была другая и более реальная (tangible) причина, повлиявшая на возвращение Прокофьева в СССР в середине двадцатых годов. Для него Россия представляла в то время огромное поле для раскрытия своей художнической энергии, страну больших возможностей, населенную миллионами потенциальных «потребителей» его музыки.

В то время российское общество было истощено (impoverished) после потери огромного числа интеллигентов, которые или умерли в войну, или во время красного террора уехали из России между 1918 и 1921 годами. Вполне естественно, что те творческие деятели, друзья Прокофьева, которые оставались в Москве и продолжали работу в области музыки, кино и театра и с которыми он восстановил контакты, как только обосновался во Франции, убеждали его вернуться в Россию. Как это ни грустно (ironically), но большинство из них позднее были или казнены (executed), или исчезли в концентрационных лагерях и в сумасшедших домах (insane asylums), или же влачили безвестное (obscure) существование изгоев (outcasts) советского общества.

В 1926 году, после возвращения в Париж из первого турне по СССР, Прокофьев написал балет *Стальной скок (The Steel Leap)*. Это была одна из появившихся в то время широких панорам советской жизни времен нэпа, декорированная (adorned) элементами сатиры и заканчивающаяся грандиозной сценой, изображающей строительство новой России. Он написал этот «героический» балет в мирной буржуазной обстановке респектабельной французской виллы в Савойских горах[24]. Спектакль был поставлен Русским балетом (the Balet Russe) Сергея Дягилева, который с тех пор стал главным злодеем (archvillain), разлагающим русское искусство, и «тлетворным (pernicious), выродившимся и безродным космополитом». С этого момента Прокофьев стал своего рода представителем советской культуры за границей: он считался ее лучшим поборником (protagonist) и самым полезным пропагандистом. В то время как границы России медленно закрывались и культурные барьеры становились все более и более явными, личное положение Прокофьева, как неофициального посла Советской России за границей, оставалось неизменным. Он продолжал жить в Париже, ежегодно ездил на три или четыре месяца в Россию и в обширные турне по всему миру. Его частная жизнь никак не менялась. Он общался с тем же кругом людей, свободно выражал свои взгляды на Советский Союз и свое отношение к нему, свою веру в будущее России и русской культуры и, казалось, получал полное удовольствие от своего особого, уникального положения известного человека двух различных миров.

С определенностью можно сказать, что в этот период разделение двух миров стало очевидным. Около 1932–1933 годов сталинская власть (reaction) установила в России контроль почти над всеми, кто высказывал несогласные с ней взгляды. Она организовала сеть полиции (police) по всей огромной стране. Она провела принудительную коллективизацию и ликвидировала или сослала миллионы русских крестьян. «Тотальное государство» стало практической реальностью, и последние остатки индивидуальной мысли и независимой культурной активности были искоренены (eradicated) сталинской секретной полицией.

Тем не менее казалось, что положение Прокофьева в СССР достаточно прочное и что у него есть то, что является самым необходимым в тоталитарных государ-

[24] Савойя — горная альпийская деревушка между Францией и Италией.

ствах, — защита в «высочайших кругах». В 1931 или 1932 году он получил квартиру в Москве и стал проводить больше времени в Советском Союзе. Согласно достоверным сведениям, именно «высочайшие власти» понуждали его к постоянному проживанию в Москве. Привилегированное положение Прокофьева должно было, естественно, возбудить повышенную зависть в среде его советских коллег. Каждый, кто жил в тоталитарном государстве, знает, какие важные «привилегии» могут быть получены и какую непомерную ревность и ненависть они могут вызвать. Вполне возможно, что такие предложения были сделаны Прокофьеву для того, чтобы успокоить чувства его соотечественников. Но это могло также означать, что в то время как «высшие власти» были готовы предоставлять покровительство Прокофьеву, у властей «менее высоких» оно вызывало раздражение и критику по отношению к человеку, который попытался жить независимой жизнью свободного художника.

К середине тридцатых годов Прокофьев и его семья окончательно переместились в Россию. Остается догадываться, посоветовали или приказали ему так поступить. Несомненным является то, что он испытал некоторый нажим. Он возвращался без большого энтузиазма, с сожалением расставаясь с независимым и привилегированным положением за границей. За годы жизни за границей его «безотчетный патриотизм» ни разу не пошатнулся, и он пытался соответствовать во всех своих эстетических и идеологических поступках желаниям партии и правительства. Так, когда ему было предложено написать произведение к пятнадцатой годовщине смерти Ленина, он оказал услугу «высшим властям», написав *Заздравную песню Сталину (Toast Song to Stalin)*[25]. (Он не смог найти в работах Ленина текст, который можно положить на музыку. Кроме того, имелось только два отрывка в многотомных трудах Ленина, где тот упоминает Сталина, причем оба раза весьма поверхностно. В результате от Ленина как от источника музыкального вдохновения пришлось отказаться, и Прокофьев был вынужден использовать более надежный и вполне безобидный текст заздравной песни.)

Страдала ли его музыка от конформизма? Обнаруживала ли она следы творческого упадка, который можно было объяснить вынужденным согласием с предписаниями партии? Об этом можно только строить предположения. Потому что мы, конечно же, не можем знать или даже догадываться, что случилось бы с искусством Прокофьева, если бы он остался в Западной Европе. В целом видно, что его музыка прошла процесс значительного и временами чрезмерного упрощения. Некоторые из мелодий стали банальными до тривиальности, и в своем гармоническом языке он временами использовал схемы покойной (a defunct) Викторианской эпохи. Но трудно определить, на сколько это явилось результатом конформизма, а сколько появилось в процессе естественного развития его искусства. Одно несомненно: в тридцатые и начале сороковых годов он был единственным советским композитором, чья музыка все еще в значительной степени сохраняла подлинную (genuine) свежесть и не оставляла после себя отвратительный (obnoxious) запах синтетических материалов (наподобие немецкого эрзац-газолина), а также не несла отпечаток скучного провинциализма — отличительного знака практически всей советской современной музыки.

Вплоть до 1938 года Прокофьев продолжал поездки за границу. Во время последнего посещения западного мира он был очень далеко от России — в Америке. Когда он за границей встречался с друзьями, не поддерживавшими коммунизм

[25] «Здравица» — кантата для смешанного хора с сопровождением симфонического оркестра. Написана С. С. Прокофьевым в 1939 году к 60-летию И. В. Сталина по заказу Всесоюзного радио. При подготовке кантаты Прокофьев использовал тексты народных песен о Сталине.

или выступавшими против него, он восторженно рассказывал о великих достижениях Советского Союза. Но за этой маской оптимизма и официального восхваления можно было разглядеть чувство, полностью противоположное самой природе характера Прокофьева, — чувство глубокой и ужасной незащищенности. Он стал более раздражителен, чем обычно. Говорил о многочисленных врагах среди коллег и о напряженности, которая существовала между ним и другими известными советскими композиторами и критиками. Соглашался, что был встревожен во время чистки 1937 года, когда была предпринята вторая большая атака против формализма в музыке и о Шостаковиче было «забыто» (put on ice) примерно на два года. Не секрет, что Сталин лично выступил в защиту Прокофьева, и он был вычеркнут из списка предназначенных к гонениям и чистке.

Но больше всего он беспокоился о своем искусстве. Все эти годы он думал, что делал то, чего хотело правительство: писал простую и легко «доступную для потребления (consumable)» музыку. И думал, что делал это достаточно хорошо, лучше, чем большинство советских композиторов, потому что его личные наклонности совпадали с желаниями правительства, как он их понимал. Внезапно он начал сомневаться в своей интерпретации правительственных указаний (decrees) и задумываться над тем, что ему следует делать дальше, какую музыку писать, чтобы... соответствовать (conform). В то же время оставшаяся у него художественная честность (integrity), естественно, восставала против самой идеи соглашательства ради соответствия, соответствия, которое не было основано на его собственных убеждениях, соответствия, которое противоречило его художественной свободе.

Прокофьев продолжал заботиться и о внешней стороне жизни (to put up a facade). Вскоре его отношения с женой начали портиться, и в 1940 году он оставил ее с двумя детьми и уехал на Кавказ с молодой племянницей Кагановича, близкого друга и соратника Сталина. Его новая подруга была активной коммунисткой и заметным руководителем в советской молодежной организации — «красные пионеры» (Red Pioneers). Семейная проблема возникла всего за несколько месяцев до войны. Вскоре после ее начала Прокофьев, подобно многим другим русским деятелям культуры, принял участие в различных мероприятиях, проводившихся в стране для подъема морального духа народа. Его положение казалось безопасным, а его репутация превосходила репутации всех соперников, за исключением Шостаковича. Действительно, в то время как Шостакович был «звездой» советской музыки, Прокофьев оставался ее «столпом» (dean), старейшиной. Новая жена Прокофьева стала его литературным сотрудником и много сделала для его защиты, обладая влиянием в высших кругах партии[26].

В конце 1943-го или в начале 1944 года пришла весть о его внезапной болезни. Он упал с лестницы, очевидно, во время сердечного приступа. Он не мог работать в течение многих месяцев. Но как только почувствовал себя лучше, завершил обширную партитуру оперы *Война и мир*. Несмотря на помощь жены в качестве либреттиста и пышную (lavish) постановку в Ленинграде в 1945 году, опера потерпела провал. Через год следующий сердечный приступ вынудил его отправиться на длительный отдых на Кавказ. Между тем *Шестая симфония* оставалась неоконченной. Вернувшись в 1946 году, он завершил ее партитуру, и она с успехом была впервые исполнена в Ленинграде, но в Москве встречена менее восторженно[27].

---

[26] Вторая жена С. С. Прокофьева — Мира Александровна (Абрамовна) Мендельсон (1915–1968), либреттистка. В эмигрантских кругах ходили слухи, что она была племянницей Л. М. Кагановича.

[27] Опера «Война и мир» написана в 1944 году. Первая постановка (концертное исполнение) — в Москве, 16 октября 1944 года. Симфония № 6 написана в 1947 году. Первое исполнение — 11 сентября 1947 года в Ленинграде.

Третий сердечный приступ в начале 1948 года уложил его в постель на два или три месяца. 10 февраля 1948 года, когда он лежал больной, он услышал крайне неприятные новости (the ax fall). В тот день *Правда* опубликовала документ, теперь широко известный, документ, уникальный в современной истории, — подробное осуждение самых выдающихся советских композиторов Центральным Комитетом Коммунистической партии. Имя Прокофьева возглавляло список.

Затем последовал ритуал советских чисток, проведенный со скрупулезной точностью. По всему Советскому Союзу прошли публичные собрания советских композиторов, на которых они признавали свои ошибки и идеологические грехи. Прокофьев написал письмо. В нем он каялся в терминах несколько более достойных, нежели слова, использованные другими «вычищенными». Он сожалел о своих очевидных ошибках и, прибегая к длинным объяснениям, оправдывался тем, что трудно сочинять хорошие мелодии. Письмо было признано неадекватным. Следующим шагом в ритуале чистки была работа по политическому заказу. Прокофьев выбрал высокопарный (stilted) патриотический рассказ о жизни героя советских военно-воздушных сил, который потерял обе ноги во время войны. Его жена придумала (concocted) либретто на основе этого «советского эпоса», и он в рекордно короткое время написал оперу длительностью на целый вечер, названную *Повесть о настоящем человеке*. После первого, пробного чтения оперы группой певцов в сопровождении ленинградского оркестра она была отвергнута как «беспардонное искажение советской реальности» и «гнусная (base) смесь формалистических привычных приемов». Прокофьев и дирижер оркестра получили выговоры за использование времени оркестра для репетиций такой отвратительной музыки. Прокофьев был вынужден написать извинительные письма по поводу всей этой истории[28].

Слухи о плохом здоровье Прокофьева снова стали проникать сквозь «железный занавес», в то время как советская пресса и некоторые из его коллег продолжали нападать на него и на его искусство с неослабевающей яростью. Сомнительно, чтобы Прокофьев смог полностью искупить свои грехи (redamption) и вновь занять место старейшины (dean) советских композиторов. Ибо в глазах тех, кто управлял судьбами русского народа, он являлся символом былой тесной связи России с современным западным миром с его великими освободительными традициями и духом интеллектуальной и художнической свободы. Такого тираны Кремля не могли вынести. Она, эта связь, угрожала им самим.

Подготовка публикации, вступительное слово
Евгения Белодубровского

[28] Опера «Повесть о настоящем человеке» создана в 1947–1948 годах. Закрытый просмотр состоялся 3 декабря 1948 года. Первая постановка — 7 октября 1960 года в Большом театре.

Год культуры

Вера ЗУБАРЕВА

ТАЙНА САДА

Об одном стихотворении Беллы Ахмадулиной

Я в таинствах подозреваю сад...
Белла Ахмадулина

Много тайн сокрыто в стихотворении Беллы Ахмадулиной «Есть тайна у меня от чудного цветенья...» (1981). Интригуют сразу две вещи в этом «зачине»: во-первых, упоминание тайны, а во-вторых, намек на какое-то загадочное «чудное цветенье». Критик уже готов погрозить пальцем и попенять Ахмадулиной на штамп — мол, неужели не нашлось в арсенале большого поэта более подходящего эпитета? Но она тут же охлаждает его пыл, уточняя: «чуднАго». И эпитет превращается в следующую загадку, но уже подсказывающую, что тайна имеет отношение к старинной орфографии, а точнее к одной отсутствующей в современном алфавите букве:

Не зная новостей, на старый лад желтея,
цветок себе всегда выпрашивает «ять».

Почему цветок выпрашивает «ять», ясно тому, кто знаком с прежним правописанием этого слова: до языковой реформы 1917–1918 года «цветок» писался через «ять»: цвѣток. Это, казалось бы, чисто орфографическое различие в написаниях, трактуется в стихотворении как подмена живого на искусственное. Дальше — больше. Оказывается, что и природа не может обходиться без ѣ: увядая, живой цветок, не знающий «новостей», то есть грамматических реформ, выпрашивает себе «ять», словно от этой буквы зависит его воскрешение.

Вера Кимовна Зубарева родилась в Одессе. Поэт, прозаик, литературовед. Преподает в Пенсильванском университете. Автор 16 книг поэзии, прозы и литературной критики. Лауреат Международной премии им. Беллы Ахмадулиной. Живет в Филадельфии.

Есть тайна у меня от чудного цветенья,
здесь было б: чуднАГО — уместней написать.
Не зная новостей, на старый лад желтея,
цветок себе всегда выпрашивает «ять».

Итак, конфликт обозначен уже в бутоне завязки стихотворения как несоответствие между тем, что цветок есть по своей (письменной) природе, и его новым портретом, представленным в современной орфографии. При этом намек на свойство «ятя» воскрешать сделан довольно прозрачно. Правомочен ли он?

Обратимся к истории грамматических реформ, чтобы лучше понять, что же имела в виду Ахмадулина, сокрушавшаяся о репрессированной букве. О том, как проводилось «вытаптывание языка» («Коль вытоптан язык — и вам не устоять.») в три этапа, подробно повествует Дмитрий Быков в «Орфографии»:

> Подготовительный этап реформы начался в 1899 году, когда собралась Первая орфографическая комиссия при Московском университете. Вторая комиссия функционировала в 1901 году, тоже при университете, но уже Казанском; почти одновременно с ней возникла третья, при Новороссийском. Предложения комиссий широко обсуждались учеными и учителями (главным аргументом в пользу реформы правописания была именно трудность и кажущаяся бессмысленность усвоения русской орфографии, ее недоступность простонародью, низкая успеваемость гимназистов). В 1904 году подкомиссией Академии наук под председательством Ф. Фортунатова было разработано «Предварительное сообщение» о готовящейся реформе.
>
> Академию наук тогда возглавлял либеральный великий князь Константин Романов, более известный как слабый поэт и драматург К.Р. Он лично стал во главе комиссии по реформе правописания, которую собрал впервые в достопамятный день 12 апреля (ст. ст.). На следующий день собралась подкомиссия, сформированная для разработки конкретных предложений по реформе. Ее центром были А. Шахматов и Ф. Фортунатов — крупнейшие специалисты по истории русского языка. Как всякие историки, они обращали внимание прежде всего на тенденцию: письменная речь во всем мире год от года теснее смыкается с устной, лишние буквы и тяжеловесные обороты отпадают, а торжествует здоровая простота.
>
> Предложения были радикальны. Первое: никакого ятя[1].

Т. М. Григорьева в статье «Старая орфография в новое время» цитирует С. Сперанского («Народная школа в рабстве у буквы ять»), где он приводит жалобы учителей по поводу бедственного положения «начальной школы, которая безжалостно «выбрасывала» всех, не преодолевших ятевого списка». В частности, Сперанский отмечал, что:

«— На бесплодное заучивание грамматики и правописания приходится тратить почти половину трехлетнего курса сельской школы.

— Буква ять нас замучила.

— Буква ять отнимает половину учебного года, и все же ученики, выйдя из школы, скоро забывают ее правописание.

— Если бы не эта буква, то половину существующей программы можно смело увеличить и успешно пройти за это время, если ять изгнать из употребления»[2].

Предложение комиссии по отмене ятя и др. букв вызвало оппозицию. Одним из главных аргументов А. Толстого, например, было то, что изменение правописа-

[1] Дмитрий Быков. Орфография: опера в трех действиях. http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks133011.

[2] № 17/2001 газеты «Русский язык» Издательского дома «Первое сентября».

ния изменяет «портрет» слова, а это существенно удлиняет чтение, поскольку при быстром чтении охватывается именно «картинка» в целом. Аргумент неубедительный, как пишет Быков. Но только с точки зрения скоростного чтения. С точки же зрения эмблематики, аргумент более, чем существенный, поскольку изменение «портрета» влечет за собой изменение сути. Суть же в значении каждой из отмененных букв, их символике числовой и понятийной (как это осталось в иврите). В этой символике «ять» является чуть ли не главенствующим, ибо «означает целостность или святость, что эквивалентно единой и абсолютной целостности Бога»[3].

Итак, в словесной вселенной «ять» обозначает Творца, и отказ от столь значимой буквы ведет не только к подмене портрета слова, но и к искажению его концепции. Чтобы лучше представить себе, по какому именно пути идет замена, обратимся к значению заменившей «ять» букве «е». «Е» происходит от греческой буквы «эпсилон» и означает, в частности, «есть» и «естество». Подмена ѣ (от «ятый» — целостный или «святый») на «е» по сути — идеологическая подмена, связанная не только с портретом слова. Эта акция была «направлена на подрыв одной из самых существенных корневых метафор в картине мира»[4]. Теперь становится ясней смятение цветка, выпрашивающего себе запрещенную букву. «Цвѣток» несет в написании символ Творца, тогда как «цветок» — всего лишь атрибут природного мира, дитя естественного отбора. Подмена равноценна водружению на трон Лжедмитрия. Как видим, Ахмадулина сетует не на утрату чего-то формального в орфографии, а на контрреволюцию в грамматике, свергнувшей Творца, заменив его природой.

Весь скрытый ход стихотворения направлен на то, как раздобыть этот чудодейственный ѣ, дабы наступило воскрешение словесного сада, а шире — родной литературы. Задача раздобыть запретный ѣ и вернуть его на место аналогична возвращению ипостаси Творца в словесный мир. Тайна чуднАго цветенья, которой владеет лирическая героиня Ахмадулиной, должна помочь ей в этом. Ее миссия — сделать почву своего словесного сада животворящей вопреки неблагоприятному орфографическому климату. Дело в том, что суровые орфографические условия влекут за собой потерю «услады правописанья», что опасно, ибо цветок, не заключающий в себе «сладость», не привлечет и медоносную пчелу, а это грозит исчезновением «красы полей», то есть закатом литературы, не источающей аромата.

Где для него возьму услад правописанья,
хоть первороден он, как речи приворот?
Что — речь, краса полей и ты, краса лесная,
как не ответный труд вобравших вас аорт?

Сближение мира природы и художественной вселенной в стихотворении идет по пути установления мосточков-соответствий между природой как живым зеркалом Творца и языком как зеркалом Логоса. Любая аналогия, перекочевывающая из мира природы в мир тетради, способствует взрыхлению и оживлению вытоптанной почвы. Переопределив понятие родины как *родной грамоты*, лирическая героиня призывает своих «соотечественников» возделывать родное поле.

---

[3] Славянский алфавит Кирилла и Мефодия. Азбука кириллицы и матрица чисел двенадцатеричной нумерологии. Имена и числовые значения букв. http://www.wordgame.64g.ru/meta3/me4.htm

[4] Сандомирская И. Духъ буквы // Искусство кино.1991. № 6. С. 10–13. http://www.a-z.ru/women/texts/sandom10.htm

Лишь грамота и вы — других не видно родин.
Коль вытоптан язык — и вам не устоять.
Светает, садовод! Светает, огородник!
Что ж, потянусь и я возделывать тетрадь.

Возделывание идет по отдельным «цветам», начиная с буквицы. Буквица означает в типографии крупную начальную букву, отличающуюся витиеватым дизайном, несущим в себе образ произведения. В природе с буквицы начинается повествование весны, так как буквица относится к первоцвету, имеющему много разных названий.

Отраден первоцвет для зренья и для слуха.
— Эй, ключики! — скажи — он будет тут как тут.
Не взыщет, коль дразнить: баранчики! желтуха!
А грамотеи — чтут и буквицей зовут.

Ах, буквица моя, все твой букварь читаю.
Как азбука проста, которой невдомек,
что даже от тебя я охраняю тайну,
твой ключик золотой ее не отомкнет.

Для знатоков растений ясно, что «золотой ключик» — не идиома, а игра смыслов: так в народе называют первоцвет за желтые цветочки, которые растут будто в связке (другие названия первоцвета — баранчики, желтуха и пр.). По преданью ключиками весна открывает дверь в лето. Так от соответствий грамматических и обиходных «возделывание» переходит к соответствиям понятийным. На этой стадии смысловые мостики должен достроить трудолюбивый читатель, ибо эта часть относится к тайне.

Фиалки прожила и проводила в старость
уменье медуниц изображать закат.
Черемухе моей — и той не проболталась,
под пыткой божества и под его диктант.
Уж вишня расцвела, а яблоня на завтра
оставила расцвесть... и тут же, вопреки
пустым словам, в окне, так близко и внезапно
прозрел ее цветок в конце моей строки.

Фиалки, черемуха, вишня, яблоня... По этой тропке названий начинается движение к первому чуду — «прозреванию» цветка в конце строки в тетради лирической героини-поэта («так близко и внезапно // прозрел ее цветок в конце моей строки»). В живом саду перечисленные цветы и деревья всего лишь ряд растений, лишенных символики. В словесном же саду (и в контексте поисков «ятя») каждый цветок обогащен сакраментальной эмблематикой». Так, фиалка звалась на Руси «Троицын Свет», поскольку она объединяет в трех нижних лепестках «всевидящее око Бога Отца или три лика Святой Троицы»[5]. «Фиалкой смирения» была также названа Дева Мария. Медуница ассоциируется с образами Адама и Евы из-за ее цветков: синие цветки связывали с Адамом, а розовые — с Евой. Черемуха симво-

[5] Р. Бриллиантова. http://www.greeninfo.ru/grassy/viola_wittrockiana.html/Article/_/aID/4605

лизирует девственную чистоту и Россию, вишня считается в Украине «божественным деревом»[6], а символика яблони связана с Древом жизни. Постепенное движение по саду цветений, сочетающему в себе основные ветхозаветные и новозаветные образы, приводит к появлению цветка в конце строки. Это знак того, что граница между цветами сада реального и словесного постепенно стирается, и вскоре мир живой начинает бурно смешиваться с миром словесным.

Стих падает пчелой на стебли и на ветви,
чтобы цветочный мед названий целовать.
Уже не знаю я: где слово, где соцветье?
Но весь цветник земной — не гуще, чем словарь.

Сближение природы и слова звучит отголоском Сотворения, его вариацией, обыгрывающей жизнетворную силу Слова. И невольно приходит на ум мысль «теологов Средневековья о том, что Бог явил свою мудрость не только через слово своей первой книги — Священного Писания, но и посредством второй „книги“ — сотворенного им мироздания с землей и всеми населяющими ее животными и растениями»[7].

Сад, разлившийся под пером лирической героини, — верный знак того, что ѣ был возвращен цветку. Как же это произошло? Ответ на этот вопрос скрывается в двух первых строках последней строфы.

В отместку мне — пчела в мою строку влетела.
В чужую сласть впилась ошибка жадных уст.

Если в предыдущей строфе стих падал «пчелой на стебли и на ветви», то теперь настоящая пчела из сада посетила тетрадь, как бы подтверждая, что стиху удалось привнести в строку живую сладость сада. Сближение словесного цветка с пчелой достигается за счет их сближенной функции: функция стиха — «целовать мед названий» — уподоблена действию пчелы, «впивающейся» в сладость строки. Помимо этого, живая пчела привносит еще и зрительный образ в строку. Приземлившись на слово, впиваясь в его «сласть», она одновременно становится и частью слова, принимая вид орфографической ошибки («ошибка жадных уст»). Какой именно? Помня, что цветок «себе всегда выпрашивает „ять“», мы можем предположить, что «ошибкой» и будет «ять». Но откуда он взялся в тетради, и какая связь с пчелой?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно представить, как бы выглядело графическое изображение пчелы в картинке алфавита. Пчела в орфографическом королевстве не может выглядеть как буква «е», но ее графическое изображение с развернутыми крыльями вполне может ассоциироваться с .

Таким образом, «ошибка» на поверку оказывается исправлением ошибки. «Ять» возвращен цветку пчелой — носительницей Божественной «сласти», одним из символов Богоматери в христианстве. Весь этот процесс сплетений природы и Слова проясняет метафору «чуднаго» цветенья. Ну а что же есть тайна, упоминание о которой обрамляет стихотворение, появляясь в конце?

---

[6] В. Е. Борейко. Лесной фольклор. Древа жизни и священные рощи.

[7] Н. Маркова. О символике цветов в классическом искусстве. http://moy-bereg.ru/simvolika-tsvetov/o-simvolike-tsvetov-v-klassicheskom-iskusstve-2.html

Есть тайна у меня от чудного цветенья.
Но ландыш расцветет — и я проговорюсь.

О тайне не поведано. Читатель остается в неведенье относительно нее. Хотя, нет, не совсем так. В завершающей строке дан намек на связь тайны с появлением ландыша. Почему именно ландыша, какой особый смысл в этом скрыт?

Ландыш расцветает в мае. В христианской символике «май — месяц весеннего цветения — был посвящен Марии, и существовал обычай в мае служить тридцать одну цветочную службу, по одной на каждый день, отмечая ее каким-либо цветком»[8]. Подготовленный всем тайным объединением небесных деталей, образ Марии брезжит в завершающей строке стихотворения символикой ландыша, имеющего еще одно название — «колокольчики Марии». По преданию, ландыш вырос из пролитых слез Девы Марии, поэтому он ассоциируется с новой жизнью, возрождением и является символом второго пришествия Христа. В стихах празднику воскресения соответствует воскрешение «ятя» усилиями пчелы как еще одной ипостаси Марии. Все эти превращения становятся возможными благодаря усилиям поэта — его высокому настрою, стойкости и кропотливой работе садовника по восстановлению «вытоптанного языка» (читай: культуры). Но главное — это его умение разглядеть *таинство* в свершающихся природных сменах. Так может быть, это умение и есть тайна «от чуднаго цветенья»?

[8] Там же.

Искусство чтения

Юлия ЩЕРБИНИНА

ЭХОТЕКСТ
как воля и представление

...Удивительно мощное эхо.
Очевидно, такая эпоха!
Леонид Мартынов. Эхо

...А откуда у них мысли, если их устами глаголет социум?
Что услышали, то и повторяют.
Евгений Лукин. С нами бот

Понятие «эхотекст» редко, но уже возникало в речеведении и искусствознании в разных значениях и контекстах[1]. Однако вполне очевидно: эхо-

Юлия Владимировна Щербинина — филолог, профессор Московского педагогического государственного университета. Основная специализация — речеведение, коммуникативистика. Занимается исследованиями дискурсивных процессов в разных областях культуры.

[1] См.: *Жагун П.* Пыль Калиостро. М.: АРГО-РИСК; Книжное обозрение, 2009; *Макеева С.О.* Роль интертекста в интерпретации речевых поступков А.А. Фурсенко и Ника Гибба // Языковое об-

текст есть не просто фоносемантический резонанс и не только форма интертекстуальности, но самостоятельный феномен — со своими онтологией, генезисом, перспективами развития. И, пожалуй, нигде более он не обнаруживает таких явных признаков и ярких образчиков, как в журналистике и литературной критике (прежде всего на страницах печатных газет и в сетевой периодике).

Физика vs лирика

В наиболее общем виде эхотекст представляет собой имитацию обратной речевой связи; содержательно выхолощенную, формализованную реакцию на какое-либо событие или сообщение. Эхотекст по-настоящему не участвует в информационных процессах, поскольку не передает, а лишь отражает некое содержание, отзеркаливает уже произнесенное, ранее сформулированное. Первейший признак эхотекста — ***симуляция включенности в коммуникацию***.

Рецензия на поверку оказывается механическим пересказом сюжета книги (фильма, спектакля), переложением аннотации, переписанной «другими словами» выдержкой из синопсиса. Если приводится цитата, то чаще всего из начала, из первых глав произведения, даже если (парадокс!) пишущий удосужился прочитать его целиком.

Вместо собственных мыслей пишущего — либо *трюизмы* (банальности, расхожие суждения); либо *перепост* (перепечатка) чьих-то формулировок, мнений других людей; либо *копипаст* (компилирование материалов из нескольких источников); либо *рерайтинг* (переработка текста с изменением формы изложения при сохранении фактической основы). Эхотекст не генерирует новые смыслы — только транслирует прежде написанное, воспроизводит когда-либо сказанное. Персональная речь в эхотекстах существует как отзвук, отголосок чужой речи.

Причем важно заметить: эхотекст не тождествен *цитатному письму*. Как верно отмечает С. И. Сметанина, «цитатное письмо участвует в организации нового смысла, опираясь на фоновые знания»[2]. Цитирующий вполне сознает, что воспроизводит чужую речь и интеллектуально перерабатывает чье-то высказывание. А автор эхотекста автоматически присваивает себе передаваемое содержание, изначально считая его «своим». Кавычки если и ставятся, то демонстрируют не осознанность границ другого высказывания, а лишь стереотип речеповедения («так принято», «это правило пунктуации»).

Одновременно эхотекст — это и не *плагиат*, поскольку у пишущего нет задачи намерено скрыть подлинное авторство. Подмена субъекта высказывания носит не идеологический, но гносеологический характер. Пишущий действует не задумываясь; копирует, имитирует, подражает не по злому умыслу, а «по образцу». Причем апеллирует не к адресату, а к самому себе, слышит только собственное слово. Для эхотекста проблема авторства вообще неважна, ибо он всегда претендует на объективность.

Таковы и «воля», и «представление» эхотекста. И в этом есть нечто изначально порочное, онтологически неправильное. Как неестественно разговаривать с собственным изображением в зеркале, со своим голосом в горах — так неестествен и самозамкнутый текст, природа которого изначально двуедина, диалогична.

разование сегодня — векторы развития: материалы III международной научно-практической конференции-форума (Екатеринбург, 20 апреля 2012 г.). Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т. 2012. С. 175–176.

[2] *Сметанина С. И.* Медиа-текст в системе культуры. Динамические процессы в языке и стиле журналистики конца XX в. М.: Изд-во В. А. Михайлова, 2002. С. 110.

Однако не следует сравнивать эхотекст также и с *монологом* и *внутренней речью* — исходно органичными, физиологически мотивированными формами аутокоммуникации. Если монолог можно уподобить автопортрету, то эхотекст больше напоминает новомодную практику селфи (англ. selfie < self — сам) — фотографирование самого себя на мобильный телефон либо фотокамеру. Автопортрет как творческая самоинтерпретация имеет давние традиции, устоявшиеся художественные формы. Селфи как самодублирование человека в другой сигнальной системе вызывает небезосновательные опасения психологов и настороженность культурологов. Двойник всегда инфернален...

В качестве общей иллюстрации эхотекста возьмем рецензию Валерии Жаровой на роман Владимира Сорокина «Теллурия».

«Почему провалился новый роман Владимира Сорокина „Теллурия“», — уже в самом заголовке и логический сдвиг, и аргументативная уловка: поспешность обобщения, подача исходного тезиса как итогового вывода. Эхотекст по определению лишен обоснований, вообще лишен проблематизации; в его основе — не диалог с другими текстами, а презумпция правоты пишущего.

Автору эхотекста всегда все очевидно и понятно. Крикнем «да?» — эхо ответит «да!». Отражение звука от поверхности нивелирует интонацию, превращает вопрошание в утверждение. Эхотекст — это готовый ответ на незаданный вопрос.

Читаем начало рецензии: *«Новый роман Владимира Сорокина „Теллурия“ требует от читателя усидчивости и умственной работы. Вопрос только в том, будет ли она вознаграждена»*. Первое предложение — трюизм. Второе предложение в контексте заголовка выглядит заготовленным ответом. Что и требовалось проиллюстрировать.

Далее следует беглый пересказ сюжета. Только пересказ — без комментария и хотя бы поверхностного анализа. Причем здесь даже не нарратив, сколько просто перечень основных позиций: *«На четырехстах с лишним страницах перед нами проходит традиционный сорокинский парад уродов: педофилы, извращенцы, мыслящие половые члены, псоглавцы, великаны, карлики, рыцари, знать, революционеры, рабочие... Происходят разговоры о России и мире, о судьбах человечества и государственном устройстве. Перепето все, что только можно, включая и более ранние сорокинские вещи, но гипертрофированно, пародийно»*...

После этого — сразу же, без малейшей конкретизации и без каких-либо переходов, связок, пояснений — выносится вердикт: *«И все это, к сожалению, уже совершенно неинтересно. Трудность не в том, что надо обо всем догадываться — это как раз иногда даже приятно. Просто этот мир и эти существа настолько не вызывают интереса и хоть какого-то сочувствия, что силы тратить жалко»*.

Возникают вопросы недоумения. А, собственно, почему неинтересно? Почему вообще сами персонажи, герои как таковые непременно должны быть интересны и, тем более, вызывать сочувствие? Разве это критерий качества прозы? Универсальный и исчерпывающий ответ — в заголовке рецензии: круг замкнулся, речь закольцована. Эхотекст всегда опрокинут в себя, и «физика» здесь работает против «лирики».

Гоголь vs Google

Эхотекст — это пространство информационных потерь, фактических ошибок, содержательных деформаций. Второй сущностный признак эхотекста — ***смысловые искажения***.

Самые простые и наиболее очевидные случаи наблюдаются при бездумных, слабо осмысленных попытках перевода устной речи в письменную. В качестве об-

разчика — «расшифровка» фрагмента круглого стола по современной прозе. В одном из докладов был представлен краткий обзор следующих произведений: *Анатолий Рясов «Пустырь», Валерий Вотрин «Логопед», Михаил Гиголашвили «Захват Московии», Андрей Тавров «Матрос на мачте», Михаил Аркадьев «Лингвистическая катастрофа», Илья Носырев «Мастера иллюзий. Как идеи превращают нас в рабов», Алексей Иванов «Увидеть русский бунт», Светлана Алексиевич «Время секонд хэнд».*

Воспроизведенный одной из слушательниц данный список выглядел так, что... нарочно не придумаешь: «Пустырь» превратился в «Кусты»; Носырев сделался Косаревым, а от названия его книги «отвалилась» основная часть; Вотрин с «Логопедом» исчезли вовсе. Однако в данном случае впечатляют вовсе не сами ошибки (с кем не бывает?), но отсутствие сомнений в правильности передачи чужой речи и потребности в предварительной проверке информации.

Особо заметим: появление «кустов» на «пустыре» выглядит не только анекдотично, но и символично, поскольку лингвофилософский роман Рясова посвящен как раз проблемам взаимодействия человека с языком. Пустырь воплощает довербальное состояние Языка. Насильственное засаживание Пустыря кустами — очень выразительная знаковая деталь, доказывающая и художественную правоту писателя, и актуальность настоящей статьи.

Теперь рассмотрим не менее показательный, но более развернутый пример — освещение в прессе ежегодной акции «Тотальный диктант». Предмет выбран, разумеется, не случайно: описание масштабного мероприятия по проверке и повышению статуса грамотности требует от журналиста особого внимания к качеству предъявляемой информации. По логике, у пишущего о «Тотальном диктанте» автоматически должен запускаться механизм, именуемый филологами орфографической зоркостью. Но в эхотекстах формальная логика пробуксовывает — и получается не «что хотел сказать автор», а «что автор где-то услышал».

Первое, что бросается в глаза при чтении журналистских отчетов, это искажения... уже самого названия текста диктанта: *Поезд «Чусовая–Тагил», Поезд «Часовая–Тагил», Поезд «Чусовская–Нижний Тагил»* и даже просто *Чусовская–Тагил.*

Для мероприятия был создан специальный текст, однако газета «Новосибирские новости» окрестила его *автобиографической повестью* (притом что Новосибирск — главный город проведения акции!). Интернет-издание «Москвичка» пошло еще дальше — сообщив, что *для проверки грамотности выбрано произведение «Географ глобус пропил»*. Ага, вот прямо целиком! Повторяя ту же ересь, но, словно бы немного усомнившись, журналисты газеты «Сургутская трибуна» подсократили объем диктанта, известив, что *будет использован отрывок* из «Географа».

Не менее показательным был жонгляж с именем автора диктанта Алексея Иванова. Так, «Аргументы и факты» во Владивостоке назвали его Сергеем. Газета «Вечерняя Москва» и информационное агентство «СеверИнформ» — окрестили Анатолием, угадав хотя бы первую букву. Александром дружно именуют Иванова журналисты сибирского интернет-портала «Pressagenda.com», казанского «Tour52.ru», сыктывкарского «Progorod11», корреспонденты новосибирского радио «Юнитон» и информационного агентства «Амур.инфо», иркутская интернет-газета «Hot» и московский журнал «Большой город». Эхолалия у всех, что ли?

Журналисты из Благовещенска написали, что Иванов не токмо Александр, но также *писатель и создатель книги «Географ глобус пропил»* (словно бы романы сочиняют не писатели), и что текст называется *«На поезде чрез детство»* (хотя это название лишь одной из частей диктанта). Кроме того, они изобрели понятие *«втрое дыхание»*. Да уж какое там втрое, когда тут првое захватывает!

Некоторые поступили «мудрее», сократив имя автора диктанта до сочетания «А. Иванов», нелепо смотрящегося в тексте заметки, но безопасного с точки зрения правильности. Пусть, мол, сам читатель выберет вариант имени на «А». На фоне парада эхотекстов уже даже не выглядит глупым и наивным заголовок заметки: *«Мурманский педагог-логопед отгадала имя автора текста для „Тотального диктанта-2014“»*.

Причем обратим внимание: содержательные искажения в эхотекстах — чаще всего издержки уже упомянутых копипаста и рерайтинга. Для примера — заметка в интернет-издании «Курс».

Заголовок: *«Автором Тотального диктанта в Москве стал Алексей Иванов»*. Дословная цитата: *«Автором текста Тотального диктанта в текущем году удалось стать писателю Алексею Иванову, автора таких романов, как Географ глобус пропил, Сердце Пармы, Общага на крови. Ранее текст диктанта был подготовлен Борисом Стругацким, Дмитрием Быковым, Псой Короленко, Захаром Прилепиным, Диной Рубиной»*.

Во-первых, почему «в Москве», когда это всероссийская и даже всемирная акция? И что значит «удалось»? Можно подумать, что автор участвовал и победил в каком-то официально объявленном конкурсе. Во-вторых, неправильно (но именно так, как во многих ранее возникших контекстах!) написаны названия произведений: «парма» ошибочно с заглавной буквы, в «Общаге» пропали дефисы. Не говоря уже о лексических повторах и исчезнувших кавычках! В-третьих, очень показательны нарушения падежных окончаний: «автора» вместо «автору»; «Псой» вместо «Псоем». Как скопипастили — так и выдали.

Таким образом, эхотекст может генерироваться едва ли не автоматически, но при этом создавать вполне убедительную иллюзию связной речи. Данный парадокс описан в фантастико-философском романе Евгения Лукина «С нами бот», где человек становится обладателем электронного устройства, выдающего словесную бессмыслицу, случайные речевые комбинации. Для бота что Гоголь, что Google — никакой разницы, но при этом он помогает главному герою успешно общаться с другими людьми.

Сюжет романа, в свою очередь, отсылает к известному мысленному эксперименту под названием «Китайская комната», описанному американским философом Джоном Сёрлем и критикующему возможность моделирования человеческого понимания путем создания искусственного интеллекта. Частный вывод эксперимента — невозможность полной имитации разума с помощью программ синтаксического анализа, также именуемых ботами. В книге Лукина имитируется не разум, а собственно речь, хотя герою тоже поначалу странно и непонятно, почему его «собственные осмысленные слова разобщают с социумом, а заведомо нелепые, не относящиеся к делу подсказки бота, напротив, сближают?» Но ответ находится и звучит неутешительно: «Потому что социум по сути своей — бот»...

Логика & этика

Эхотексты оперируют набором готовых словесных конструкций, логических шаблонов, оценочных клише. Третий признак эхотекста — ***стереотипность предъявления информации***.

Иногда используются иноязычные заимствования и канцелярит — и возникают речевые монстры вроде такого: *диктовку производит локальный спикер* (из заметки о том же «Тотальном диктанте»). Однако чаще всего присутствие эхомыслия и эхоречия в публикациях о литературном процессе: книга — *долгожданная*,

экранизация — *нашумевшая*, сюжет — *захватывающий*, персонажи — *жизненные*, публичная реакция — *эффект разорвавшейся бомбы*.

Если нужен позитив, роман называют *обреченным на успех, главной удачей года, огромным прорывом, эпическим полотном, мастерской стилизацией*. Ежели потребны негативные оценки, говорят *авторский провал, рыхлое повествование, суконный язык, стилистическая безвкусица*. А самое простое — вообще заявить, что текст *слишком длинный* и поэтому (логика!) *совершенно неинтересный*. То же самое, что «многа букаф», только окультуренное, симулирующее вежливость.

Стереотипность и в определениях самих писателей. Пелевин — *культовый прозаик*; Прилепин — *новый Максим Горький*; Иванов — *краевед, почвенник, автор фэнтези*; Козлов — *чернушник*; Сенчин — *новый реалист;* Сорокин — *калоед* либо *блестящий стилист*...

Тут становится очевидной внешне незаметная, но на самом деле очень тесная взаимосвязь логики и этики: содержательные изъяны речи неизбежно сказываются на ее нравственной составляющей; нарушение принципов системности и иерархичности в коммуникации приводит к искажению моральных императивов; фактическая ошибка оборачивается этической ошибкой.

Здесь же проявляется и присущий эхотекстам рубрикационно-нишевый подход: раскладывание по жанрам и форматам, ранжирование по количеству литературных премий, очерчивание творческих границ, навешивание терминологических ярлыков. Рецензент, обозреватель, критик уподобляются мерчендайзерам, расставляющим товар на магазинных полках. Аналогично термину Джона Кавелти *формульная литература* впору ввести понятие формульной критики.

При этом эхотекст может воплощаться как целостно, так и частично либо пунктирно, в наборе отдельных «стигм», на уровне общих речевых стереотипов. Вновь обратимся к сорокинской «Теллурии»[3] и процитируем фрагменты трех рецензий:

Где-то завалялся не до конца растаявший кусочек «Метели», где-то попался на глаза листок отрывного календаря с «Днем опричника», где-то мыши не успели до конца изгрызть «Сахарный кремль», где-то была обнаружена берцовая кость «Моноклона» (А. Коровашко).

На сектантском Льду Тунгусского метеорита, на белоснежных кирпичах Сахарного Кремля, на развалинах Великой Русской Стены, на вечной мерзлоте «Метели», на энергетическом поле «Мишени» он возводит воздушный замок Теллурии, сияющего мира будущего (А. Долин).

Отдельные рассказы, в «Норме» склеенные подсохшим представлением о «нормальности», в «Сахарном Кремле» слипшиеся от тоталитарного сиропа, в «Теллурии» держатся на гвоздях (К. Рождественская).

Читаешь одно такое сочинение, второе, третье — и складывается впечатление, будто весь дискурс о Сорокине как коллективное занятие по творческому письму (creative writing), на котором все ученики выполняют единое задание: продемонстрировать использование одной и той же нарративной техники.

Словно сопротивляясь нишевости и формализации, возникают новые оригинальные жанры: «траектория» (Н. Байтов), «слайд-проза» (А. Михеев), «брайнфикшн» (А. Жвалевский), «иденти» (А. Иванов), «фьюжн» (А. Ревазов), «листовертень» (Д. Авалиани), «пирожок» (А. Кунгуров). Но слаб и малочислен фронт творческого сопротивления, а эхотекст силен и имя ему — легион...

---

[3] Многократное обращение к данному источнику мотивировано самыми общими основаниями: значимое произведение известного писателя, имевшее широкий общественный резонанс.

Долин vs Саватеев

«Оно отзывалось на крик, человеческий крик», — пел про эхо Владимир Высоцкий. Четвертая особенность эхотекста — ***экспрессивность вместо информативности***. Здесь проявляется его физический аналог: чем громче исходящий звук — тем отчетливее эхо. Значит, чтобы быть «услышанным», надо просто сильнее «крикнуть», в данном случае — выразительно оформить свое высказывание, сымитировать лексическое разнообразие и стилевую яркость речи.

Для этого чаще всего применяются две стратегии: глянцевость и развлекательность. В первом случае в эхотексты проникают словесная претенциозность, избыточная метафоричность, вычурная образность. Рецензент играет в писателя. Пожалуй, самый показательный пример — массовое подражание формату журнала «Афиша». Желая походить на Льва Данилкина, корреспонденты и репортеры, обозреватели-блогеры и сетевые колумнисты старательно выводят в собственных сочинениях виньетки вроде *хирургическая операция на массовом сознании; слова, ведущие друг друга за руки; исцеляющая боль; божественная исступленность; эманация совершенства...*

В большинстве случаев все это оказывается мало продуктивным, зато очень похожим на эхо-фразы (англ. tag line). Уже давно закрепившееся в практике рекламы понятие, эхо-фраза не характеризует товар или услугу, а лишь привлекает к ним внимание посредством словесных повторов, варьирования одних и тех же мотивов. В качестве примера — извлечения из рецензии Антона Долина на все тот же роман «Теллурия»:

Чтобы не произносить всуе истертого слова «гений», скажем проще: Владимир Сорокин — самый значительный писатель из тех, кто сегодня пишет по-русски; ...явлены недюжинные стилизаторские таланты; ...имеются неотразимые сатирические пассажи; ...фонтанирует фантазия; ...делает невозможное, используя как фундамент былые собственные постройки; ...делает все то, чем занималась во все времена большая литература; ...создает искусство, а не коммерческий продукт; ...слишком сильно удовольствие от первооткрывательства, которое можно посулить любому непредвзятому читателю; дрейфуя от одного острова этого бесконечно изобретательного архипелага к другому, мы испытываем тот самый теллуровый кайф; ...первая книга Сорокина, дарующая кроме мало с чем сравнимой радости от прочтения еще и бесценный катарсис; ...каждая глава, каждый абзац, каждый неологизм — словно магический гвоздь, острие которого проникает прямо в мозг.

Каждый абзац — прямо в мозг...

На эту рецензию вполне справедливо откликается Вячеслав Саватеев со статьей под названием «Рискуя впасть в ложный пафос», которая дополняется говорящим подзаголовком: «О рецензии, после которой не хочется читать книгу “Теллурия” Владимира Сорокина». И ведь правда не хочется. Однако очень показательно, что возражающий Саватеев апеллирует не к первоисточнику (роману), а — правильно! — к Долину и почти полностью строит свою статью на фрагментах его текста, причем при отсутствии собственных контраргументов. Завершается отзыв не менее показательно: *Такие рецензии у меня окончательно отбивают само желание читать книги, которые так рецензируются. А «Теллурию» я, может, потом как-нибудь прочитаю...* Что тут еще можно добавить?

Второй способ «громче крикнуть» (реализация установки на развлечение читателя) превращает эхотекст еще и в *шоу-текст*, *драйв-текст*[4], сближаясь уже не с

[4] Е. Е. Пронина вводит также понятие *драйв-мышление* — «осознанное следование принципу удовольствия как единственному ориентиру поведения вследствие отрицания социальных запретов и предписаний, табу и идеалов, долга и ответственности». (См.: *Пронина Е. Е.* Психология журналистского творчества. М.: КДУ, 2006. С. 183.)

глянцевой журналистикой, а с бульварной прессой. Для примера можно снова вспомнить «Тотальный диктант», который из акции планетарного масштаба и высокого гражданского звучания, собравшей около 65 тысяч человек из 43 стран мира, стараниями эхо-журналистов превращается в нечто среднее между фрик-парадом и викториной «Поле чудес». Приведем лишь несколько заголовков:

Географ пропил глобус и провел «Тотальный диктант»; Ростовчане писали «Тотальный диктант» на спор и сидя на полу; В Денвере диктант пишут под квас; Хомяки провели свой тотальный диктант; Константин Мильчин жалуется, что после диктанта у него заболела лодыжка; Сантехник Попов докажет любимой, что он не дурак; Мужчина в голубой футболке хочет еще раз это услышать.

Эти иллюстрации обнажают еще и парадоксальность эхотекстов: сочетание словесного своеволия и словесной же скованности. Манипулируя достаточно обширным набором речевых средств, эхотекст не может передать значимое и подлинно осмысленное содержание. Вновь пользуясь терминами физики, можно сказать, что эхотекст «гасит» все входящие и исходящие смыслы, копируя их в противофазе.

Мыслить vs знать

Очень часто бывает решительно непонятно, что́ именно мы читаем: рецензию или аннотацию, эссе или рекомендательную статью, пресс-релиз или новостную заметку. Пятое свойство эхотекста — ***жанровая эклектика***.

Конечно, можно наплевать на жанры (какая разница? лишь бы интересно!), да только вся загвоздка в том, что жанр — это определенный набор авторских посланий, речевых стратегий, коммуникативных задач. По сути, жанровая принадлежность текста и есть ответ на вопрос «Что хотел сказать автор?» И если в художественной литературе жанровый синтез только приветствуется, то в публичном дискурсе он деградирует в эклектику. Так размываются представления и о замысле пишущего, и о смысле написанного.

Зато становятся очевидны переоцененность и псевдозначимость «сопроводительных» жанров, в которых чаще всего и воплощается эхотекст: аннотации, пресс-релиза, новостной заметки, презентационной статьи. Обратим внимание: нынче почти ни одна книга не выходит без предуведомления, а слова на обложке оказываются не менее значимы, чем слова под обложкой. Подобное невозможно вообразить, скажем, в прижизненных изданиях классиков и даже в более позднее время. Так обнажается современная закономерность: исходный текст существует в обрамлении эхотекстов и (в реальной перспективе) подавляется ими.

Причины и механизмы — на поверхности: в обществе сверхпотребления существенно возрастает роль сопутствующих товаров и всевозможных аксессуаров. К новому мобильному телефону тут же докупаются воз и маленькая тележка «милых мелочей»: чехольчиков, гарнитурчиков, подставочек, брелочков, подвесочек, наклеечек, сменных корпусочков. Современная эпоха — это время, когда цвет авто подбирается под цвет сумочки. И заметку о любом событии может озаглавить *Мужчина в голубой футболке хочет еще раз это услышать*.

Однако, как известно, дьявол кроется в деталях. Аксессуары замещают главное второстепенным. Эхотексты сливаются в медиашум, в котором множатся как случайные ошибки и добровольные заблуждения, так и намеренная ложь, целенаправленный обман. Возникают мнимые представления: компиляцию именуют статьей, перепост принимают за оригинальный текст, выдержки из пресс-релиза выдают за прямую речь, расшифровку записи чужих высказываний представляют как собственное выступление.

Причем заметим: в каждом из названных случаев — иллюзия возможности присвоить чужой текст, совершив с ним какие-то действия: скопировать, извлечь фрагменты, переставить слова, перекодировать в другую форму и т. п. Авторизация отождествляется с манипуляцией. И это еще одно важное дополнение к вопросу о связи логики и этики.

Содержание, структура, стилистика эхотекстов не только стереотипны и эклектичны, но еще и странным образом схожи. Порой возникает ощущение, будто пишущие на одну тему или об одном событии получили «рыбу», типовую заготовку, в которую требуется лишь вставлять нужные фамилии, названия, конкретные реалии. Множество заметок, статей, рецензий с одинаковой легкостью и равным успехом приложимы едва ли не к любому предмету речи. Отсюда шестой признак эхотекста — ***взаимозаменяемость элементов***.

Эхотекст имеет комбинаторный характер и подобен модульной мебели: из него можно без заметного ущерба изъять любую фразу, в нем можно заменить любую деталь, его можно произвольно перекомпоновать — и в сущности ничего не изменится. Это не только отличает эхотекст от оригинального письма, но и обнажает неспособность его автора к самостоятельному мышлению. Органика *мысли* замещается механикой *знания*. Выхолощенной структурой, которая подчиняется больше законам физики, нежели филологии.

Проведем элементарный эксперимент: приведем почти полностью текст не то развернутого анонса, не то сжатой рецензии (!), изъяв имя автора и название произведения.

Апрель по праву можно считать месяцем триумфа. <...> 12 апреля выходит долгожданный роман <...>. Тщательно выношенный и любовно выпестованный автором, он еще до официального выхода признан фактом «большой литературы». Критики в сравнениях замахиваются чуть ли не на «Преступление и наказание» Достоевского. <...> — полифонический многослойный роман, рассказывающий о переломе эпох. <...> Мир, кажется, трещит по швам, все в нем перемешалось. Кто плохой, кто хороший, где истина, и может ли человек выступить против системы, хватит ли сил? Среди этого безумия прорастает одна большая любовь, финал которой, к сожалению, вполне в духе времени.

Перед нами типичный шаблон, в который вместо отточий можно поместить названия произведений Дмитрия Быкова, Александра Терехова, Людмилы Улицкой, Ольги Славниковой и даже все того же Владимира Сорокина. Если еще убрать определение «большая литература» и сравнение с Достоевским (очередные штампы!), то сюда же вполне подойдут книги Сергея Лукьяненко, Бориса Акунина, Дмитрия Глуховского и многих других авторов. На самом деле речь идет о романе Захара Прилепина «Обитель», но в данном случае это совершенно неважно — показательно только то, как одна и та же информация может быть привязана к совершенно разным литературным именам, событиям, явлениям.

Попутно обратим особое внимание на следующие два момента. Во-первых, сайт «ReadRate», откуда взят текст, официально позиционирован как «место встречи книг и людей» и как «сервис, который поможет вам найти интересные книги и рассказать о них друзьям». Оба утверждения явно сомнительны. Все равно что одной даме назначить свидание одновременно нескольким воздыхателям, причем все участники ситуации будут слепоглухими. Вряд ли возможно почерпнуть что-то действительно интересное, информативное, значимое из подобных «презентаций».

Во-вторых, автор приведенного текста не указан. Отсюда факультативное, но достаточно типичное свойство эхотекста: ***затрудненность идентификации***.

Эхотексты часто анонимны либо подписаны псевдонимами. Одни изобретатели вымышленных имен имитируют правдоподобие: *Аркадий Данилов, Андрей Макаров, Елена Уланова*. Другие изощряются в остроумии: *Аделаида Метелкина, Крок Адилов, Милослав Чемоданов, Фекл Тонкий...*

Сокрытие либо маскировка имени присущи самой природе эхотекста — как автоматически отображающего вторичное содержание. Аналогично сложно распознать перекликающихся в пещере туристов: отражаемые эхом голоса будут звучать очень похоже.

Анонимность и маскарадность не только обезличивают написанное, но и уводят от речевой ответственности. Причем важно заметить: ответственность возможна только за мысли, но не за знания. А в эхотекстах, как уже было сказано, живая мысль вытеснена формализованным знанием — механическим набором сведений, бессистемным нагромождением фактов. Современность рукоплещет мастеровитым кроссвордистам и победителям интеллектуальных викторин. К тому же, в нынешней социокультурной ситуации речевая ответственность изгоняется из текста еще и толпой побочных факторов: ангажированностью, корпоративностью, экспертократией[5], борьбой за информационные ресурсы. И в этой борьбе эхотексты оказываются не только господствующим форматом, но и вполне эффективным оружием.

Что же касается читателя, то плевать он хотел и на речевую ответственность рецензентов, и на свою собственную. У читателя имеется свой инструмент ориентации в литературе — великий и могучий *мастрид*. Изобилие книжных рейтингов, тонны топ-листов, кипы списков «the best» и море рекомендательных сервисов. На том же сайте «ReadRate» дается пошаговая инструкция «Навстречу новой любимой книге», первый пункт которой предписывает дословно следующее: *Читайте по звездам. Посмотрите в «звездных рейтингах», что читают известные Люди. Возможно, вас заинтересует роман, который рекомендует любимый актер, режиссер или писатель? Или модная бизнес-книга, которую советует успешный предприниматель?*

Вновь обратим внимание на обилие словесных штампов и на само оформление высказывания: актер, режиссер, писатель — *любимый*, бизнес-книга — *модная*, предприниматель — *успешный*, а Люди — с заглавной буквы.

В системе эхомыслия и эхоречия все сетования на утрату авторитета, статуса, лидерства литературной критики и необходимости восстановления статус-кво становятся несостоятельными и бесполезными. И покуда критик пыжится в тщетной попытке завоевать внимание читателя, последний, беспечно отмахнувшись ручонкой, как Карлсон от ноющего Малыша, увлеченно следует «пошаговым инструкциям», написанным для него «известными Людьми» с большой буквы.

* * *

В заключение вспомним греческую мифологию. Слово «эхо» отсылает к имени древнегреческой нимфы, которая в наказание за болтливость могла лишь повторять окончания слов. Следуя логике мифа, можно заключить, что в современной коммуникации эхотекст — это не только орудие борьбы за публичность и оружие убийства подлинных смыслов, но также расплата за многословие и пустословие.

Пора объявить минуту молчания...

---

[5] См. об этом: *Щербинина Ю.* Экспертократия: ремесло и промысел // Нева. 2011. № 12; *Фрумкин К.* «Экспертократия» против писателей и читателей // Нева. 2011. № 4; *Циплаков Г.* Принцессино место. О позиционировании в литературе // Знамя. 2005. № 10.

Правда художественная и историческая

Наум СИНДАЛОВСКИЙ

ВЕЛИКИЕ БАСТАРДЫ

Правда и мифы рожденных вне брака

1

Едва ли не с началом царствования Петра I в русской общественной жизни появилось множество ярких и запоминающихся примет, демонстрирующих наступление Нового времени. Бритье бород и европейская одежда, ассамблеи и переход на новое летоисчисление не от сотворения мира, а от Рождества Христова, введение гражданского шрифта, появление первой общественной газеты и многое другое изменили не только внешний облик русского человека, но и его внутреннее содержание. Были и менее заметные приметы, которые, тем не менее, сыграли исключительно важную роль в формировании нового коллективного сознания россиян. С известной долей осторожности такой приметой можно считать и почти незаметно начавшееся изменение в отношении общества к бастардам, то есть детям владетельных особ или дворян, рожденным вне законного, освященного церковью брака. В отличие от Средневековой Европы, где, например, незаконнорождённые дети дворян получали пересечённый перевязью слева родительский герб, на Руси они не имели вообще никаких юридических или имущественных прав. Надо сказать, что и после Петра это неравенство продлится еще целых два столетия и будет окончательно отменено только в 1902 году, когда было установлено, что «внебрачный ребенок имеет право наследовать имущество своей матери и имеет право на ограниченное содержание от отца, если удавалось доказать происхождение от него ребенка».

Восстановление справедливости проходило столь медленно, что еще в пушкинские времена были хорошо известны рудименты старого феодального быта. Крепостническая Россия во главе с главным помещиком — царем, поигрывая в просвещенность и демократию в великосветских дворцах и особняках знати, цепко держалась средневековых правил в отношениях с низшими подданными. Одним из таких атавизмов было пресловутое право первой ночи, довольно широко распространенное в дворянско-помещичьей практике того времени. Не брезговали этим и высшие сановники. Феодальная мораль позволяла чуть ли не бравировать этим. Мнение помещиков в этой связи мало чем отличалось от мнения дворян. Рассказывают, что во время встречи Александра I с дворянами и купцами, которая состо-

---

Наум Александрович Синдаловский родился в 1935 году в Ленинграде. Исследователь петербургского городского фольклора. Автор более двадцати книг по истории Петербурга: «Легенды и мифы Санкт-Петербурга» (СПб., 1994), «История Санкт-Петербурга в преданиях и легендах» (СПб., 1997), «От дома к дому... От легенды к легенде. Путеводитель» (СПб., 2001) и других. Постоянный автор «Невы», лауреат премии журнала «Нева» (2009). Живет в Санкт-Петербурге.

ялась в 1812 году в Москве, один помещик в пылу патриотического порыва воскликнул: «Кладем свои гаремы на алтарь отечества, государь. Бери всех, и Наташку, и Машку, и Парашку».

И действительно, помещичьи гаремы в России были явлением широко распространенным. Фигурально говоря, этот своеобразный социальный «институт» немало способствовал обороноспособности государства. Едва у какой-либо смазливой девки объявлялся жених, как его тут же отдавали в солдаты, а девица вольно, или невольно становилась очередным украшением сераля похотливого барина. Этот собственнический обычай успешно перенимали и городские вельможи, многие из которых были недавними выходцами из помещичьего сословия. В город из собственных усадеб выписывались служанки, кормилицы, актрисы для домашних театров и просто девицы для личных утех. Этого не стеснялись. Известно, что у канцлера Безбородко был гарем. Современники писали, что он чуждался светского общества и дам потому, что «подлинным романом» его жизни был гарем, всегда изобилующий наложницами и часто обновляемый. Многие его одалиски были иностранного происхождения. Их ему просто привозили в подарок из заграничных путешествий, как влиятельному лицу.

Были известны в Петербурге и другие гаремы. В некоторых из них насчитывалось до тридцати содержанок. Весь этот, что называется, обслуживающий персонал в полном составе сопровождал барина во всех его поездках. До сих пор в родовом имении Ганнибалов Суйде сохраняется память о любвеобильном «Черном барине». Многие современные суйдинцы считают, что в их жилах течет африканская кровь, и вполне откровенно называют себя внебрачными потомками Арапа Петра Великого.

В Средние века на Руси внебрачные дети назывались выродками, ублюдками, безбатешными или байстрюками. Вероятно, слово «байстрюк» произошло от западноевропейского «bastard», что в буквальном переводе означает гибрид или помесь, то есть потомство от скрещивания животных или растительных организмов, значительно отдаленных друг от друга в отношении родства. Первоначально это определение относилось и к человеку, рожденному от родителей двух разных племен.

Долгое время во всех странах, в том числе и в России, быть бастардом считалось позором, и не могло не отражаться на всей жизни несчастного. Считалось, что у бастардов нет, и не может быть чести, поэтому им запрещалось наследовать титулы и быть финансовыми, имущественными или политическими преемниками. Например, в 1730 году, после неожиданной смерти юного императора Петра II, Верховный тайный совет, бывший на тот момент высшим совещательным государственным учреждением Российской империи, категорически отказался признать императрицей дочь Петра I Елизавету Петровну. И сделано это было исключительно на том основании, что она родилась за три года до формального вступления в брак ее родителей — Петра I и Марты Скавронской, будущей императрицы Екатерины I. Согласно действующему на тот момент своду законов Московского государства, регулирующего различные области жизни, — Соборному уложению 1649 года, Елизавета считалась бастардом и потому не могла быть законной наследницей русского престола. «Не хотим на престоле выблядка!» — категорически заявили «верховники». И выбор пал на Анну Иоанновну. Она была племянницей Петра и законнорожденной дочерью царя Иоанна V. За чистотой династической крови в то время следили тщательно. Правда, не всегда это удавалось, но это уже, как говорится, другая история. А что касается Елизаветы Петровны, то она, в конце концов, станет императрицей, но произойдет это не скоро и только благодаря

дворцовому перевороту, организованному ею при поддержке гвардейцев Преображенского полка. И через сто лет после только что описанных нами событий в отношении к бастардам мало что изменилось. Известно, например, что Александр Сергеевич Пушкин в одной из бесед задолго до брака мог сказать: «У меня детей нет, а всё выблядки».

Не менее драматично складывалась судьба и другого, если, конечно, верить фольклору, царственного бастарда — сына Екатерины II Павла Петровича, будущего императора Павла I. Его рождение окутано плотным покровом тайны, сквозь который все-таки просматривается имя юного красавца, камергера великого князя Петра Федоровича — Сергея Салтыкова. Поговаривали, будто бы он и был отцом Павла I. Правда, сохранилось также предание о том, что ребенок родился мертвым. В тот же день по приказу императрицы Елизаветы Петровны в деревне Котлы, вблизи Ораниенбаума, будто бы был найден подходящий чухонский мальчик, которым незаметно для Екатерины и заменили новорожденного. Все семейство этого ребенка со всеми крестьянами Котлов и пастором с семьей на другой день сослали на Камчатку, а саму деревню снесли и землю распахали.

Есть и другие косвенные доказательства происхождения Павла I от Сергея Салтыкова. Александр III, хорошо понимая нужды государства, и остро чувствуя настроения народа, сделал основой своего царствования мощную идею русификации страны. Это отвечало самым сокровенным стрункам русского народа. Пример подавал лично, за что получил характеристику «самого русского царя». Едва взойдя на престол, согласно одной легенде, он вызвал к себе в кабинет несколько особенно доверенных лиц и, оглядываясь по сторонам, не подслушивает ли кто, попросил откровенно сказать ему «всю правду»: чей сын Павел I? «Скорее всего, отцом императора Павла Петровича был граф Салтыков», — ответили ему. «Слава тебе, Господи, — воскликнул Александр III, истово перекрестившись, — значит, во мне есть хоть немножко русской крови».

На это облегченное восклицание следует обратить особое внимание. По традиции, идущей с петровских времен, наследники российского престола заключали браки с представителями одной из германских династий. С одной стороны, такой порядок обеспечивал равнородность браков, но, с другой, приводил к уменьшению русской крови в жилах наследников. По официальным данным в Александре III было всего 1/64 русской крови. И к этой 1/64-й Александр относился исключительно ревностно.

Между тем, по другой легенде, Павел был сыном самой царствующей императрицы Елизаветы Петровны. Будто бы, по невероятному стечению обстоятельств, и она в тот необыкновенный день родила сына и подменила им якобы мертворожденного ребенка Екатерины. По свидетельству современников, основания для такого мифа вроде бы были: едва мальчик Екатерины появился на свет, императрица приказала забрать его у родильницы, принести ей и, по утверждению фольклора, «сама исчезла вслед за ним». Екатерина снова увидела своего сына только через шесть недель.

Так или иначе, но страна полнилась слухами о том, что законный супруг Екатерины Петр Федорович собирается официально отказаться от своего отцовства и лишить Павла права на наследование престола. Не жаловала своего сына и мать. А после появления внука Александра по городу поползли новые слухи. Будто бы Екатерина стала подумывать о передаче престола ему. Существует устное предание, якобы было подготовлено даже завещание императрицы на этот счет.

Но и на этом не заканчиваются легенды и мифы о стерильной чистоте династической крови царского дома Романовых. Если верить фольклору, теперь уже «им-

ператор Павел I хотел официально объявить о незаконности своего сына Николая, ставшего позднее императором Николаем I. Павел подозревал свою жену Марию Федоровну в интимной близости со слугой, гоф-фурьером Бабкиным». Так это или нет, сказать трудно, но многие современники единогласно утверждают, что император Николай Павлович был действительно очень похож на старшего лакея Придворного ведомства, отвечающего за сохранность и выдачу мундиров Даниила Григорьевича Бабкина.

Если верить фольклору, Павел I был отцом и других великих бастардов. Например, им считается крупнейший представитель петербургского классицизма в его наивысшей стадии — ампире архитектор Карл Росси. Согласно официальным данным, Росси родился в 1775 году в Неаполе. Его матерью была итальянская балерина Гертруда Росси, и отчимом — выдающийся балетный танцор Шарль Ле Пик. О биологическом отце будущего архитектора ничего не известно. Однако, по слухам отцом ребенка был наследник русского престола будущий император Павел I, сблизившийся с балериной не то во время ее гастролей в Петербурге, не то во время путешествия Павла Петровича по Европе.

В этом смысле Россия мало чем отличалась от других стран. С древнейших времен в мире широко известны многие имена в полном смысле слова великих бастардов. Это и древнекитайский мыслитель, основатель философской системы, известной как конфуцианство — Конфуций. Он был сыном 63-летнего военного и семнадцатилетней наложницы. Родителями великого итальянского художника бастарда Леонардо да Винчи были 25-летний нотариус и его возлюбленная, крестьянка Катерина. Бастардами не без веских на то оснований считаются знаменитый американский писатель Джек Лондон, нидерландский ученый и писатель Эразм Роттердамский, русский поэт Афанасий Фет и его современник и соотечественник — писатель и публицист Александр Иванович Герцен, композитор Александр Бородин и знаменитый детский писатель Корней Чуковский. Матерью последнего была крестьянка из Полтавской губернии Екатерина Осиповна Корнейчукова, работавшая горничной в Санкт-Петербурге в семействе Левенсонов. Она проживала в гражданском браке с их сыном, студентом Эммануилом Соломоновичем Левенсоном.

К особой категории следует отнести лиц, «незаконное» отцовство которых не только не имеет никаких более или менее правдоподобных доказательств, но не может быть таковым по определению, но которое, тем не менее, существует в рамках городского фольклора. Например, композитор Антон Григорьевич Рубинштейн современникам запомнился человеком «небольшого роста, коренастым, с огромной гривой волос». Он напоминал портреты знаменитого композитора Людвига ван Бетховена, внешний вид которого вполне соответствовал его демонической музыке.

Между тем, Бетховен умер в пятидесятисемилетнем возрасте за два года до рождения самого Рубинштейна. Несмотря на это в Петербурге Рубинштейна искренне считали незаконным отпрыском немецкой знаменитости. Рубинштейн не спорил. Видимо, ему, как композитору и музыкальному деятелю, льстила эта невероятно популярная легенда.

Надо сказать, и у него самого, как и у Бетховена, и в самом деле внешний вид был демоническим. Не случайно и его самого, и одно из самых знаменитых его произведений — оперу «Демон» в Петербурге называли: «Демон Антонович». Это необычное прозвище имеет свою легендарную историю. Случилось так, что в дирекцию Императорских театров одновременно принесли две партитуры оперы «Демон», написанные по одноименной поэме Лермонтова. Одну из опер сочинил

Антон Григорьевич Рубинштейн, другую — известный в то время композитор-любитель барон Борис Александрович Финтенгоф-Шель. Утвердили и приняли к постановке оперу Рубинштейна, а их авторов с тех пор прозвали соответственно: «Демон Антонович» и «Демон Борисович».

2

Но вернемся в XVIII век, с которого мы начали наш рассказ. Постепенно уничижительные прозвища по отношению к незаконнорожденным детям начали уступать место более терпимым или, говоря современным языком, толерантным синонимам. Сначала их называли, пусть не сыновьями, но все-таки пасынками, словом однокоренным с «сыном» и близким ему по смыслу. При этом не следует забывать о такой важной составляющей бытовой культуры, как так называемая вульгарная или народная, этимология, которая утверждает, что пасынок это «сын папы» (разговорная форма — па), то есть сын папы официальных детей. Известно, что привилегию иметь детей вне брака, и тем более воспитывать их в родительском доме, общественное мнение признавало исключительно за сильным полом, и такое понятие как «масынки» не могло появиться в национальном языке по определению. Затем пасынки превратились в воспитанников. Термин закрепился и в какой-то момент стал даже модным. Воспитанниками оказывались те счастливцы, которых брали в семьи отцов на правах, говоря старинным языком, питомцев. Им давали образование и воспитание наравне с официальными детьми. Выдавали замуж или женили с хорошим приданым, обеспечивали сносное, а то и безбедное существование в будущем.

Однако социальный статус воспитателей далеко не всегда доставался биологическим отцам, которые прямо или косвенно признавали свое отцовство. Так, например, в монарших семьях существовал специальный институт «воспитателей», который был одновременно и сложен и до удивления прост. На роль воспитателей избирались наиболее доверенные и преданные приближенные, которые умели, что называется, держать язык за зубами. Однако и они не ускользали от пристального взгляда городского фольклора. Одним из таких доверенных лиц Екатерины II была ее фрейлина Анна Степановна Протасова. В свое время она была пристроена ко двору благодаря протекции фаворита императрицы Григория Орлова, имевшего к ней некоторое родственное отношение. О ее исключительно отталкивающей внешности неустанно злословили как при самом дворе, так и в городе. Говорили, что, когда однажды императрица решила выдать ее замуж за графа Моркова, так же не отличавшегося ни красотой, ни обоянием, то тот будто бы решительно отказался, прямо заявив Екатерине: «Она уродлива. Я безобразен. Мы только испортим людское племя». «Безобразная и черная, как королева Гаити», — называли ее современники.

Впрочем, это не помешало ей стать любимой фрейлиной Екатерины, ее верной и безоговорочно преданной наперсницей. Она была единственной, кто при Екатерине удостоился исключительно почетного звания «Фрейлина с портретом» и с гордостью носила на груди драгоценное миниатюрное изображение императрицы.

Анна Протасова выполняла самые деликатные поручения своей повелительницы. Городской фольклор приписывал ей роль «дегустатора» потенциальных любовников императрицы. Поговаривали, что она «определенным образом испытывала кандидатов, претендующих стать фаворитами Екатерины». О том, что стоит за этой витиеватой фразой, можно только догадываться. Кроме того, при дворе ходили легенды о том, что Протасова вместе с тремя своими племянницами воспитывает и двух дочерей самой Екатерины II, прижитых ею от Григория Орлова.

Одним из самых известных воспитанников в XVIII веке, согласно городскому фольклору был Иван Иванович Шувалов, слывший одним из самых просвещенных людей своего времени. При дворе Иван Иванович добился немалых успехов. Он был президентом Академии художеств, первым куратором Московского университета, покровительствовал просвещению.

Происхождение Шувалова окутано плотной завесой тайны. По некоторым слухам, распространявшимся в народе, он был сыном императрицы Анны Иоанновны и герцога Бирона. Ребенок родился, когда они были еще в Курляндии. Мальчика назвали Иваном, и во избежание скандала отдали в приличную семью капитана лейб-гвардии Семеновского полка Ивана Максимовича Шувалова, который дал ему не только свою фамилию, но и отчество. Добавить к этому что-нибудь определенное трудно, хотя известно, что другие сыновья Ивана Максимовича своего «брата» Ивана не признавали, и не называли его ни родным, ни двоюродным.

Однако сам Иван Иванович к семье относился всерьез, и в день рождения своей не то матери, не то мачехи — Татьяны Родионовны выпросил у императрицы Елизаветы Петровны подпись на указе об основании Московского университета, чему мы все, кстати, обязаны появлением на Руси праздника всех студентов — «Татьянина дня».

При императоре Николае I известных карьерных высот достиг адъютант графа Аракчеева Петр Андреевич Клейнмихель. До 1835 года он служил в Главном штабе дежурным генералом. Затем был назначен управляющим департамента военных поселений и закончил свою карьеру главноуправляющим путями сообщения и общественными зданиями. В 1837 году Клейнмихель был назначен руководителем восстановления Зимнего дворца после пожара, после чего получил официальный титул графа и неофициальное прозвище «Дворецкий». Клейнмихель отличался исключительной энергией в сочетании с редким невежеством. В петербургском городском фольклоре он остался наивным простачком, над которым мог посмеяться не только каждый начальник, но и всякий подчиненный.

В столице поговаривали, что возвышение Клейнмихеля, на самом деле, было исключительно заслугой его жены Клеопатры Петровны, которая «оказывала услуги любовницам царя», выдавая незаконнорожденных младенцев императора за своих детей. Известно, что Николай I, не отличавшийся целомудрием, обставлял свою жизнь целой системой неисправимо циничных эвфемизмов. Так, например, с легкой руки самого Николая Павловича его увлечения юными представительницами прекрасного пола в придворных кругах назывались «Васильковыми дурачествами».

Результатом одного из таких дурачеств стал так называемый «Пасхальный барон» Алексей Андреевич Пасхин, рожденный тайной фавориткой Николая I камер-фрейлиной Варварой Аркадьевной Нелидовой. Осведомленные современники острили, что усыновленного Клейнмихелем мальчика было бы правильнее называть не «кляйн-Михелем» (маленьким Михелем), а «кляйн-Николаусом» (маленьким Николаусом).

Еще одним воспитанником Клеопатры Петровны мог быть будущий генерал от кавалерии Ф. Ф. Трепов, занимавший должность петербургского градоначальника с 1873 по 1878 год. По свидетельству современников, это был честный, трудолюбивый и порядочный человек. Единственным недостатком, о котором судачил весь Петербург, была его беспросветная неграмотность. Говорили, что в слове из трех букв Трепов мог сделать четыре ошибки: вместо «ещё» петербургский градоначальник мог написать «исчо». Если верить фольклору, в жилах Федора Федоровича текла царская кровь. Будто бы он был внебрачным сыном самого императора Николая I.

Одной из наиболее известных воспитанниц в светском Петербурге XIX века была Идалия Григорьевна Полетика, сыгравшая, пожалуй, самую зловещую роль в истории с роковой дуэлью Пушкина. Это она, всячески поощряя ухаживания Дантеса за Натальей Николаевной, устроила на своей квартире их свидание, о котором тут же, не без ее участия, стало известно Пушкину. Это положило начало известным трагическим событиям, которые закончились трагической дуэлью и смертью поэта.

Многие пытаются отыскать корни коварного поведения Полетики в совершенно необъяснимой ненависти ее к Пушкину, которая началась при жизни поэта и продолжалась всю долгую жизнь Идалии, странным образом распространяясь на пушкинское творчество, на памятники ему, буквально на все, что с ним связано. Согласно одной из легенд, более чем через пятьдесят лет после смерти Пушкина, узнав об открытии в Одессе одного из первых в России памятников поэту, она, живя в то время в Одессе, и будучи уже далеко не молодой женщиной, отправилась к памятнику только затем, чтобы прилюдно плюнуть к его подножию. И, говорят, собиралась даже поехать в Москву, где так же собирались открыть памятник поэту, чтобы сделать то же самое. Даже к концу своей долгой жизни, когда посмертная слава Пушкина, казалось бы, достигла своего апогея, Полетика называла его рифмоплетом. Загадка этой ненависти становится предметом специальных исследований, в то время как фольклор предлагает свои варианты ответов.

Согласно одному преданию, Пушкин как-то смертельно обидел Идалию, когда они втроем — он, она и Наталья Николаевна — ехали в карете на великосветский бал. Некоторые рассказчики добавляют при этом одну существенную деталь. В карете было не трое, а двое: Пушкин и Идалия. И в эту злосчастную поездку Идалия сделала попытку сблизиться с Пушкиным. А тот отказался. Будто бы это и привело пылкую женщину в бешенство.

Согласно другому преданию, Пушкин однажды написал в альбом невзрачной Идалии любовное стихотворение. И хотя на улице было лето, пометил его первым апреля. Об этом, и вправду, бестактном поступке стало известно в свете, и Полетика уже никогда не смогла простить Пушкину такой безжалостной насмешки. Организованная ею встреча Натальи Николаевны и Дантеса была якобы ее местью за ту самую смертельную обиду. Причем, поступок Идалии был поистине коварным. Дело в том, что приглашение предполагало исключительно личную встречу Натальи Николаевны и Идалии в доме последней. И только, когда Наталья Николаевна прибыла к Полетике, она поняла всю подлость и гнусность затеянной интриги. В совершенно пустой гостиной она застала ожидающего ее Дантеса.

Появление на свет обладательницы такого редкого для России экзотического имени, как Идалия, связано с романтическими страницами биографии известного русского дипломата, светского льва и неисправимого волокиты Григория Александровича Строганова. Достаточно сказать, что читающая публика считала его одним из прообразов байроновского Дон-Жуана.

Так вот, в бытность послом в Испании этот русский Дон-Жуан влюбился в жену камергера королевы Марии I португальскую красавицу графиню д'Эга. К чести Строганова надо сказать, что после смерти жены графа, влюбленные обвенчались. Но дочь их, названная именем одной из почитаемых в Испании католических святых Идалией, появилась на свет все-таки задолго до законного брака и потому считалась побочной, незаконнорожденной. В свете ее стыдливо называли «воспитанницей» Григория Александровича. Ее полное имя было Идалия Мария. Фамилия же ей досталась от мужа, полковника Кавалергардского полка А. М. Полетики.

К сказанному следует добавить, что граф Григорий Александрович Строганов

был в двоюродном родстве с матерью жены Пушкина Натальи Николаевны. Таким образом, Идалия и Наталья Николаевна были троюродными сестрами.

Идалия Полетика была не первым воспитанником в графском роду Строгановых. Согласно метрическим книгам села Новое Усолье Пермской губернии, будущий архитектор Андрей Воронихин родился 17 октября 1759 года в семье крепостного графа А. С. Строганова — Никифора Степановича Воронихина. Эти сведения впервые были опубликованы внучатым племянником архитектора в конце XIX века. Между тем, петербургская молва еще в начале того же XIX века упорно считала архитектора внебрачным сыном графа Строганова. Поводом для таких слухов служили многие широко известные тогда факты из жизни Воронихина, свидетелем которых был, что называется, весь Петербург. Воронихин жил и воспитывался в доме Строганова. Строганов покровительствовал ему в получении важнейших правительственных заказов. Участию графа в судьбе Воронихина приписывали успешное его продвижение по службе в Академии художеств. Никому не известный среди профессиональных архитекторов Воронихин, не без участия графа, как считали в Петербурге, неожиданно для всех выиграл конкурс на строительство Казанского собора, в то время как в нем участвовали такие известные и прославленные зодчие как Камерон, Тома де Томон и Кваренги.

Но, главное, что произошло в судьбе бастардов, так это то, что многие незаконнорожденные дети переставали быть безродными существами. С отцами и их кровными, а порой старинными и благородными родами их зачастую начали связывать довольно зримые прочные нити. В России складывалась традиция давать бастардам собственные фамилии, пусть даже усеченные. В значительной степени это поднимало авторитет бастардов в общественно мнении. Фамилии были настолько легко читаемыми и понимаемыми, что не вызывали никаких сомнений в происхождении их носителей. Дети Романа Воронцова стали Ронцовыми, сын Александра Долгорукова — Рукиным, дочь Екатерины II от Григория Потемкина — Темкиной, сын Николая Репнина — Пниным, сын Голицына — Лицыным, Елагина — Агиным и так далее. Такой вариант родственных связей по смыслу был даже более значимым, чем левосторонняя перевязь на гербах знатных европейских особ, предоставляемых ими своим незаконнорожденным детям. Герб имел только официальное, или должностное, хождение, фамилией же пользовались в повседневном обиходе.

Впрочем, привилегия получить урезанную фамилию отца доставалась далеко не всем детям, рожденным вне брака. Более того, отцовство многих из них их матерями скрывалось так тщательно, что подлинное происхождение предполагаемых бастардов оставалось тайной за семью печатями и надолго, если не навсегда, оставалось исключительным достоянием фольклора. Например, в 1912 году, когда у Ахматовой и Гумилева родился сын Лев, известный в городском фольклоре по ласковому прозвищу «ГумиЛевушка», в Петербурге родились две устойчивые легенды, одна невероятнее другой. То у Ахматовой был роман с поэтом Александром Блоком, то с императором Николаем II, от которого у нее появился ребенок. Легенду не опровергали. Это добавляло острой таинственности в складывающийся загадочный облик поэтессы. Причем, интересно, что сама Ахматова в то время как близкую связь с Блоком категорически отрицала, интимные отношения с императором старательно обходила выразительным молчанием. А вот Эмма Герштейн, одна из самых авторитетных советских литературоведов и современница поэтессы в книге «Из записок об Анне Ахматовой» писала: «Она ненавидела свое стихотворение «Сероглазый король», потому что ее ребенок был от Короля, а не от мужа». Можно сослаться и на вышедший в 1934 году в Берлине роман художника Юрия

Анненкова под названием «Повесть о пустяках». В нем он тоже коснулся этой пикантной темы: «вся литературная публика в дореволюционные годы судачила о близости Николая II и Ахматовой». Известно и то, что Николай Степанович Гумилев к своему единственному сыну относился исключительно холодно, как бы демонстрируя тем самым сомнительность своего отцовства.

3

Как можно понять из многочисленных биографий Петра I, несмотря на то, что будто бы существовал даже некий «Постельный реестр», куда царевы денщики и адъютанты тщательно вписывали имена всех женщин, с которыми у него были, или предполагали быть близкие отношения, количеством внебрачных детей Петра никто не интересовался. Да они, по всей видимости, и не могли поддаться учету, а тем более подсчету. Дальнейшей судьбой доступных прелестниц, которым было приказано «стелить постель» самодержавному монарху, вряд ли кто-нибудь, включая самого императора, интересовался. С абсолютной уверенностью, можно только сказать, что их было много. Одни предполагают, что сотни, другие — тысячи. Не забудем при этом, что Петр I был едва ли не самым любимым персонажем петербургского городского фольклора. И тут мы вступаем в область легенд и мифов.

Особое место в ряду славных имен русских полководцев XVIII–XIX веков занимает имя Петра Александровича Румянцева. Он считается первым теоретиком военного искусства в России, которому, как неоднократно утверждал Суворов, в стране не было равных. Кроме того, по признанию самого А. В. Суворова, Румянцев был его непосредственным учителем.

Согласно петербургским легендам, Румянцев был сыном самого Петра I, которому приглянулась красавица из старинного боярского рода Матвеевых — Марфа. Мальчик родился едва ли не накануне смерти императора и будто бы был назван Петром в честь своего подлинного отца. А за полгода до этого Петр I выдал боярыню Марфу замуж за своего денщика Александра Румянцева. Надо сказать, что молва не пощадила супружескую пару и заговорила о их вызывающем социальном неравенстве. Да и разница в возрасте молодых вызывала подозрение в добровольности их женитьбы. Марфа была на двадцать лет младше своего жениха.

Так или иначе, но легенда о царственном происхождении полководца находила все больше и больше подтверждений в жизни. К Румянцеву благоволили все прямые наследники Петра. Говорили, что императрица Елизавета Петровна, считала его своим сводным братом, а Петр III будто бы признавал в нем своего сводного дядю. Только Екатерина II испытывала к Румянцеву откровенную неприязнь. Ее можно понять. В ее жилах не было ни капли романовской крови.

В Петербурге в царственное происхождение Петра Александровича Румянцева верили. В 1818 году обелиск «Румянцева победам», посвященный полководческим талантам Петра Александровича Румянцева, перенесли с Марсова поля на василеостровскую набережную Невы. Вновь установили его напротив памятника Петру I, стоявшему на противоположном берегу. И тогда заговорили о том, что сделано это не случайно, а для того, чтобы напомнить о родственной связи того и другого.

Еще одним косвенным доказательством происхождения Румянцева от Петра I может служить и его необузданное поведение в личной жизни. Еще в юности он совершал такие предосудительные поступки, что «выведенный из терпения отец графа принужден был собственноручно высечь сына, в ту пору уже полковника, розгами». Тот принял это «с покорностью», но поведения не изменил. Говорят, что, встречаясь с «неуступчивостью облюбованных им красавиц», он не останавливал-

ся даже перед прямым насилием и частенько «торжествовал над непреклонными» прямо на виду собравшихся вокруг солдат.

В конце концов, Румянцев женился, но и тогда позволял себе заводить бесчисленные любовные истории. С семьей виделся редко, а сыновей не всегда узнавал в лицо.

Слава о его интимных приключениях пережила полководца. Сохранилась резолюция Александра I на жалобе одного генерала, который доносил, что Кутузов «ничего не делает, много спит, да не один, а с молдаванкой, переодетой казачком, которая греет ему постель». «Румянцев в свое время возил и по четыре. Это не наше дело...» — написал император.

Петербургский городской фольклор связывает с Петром I и фрейлину «при дворе пяти императоров», статс-даму и кавалерственную даму Ордена Святой Екатерины 1-й степени княгиню Наталью Петровну Голицыну, урожденную Чернышеву. Будто бы она происходила из рода так называемых новых людей, появившихся в начале XVIII века в окружении Петра Великого.

Согласно одной их легенд, Пушкин однажды был приглашен погостить в доме Натальи Петровны. В течение нескольких дней он жил у княгини и, обладая горячим африканским темпераментом, не мог отказать себе в удовольствии поволочиться за всеми юными обитательницами гостеприимного дома. Некоторое время княгиня пыталась закрывать глаза на бестактные выходки молодого повесы, но, наконец, не вытерпела и, возмущенная бесцеремонным и вызывающим поведением гостя, с позором выгнала его из дома. Смертельно обиженный, Пушкин будто бы поклялся когда-нибудь отомстить злобной старухе и якобы только ради этого придумал всю повесть.

Трудно сказать, удалась ли «страшная месть». Княгине, в ее более чем преклонном возрасте, было, видимо, все это глубоко безразлично. Однако навеки прославить Наталью Петровну Пушкин сумел. В год написания повести Голицыной исполнилось девяносто четыре года. Скончалась она в возрасте девяноста семи лет в декабре 1837 года, ненадолго пережив обессмертившего ее поэта. В Петербурге Голицыну иначе как «Пиковой Дамой» не называли. Сохранились в Петербурге и два характерных микротопонима. Так, дом № 10 по Малой Морской улице, где проживала Наталья Петровна, в истории города навсегда остался «Домом Пиковой дамы». А пересечение улиц, на углу которых стоит «Дом Пиковой дамы», в фольклоре известен как «Пиковый перекресток».

Наталья Петровна была дочерью дипломата и сенатора графа Петра Григорьевича Чернышева от брака с Екатериной Андреевной Ушаковой, а дедом ее по мужской линии был денщик Петра I, представитель небогатой и незнатной дворянской фамилии Григорий Петрович Чернышев. Стремительный взлет карьеры императорского денщика начался, когда Петр I женил его на своей любовнице, семнадцатилетней красавице Евдокии Ржевской, «Авдотьи-бой-бабы», как называл ее сам царь. Это обстоятельство породило легенду о том, что родившийся вскоре у молодоженов мальчик, на самом деле был сыном императора. Тем более, что любовные отношения Петра и Евдокии едва ли не демонстративно продолжались и после ее замужества.

Таким образом, согласно городскому фольклору, Наталья Петровна была внучкой первого российского императора и основателя Петербурга. Во всяком случае, в ее манере держаться перед сильными мира сего, в стиле ее деспотического и одновременно независимого поведения в повседневном быту многое говорило в пользу этого утверждения. Ее обеды почитали за честь посещать члены царской фамилии, а ее сын — знаменитый московский генерал-губернатор В. Д. Голицын — не смел сесть в присутствии матери без ее разрешения.

Наталья Петровна при каждом удобном случае старалась тонко намекнуть на свое легендарное происхождение. Так, когда ее навещал император или какие-либо другие члены монаршей фамилии, обед сервировался на серебре, якобы подаренном Петром I одному из ее предков.

Свою независимость княгини проявлялся во всем. Однажды ей решили представить военного министра, графа Чернышева, который возглавлял следственную комиссию по делу декабристов. Он был любимцем Николая I и перед ним все заискивали. «Я знаю только того Чернышева, который сослан в Сибирь», — неожиданно грубо оборвала представление княгиня. Речь шла об однофамильце графа — декабристе Захаре Григорьевиче Чернышеве, осужденном на пожизненную ссылку.

Справедливости ради надо сказать, что княгиня Наталья Петровна чтила не только свое собственное легендарное происхождение, но и происхождение своего мужа, фамилию которого носила. Она считала, что выше рода Голицыных нет ничего на свете. Голицыны и в самом деле происходили от второго сына великого князя литовского Гедемина. Фамилия Голицыных пошла от князя Михаила Ивановича Булгака, скончавшегося в 1479 году. Он носил прозвище Голица, которое, по преданию, произошло от привычки князя носить железную перчатку только на одной руке, другая оставалась голой. Наталья Петровна так часто напоминала о древности рода своего супруга домашним, что иногда это приводило к курьезам. Однажды она рассказывала своей племяннице об Иисусе Христе в таких восторженных тонах, что та прервала ее вопросом: «А Христос тоже из рода Голицыных?» Эту легенду в Петербурге пересказывали на все лады. Вариантов ее множество. Вот еще один. Однажды старая графиня молилась на коленях. К ней подошла внучка и спросила: «Бабушка, почему ты на коленях?» — «Молюсь Богу». — «Разве Бог выше Голицыных?» — удивилась девочка.

К многочисленным потомкам Петра I фольклор относит и известного театрального и художественного деятеля Сергея Павловича Дягилева. Как утверждают историки, Дягилев происходил из старинного рода мелкопоместных дворян. Однако если верить семейным легендам, род Дягилевых корнями своими уходил в первые годы существования Петербурга. Дягилевы считали себя незаконными отпрысками императора Петра I.

По воспоминаниям современников, Сергей Павлович действительно чем-то походил на основателя Петербурга. Да и среди друзей его часто называли Петром Первым. Впрочем, очень может быть, что это могло относиться к другим личным качествам Сергея Павловича. Во всяком случае, известно, что наряду с «Петром Первым», его называли и «Наполеоном».

В середине XVIII века в Петербурге были хорошо известны братья Мелиссино: Иван Иванович и Петр Иванович. Оба были высокого роста, и оба осанкой, манерами и всем своим внешним видом напоминали Петра I. По преданию, один из них — Петр Иванович — даже позировал скульптору Этьену Фальконе при его работе над памятником основателю Петербурга — «Медным всадником». Официальным отцом братьев считался придворный «греческий лекарь» Иван Афанасьевич Мелиссино, знатный род которого происходил с Кефалонии и Крита. Во времена Петра I он прибыл в Россию из Венеции. О матери братьев никаких достоверных сведений нет. Скорее всего, ею была одна из фавориток Петра, которую он выдал замуж за лекаря. При этом обеспечил и карьерный рост самого Мелиссино, который вскоре стал вице-президентом Коммерц-коллегии. Однако при дворе никто не сомневался в подлинном отцовстве обоих братьев.

Между тем, если верить петербургскому городскому фольклору, самым извест-

ным потомком Петра I, рожденным вне брака, считается выдающийся ученый с мировым именем, поэт и просветитель Михаил Васильевич Ломоносов

Согласно официальным сведениям, Ломоносов родился в деревне Денисовка (ныне село Ломоносово) Холмогорского района Архангельской губернии в семье зажиточного помора. В девятнадцать лет юноша пешком отправился в Москву и поступил учиться в Славяно-греко-латинскую академию. С 1736 года Ломоносов учился в Петербурге, в университете при Академии наук, затем продолжил образование за границей. В 1741 году он возвращается в Петербург и начинает работать в Академии наук в качестве адъюнкта физического класса. С 1742 года он уже профессор (академик) химии.

Между тем существует легенда о происхождении «великого помора». Она родилась не сегодня. Старые люди рассказывали, что царь Петр, не раз ездивший с обозами архангельских богатеев в Поморье, во время одного из таких путешествий, остановился ненадолго в рыбачьем поселке Усть-Тосно, что некогда находилось на Шлиссельбургском тракте, по которому шли обозы из Архангельска в Петербург. Ныне поселок не существует, в XX веке он слился с селом Ивановским. В Усть-Тосно царь познакомился с юной холмогорской красавицей Еленой Сивковой. В 1711 году Елена родила мальчика, которому царь, каким-то образом извещенный об этом, несказанно обрадовался. Известно, что Петр всю жизнь мечтал о наследнике. Отношения с единственным сыном от первой жены Евдокии Лопухиной, царевичем Алексеем, у Петра не сложились, а Марта Скавронская, будущая императрица Екатерина I рожала ему только девочек. По одной из версий, именно поэтому Петр так долго — более десяти лет — не короновал ее как императрицу. Открыто признать новорожденного своим сыном Петр, понятно, не мог, и тем не менее, все сделал, чтобы обеспечить мальчику более или менее достойную жизнь. Вот почему он приказал выдать Елену замуж за жителя села Денисовка Василия Дорофеева, который и стал официальным отцом ребенка. А фамилию Михаил получил от двинского земского старосты Луки Ломоносова, под попечительство которого по приказу царя будто бы была отдана молодая семья.

Вскоре Василий Дорофеев запил, повторяя во время диких запоев одно и то же: «Как вспомню Тосно, так на душе тошно». Однажды, «озверев от злобы и охмелев после масленичного пьяного разгула», он до смерти забил свою жену, а вскоре и умер сам. Есть, впрочем, легенда о том, что отец Ломоносова не умер, а погиб в море во время рыбачьего промысла. Это случилось, когда Ломоносов ушел из дома, и чувство вины уже никогда его не покидало. Однажды, находясь в Германии, он увидел сон. Будто судно отца потерпело кораблекрушение. Во сне он четко увидел место, где произошла трагедия. А через несколько дней он случайно повстречался со своими земляками — поморами. Ломоносов рассказал о своем чудесном сне, и указал точные координаты гибели отцовского судна. Еще через какое-то время он узнал, что затонувшее судно нашли, и именно там, где он указал.

С поморской легендой о происхождении Ломоносова перекликается петербургское предание о том, что перед самой кончиной, на смертном одре, Петр будто бы рассказал о своем незаконнорожденном сыне главе Священного Синода. Взяв с него клятву свято хранить государеву тайну, Петр просил избавить Михайлу Ломоносова от «тлетворного раскольничьего влияния», предоставив ему возможность покинуть Поморье. Известно, что Поморский край был краем раскольников, и хорошо известно исключительно отрицательное отношение Петра к этой секте.

Последняя воля умирающего монарха была добросовестно исполнена. В 1730 году в Архангельской городской канцелярии Михайле Ломоносову, специально туда вызванному, выдали личный паспорт. Факт сам по себе удивительный, по-

сколько такой привилегией пользовались люди исключительно дворянского происхождения. Паспорт давал право его владельцу беспрепятственно передвигаться по всей территории Российской империи. Так, если верить фольклору, Ломоносов очутился в Москве и едва ли не сразу по прибытии поступил в Славяно-греко-латинскую академию. А вскоре Академии наук в Петербурге потребовались на обучение «способные юноши», которых набирали в Москве, и среди которых оказался Ломоносов.

В 1986 году на Университетской набережной Васильевского острова, рядом со зданием Академии наук, которой Ломоносов отдал всю свою творческую жизнь, по проекту скульпторов Б. А. Петрова и В. Д. Свешникова был установлен памятник великому ученому. В связи с этим в фольклоре, заговорили о том, что старинная легенда о Ломоносове как сыне Петра I, наконец-то нашла подтверждение. Не случайно, утверждала городская молва, у авторов памятника возникла идея установить его напротив «Медного всадника», чтобы отец и сын вечно смотрели друг на друга, публично, при всем честном народе признав, таким образом, так долго скрываемое собственное родство.

Есть, впрочем, и другие косвенные доказательства кровного родства Ломоносова с Петром I. Во-первых, как утверждают современники, внешность Ломоносова совпадала с описанием внешности Петра I. И, во-вторых, это его характер, в котором гордость граничила с гордыней и заносчивость скорее напоминала высокомерие. Якоб Штелин отмечал, что образ жизни Ломоносова был, как и у Петра, «простонародный», а умственные качества отличались «жадностью к знаниям и стремлением к открытию нового». Он был, как и его биологический отец, «неотесанный, с подчиненными и домашними строг и отличался стремлением к превосходству и пренебрежением к равным».

А вот что о Ломоносове писал Пушкин, который вполне мог встречаться с людьми, хорошо знавшими его: «Он везде был тот же: дома, где его трепетали; во дворце, где он дирал за уши пажей; в академии, где, по свидетельству Шлецера, не смели при нем пикнуть».

Известно, что «на работе» в Академии у Ломоносова складывались весьма неприязненные отношения коллегами, большинство из которых были иностранцами. Однажды фаворит Елизаветы Петровны и покровитель Ломоносова Иван Иванович Шувалов, которому постоянно приходилось улаживать его «академические» скандалы, не выдержал и в сердцах воскликнул: «Мы тебя отставим от Академии». Если верить фольклору, Ломоносов, отличавшийся сложным, неуживчивым характером и доставлявший в связи с этим немалые хлопоты властям предержащим, с ответом не замедлил: «Нет, — возразил он, — разве что Академию отставите от меня». Да и личные качества Ломоносова не всегда отвечали представлениям общества о высокой порядочности и нравственности. В XVIII веке на углу Среднего проспекта Васильевского острова находилась старинная корчма, в стенах которой долгое время жила легенда, будто бы именно здесь, находясь однажды в стесненных денежных обстоятельствах, Ломоносов пропил академический глобус.

Доказательством царственного происхождения Ломоносова мог бы стать его огромный архив, содержавший значительное количество писем от царствующих особ. Но после смерти ученого архив таинственным образом исчез, возможно, не без участия этих особ, и именно по этим причинам. Сохранились только легенды. Согласно одной из них, Елизавета Петровна в письмах к Ломоносову обращалась к нему: «Дорогой брат».

Похоронен Ломоносов на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. Над его могилой установлен памятник, который хранит еще одно косвенное под-

тверждение легендарного происхождения великого бастарда. Дело в том, что в многословном торжественном тексте эпитафии, сочиненной академиком Якобом Штелиным, указано только имя и фамилия погребенного. Отчество, которое, согласно русской православной традиции, должно быть в подобных случаях обязательно указано, отсутствует. Скорее всего, во исполнение воли Петра Великого «свято хранить государеву тайну». А может быть, и во имя непреодолимого соблазна авторов памятника намекнуть на эту тайну будущим поколениям.

4

В начале 1770-х годов в Париже неожиданно появилась некая молодая красивая женщина, княжна Тараканова, выдававшая себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и Алексея Григорьевича Разумовского и, следовательно, — за якобы законную наследницу русского престола. В это легко было поверить. Дети Елизаветы Петровны от Разумовского действительно существовали. Будто бы когда-то они были отправлены на родину отца — Украину — и со временем там основали целый род «побочных царственных потомков». Впоследствии некоторые из них перебрались в Петербург и будто бы жили на Васильевском острове. Фамилия их созвучна с фамилией княжны, только переделана на украинский лад — Дарагановы.

Поддержанная политическими силами, враждебными России, самозванка становилась опасной. По поручению Екатерины II граф Алексей Орлов разыскал ее в Италии, увлек молодую красавицу, с помощью клятв и обещаний непременно жениться заманил в Россию и ... сдал властям. Жестоко обманутая женщина была заточена в Петропавловскую крепость. К тому времени беременная от графа Орлова, доведенная до отчаяния постоянными допросами, нечеловеческими условиями содержания в каземате и сознанием безысходности своего положения, она заболела чахоткой и в 1775 году умерла. В Петропавловской крепости, внутри Алексеевского равелина, в маленьком треугольном садике будто бы сохранились и следы ее захоронения — небольшой холмик, по местным легендам, принадлежащий могиле княжны Таракановой. Если верить легендам, ночные сторожа и сегодня пугаются женского плача, который в полуночной тишине можно легко расслышать сквозь крепостные стены. Будто бы это стенания погибшей от туберкулеза княжны. Иногда на мрачном фоне каменных стен можно увидеть ее бледный призрак. Однако существует романтическая легенда, что умерла она вовсе не от чахотки, а утонула во время страшного наводнения 1777 года в каземате, из которого «ее забыли или не захотели вывести».

Эта легенда была столь популярна, что со временем возникла легенда о том, как она сложилась. Русско-украинский писатель XIX века Григорий Данилевский излагает ее в нашумевшем в свое время романе «Княжна Тараканова». «Фельдмаршал Голицын обдумывал, как сообщить императрице о кончине Таракановой. Он взял перо, написал несколько строк, перечеркнул их и опять стал соображать. «Э, была, не была! — сказал он себе. — С мертвой не взыщется, а всем будет оправдание". Князь выбрал новый чистый лист бумаги, обмакнул перо в чернильницу и, тщательно выводя слова неясного старческого почерка, написал: «Всклепавшая на себя известное Вашему величеству неподходящее имя и природу, сего, четвертого декабря, умерла нераскаянной грешницей, ни в чем не созналась и не выдала никого". — А кто из высших проведает о ней и станет лишнее болтать, — мысленно добавил Голицын, кончив это письмо, — можно пустить слух, что ее залило наводнением... Кстати же, так стреляли с крепости и разгулялась Нева...» Так сложилась легенда о потоплении Таракановой», — заканчивает Данилевский.

Впрочем, старые люди говорили, что не утонула принцесса Владимирская Елизабет, а по Петербургу ходит. По одной из легенд, ее призрак с ребенком на руках можно было увидеть в Чесменском дворце, одно название которого напоминает о коварной затее графа Орлова-Чесменского, сгубившего жизнь молодой девушки.

Есть своя легенда о гибели княжны Таракановой и за границей. Иностранные писатели уверяют, что когда адмиральский корабль вместе с пленницей вышел в море, коварный граф Орлов привел ничего не подозревавшую княжну на то место, где был приготовлен специальный люк. Люк неожиданно «опустился, и она погибла в море».

Расплата Орлова за подлость по отношению к Таракановой, жестоко и низко им обманутой, была тяжела и мучительна. Екатерина II как императрица, сухо поблагодарив Орлова за оказанную услугу, как женщина не могла простить ему подлости по отношению к даме. Орлов был удален от двора. Хотя внешне Екатерина продолжала относиться к нему милостиво и принимала, но понять и оценить поступка «честолюбца, предавшего полюбившую его женщину и из холодного расчета поправшего чувство любви», не могла. Если верить преданиям, она предложила Орлову посетить узницу в крепости и сделать ей подлинное предложение руки и сердца взамен и в оправдание коварного признания в Италии. Говорят, Орлов был вынужден подчиниться, но в крепости встретил полное презрение. Гордая красавица прогнала его с проклятиями.

Предание рассказывает, что в конце жизни граф томился в тоске, и ему по ночам являлась несчастная женщина, которую он погубил. Тяжела была и смерть Орлова, случившаяся в Москве, а предсмертные муки — особенно ужасны и невыносимы. По преданию, чтобы крики его не были слышны на улице, «исполин времен» приказывал своему домашнему оркестру играть непрерывно и как можно громче.

Так случилось, что Алексей Орлов дважды оказывал Екатерине II весьма сомнительные услуги. Еще до пленения княжны Таракановой он оказался замешанным в трагической кончине Петра III. Все это отразилось не только на личной судьбе самого Орлова, но и на судьбе его потомков. Говорят, его дочь Анна не вышла замуж, добровольно взяв на себя грехи отца, и решила искупить их своей смертью. По легенде, на последнем причастии она будто бы выпила отравленное вино. Но сразу не умерла, и по слухам, была похоронена заживо. Во всяком случае, когда в 1934 году вскрыли ее гробницу, то с ужасом увидели, что тело графини находится в странном положении: «руки разбросаны, волосы растрепаны, а черное платье на груди разодрано в клочья».

Между тем, легендарная жизнь княжны Таракановой продолжалась. В 1810 году в Москве, в келейном безмолвии Иоанновского монастыря скончалась престарелая монахиня Досифея, светское прошлое которой было покрыто таинственным мраком неизвестности. По Москве ходили темные слухи о том, что это некая княжна Тараканова, которую еще в прошлом веке заточила сюда императрица Екатерина II, усмотрев в ней серьезную претендентку на престол. Некоторые говорили, что да, это та самая Тараканова, но в монастырь удалилась она сама, дабы «не сделаться орудием в руках честолюбцев». А еще шептались, что старый граф Алексей Орлов, один из самых ярких представителей екатерининских вельмож, под конец своей жизни побаивался ездить мимо Иоанновской обители, убежденный в том, что в монастырских стенах живет жертва его жестокого обмана.

Сказать с полной определенностью, кем же на самом деле была московская монахиня Досифея, трудно. Но некоторые обстоятельства позволяют думать, что московской молве нельзя отказать в проницательности. Сразу после смерти Ека-

терины II в Иоанновский монастырь зачастили сановные гости. Сам митрополит Платон неоднократно по большим праздникам приезжал поздравлять Досифею. А когда таинственная монахиня мирно скончалась, на ее похороны собралась вся московская знать.

5

Рассказ о незаконнорожденном сыне Екатерины II Алексее Григорьевиче Бобринском начнем с легенды появления на свет самой императрицы.

Полное имя Екатерины II до ее приезда в Россию и принятия православия было Софья Фредерика Августа Ангальт-Цербстская. Она была немецкой принцессой и происходила одновременно из герцогского — по отцу и княжеского — по матери старинных, но небогатых германских родов. О ее происхождении существуют две легенды. По одной из них, по материнской линии Екатерина II происходит от самого великого князя Ярослава Ярославича Тверского, брата Александра Невского.

По другой легенде, отцом будущей русской императрицы был видный деятель русского просвещения Иван Иванович Бецкой. Так что крови в ней перемешано много — и русской, и польской, и литовской, и датской, и шведской. Не удивительно, что еще в детстве, если, конечно, верить фольклору, маленькая принцесса, Софья-Фредерика-Августа Ангальт Цербстская услышала от какого-то странствующего монаха предсказание, что, в конце концов, она «наденет на голову корону великой империи, которой в настоящее время правит женщина».

Впрочем, обе легенды, скорее всего, имеют официальное происхождение. Так хотелось обнаружить в Екатерине II хоть каплю русской крови.

Иван Иванович Бецкой был внебрачным сыном генерал-фельдмаршала князя Ивана Юрьевича Трубецкого, попавшего во время Северной войны в плен к шведам. Матерью Бецкого, по одной версии была шведская баронесса Вреде, по другой — графиня Шпарр. Есть, впрочем, и третья версия, согласно которой его мать вообще была девицей «простого звания». При рождении ребенок получил урезанную фамилию отца, как это было в то время принято. Бецкой получил прекрасное образование, много путешествовал по Европе.

По слухам того времени, разъезжая по Европе и встречаясь с «различными европейскими знаменитостями», Бецкой однажды был удостоен встречи с Иоганной Елизаветой Ангальт-Цербстской. Она была женой коменданта города Штеттина принца Ангальт Цербстского. На тот момент супруги находились в разладе, и Иоганна большую часть времени проводила в заграничных поездках. Владелица едва заметного на карте Германии герцогства, как свидетельствуют современники, относилась к русскому вельможе настолько милостиво, что в Европе заговорили об их интимной связи. С Бецким Иоганна Елизавета встретилась в Париже, но рожать поехала к своему формальному мужу в Штеттин. Там и появилась на свет София-Августа, ставшая в святом крещении Екатериной Алексеевной.

А когда Анна Иоанновна, по воле судьбы, выбрала дочь Иоганны Елизаветы в жены своему племяннику, наследнику престола Петру Федоровичу, то легенда о том, что отцом будущей императрицы Екатерины II был Бецкой, распространилась и в Петербурге. Легенда получила чуть ли не официальную поддержку. Еще бы! Ведь Бецкой был побочным сыном русского князя Трубецкого, а это значит, что императрица была немкой только наполовину. При дворе это представлялось исключительно выгодной версией. Это вполне согласовывалось с уже известной нам легендой, согласно которой в жилах Иоганны Елизаветы течет капля крови великого князя Ярослава Ярославича Тверского.

В пользу версии об отцовстве Бецкого говорит и семейное предание внуков секретаря Бецкого, согласно которому, «входя в комнату к Ивану Ивановичу, государыня целовала у него руку». Есть и другая легенда. Будто бы однажды во время назначенного ей врачами кровопускания Екатерина II, обращаясь к лейб-медику, воскликнула: «Пусть из меня вытечет вся немецкая кровь и останется одна русская». Легенды легендами, но при желании многие находили портретное сходство между императрицей и ее легендарным отцом Иваном Ивановичем Бецким.

Сохранились и другие любопытные свидетельства современников на этот счет. Например, во время венчания сына Екатерины II цесаревича Павла с Марией Федоровной Бецкой держал венец над новобрачным.

Между тем, в 1762 году, при воцарении Петра III на русском престоле, Бецкой был востребован своей исторической родиной и вызван в Петербург. Здесь он был приближен Екатериной II. В 1763 году Бецкой предложил грандиозный проект реорганизации всей системы российского народного образования и воспитания. В рамках этого проекта были основаны Воспитательный дом, Смольный институт, училище при Академии художеств и другие учебные заведения.

Смольный институт среди них стал самым знаменитым. В Петербурге его основателя прозвали: «Бецкой — воспитатель детской». В моде была веселая песенка:

Иван Иванович Бецкий,
Человек немецкий,
Носил парик шведский.
Воспитатель детский
Через двенадцать лет
Выпустил в свет
Шестьдесят кур
Набитых дур.

В другом варианте той же самой песенки «набитые дуры» еще и «монастырские куры», что более соответствовало истине. Во-первых, выпускницы Смольного института для благородных девиц были не такими уж дурами, а во-вторых, сам институт первоначально, пока для него не было построено специальное здание, располагался в монастырских кельях Смольного собора. Да и роль самого Бецкого, как воспитателя, «наседки» при «монастырских курах» в этом варианте выглядит более яркой.

В Петербурге память о Бецком сохраняется не только в фольклоре. В Благовещенской усыпальнице Александро-Невской лавры у его могилы находится пристенный памятник. В 1868 году в саду бывшего Воспитательного дома, ныне находящегося на территории Педагогического университета имени А. И. Герцена, ему был установлен бюст, исполненный скульптором Н. А. Лаверецким. Бронзовая скульптура Бецкого находится и в композиции памятника Екатерине II в сквере перед Александриским театром.

А теперь перейдем непосредственно к Екатерине II и ее внебрачному сыну Алексею Бобринскому. Род графов Бобринских ведет свое происхождение с 1762 года. Его родоначальником стал Алексей Григорьевич, побочный сын Екатерины II от Григория Орлова. Рождение Алексея Бобринского окружено романтическим ореолом с примесью известной доли авантюризма, так свойственного куртуазному XVIII веку. Мальчик родился 11 апреля прямо в Зимнем дворце — резиденции императора Петра III, законной супругой которого и была Екатерина. Буквально до последнего мгновения ей удавалось скрывать беременность от мужа, с которым

она давно уже не была в интимных отношениях. Как гласит предание, когда у Екатерины начались родовые схватки, камердинер императрицы, преданный Василий Григорьевич Шкурин то ли по предварительной договоренности, то ли по собственной инициативе поджег свой собственный дом на окраине Петербурга, «дабы отвлечь от событий во дворце внимание посторонних лиц».

Понятно, что скрывалось за неуклюжим эвфемизмом «посторонние лица». В Петербурге было хорошо известно, что Петр III слыл большим охотником до тушения пожаров. Едва ему докладывали о каком-либо возгорании, он тут же, забывая о государственных делах, бросался по указанному адресу. Расчет оказался безупречно точным. Император умчался спасать дом находчивого слуги, а когда вернулся с пожара, Екатерина, проявив недюжинную силу воли и самообладание, как ни в чем не бывало, «оделась и вышла ему навстречу».

Тем временем мальчика тайно вынесли из Зимнего дворца. Между прочим, по распоряжению Екатерины младенец был отдан тому самому Шкурину, в семействе которого он и воспитывался наравне с его собственными сыновьями. Вскоре после рождения мальчику дали фамилию Бобринский и щедро одарили поместьями с крепостными душами. По поводу фамилии петербургская мифология знает две легенды. Согласно одной из них, она происходит от названия имения Бобрики, пожалованного счастливой матерью новорожденному. Согласно другой — от бобровой шубы, в которую верные люди завернули плод незаконной любви, унося ребенка из дома обманутого отца.

В 1790-х годах по проекту архитектора Луиджи Руска для Алексея Григорьевича Бобринского Екатерина II перестраивает старинный особняк на Галерной улице. Своим дворовым фасадом дворец Бобринского выходит на Адмиралтейский канал, из которого, как утверждают легенды, во двор особняка первоначально был прорыт канал для захода мелких судов. Впоследствии канал засыпали.

Судя по фольклору, Екатерина не забывала свое чадо, рожденное вне брака. Одна из легенд утверждает, что во дворце Бобринских, хранятся несметные сокровища Екатерины, спрятанные ею невесть когда. Эта маловероятная легенда, тем не менее, имела свое продолжение уже в наше время. Покинувшие Россию после октябрьского переворота наследники Алексея Григорьевича Бобринского однажды будто бы предложили советскому правительству указать место хранения клада. Большевики отказались, якобы не согласившись с условиями Бобринских — отдать им половину сокровищ. Современные обитатели дворца утверждают, что клад тщательно охраняется. Во всяком случае, время от времени во дворце появляется призрак некоего сурового монаха в черном капюшоне, неслышно вышагивающего темными вечерними коридорами.

6

Один из интереснейших русских библиофилов и коллекционеров, всю свою жизнь посвятивший собранию рукописей, писем, семейных реликвий и других предметов, связанных с жизнью и творчеством А. С. Пушкина, Александр Федорович Отто родился в Петербурге, точнее в Царском Селе при обстоятельствах настолько загадочных, что они породили немало легенд. Будто бы ребенка нашли однажды на рассвете, подброшенным у одной из садовых скамеек Александровского парка. Отцом ребенка, согласно придворным легендам, был великий князь, будущий император Александр II, а матерью, понятно, одна из молоденьких фрейлин, имя которой навеки затерялось во тьме истории. Фамилию Отто получил от своей воспитательницы и крестной матери, хотя и не был ею усыновлён. Поговаривали,

что о тайне рождения подкидыша доподлинно знал лишь воспитатель наследника престола Василий Андреевич Жуковский, но и он сумел сохранить дворцовый секрет, хотя юношеская, подростковая, а затем и взрослая дружба сына Жуковского, Павла, и нашего героя могла пролить кое-какой свет на происхождение Александра Федоровича.

В Петербурге Отто окончил гимназию, университет, затем побывал за границей, после чего жил некоторое время в Москве. С 1872 года Александр Федорович Отто окончательно обосновался в Париже. В это время он познакомился с И. С. Тургеневым и стал его литературным секретарем. Во Франции, не без влияния Тургенева, у Александра Федоровича обострилась давняя страсть к собирательству книг о Пушкине, его рукописей и предметов бытовой культуры, связанных с поэтом.

С легкой руки самого Отто, появилась легенда, ореол которой сопровождал его всю долгую жизнь. Отто утверждал, что нашли его не в Александровском парке Царского Села, а под чугунной скамьей памятника лицеисту Пушкину, в церковном садике, который в народе известен под именем «Ограда», хотя на самом деле памятник поэту появился через много лет после рождения коллекционера. Мол, именно поэтому в нем с рождения зародилась беззаветная любовь к Пушкину. Теперь уже и фамилия Отто, доставшаяся ему от крестной матери, его не устраивает, она ему кажется чужой и нерусской. Он взял псевдоним и начал подписываться: Александр Отто-Онегин, но затем решительно отбросил первую половину псевдонима, оставив только Онегин. Под этой фамилией его знают буквально все пушкинисты мира. Но вдали от родины истинному петербуржцу и это кажется не вполне достаточным. Иногда он позволял себе представляться: «По географическому признаку Александр Невский».

В 1883 году от Павла Васильевича Жуковского в руки Отто попали письма Пушкина к его отцу, затем все бумаги Василия Андреевича, относящиеся к дуэли Пушкина, а впоследствии и весь личный архив Жуковского. Парижская коллекция Отто, или, как он сам ее называл, «музейчик», очень скоро стала самым богатым частным собранием на пушкинскую тему. Его парижскую квартиру на улице Мариньян, 25, вблизи Сены (отсюда каламбур, привязавшийся к собирателю, который будто бы ведет себя со своим бесценным богатством, как собака на сене) начинают посещать пушкинисты. Она вся буквально забита материалами о Пушкине. Один из посетителей «музейчика» впоследствии рассказывал, как он впервые пришел к собирателю. «С какого места начинается собственно музей?» — спросил он. «Вот кровать, на которой я сплю, — ответил Александр Федорович, — а прочее — все музей». Только литературное собрание музея включало более 800 названий, в том числе все прижизненные издания произведений Пушкина, почти полное собрание литературы о Пушкине, изданной в XIX веке, альманахи времен Пушкина, переводы его произведений, альбомы с вырезками журнальных и газетных статей и так далее, и так далее. В первые годы после революции квартира коллекционера стала служить символом России и духовным прибежищем для эмигрантов. В специальном альбоме, который завел Отто, оставили свои автографы Иван Бунин, Константин Бальмонт, Тамара Карсавина, Александр Керенский, Николай Рерих и многие другие общественные деятели и представители русской культуры.

Трепетное, восторженное отношение ко всему, что касается творчества великого поэта, не могло не перейти на саму личность Пушкина. Похоже, что Александр Федорович задним числом почувствовал себя в какой-то степени ответственным даже за то, что произошло в январе 1837 года. Сохранилось предание, что через пятьдесят лет после трагедии Отто посетил Дантеса и без всяких обиняков прямо спросил его, как он пошел на такое? Дантес будто бы обиделся и удивленно воскликнул: «Так он бы убил меня!»

В 1908 году весь свой богатейший архив Отто передал в дар Пушкинскому дому Академии наук. Официальная передача затянулась на многие годы, а после известных событий 1917 года в России, стало казаться, что она уже никогда не состоится. Но Отто остался верен своему решению. Он письменно подтвердил законность состоявшейся в 1908 году договоренности. Однако при жизни коллекционера реализовать передачу собранного Отто материала так и не удалось. В 1925 году Александр Федорович скончался. Когда вскрыли завещание, то выяснилось, что не только все свое имущество, но и все свои деньги Александр Федорович оставил Пушкинскому дому. Коллекция была передана в Ленинград в 1927 году.

К сожалению, единое когда-то собрание впоследствии было разобщено. Часть экспонатов передали в Москву, в Государственный музей А. С. Пушкина, часть — в Библиотеку Академии Наук, часть — в Государственный Эрмитаж. В 1995—1997 годах в Пушкинском Доме была организована выставка «Тень Пушкина меня усыновила...», посвящённая юбилею Пушкинского Дома и 150-летию со дня рождения А. Ф. Онегина. На выставке музейные коллекции были временно воссоединены.

7

Если верить городскому фольклору, бастардом был старший брат В. И. Ленина Александр Ульянов, который стал героем петербургского городского фольклора, благодаря одной из самых нетрадиционных фольклорных версий случившейся Октябрьской революции. Оказывается, его младший брат Владимир, ставший известным благодаря своему партийному псевдониму Ленин, якобы задумал и осуществил революцию как месть Романовым за казненного Александра.

Довольно последовательная и стройная легенда представляла собой сентиментальную историю о том, как мать Ленина, Мария Бланк, приняв крещение, стала фрейлиной великой княгини, жены будущего императора Александра III. Хорошенькая фрейлина завела роман с наследником престола и вскоре забеременела. Во избежание скандала ее срочно отправили к родителям и «сразу выдали замуж за скромного учителя Илью Ульянова, пообещав ему рост по службе». Мария благополучно родила сына, назвав его Александром — в честь отца. А через три года «скромный учитель» Илья Николаевич Ульянов получает назначение на должность инспектора народных училищ Симбирской губернии, затем, в 1874 году — директора народных училищ всей Симбирской губернии.

Далее события, как и положено в легенде, развивались с легендарной скоростью. Александр, будучи студентом, узнал семейную тайну и поклялся отомстить за поруганную честь матери. Он примкнул к студенческой террористической организации и взялся бросить бомбу в царя, которым к тому времени стал его отец. В качестве участника подготовки этого покушения Александр Ульянов был судим и приговорен к смерти. Накануне казни к нему приехала мать. Но перед посещением сына, согласно легенде, она встретилась с императором, который будто бы согласился простить своего сына, если тот покается. Как мы знаем, Александр Ульянов каяться отказался, и был казнен. После этого Владимиру Ленину будто бы ничего не оставалось, как мстить не только за мать, но уже и за брата.

Впрочем, если верить еще одной, столь же невероятной легенде, отцом Александра Ульянова был не император Александр III, а известный террорист Дмитрий Каракозов. Оказывается, Каракозов был учеником Ильи Николаевича Ульянова. Их семьи жили в одном доме, и роман Каракозова с Марией Александровной Ульяновой в то время ни для кого не был секретом.

Мальчик родился за четыре дня до выстрела Каракозова в Александра II. По

рассказам современников, Илья Николаевич его не только не любил, но даже не признавал своим сыном. Александр родился шестипалым, а это считалось дьявольской метой. Кроме того, в детстве он упал с обрыва, в результате чего стал горбатым. Есть свидетельства того, что и мать его не жаловала, и будто бы именно она однажды, в порыве ненависти, сама «случайно обронила его с крутого берега».

Все это не могло не сказаться на характере мальчика. В нем родились два противоположных чувства — ненависть к одному предполагаемому отцу и восхищение «подвигом» другого, тоже предполагаемого. В конце концов такая раздвоенность и привела его к террору.

В 1883 году Александр окончил Симбирскую классическую гимназию с золотой медалью и поступил на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. Там он проявил большие научные способности. Так, уже на III курсе за самостоятельную работу по зоологии Александр получил ещё одну золотую медаль. В 1886 году вместе с революционером-народником Петром Шевыревым Ульянов организовал нелегальную «Террористическую фракцию» партии «Народная воля», которая объединяла главным образом студентов Петербургского университета. В 1887 году Александр Ульянов написал программу «Террористической фракции». На деньги, вырученные от продажи его золотой медали, была приобретена взрывчатка для бомбы.

9

Итак, согласно петербургскому городскому фольклору, после казни Александра Ульянова, его младший брат Владимир Ульянов начал методичную подготовку страшной мести династии Романовых за поруганную честь матери и гибель брата. Однако не все так просто. «Мы пойдем другим путем!» — воскликнул он, узнав о гибели брата. И действительно, большевики, во главе которых стоял Ленин, в отличие от народовольцев и эсеров, отрицали индивидуальный террор как средство борьбы с царями и их приспешниками. Они предпочли придти к власти путем революционного переворота, в результате которого будет физически уничтожен весь господствующий класс во главе с царствующей семьей. Так в октябре 1917 года в России начиналась эпоха массового террора. Возглавили этот, пользуясь современной терминологией, проект два человека — Владимир Ленин и Лев Троцкий. После физической смерти одного и политической гибели другого продолжил их дело Иосиф Сталин. Из этих трех демонов революции, если, конечно, верить фольклору, Сталин был бастардом, а Троцкий внуком бастарда.

Подлинная фамилия Троцкого — Бронштейн. О том, как появился его знаменитый псевдоним, сохранилась легенда. Однажды он попал в тюрьму, где надзирателем оказался его однофамилец. Надзиратель Бронштейн был человеком исключительно жестоким и крайне грубым. Его все боялись и ненавидели. В тюрьме в основном сидели политические, товарищи по борьбе, и Лев Давидович Бронштейн решил, что по выходе на свободу они унесут с собой память о ненавистном надзирателе, фамилия которого будет ассоциироваться с ним — Львом Давидовичем Бронштейном. Тогда он будто бы и решил взять себе партийный псевдоним — Троцкий.

Лев Бронштейн родился пятым ребенком в семье богатых землевладельцев-арендодателей Давида Леонтьевича Бронштейна и его жены Анны Львовны Бронштейн, урожденной Животовской. На протяжении чуть ли не целого столетия эти биографические сведения ни у кого не вызывали никаких сомнений. Но вот в середине девяностых годов XX века литературовед Александр Лацис опубликовал

гипотезу, которую поддержали некоторые пушкинисты и литературоведы, в том числе Владимир Козеровецкий и Лев Аннинский. Согласно этой маловероятной гипотезе, Лев Троцкий — якобы является, внуком великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Смысл этого литературоведческого предположения, которое мы позволили себе рассматривать, не более чем еще одну фантастическую легенду о Пушкине, сводится к тому, что одной из многочисленных мимолетных любовниц Пушкина однажды стала прелестная полька Анжелика Дембинская, продавщица билетов передвижного зоопарка, посетившего Петербург. В пресловутом «Донжуанском списке», составленном в относительном хронологическом порядке, по годам, Анжелика, по мнению пушкинистов, числится под литерами «N.N.», между «Катериной II» — Екатериной Карамзиной и «Кн. Авдотьей» — Евдокией Голицыной. Анжелика родила дитя, которое по просьбе Пушкина отдали в семью Раевских. Помните: «У меня детей нет, а всё выблядки»? Раевский поручил ребенка французу Фурнье, который в их семье был учителем. Тот отвез младенца под Полтаву, где полковой священник выписал метрику. Фамилию мальчику дали матери — Дембинский. Мальчик вырос, получил образование, стал секретарем Раевского и вскоре закрутил роман с одной из родственниц генерала. В 1846 году в результате этого романа на свет появилось еще одно незаконнорожденное дитя. Для него нашли надежные, непьющие руки в еврейской семье Бронштейнов. Мальчика, внука Пушкина, назвали Давидом. Он— то и стал отцом Троцкого–Бронштейна.

Среди прочих аргументов в пользу этой фантастической легенды ее авторы напоминают, что Давид назвал своих детей так же, как звали детей в семье Пушкина, — Александр, Лев, Ольга. У Пушкина и Льва Троцкого были одни и те же якобы врожденные заболевания: нервный тик в левом углу рта, подагра, близорукость, болезни желудка и так далее.

Между тем Лев Давидович был одним из крупнейших политических деятелей революционной России XX столетия, наиболее яркой фигурой первых лет советской власти. Он был активным участником Октябрьской революции 1917 года, руководил Петроградским советом, возглавлял наркомат иностранных дел, занимал другие важнейшие государственные должности. Троцкий внес значительный вклад в создание Красной Армии и в организацию обороны страны в Гражданскую войну. О том, какой противоречивой популярностью пользовался Троцкий в народе, говорят его прозвища: «Красный Лев», «Красный фельдмаршал», «Демон революции», «Иудушка Троцкий» и пр.

Во внутрипартийных дискуссиях Троцкий был непримирим, всегда имел собственное мнение, за что, в конце концов, был подвергнут острой критике, его исключили из партии и выслали сначала в Алма-Ату, а в 1929 году — за границу. В 1939 году, живя в изгнании, Троцкий основал 4-й Интернационал, что в Советском Союзе было расценено как покушение на завоевания Октябрьской революции и дискредитацию большевистской партии. В 1940 году в результате террористической акции, организованной и успешно проведенной тайными сотрудниками НКВД, Троцкий был убит ледорубом в личном кабинете, в собственном доме в Мексике.

Троцкий был пламенным и талантливым оратором. На его выступления собирались тысячи слушателей. Однако к тому, что он говорил, относились с известным мужицким недоверием и подозрительностью. В 1920-х годах среди пролетарского населения советской России было широко распространено крылатое выражение «Свистит, как Троцкий». Впрочем, оно не вполне точно отражало подлинное отношение слушателей к ораторам, подобным Троцкому. В арсенале городского фольклора имеется другой вариант этого выражения, где слово «свистит» заменено бо-

лее точным, хотя и вульгарным синонимом. Кстати, в Большом словаре русского жаргона фамилии Троцкий соответствует синоним «Болтун». Понятно, что к многочисленным однофамильцам того самого, конкретного Троцкого этот синоним никакого отношения не имеет.

В Петербурге с Троцким связана любопытная легенда, которая витает над одним из крупнейших универмагов города — Домом ленинградской торговли, или ДЛТ, как его более часто привычно называют петербуржцы. Аббревиатура ДЛТ появилась в 1965 году, когда на базе нескольких магазинов по продаже промышленных товаров была организована разветвленная торговая фирма «Дом ленинградской торговли».

Между тем, интригующая аббревиатура, легко сходящая за известные инициалы Льва Давидовича Троцкого, породила множество ассоциаций. Появилась легенда о том, что в середине 1920-х годов строгие ревнители русского языка вряд ли могли допустить такую лингвистическую небрежность. Уж если и называть таким образом торговое заведение, то уж никак не Дом ленинградской торговли (ДЛТ), а Ленинградский дом торговли (ЛДТ). Но, как на зло, Лев Давидович Троцкий объявляется врагом народа и изгоняется из священных рядов большевистской партии. И если оставить безупречно правильную аббревиатуру ЛДТ, то не станет ли это невольным памятником опальному члену ЦК ВКП)б), да еще в недавнем прошлом и председателю Петросовета? За это можно и поплатиться. И тогда, в непростых условиях беспощадной и бескомпромиссной идеологической борьбы якобы и пошли на дешевый трюк, поступившись общепринятой логикой и обыкновенными правилами письма.

Но если Лев Троцкий, согласно фольклору, был всего лишь внуком бастарда, то Сталин, по интригующим и не менее фантастическим легендам, был бастардом в первом поколении.

Согласно официальным сведениям, Сталин родился в семье сапожника и швеи — Бесо и Кеке Джугашвили. Отец Сталина, как утверждала его мать, был «жестоким пьяницей и постоянно пил». Правда, поговаривали, что подлинным его отцом был некий «богатый торговец и местный чемпион по борьбе». Позже ходили и другие легенды о настоящем отце Иосифа. Судя по фольклору, он и сам этого не отрицал, и с интересом рассматривал все версии — от Александра III до Пржевальского.

Почетный член Академии наук и почетный гражданин Петербурга, известный путешественник и исследователь Средней Азии Николай Михайлович Пржевальский стал героем петербургского городского фольклора, благодаря своему удивительному внешнему сходству с Иосифом Сталиным, особенно заметным при взгляде на памятник Пржевальскому в Александровском саду. Причем, интересно, что заметили это сходство только после смерти вождя всех народов и покровителя всех путешественников в 1953 году, хотя памятник установлен давно, в 1892 году. Это и понятно. Изображения вождя, еще совсем недавно тиражируемые в миллионах экземплярах на бумаге, холсте, в камне и бронзе, начали постепенно исчезать с улиц и площадей Ленинграда. А тут, в самом центре, на видном месте, и так похож.

И родилась одна из самых невероятных ленинградских легенд. Будто бы однажды, путешествуя по Средней Азии, Пржевальский неожиданно отклонился от маршрута, завернул ненадолго в Грузию, встретился там с некой красавицей Екатериной Георгиевной — будущей матерью Сталина, и осчастливил ее, став, как утверждает эта фантастическая легенда, отцом ребенка. Поди проверь. Но вот уже многие годы у основания памятника великому путешественнику появляются букетики цветов. Говорят, их приносят пожилые женщины — верные и твердые последовательницы Сталина.

Смущает только верблюд у подножия памятника. Карликового размера чуть ли

не миниатюрный верблюд прилегший отдохнуть на землю у подножия памятника, кажется случайным и необязательным под бюстом импозантного мужчины в мундире гвардейского офицера с погонами. Таким, впрочем, верблюд казался и при установке памятника. Сохранилась легенда о том, что Географическое общество, членом которого был Пржевальский, еще тогда указывало городским властям на нецелесообразность образа «корабля пустыни» в непосредственной близости с морским символом Петербурга — Адмиралтейством. Не вняли. И тем самым открыли небывалые возможности для мифотворчества. На настойчивые вопросы туристов: «А верблюд-то почему?», современные молодые экскурсоводы со знанием дела отвечают: «А это символ долготерпения русского народа». И рассказывают легенду о каком-то «придурковатом полковнике», который в 1950-х годах, проходя Александровским садом к Главному штабу, где ему довелось служить, у памятника Пржевальскому переходил на строевой шаг и отдавал честь великому путешественнику.

Говорить об отношении советского человека к Сталину не просто. С одной стороны мы знаем о беззаветной преданности «отцу народов», образцы которой в миллионах экземплярах плакатов и газет тиражировала советская пропагандистская машина, с другой — в арсеналах городского фольклора сохранились примеры иной «любви» к «вождю всего прогрессивного человечества». Начнем с того, что эта любовь была, что называется, взаимной. Говорят, будто во время похорон Надежды Аллилуевой Сталин сказал: «Она умерла, и вместе с ней — последние теплые чувства к людям». Еще рассказывают, что в ожидании демонстрации трудящихся, стоя на трибуне мавзолея, он говорил своим соратникам: «Сейчас бараны пойдут».

Пренебрежение к людям, как правило, характерно для уголовников. Не случайно Сталин в криминальной среде пользовался известным авторитетом. Там его почтительно называли: «Ус», «Усатый» или «Пахан». Памятуя о прошлом экспроприатора Кобы, в этом не было ничего удивительного. Уголовники гордились им и любили выкалывать на груди его профиль. И если попадали в руки милиции, и их начинали бить, то тут же рвали рубашки на груди. Знали: бить по Сталину не будут, не важно, из страха, или из почтения.

Образ пахана в облике Сталина смыкается с образом Антихриста, каким видели Сталина еще в начале XX столетия. Известно, что существует множество гипотез, касающихся тайны Тунгусского метеорита, поразившего воображение землян в 1908 году. Но в народе падение метеорита объясняли более чем просто. Это знак беды, «предвестник пришествия в Россию Антихриста». Таким Антихристом и был Сталин, о котором еще при первом аресте писали в протоколах осмотра арестованного Иосифа Джугашвили: «на ноге не хватает одного пальца». А это, как хорошо знали в народе, и считалось одной из главных примет Антихриста.

Вот какой титул придумал для Сталина Владимир Аршакуни: «Гиениальный вождь каннибалиссимус Сталин». Эта виртуозная литературная конструкция прекрасно корреспондирует простонародному анекдоту, родившемуся в рабочей курилке. «Папа, кто такой Сталин?» — «Наш вождь». — «А я думал, что вожди бывают только у дикарей».

Сталин умер при загадочных, до сих пор не вполне ясных обстоятельствах 5 марта 1953 года. По сложившейся языческой большевистской традиции его тело было выставлено рядом с Лениным в Мавзолее на вечное всеобщее обозрение. Однако в 1961 году на съезде КПСС его решили вынести из мавзолея и похоронить у Кремлевской стены. Сделать такое неожиданное предложение делегатам съезда поручили главе ленинградской партийной делегации. Слово предоставили старейшей большевичке. С трибуны съезда она продемонстрировала на весь мир пример социального заказа на фольклор. Обращаясь к делегатам, престарелая революцио-

нерка дребезжащим голосом рассказала, что «вчера ночью к ней во сне явился незабвенный Владимир Ильич Ленин и сказал, что ему не хочется лежать рядом с человеком, принесшим столько горя народу. Понятно, что после этого кремлевский зал разразился громом одобрительных аплодисментов.

Вздох облегчения, с которым была встречена смерть Сталина, был не сразу услышан в море искреннего плача, разлившегося по стране. Но, в конце концов, и он дошел до слуха рыдающего человечества. По-разному это отразилось в фольклоре. Приведем анекдот: Когда Сталина внесли в мавзолей, Ленин сказал: «Никогда не думал, что ЦК партии подложит мне такую свинью». Вслед за Лениным высказался и народ: «Сталин умер, ну и культ с ним!»

9

Из бастардов, оставивших значительный след в русской культуре и одновременно ставших героями петербургского городского фольклора, следует отметить два имени. Это поэт Василий Андреевич Жуковский и художник Орест Адамович Кипренский. Они были современниками, и даже родились с разницей всего в один год. Оба были неисправимыми романтиками. Один в поэзии, другой — в живописи.

Поэт, переводчик, один из основоположников романтического направления в русской литературе Василий Андреевич Жуковский родился при обстоятельствах столь необычных, что это послужило основанием для одной из самых красивых легенд старого Петербурга. Один крестьянин, принадлежавший владельцу села Мишенское Белевского уезда Тульской губернии Афанасию Ивановичу Бунину, отправляясь на русско-турецкую войну с войском генерал-фельдмаршала Румянцева, спросил у своего барина: «Какой гостинец привезти тебе, батюшка, коли поход наш будет удачен?» — «Привези-ка ты мне, братец, молодую турчаночку, а то видишь, жена моя совсем состарилась», — пошутил Афанасий Иванович. Но преданный крестьянин, как оказалось, шутить не собирался, и когда война закончилась, вернулся в село в сопровождении шестнадцатилетней турчанки по имени Сальха. «Бери, барин», — сказал он, легко толкнув девушку в сторону Бунина. Так Сальха, захваченная в плен при осаде одной из турецких крепостей, оказалась в доме Бунина.

В 1783 году она родила мальчика, которого назвали Василием. А вот фамилии своей сыну Афанасий Иванович дать не мог. В то время незаконнорожденный ребенок автоматически становился крепостным, а этого счастливый отец не хотел. И Бунин нашел выход. В то время у него жил небогатый киевский купец А. Г. Жуковский. Его уговорили усыновить сына Сальхи и Бунина. Так, если верить легенде, у Василия появилась фамилия — Жуковский. А заодно и отчество — Андреевич

Перед смертью Бунин во всем признался своей законной жене и попросил позаботиться о сыне. Супруга согласилась. Она отдала мальчика в Благородный пансион при Московском университете, директором которого был в то время старый знакомый покойного Бунина.

В Петербург Жуковский впервые попал в 1796 году. В начале 1820-х годов оказался на придворной службе на самых разных должностях — сначала чтецом при вдовствующей императрице Марии Федоровне, а затем воспитателем наследника престола — будущего императора Александра II.

В литературе Жуковский прославился своими поэмами и балладами. Особенно известными стали патриотическое стихотворение «Певец во стане русских воинов» и романтическая поэма «Светлана». Поэма посвящалась племяннице Жуковского Александре Воейковой. После этого в Петербурге ее прозвали «Светланой».

Такое же прозвище присвоили и самому Жуковскому, в то время когда он был членом литературного кружка «Арзамас». Жуковский был искренним и преданным другом Пушкина. Он исключительно много сделал для поэта и его семьи в последние дни его жизни и особенно после его кончины.

В 1841 году отношения Жуковского с императорской семьей ухудшились, и он попросился в отставку. Затем уехал за границу. Умер в Баден-Бадене. Прах поэта перевезли в Петербург и захоронили в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры. Над могилой Жуковского установлен памятник в виде саркофага, исполненный скульптором П. К. Клодтом. На памятнике обстоятельная надпись: «В память вечную знаменитого певца в стане Русских воинов Василия Андреевича Жуковского, родившегося в Белеве 29 генваря 1783, скончавшегося в Бадене 12 апреля 1852 года. Воздвигнут стараниями и приношениями почитателей бессмертных трудов его и дарований». И, как оказалось впоследствии, это тоже одна из легенд, которая настигла Жуковского в его посмертной жизни. Как мы уже знаем, поэт родился не в городе Белеве, а в селе Мишенском.

Известный художник, основоположник романтизма в русской портретной живописи XIX века Орест Адамович Кипренский родился в безвестной деревушке Нежново вблизи крепости Копорье. Он был незаконным сыном тамошнего барина А. С. Дьяконова от дворовой женщины Анны Гавриловой. По местным легендам, в честь рождения сына барин высадил платан, который и сегодня можно увидеть в бывшем усадебном парке. Там же от старожилов можно услышать и легенды о происхождении необычной фамилии, имени и отчества художника. По одной из них, первоначально фамилию мальчику дали по селу Копорье, где ребенка крестили — Копорский. Затем Дьяконов выдал Анну замуж за дворового человека Адама Карловича Швальбе, который усыновил мальчика, дал ему отчество, но отказался дать свою фамилию. Фамилия Копорский была изменена на Кипренский, когда способного ребенка в возрасте шести лет по ходатайству его биологического отца Дьяконова отдали в Академию художеств. Будто бы от кипрея, известного в народе как копорский чай. Напомним читателю, что и название села Копорье произошло от того же кипрея, из листьев которого в старину изготавливали чай. Помните старинную поговорку: копорское крошево и кисло и дешево?

По другой легенде, фамилия ребенку, родившемуся «под звездой любви», была дана по одному из имен богини любви Венеры, или Афродиты — Киприды. Соответственно, античным должно было быть и имя мальчика. Его назвали в честь героя греческой мифологии Ореста, сына Агамемнона и Клетемнестры, хорошо известного в России по переводам трагедий Эсхила и Еврипида.

В Академии художеств Кипренский проявил блестящие способности. В то же время юноша отличался взрывным свободолюбивым характером, за что частенько получал порицания. Из-за того же характера, если верить фольклору, однажды жизнь Кипренского могла резко измениться. Он чуть не бросил учебу в Академии. Произошло это будто бы из-за страстной любви к некой барышне, которая в присутствии молодого штатского художника неосторожно заявила, что обожает военных. Кипренский тут же подал заявление о зачислении на военную службу. И сделал это, как утверждает легенда, самым экстравагантным способом. Во время парада войск на площади у Зимнего дворца, в мундире воспитанника Академии художеств, он бросился к ногам лошади императора Павла I. Дерзкий и неожиданный поступок юноши так напугал Павла, что он приказал гвардейцам оттащить «этого сумасброда». Понятно, что после этого ни о каком прошении в адрес императора не могло быть и речи. Считается, что только это и спасло русскую живопись от потери одного из своих виднейших представителей.

10

Строго определенные границы заданной темы, связанной исключительно с Петербургом и только с его городским фольклором, не позволили автору расширить список подлинных или предполагаемых бастардов, сыгравших более или менее значительную роль в истории нашего города. Но даже представленный в узких рамках журнального очерка список впечатляет размахом общественной деятельности носителей этого некогда уничижительного статуса — бастарда. Среди них есть коронованные и титулованные особы, признанные гении, аристократы духа и законченные авантюристы, врожденные карьеристы и бессребреники. Все они, обедненные родительским и общественным вниманием, тем не менее, обогатили нашу цивилизацию бескорыстным служением и беспрецедентными творческими открытиями.

И не только. Выходя замуж или женившись, они основывали новые или продолжали старые роды, становились носителями широко известных и знаменитых фамилий. Например, многочисленные потомки Ломоносова породнились с Раевскими, Орловыми, Волконскими, Гагариными, Кочубеями. И без того ветвистые генеалогические древа, от поколения к поколению разрастаясь, давали новые и новые побеги, вселяя надежду на непрерывность и бесконечность бытия, в заданном векторе которого бастарды занимают равные со всеми остальными почетные места. Остается только надеяться, что эти звенья не будут нами же вырваны из общей цепи, как это уже не однажды бывало в истории.

Пилигрим

Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)

РОССИЙСКИЕ ПАЛОМНИКИ У СВЯТЫНЬ ГРЕЦИИ.

Хождение за пять морей*

Монастырь Дафни

...Сердечно напутствуемые членами экипажа «Антареса», паломники возвратились на свои лодьи, которые показались им совсем крошечными после пребывания на большом судне. Наша стоянка в Пирее подходила к концу, и мы

* Продолжение. Начало см.: Нева. 2014. № 7.

Архимандрит Августин (в миру — Никитин Дмитрий Евгениевич) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

спешили посетить еще одну святыню, дорогую для православного паломника. В девяти километрах от Афин, у шоссе, ведущего в Коринф (там, где проповедовал апостол Павел), близ большого парка расположен древний монастырь Дафни, основанный в V или в VI веке. Издавна обитель окружали лавры, которые и дали название этому месту (*греч.* «дафни» — лавр). Впрочем, согласно византийскому преданию, монастырь основала некая царица Дафна, по обету, в ознаменование своего чудесного спасения во время морской бури.

Уже во времена императора Юстиниана (527–565) на месте монастыря Дафни существовал архитектурный комплекс монастырского типа, который в течение VII–IX веков постепенно разрушался и прекратил свое существование. В XI веке на этом месте был воздвигнут дошедший до нашего времени крестовокупольный храм, характерный для византийской архитектуры той эпохи. В 1207 году монастырь Дафни был захвачен французскими крестоносцами, а четыре года спустя перешел во владение монахов-цистерцианцев, которые вытеснили отсюда православных насельников. В период франкского владычества монастырь стал местом погребения герцогов Афинских, о чем свидетельствует ряд официальных документов. Так например, согласно сообщению от 30 октября 1308 года, «было совершено погребение герцога Афинского Гвидона II 6 числа сего месяца в усыпальнице его предков, находящейся в монастыре Дафни». В этот период своей истории монастырь потерял экономическую самостоятельность, так как при герцоге Афинском Оттоне де ля-Рош принадлежащие ему земельные угодья были приписаны к цистерцианскому аббатству Бельво в Бургундии.

После того как в 1458 году Афины были заняты султаном Магометом II, монастырь Дафни снова перешел к православным грекам. Однако в период османского владычества жизнь в монастыре почти замирает. Иностранные путешественники Шпон и Велер, посетившие Дафни в 1676 году, отмечали, что в монастыре они застали одного-двух монахов, так как все остальные переселились в другую обитель, опасаясь пиратских набегов со стороны моря. Подобную картину запустения рисует и путешественник Чандлер, побывавший в Дафни столетие спустя, в 1765 году.

В 1820-е годы, во время греческого национально-освободительного восстания, монастырь был захвачен турками и подвергся значительным разрушениям. С этого исторического момента Дафни фактически перестает существовать как действующий монастырь[1].

В 1833 году в Грецию прибыл представитель баварской династии король Оттон I, и, без ведома и согласия Константинопольского патриарха, была провозглашена автокефалия (самостоятельность) Элладской церкви под управлением Священного Синода, который был поставлен в зависимость от гражданской власти. Глава русской миссии в Афинах иеромонах Аникита (в миру — князь Ширинский-Шихматов) писал в эти годы: «Монастырей две трети уничтожено, с присвоением имуществ их казне, так что самые священные церковные утвари продаваемы были с общественного торгу. В монашество вступать никому вновь не позволяется, и не сказано даже, до которого времени запрещение сие будет продолжаться. Духовенство, находящееся в крайнем невежестве, остается в оном без всякого со стороны правительства попечения»[2].

Эти напасти в полной мере коснулись и монастыря Дафни. В 1838–1839 годы в Дафни останавливались на постой подразделения баварских войск; в 1854 году, во

---

[1] Пинаева Л. Монастырь Дафни // Журнал Московской патриархии. 1988. № 4. С. 58.

[2] Жмакин В., свящ. Путешествие иеромонаха Аникиты по святым местам Востока в 1834–1836 гг. СПб., 1891. С. 120.

время англо-французской оккупации Пирея, в обители размещался холерный госпиталь; в 1883–1885 годы в монастыре была устроена психиатрическая больница, а в 1887 году окончательно заброшенная обитель использовалась в качестве овчарни. В эти годы в монашеской жизни все еще царил упадок, хотя число иноков было в Греции довольно большим. Вначале 1880-х годов отечественный путешественник М. Верн писал: «В Афинах очень много лиц духовного звания. Греческое духовенство состоит из 24-х епископов, 3-х тысяч священников и около тысячи монахов. Монахи живут по большей части не в монастырях, а в отдельных кельях в лесах и пещерах и занимаются вместе с поселянами хлебопашеством и другими земледельческими работами, а также собирают пчелиный мед»[3].

В конце XIX в. разбушевавшиеся стихии несколько раз сотрясали монастырь Дафни. В результате землетрясений был существенно поврежден собор с драгоценными мозаиками XI века. Вместе с тем существуют данные, что именно после 1885 года в соборном храме монастыря в течение какого-то времени снова совершались богослужения. В эту же эпоху (1886) была произведена первая серия реставрационных работ, которые позволили обеспечить относительную сохранность уникального здания. Наконец, к первой четверти XX века собор монастыря Дафни окончательно перестает использоваться как православный храм, оставаясь хранителем выдающихся произведений православного изобразительного искусства XI века. И хотя теперь он превращен в музей, этот монастырь стремятся посетить паломники, прибывающие в Грецию; он славится своими великолепными мозаиками, дошедшими до нас от византийского периода. В центре храма, в куполе помещен величественный образ Пантократора (Вседержителя); на стенах и сводах развертываются изображения на евангельские сюжеты.

Стены собора во имя Успения Пресвятой богородицы первоначально были облицованы мраморными плитами, чьи гладкие поверхности прекрасно сочетались с многоцветными мозаичными панно. Красота внутреннего убранства храма не могла оставить равнодушным даже самого неискушенного посетителя. Доказательство тому — преисполненное искреннего восхищения двустишие на простом греческом языке, посвященное Пресвятой Богородице:

Владычица Дафнийская, светла Твоя палата —
И смальтой, и камением, и жемчугом богата![4]

Остров Эгина

2 августа, простившись с коллегами из Ростова-на-Дону и с отцом Викентием, паломники продолжили плавание. Наш путь лежал на острове Эгина, где мы намеревались посетить местные православные святыни, но разыгравшийся шторм не дал нам этой возможности. Ведь у наших лодий были для маневра очень ограниченные возможности, и мы оказались в ситуации, сходной с той, в какой оказались наши предшественники более ста пятидесяти лет тому назад: «Около 11 часов нас сильно прижало очень близко к берегу, так что если бы не вдруг подувший ветер, который наполнил наши паруса, то мы были бы в опасности, но к счастью мы отошли и потом снова заштилели... К концу вахты опять набежала легкая полоска ветра, и мы снова живо понеслись вперед и бежали довольно скоро с попутным ветром»[5].

---

[3] Верн М., Прогулка по Средиземному морю. М., 1883. С. 276.

[4] Пинаева Л. Указ. соч. С. 59.

[5] Рыкачев А. П. Год Наваринской кампании. 1827 и 1828 гг. Кронштадт, 1877. С. 13–14.

Итак, было решено следовать мимо Эгины, несмотря на то, что с этим островом связаны важные события из истории борьбы греческого народа за независимость. 12 января 1828 года на Эгину прибыл выдающийся греческий деятель — граф Каподистрия, который должен был здесь принести присягу при вступлении в должность президента страны. Он был встречен громом салюта с русских, греческих и английских судов. На Эгине при президентской присяге присутствовали экипажи русских судов — фрегата «Елена» и брига «Ревель», экипажи союзных флотов и «наиболее известные особы страны, с огромною толпой народа, приветствовавшего президента громкими восклицаниями радости и осыпавшего его благословениями».

О том, как проходило национальное торжество греческого народа, повествует один из отечественных историков XIX века: «Музыка корабля *War spite* с греческим знаменем впереди, сопровождала шествие до церкви и по выходе из оной. В то же время английские, русские и стоявшие в этом порте греческие суда салютовали из пушек и расцветились флагами, между коими флаг Греции, поднятый на фор-брам-стеньге всех судов, произвел особенный восторг в публике. Английские и русские суда салютовали 19-ю выстрелами; греческие же суда палили без счета»[6].

Желавших присутствовать на церемонии принесения присяги было так много, что митрополит решил совершить эту церемонию под открытым небом, перед алтарем, специально воздвигнутым для этой цели на площади перед кафедральным собором. После торжественного пения «Тебе Бога хвалим», завершившего благодарственный молебен о здравии и благоденствии трех союзных покровителей Греции, президент принес присягу в присутствии духовенства и народа[7].

Пока наши лодьи, влекомые ветром, идут мимо Эгины, — еще несколько слов о первом греческом президенте. Иоанн Каподистрия родился в Корфу в 1776 году в дворянской семье. Его отец — Антон Каподистрия, был сенатором, союзником России; в свое время император Павел I пожаловал ему командорский крест Св. Иоанна Иерусалимского[8]. О своем избрании в президенты граф Иоанн Каподистрия узнал на пути из Женевы в Санкт-Петербург. Интересно, что Каподистрия, строго говоря, был не президент, а «кибернитис», что значит кормчий, управляющий (отсюда слово «кибернетика»). И он действительно являлся «истинным кормчим государственной ладьи Греции»[9].

Остров Порос

На следующий день наши парусные ладьи и яхты вошли в одну из бухточек острова Порос, где нас ожидала приятная встреча. На этом острове многое напоминает об освободительной борьбе греческих повстанцев. Наши ладьи встали у набережной города Порос как раз в том месте, где в качестве памятника установлены два больших якоря, в память о погибших в сражениях против турок в 1827–1830 годах.

Русские корабли часто посещали этот остров, занимающий выгодное стратегическое положение на морских путях. Здесь даже сохранились остатки складов для провианта и другие помещения, построенные в свое время русскими моряками.

---

[6] Исторический очерк народной войны за независимость Греции. (Сост. Палеолог Г. и Сивинс. М.; СПб., 1867. Т. 1. С. 56.

[7] Теплов В. Граф Иоанн Каподистрия президент Греции. СПб., 1893. С. 33.

[8] Там же. С. 21.

[9] Там же. С. 29.

История этих построек такова. В 1827–1833 годы в греческих водах находилась русская эскадра адмиралов Л. П. Гейдена и сменившего его П. И. Рикорда. На острове Порос, расположенном у самых берегов Пелопоннеса, в мае 1828 года была устроена стоянка эскадры. Тогда же было решено соорудить на острове складские магазины, и вскоре работа закипела.

«Были выстроены капитальные здания, имевшие даже архитектурно-декоративное оформление. Все постройки, сооруженные для русской эскадры на Поросе, были обнесены стеной с окованными воротами. Это были: магазин, хлебный двор, кузница, пристань, две цистерны и даже горячая баня, возведенная в соответствии с русскими привычками. Строительство было завершено в 1829 году; оно велось при поддержке и участии тогдашнего правительства Греции, во главе которого стоял Иоанн Каподистрия[10].

Примечательно, что став президентом, Каподистрия был обеспокоен положением Православной церкви, которая была тогда в плачевном состоянии. Для подготовки священников на Поросе была открыта семинария. За период 4-х летнего правления Каподистрией Грецией было восстановлено большое число разграбленных и наполовину разрушенных церквей[11].

В мае 1828 года на остров Порос прибыли посланцы от Константинопольского патриарха. Под давлением турецкой администрации глава этой Поместной церкви вынужден был обратиться к лидерам греческого освободительного движения с просьбой о прекращении военных действий против Оттоманской Порты. Послание Святейшего патриарха на Порос привезли митрополиты Никейский, Халкидонский, Ларисский, Янинский и великий викарий патриаршей церкви. И вот, 22 мая (3 июня) 1828 года на Поросе, в доме президента, была проведена краткая конференция, которую возглавил президент Греции; на этой встрече присутствовал контр-адмирал российского императорского флота Лазарев, а также английские и французские высшие морские начальники.

Ход истории неумолимо вел Грецию к независимости, и просьбы иерархов «о покорности» турецким властям объективно были препятствием на этом пути. Вот один отрывок из протокола о переговорах. Контр-адмирал Лазарев спросил митрополитов: «заметили ли они при своем приезде положение страны, и что они думают?» Митрополиты: «От Арты до Лепанта мы не встретили человеческих существ; это обширная пустыня, здесь и там несколько греков, выходящих из скал, представлялись нашим глазам, но они походили скорее на призраки и на скелеты». Президент: «И султан еще требует покорности этих призраков?»[12]

Конечно, можно понять позицию тогдашнего Константинопольского патриарха: ведь прошло лишь несколько лет после казни турками патриарха Григория V. Но при этом надо заметить, что лидеры патриотического движения, отвергая просьбы о «покорности агарянам», неизменно демонстрировали свою сыновнюю преданность главе Константинопольской церкви, чьими духовными чадами они являлись. Так, в письме, отправленном с острова Порос Константинопольскому патриарху 3 марта 1828 года от имени греческого правительства, подчеркивалось, что «мы должны во имя и со стороны нации, доверившей нам управление своих интересов, просить «Ваше Святейшество дать нам ее благословение и считать нас неизменно преданными принципам нашей святой религии»[13].

---

[10] См. Полевой В. М. Указ. соч. С. 192.

[11] Теплов В. Указ. соч. С. 34.

[12] Исторический очерк народной войны за независимость Греции. Т. III. СПб., 1867. С. 99.

[13] Там же. С. 96.

В своей борьбе против турок национальные лидеры действовали отнюдь не безрассудно и не стремились вести ее «до последнего грека». В том же письме, отправленном с Пороса, упоминалось о том, что «есть гарантии, которые Греция приобрела уже от христианской благосклонности их величеств королей Великобритании и Франции и российского императора. «Таким образом, просим принять в серьезном внимании чудеса, помощью которых Всевышнему угодно было в Своем милосердии спасать во всякое время и в особенности в этих последних годах этот народ»[14].

Российский флот поддерживал борьбу Каподистрии за независимость Греции и в трудных обстоятельствах оказывал ему посильную помощь. Один из таких эпизодов связан с островом Порос, куда русские корабли пришли в июле 1831 года. Дело в том, что противники Каподистрии, поднявшие восстание на близлежащем острове Идра, «решили переманить над свою сторону жителей Пороса, чтобы с помощью их овладеть тамошним арсеналом и стоявшими в пороссской гавани греческими военными судами».

Мятежные корабли направлялись к Поросу, и тогда Каподистрия обратился к союзникам с просьбой прислать суда для предотвращения беспорядков. И вот вскоре контр-адмирал Петр Иванович Рикорд привел к берегам Пороса корабли российского флота, которые заняли следующие позиции: «Княгиня Лович» и бриг «Улисс» встали у главного входа в порт, а бриг «Телемак» и люгер «Широкий» — в монастырской бухте, — «в совершенной готовности отразить всякое покушение мятежников»[15].

Мятежники привели к Поросу фрегат «Эллас» и корвет «Идра»; они заняли также крепость, стоящую на островке в проливе, отделяющем Порос от Пелопоннеса. Они были настроены решительно и, не устрашась присутствия российского флота, начали военные действия. Чем все закончилось — об этом повествует запись в вахтенном журнале: при отражении атаки «русские суда, будучи незащищены со стороны крепости, оставшейся в руках мятежников, много потерпели в людях и рангоуте»[16]. Но, тем не менее, силы мятежников были на исходе, и, после того как российский флот перешел в контратаку, они сами взорвали «Эллас» и «Идру», чтобы эти корабли не достались неприятелю в качестве «приза».

Местные жители были избавлены от разбоя и, вскоре после «замирения» мятежников, они поднесли контр-адмиралу П. И. Рикорду благодарственный адрес. «Движимые чувством неограниченной признательности, спешим принести Вашему превосходительству нашу благодарность за изгнание из нашего острова мятежников, нанесших нам столько бедствий, за Ваше старание о восстановлении здесь порядка и об освобождении наших семейств, которых, взяв насильно с собою, мятежники удерживали, чтобы употребить нас орудиями своих злоумышлений. Такие благодеяния, оказанные нашему острову русским флотом, увековечат в наших сердцах самые живые и признательные воспоминания»[17], — писали жители Пороса летом 1831 года Выполнив свою союзническую миссию, российская флотилия 4 августа 1831 покинула Порос. А еще через два года — 31 августа 1833 года — П. И. Рикорд за отличие во время командования отрядом в греческих водах был награжден орденом святого Владимира 2-й степени.

...Таковы некоторые эпизоды русского присутствия на острове Порос; сегодня о них напоминают лишь русские постройки...

Набережная, у которой находятся эти руины, до сих пор носит название «русской

[14] Там же. С. 94–95.

[15] Там же, Т. II. С. 77.

[16] Там же. С. 78.

[17] Там же. Т. III. С. 90.

набережной». Но следы русского присутствия на Поросе не утрачены: как раз у «русской набережной» мы увидели стоящую здесь еще с прошлой осени диеру «Ивлия», построенную молодыми одесскими мореходами. Третий год гребцы, сменяя друг друга, следовали на «Ивлии» морским путем — от Одессы до Афин. К острову Порос «Ивлия» была доставлена на зимовку, и мореходы готовились продолжить плавание к берегам Италии. Примечательно, что среди членов экипажа имелся воспитанник Одесской духовной семинарии Станислав Гуль. Плавание «Ивлии» было столь продолжительным, что члены экипажа издавали судовую газету; среди статей, присланных для публикации, некоторые принадлежали тогдашнему ректору Одесской духовной семинарии протоиерею Александру Кравченко; они были посвящены истории Афона и другим христианским святыням Средиземноморья.

Местные власти благожелательно встретили паломников из России, и вечером мэр города г-н Спиридон Спирос устроил прием в честь экипажей судов. Во время беседы был затронут вопрос о восстановлении русских построек на острове; возможно, что этот труд возьмут на себя те паломники, которые пойдут по следам первопроходцев. Во время стоянки на Поросе паломники устроили для жителей города концерт колокольных звонов, была развернута выставка картин, а вечером мы присутствовали в местном соборе за всенощным бдением.

В воскресенье 4 августа члены местной мэрии организовали для паломников поездку в монастырь, расположенный на другом конце острова. Обитель, угнездившаяся над живописной бухтой, носит название «Живоносный источник» в честь чтимой иконы Божией Матери. Эта икона именуется так потому, что, по местному преданию, Богородица сама указала источник целебной воды близ Константинополя. Икона «Живоносный источник» почитается в Греции, и во многих храмах имеются ее «верные списки». В монастыре нас встретил один из иноков, который рассказал об истории обители, основанной в 1720 году

В период турецкого господства монастыри в Греции были оплотом национального самосознания, очагами национальной культуры. Здесь тайно учили детей читать и писать по-гречески, что было турками строжайше запрещено. Вокруг монастыря сохраняются могилы повстанцев, павших в годы освободительной войны 1821–1831 годов. С 1833 года при обители была устроена школа для сирот, а в настоящее время здесь подвизаются, во главе с игуменом Ефремом, 7 священников, которые служат на приходах острова. Посетив монастырский храм с его трехъярусным иконостасом, выполненном в византийском стиле, и полюбовавшись на кипарисы, растущие в монастырском дворике, паломники отправились на свои ладьи.

В гавани города Порос нам предстояло расстаться с частью наших паломников: около 20 человек на яхте «Русь» отправились на родину, поскольку у многих из них заканчивалось время отпуска. Отправился в обратный путь и казанский батюшка — отец Леонид. Дальнейший путь вокруг Пелопоннеса продолжило около 40 паломников на трех лодьях и на яхте «Украина».

Остров Идра

К югу от острова Порос расположен остров Идра, куда и направилась наша поредевшая флотилия. «Всюду видны были мысы, горы, острова и между ними голый и бесплодный остров Идра; он подле берегов Мореи (Пелопоннес. — *А. А.*)»[18], — таким предстал остров Идра взору нашего предшественника —

[18] Всеволожский Н. С. Путешествие через Южную Россию, Крым и Одессу в Константинополь, Малую Азию, Северную Африку, Мальту, Сицилию, Италию, Южную Францию и Париж в 1836 и 1837 годах. Т. 1. М., 1839. С. 356.

Н. С. Всеволожского в 1836 году. А несколько ранее, в 1820 году, Кир Бронников сообщал: «В Идре домы все каменные; многие из них строены по европейскому фасаду; есть и богатые жители. Близ пристани на базаре находится монастырь, в котором живет митрополит. Приходских церквей довольно»[19].

Особенностью острова является множество небольших церквей, разбросанных по каменистым склонам. Жители Идры уверяют, что здесь 365 — по числу дней года. Монастырь, о котором упоминал Кир Бронников, сохранился и поныне; мы посетили богослужение в храме этом обители. Начало августа — это не самое лучшее время для передвижения по острову, где практически нет машин, но, впрочем, наши предшественники, посещавшие Идру, оказывались в таком же положении. «Город Идра стоит в овраге между утесистых высоких гор, — пишет Кир Бронников. — В то время жар был превеликий, днем мучил несносный зной»[20].

Но, несмотря на жару, некоторые паломники отправились вверх по горным тропинкам и посетили два монастыря: женский, названный в честь Св. Евпраксии, и мужской — во имя Св. пророка Илии. Обители находятся недалеко одна от другой: мужская чуть выше, ближе к горному хребту. Близость монастырей обусловлена простой причиной: на острове мало пресной воды, и обе обители используют одну артезианскую скважину.

Был разгар дня, но из-за сильной жары в монастырях не наблюдалось никаких признаков жизни, а мы нуждались в питьевой воде. Наконец выход был найден: «самочинно» мы запустили насос, качающий воду из скважины; жажда была утолена и фляги наполнены доотказа. В сходных обстоятельствах оказался наш предшественник — киевский пешеходец Василий Григорович Барский, странствовавший по святым местам Востока. В 1725 году он записал следующие строки: «Бысть же недалече вторий монастирь девичий, яко за три поприща отстоящ от первого, и соизволися нам посетити его. Тамо егда прийдохом, сами испросихом воды хладной изнесоша, понеже жаждахом, упалу ради солнечного и горячести. Таже поклонившися в церкве и приложившися святым иконам, изийдохом вне монастыря, и седше под оградою каменною, многая с собою беседующе и соравняюще своя монастыри российские с сими, како сторицею суть краснейшие и богатейшие и во всем милостивейшие. Таже препочивши яко полчаса, пойдохом вспять ко граду»[21].

Сегодня остров отдан на откуп туристам, и ничто не напоминает о военных событиях прошлого. А между тем в годы турецкого владычества остров Идра был символом борьбы за независимость. (Вид города Идры даже был изображен на тысячедрахмовых банкнотах старого образца, которые были в ходу до «эпохи евро».) И здесь снова речь пойдет о славных деяниях российского флота — на этот раз — под начальством вице-адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина во время кампании 1805–1810 годов.

Русские корабли появились у берегов Идры в феврале 1807 года, и о дальнейших событиях повествуют сразу два автора — морские офицеры Владимир Броневский и Павел Свиньин. «Обогнув восточный мыс острова Идро, мы весьма мирно бросили якорь между сим островом и матерым берегом», — пишет Владимир Броневский, добавляя при этом, что «при появлении флота флаг наш с радостью и благословением от жителей встречен был»[22]. А Павел Свиньин, как бы продолжая

---

[19] Путешествие к святым местам, находящимся в Европе, Азии и Африке, совершенное в 1820 и 1821 гг. села Павлова жителем Киром Бронниковым. М., 1824. С. 242.

[20] Там же. С. 243.

[21] Странствования Василия Григоровича Барского по святым местам Востока с 1723 по 1747 гг. СПб., 1885, Т. 1. С. 198.

[22] Броневский В. Записки морского офицера в продолжении кампании на Средиземном море под

рассказ, сообщает: «Тотчас же присланы из города депутаты поздравить адмирала (Сенявина. — *Авт.*) с благополучным прибытием; между прочим, они сказали: «все греки, в коих еще тлеется искра чести, готовы умереть за свободу и любовь к России», — пишет русский мореход, замечая далее, что члены экипажа «были приняты с чрезвычайным восторгом; всякий приглашал нас к себе; обедали в монастыре, где нашли верх изобилия и гостеприимства»[23].

Снова предоставим слово Владимиру Броневскому. «Прибытие российского флота в Архипелаг скоро сделалось известным. Начальники островов Идро, Специи и других ближайших, с восторгом и редкою готовностью предложили свои услуги»[24], — пишет он, перечисляя те меры, которые были приняты Россией, чтобы оградить независимость греческих островов от турецкого посягательства: «В прокламации, изданной в Идро, жители Архипелага объявлены принятыми под особое покровительство всероссийского императора, а порты на матером берегу (материковой части Греции. — *Авт.*), занятые турецкими гарнизонами, признаны неприятельскими; для отличения же христианских судов от турецких, определено выдать оным новые патенты на иерусалимский флаг, под которым могли (бы) они пользоваться торговлей с союзными державами»[25].

Представляет интерес и описание города, сделанное Владимиром Броневским. Ведь сегодня многие здания на острове возведены по современной технологии и представляют собой простые бетонные коробки; старинные мельницы исчезли. А вот как выглядел этот городок в начале XIX века: «Город построен на крутой скале, — пишет В. Броневский. — От края берега, где видна небольшая гавань, до вершины горы, представляется амфитеатр строений, разбросанных по косогору. Чистые белые домики, из коих есть и двухэтажные, с красными черепичными крышами, восходя по уступам выше и выше, издалека, кажется, занимают все пространство между неба и моря. Множество мельниц, стоящих одна подле другой, окружают город»[26].

Приверженность жителей острова Идра корабельному искусству сослужила им хорошую службу в годы борьбы за независимость Греции. Павел Свиньин приводит любопытные сведения об искусных корабелах и мореходах, выросших на этом острове: «В плавании по Архипелагу и Средиземному морю редко употребляют идриоты компасы, и даже пущаясь в Америку, аргонавты сии едва имеют худую карту»[27]. Его собрат по перу — Владимир Броневский, в своих заметках развивает эту тему. «Идриоты по всей справедливости заслуживают имя лучших, проворнейших и отважных матросов, — пишет он. — Несмотря на искусство европейского кораблестроения, едва ли какой мастер может построить подобное идриотскому судну... Все качества мореходного судна пожертвованы в них одному ходу, и в сем, особенно при умеренных ветрах и в бейдевинд, не имеют себе соперников»[28]. Вот еще одно сообщение о высоких мореходных качествах судов, построенных корабелами острова Идра. По словам Павла Свиньина, «Наполеон Бонапарт из Египта спасся на идриотском судне, хотя за ним гнались лучшие английские фрегаты»[29].

начальством вице-адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина от 1805 по 1810 год. Ч. III. СПб., 1837. С. 11–12.

[23] Воспоминания на флоте Павла Свиньина. Ч. II. СПб., 1819. С. 8, 12.

[24] Броневский В. Указ. соч. С. 10.

[25] Броневский В. Указ. соч. С. 10.

[26] Там же. С. 8–9.

[27] Воспоминания на флоте Павла Свиньина. Ч. II. СПб. С. 220.

[28] Броневский В.Указ. соч. С. 9.

[29] Воспоминания на флоте Павла Свиньина. Ч. II. СПб. С. 11.

Можно долго продолжать повествование о корабельных делах на острове Идра. Но ограничимся еще лишь некоторыми характерными штрихами. Наш соотечественник-паломник Кир Бронников побывал на Идре за год до начала греческого восстания 1821 года, и в его записках также большое место уделено этой теме. «На Идре жители все греки, имеют промысел корабельный, — пишет он. — В нашу бытность в самом городе и немного подалее в заливах находилось у них до 60 кораблей; многие из них вооруженные готовились к выходу в море»[30].

На карте Греции Пелопоннес похож на четырехпалую ладонь, и ее северо-восточный «палец» носит название Арголида. К Арголиде примыкает несколько островов; это Эгина, Порос, Идра, Специя и еще несколько более мелких. В годы борьбы против турок они были в полном смысле слова «островами свободы», и об этом не преминул сообщить наш православный пешеходец. «Три острова греческие, как то: Ипсара, Идра и Специя, противу турок вооружились сильною рукою, — продолжает Кир Бронников, — по всей Туркогреции кораблей нигде нет столько, как на сих островах; им и другие острова помогают, и военные корабли общественным иждивением содержат. Они и флаг имеют синего цвета с алым Распятием или Крестом, у коего на одной стороне водружено копье, а на другой выставлен якорь, около которого обвита змея, на краю же бока голубь, а к концу флага какое-то эллинское изображение; внизу же написано: «смерть или свобода». Вышенаписанные знаки смысл в себе содержат таковый: Крест — знамение Небесного царя; якорь — чтобы грекам противу турок стоять так твердо, как крепко якорь держится за морское дно; змея и голубь означают евангельские слова: «будите мудри яко змия, и цели (кротки — авт.) яко голубие»; эллинское солнце — в воспоминание того, что были некогда греки идолопоклонниками»[31].

Таково сообщение Кира Бронникова, относящееся к «довоенному» времени. А вот что писал Н.С. Всеволожский о жителях острова, которые внесли свою лепту в освобождение Эллады от турецкого гнета: «Идриоты вырастают и воспитываются на море, привыкаютс младенчества, за то искони слывут лучшими моряками Леванта. Они бесстрашно плавают во всякую погоду. В последнюю войну за независимость Греции, они храбро дрались и никогда не допускали ни одного турка на свой остров»[32]. Сегодня в порту Идры покачиваются на стоянке яхты из многих европейских стран; греки открыли сердца всему миру. Но нет здесь судов с флагами, на которых был бы виден полумесяц: историческая память дает себя знать до сих пор...

Монемвасия

Далее наш путь лежал через залив Эрголикос к легендарной Монемвасии, давшей православному миру многих подвижников, богословов и церковных историков. Вечером 6 августа на горизонте показались берега Пелопоннесской провинции Лаконии. Осматривая с моря ровные, ничем не примечательные берега с небольшим городком, застроенным новыми бетонными двухэтажными домами, паломники испытывали чувство разочарования. Как говорится, «мы ожидали большего». И лишь большая скала с церковкой на вершине, немного оживляла бухту, куда вошли наши суда. Было решено на следующее утро сниматься из этой гавани и, не теряя времени, продолжать плавание вокруг Пелопоннеса. Сойдя на берег, паром-

[30] Путешествие к святым местам... совершенное в 1820 и 1821 гг. ... Киром Бронниковым. М., 1824. С. 241.

[31] Там же. С. 242–243.

[32] Всеволожский Н. С. Указ. соч. С. 356.

ники отправились на поиски пресной воды, чтобы пополнить запасы на борту, и некоторые из нас пошли вдоль насыпи, ведущей к скале. И вот, в последних лучах заката, перед нами предстала фантастическая картина: огороженный крепостной стеной, к скале прилепился древний византийский город, с многочисленными церквами, старинными домами под черепичными крышами, ступенями взбегающими к вершине горы. Это не были развалины, жизнь била ключом; по узеньким улочкам бродили туристы, были открыты ресторанчики, сувенирные лавки.

Конечно уже речи не было о том, чтобы утром покинуть Монемвасию. 7 августа рано утром мы снова оказались перед крепостными стенами византийского города, намереваясь посвятить ему столько времени, сколько потребуется для неспешного осмотра. Небольшими группами паломники взбирались на вершину скалы, где на небольшом плато возвышался древний храм Св. Софии. Войдя под его своды, мы убедились, что в нем до сих пор совершаются богослужения, а среди икон можно было видеть изображение мучениц Веры, Надежды и Любови, а также матери их Софии. Для паломников, шедших под парусами на лодьях с этими именами, увиденная икона вызывала особые чувства.

Обогнув скалу, мы на веслах подошли к древней Монемвасии с той стороны, откуда этот город был виден как на ладони. У многих из нас было ощущение, что время сдвинулось на несколько веков назад: древнерусские лодьи под парусами на фоне византийских крепостных стен — такое было во времена Киевской Руси в Царьграде, но, похоже, что так далеко, к Монемвасии, наши предки на ладьях еще не ходили.

Какова же история этого средневекового города? Она восходит к далеким временам, но по письменным источникам прослеживается с 723 года. Впервые о ней упоминает паломник-монах, направлявшийся из немецких земель в Иерусалим, на своем пути он посетил город под названием Манафасия. В дальнейшем судьба города была связана с крестовыми походами. Как известно, во время первого крестового похода (1096–1099) усилиями крестоносцев Святая Земля была освобождена от власти «сарацин»; эта цель преследовалась и в XII столетии. Но во время IV крестового похода (1204) рыцари-католики не смогли добраться до Палестины и, гонимые нуждой, осадили Константинополь, столицу Византийской империи. Царьград пал, и в том же году была образована Латинская империя; в ее состав входило и Ахейское (Морейское) княжество на Пелопоннесе.

Но некоторые территории бывшей Византийской империи все же оставались под греческим управлением. Это был Эпирский деспотат (северо-запад современной Греции) и города — Коринф, Навплион, Аргос и Монемвасия. Эти города даже обещали военную помощь Жоффруа Виллардуэну, — правителю, который в 1200 году взял власть в свои руки в Ахейском княжестве. При этом греки ставили условие: он должен уважать их религиозные обычаи и права собственности.

В 1261 году Латинская империя пала, и в Константинополе снова воцарился византийский император. Но латинские государства, вызванные к жизни IV крестовым походом, не исчезли одновременно с Византийской империей. Ахейское княжество под управлением трех Виллардуэнов — Жоффруа I, основателя династии, и его сыновей — Жоффруа II и Гийома (Вильгельма) II (1209–1278) стало к этому времени цветущим. Страна под умелым управлением своих государей была в течение всего XШ века одним из самых богатых государств латинского Востока.

В 1246 году Ахейский князь Гийом II Виллардуэн с помощью венецианских галер начал блокаду Монемвасии: ведь через этот приморский порт византийский флот имел возможность оказывать помощь грекам Пелопоннеса. После трехлетней осады Монемвасия капитулировала; в городе была учреждена резиденция ка-

толического епископа. Но недолго оставалась Монемвасия под властью морейских (ахейских) князей. Борьба греков за возрождение Византии продолжалась, и в 1259 году Гийом II потерпел поражение в битве при Пелагонии и был взят в плен греческим императором Михаилом VIII Палеологом. Проведя в заключении три года, он был вынужден, по договору 1262 года, уступить грекам Монемвасию, Майну и Мистру. Таким образом в 1262 году Монемвасия стала греческим церковным центром, а Мистра — административной, хозяйственной и культурной столицей греческой Мореи.

С1262 по 1460 год продолжался «золотой век» Монемвасии. Ей покровительствовали византийские правители; в грамотах императора Андроника II Палеолога (1282–1328) подтверждались права и привилегии города — «свободного от всякой подати и тяготы» (1284, 1301, 1317) В грамоте Иоанна Кантакузина (1341–1355), выданной Монемвасийской митрополии, говорится, что императоры возвысили митрополию Монемвасии и облагодетельствовали ее владениями «из-за неприступности города и преданности населения империи». Долгое время Монемвасия рассматривалась как порт столичной Мистры, расположенной в глубине Мореи (рядом с современной Спартой). Одни из ворот Мистры назывались Монемвасийскими.

Будучи резиденцией православного митрополита, Монемвасия украшалась храмами и монастырями. В самом городе был расположен монастырь Теотокос, а в окрестностях Монемвасии — монастыри Одигитрии и Таксиарха. На некоторое время сюда даже переместилась столица Мореи: Федор I Палеолог (1383–1407), покинув Мистру, перевел свой двор в Монемвасию. Город славился своими ремесленниками; здесь развивалась торговля, и купцы имели большие привилегии. Вино из Монемвасии продавалось в Тане — итальянской колонии на Черном море. В Монемвасии пьянил даже воздух свободы: при Федоре II Палеологе (1407–1443), согласно акту от 1442 года, крестьяне могли свободно поселяться в Монемвасии, а феодалы не имели права требовать их возвращения. Монемвасия стала центром духовной художественной жизни, подлинным очагом эллинизма и символом возрождения греческой нации.

Один из уроженцев Монемвасии занимает особое место в истории русско-греческих церковных связей. Это Фотий, митрополит Киевский и всея Руси (сконч. в 1431 г.) Грек по происхождению, он «измлада» отказался от светского пути жизни и отдал себя под духовное руководство старца Акакия, постригся у него в монахи и обрел книжную премудрость. Человек, известный константинопольскому императору и патриарху, Акакий в 1397 году был поставлен в митрополиты Монемвасии, а Фотий стал при нем ближайшим помощником. Будучи однажды по поручению Акакия в Константинополе, он неожиданно для самого себя 1 сентября 1408 года был рукоположен патриархом Матфеем в митрополита «Киевского и всея Руси». (Дело в том, что в то время в Константинополе находилось русское посольство великого московского князя Василия Димитриевича, который просил патриарха после смерти митрополита Киприана прислать на Русь нового митрополита.)

Год спустя после рукоположения, 1 сентября 1409 года, Фотий прибыл в Киев, а еще через полгода, в апреле, к Пасхе 1410 года — в Москву. Московскую Русь митрополит Фотий застал разоренной недавним нашествием Едигея. Митрополит сразу озаботился вопросами церковной дисциплины паствы и пастырей. Посланием от 29 августа 1410 года в Новгород он убеждал избегать пьянства и пиров, отучать людей от сквернословия, суеверий, ворожбы, запретил лицам духовного звания заниматься ростовщичеством, участников поединков велел рассматривать как самоубийц и душегубов.

В 1411 (или 1414-м) году при посредничестве митрополита Фотия был заключен брак между дочерью московского великого князя Анной и наследником византийского престола, старшим сыном императора Мануила Иоанном, благодаря чему между Константинополем и Москвой устанавливалась династическая связь. При посредничестве митрополита Фотия в 1412 году был заключен союз московского, тверского и литовского великих князей. Митрополит Фотий оставил после себя большое литературно-учительное наследие. Всего его именем надписывается тридцать пять грамот и поучений. В основных своих принципах он был последователем своего предшественника — митрополита Киприана. Как и тот, митрополит Фотий старался держаться независимо от всех князей, земли которых объединяла его церковь, побуждал их уважать и охранять ее права и руководствоваться ее учением.

Митрополита Фотия похоронили в кремлевском Успенском соборе рядом с митрополитом Киприаном. В 1472 году при перестройке собора, его прах вместе с останками других похороненных там митрополитов, был вынут из гроба, причем его обрели «цела суща не всего, едины ноги толико в теле». В 1475 году останки митрополита Фотия перенесли в «церковь Иоанна под колоколами», а в 1479 году вернули в перестроенный Успенский собор.

...Дни Византийской империи были сочтены, и в 1453 года пала ее столица — Константинополь. В турецкую провинцию была превращена и Морея; это произошло в 1460 году. Но Монемвасия, находившаяся на оживленном морском пути, перешла под владычество европейских государств, и с 1460 года здесь правили каталонцы, а затем сменившие их венецианцы, Но между тем турки усиливали свое влияние на Пелопоннесе, укрепляли захваченные ими крепости, вытесняя венецианцев из этих земель. Последними к 1540 году были отняты у венецианцев Навплион и Монемвасия. Венецианский гарнизон покинул Монемвасию, захватив с собой пушки и церковные колокола. Многие знатные семьи покинули город, увозя от турок иконы, мощи святых, рукописи. В 1554 году рыцари Мальтийского ордена предприняли попытку освободить город, но она была неудачной. Венецианцы в 1653–1655 годы также неоднократно пытались изгнать отсюда турок, но это удалось им лишь в 1690 году, когда они заняли Пелопоннес.

Венецианский период в истории Монемвасии длился до 1715 года, и за это время здесь было построено много новых храмов, в том числе и церковь Св. Николая (1703). В начале царствования российского императора Александра I (с 1801 г.) были отпущены ассигнования на восстановление обветшавших или разрушенных церквей в Морее: на эти цели предназначалось сто тысяч рублей[33].

Второй «турецкий» период правления продолжался в Монемвасии с 1715 по 1821 год, после чего, в ходе греческого восстания, Пелопоннес обрел независимость, а турецкий гарнизон Монемвасии капитулировал. Но и в период турецкого ига жители Пелопоннеса обретали свободу в неприступных горных районах. Их борьбой восхищался русский офицер Владимир Броневский, участвовавший в Средиземноморской кампании 1805–1810 годов. «Морские берега кажутся унылыми и не плодородными; в некотором расстоянии внутри, беловатые голые горы, Тайгет называемые, являют пустынный вид, — писал В. Броневский. — На них-то сохранили свою независимость майноты, потомки спартанцев»[34].

---

[33] Станиславский А. М. Россия и Греция в конце XVIII — начале XIX вв. М., 1975. С. 326.

[34] Броневский В. Записки морского офицера в продолжении кампании на Средиземном море под начальством вице-адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина от 1805 по 1810 год. Ч. III. СПб., 1837. С. 13.

Огибая Пелопоннес — к Наварину

К югу от Монемвасии находится крайняя точка Пелопоннеса — это мыс Малеас, к которому наши лодьи подошли вечером 8 августа. Здесь начинается узкий (для океанских судов) пролив Элафонисос, отделяющий Пелопоннес от острова Китира. Это место всегда было опасным для плавания и, быть может, не случайно именно на этом мысу можно видеть небольшой монастырь, куда, как нам говорили, постригаются вдовы моряков, погибших во время штормов. Не менее опасен путь близ другого южного мыса — Тенарон (Матапас), и наши паломники, следовавшие в прошлые столетия вокруг Пелопоннеса, неоднократно отмечали это обстоятельство. «Июля 8 дня подул сильный, но нам противный ветер, и принудил нас привалить к морейскому мысу, именуемому Матапан, близ Майны; от Идры отстоит он на 150 миль, — жаловался Кир Бронников. — От моря на горе около двух часов пути стоит один небольшой, но изрядный монастырь с церковью Успения Божией Матери, в котором нашли мы одного престарелого монаха, а прочие молодые, человек до двадцати братия ушли вооружаться против турок»[35].

Нам не довелось посетить Успенский монастырь, о котором упомянул Кир Бронников: мы проходили мыс Матапас ночью. Сильный ветер и пропавшая радиосвязь с судами доставила членам экипажей много хлопот: ночью исчезли из пределов видимости лодья «Вера» и яхта «Украина», шедшие в одной канатной связке. Они нашлись через несколько дней в одной из греческих гаваней, так что можно считать наш переход из Эгейского моря в Ионическое благополучным. О том, что угрожает небольшим судам на этом отрезке пути, мы, к счастью, узнали позже — из заметок русского мореплавателя Михаила Верна. Он объясняет, что́ именно ожидает тех мореплавателей, кого нужда «заставляет огибать мыс Матапан, где Нептун вечно празднует свой подводный бал и возмущает спокойствие моря». «Увидев на горизонте Матапан, — говорит пословица греческих моряков, — постарайся забыть твоих родственников»[36].

Наварин

И вот, потрепанная штормом, наша сильно поредевшая эскадра (точнее, то, что от нее осталось) чалится в гавани Наварина. Наварин... «Как много в этом слове для сердца русского слилось!» 30 марта (10 апреля) 1770 года российский флот одержал победу под Наварином, турецкая крепость была взята И. А. Ганнибалом, дедом А. С. Пушкина. (Прадед Пушкина был женат на гречанке, а сын этого знаменитого Ганнибала брал штурмом Наварин.) Но помощь, оказанная Россией восставшим грекам, была преждевременной, поскольку турки жестоко подавили повстанцев. «Положась на слова греческих депутатов, русские допустили, даже поощрили восстание, которое по тогдашним обстоятельствам, кроме гибели греков, никакой пользы нам принести не могло»[37], — писал Всеволжский. Поэтому в мае того же 1770 года Наварин был оставлен, его укрепления взорваны и российский флот ушел из бухты. Правда мощь турецкого флота была несколько ослаблена, и после Кючук-Кайнарджийского мира, заключенного Россией и Турцией в 1774 году, греческим судам было дано право ходить под русским флагом, а российскому флоту — беспрепятственно проходить через Босфор.

---

[35] Путешествие к святым местам, находящимся в Европе, Азии и Африке, совершенное в 1820 и 1821 гг. села Павлова жителем Киром Бронниковым. М., 1824. С. 245.

[36] Верн Михаил. Прогулка по Средиземному морю. М., 1883. С. 228.

[37] Всеволожский Н. С. Указ. соч. Ч. 1. С. 392.

Второй раз российский флот принял участие в сражении под Наварином в 1827 году против объединенного турецко-египетского флота. Но причем здесь далекий Египет? Дело в том, что, истощив свои силы в борьбе с греками, турецкий султан Махмуд решил просить помощи у египетского паши. «Были предложены заманчивые условия, и 15-тысячное войско Ибрагима было перевезено на австрийских и мальтийских судах к греческим берегам[38]. В 1825 году войска Ибрагим-паши заняли Наварин и другие прибрежные города.

В начале сентября 1827 года египетский флот из восьмидесяти четырех судов готовился выйти из Наваринской бухты, чтобы следовать на подавление повстанцев на остров Идру. Европейсиее державы старались удержать Ибрагима-пашу дипломатическими мерами; был предъявлен ультиматум; египетские корабли должны уйти в Александрию, а турецкие — в Дарданеллы. Но ультиматум был отвергнут, и греческие борцы за независимость оказались под угрозой уничтожения. Предвосхищая рассказ о Наваринском сражении, можно привести слова Н. С. Всеволожского, который, говоря о восставших греках, пишет далее: «Они неминуемо погибли бы, если бы Наваринская битва — можно сказать — неожиданно и случайно, данная в их пользу, не удалила египтян из Мореи, и не заставила европейские державы как бы невольно за них вступиться»[39].

...Наши ладьи стоят у причала, а паломники любуются православным храмом, воздвигнутым на возвышенности и осеняющим своими крестами город. (В 1843 году российское правительство отпустило средства на восстановление православных храмов в Наварине и Миссолонги.) Ничто не напоминает сегодня о том сражении, которое произошло здесь в 1827 году. Но сохранились записки очевидцев этой морской битвы, в которой принял участие и российский флот.

Одним из участников Наваринского сражения был лейтенант А. П. Рыкачев, который, по словам его библиографа, проявил недюжинную отвагу: «При истреблении турецко-египетского флота в Наварине, на корабле «Гангут», где, находясь на верхнем деке, верными и скорыми выстрелами истреблял неприятеля, и по абордированию пущенного на нас корабля, деятельно осмотрев оный, потушил на нем огонь и отбуксировал под ветер, за что всемилостивейше награжден орденом святого Владимира 4-й степени с бантом»[40].

Участвуя в морском походе к Наваринской бухте, а затем в сражении, А. П. Рыкачев в минуты отдыха заносил свои наблюдения в дневник, который впоследствии был опубликован под названием: «Год Наваринской кампании 1827 и 1828 г.» (Кронштадт, 1877). В своем дневнике А. П. Рыкачев сообщает о включении корабля «Гангут» в отдельную эскадру под командованием контр-адмирала графа Л. П. Гейдена. Задачей, поставленной перед эскадрой, было соединение в Средиземном море с кораблями союзников — англичан и французов «для общего действия в силу трактата, заключенного между этими тремя державами в Лондоне 1-го июля»[41].

Европейские державы выступили на стороне православных греков, сражавшихся за независимость Эллады; по словам А.П. Рыкачева, союзники, подписавшие Лондонский договор, признали Грецию «страною самосуществующею отдельно от Турции, но платящею ей условленную дань и управляемую своими законами, не зависящими ни от кого. На этом основании три вышеназванные державы предлагали свое вооруженное посредничество для восстановления спокойствия, при-

[38] Теплов В. Граф Иоанн Каподистрия президент Греции. СПб., 1893. С. 33.
[39] Всеволожский Н. С. Указ. соч. Ч. 1. С. 393.
[40] Рыкачев А. П. Год Наваринской кампании. 1827 и 1828 гг. Кронштадт.1877. IV (предисловие).
[41] Там же. С. 16.

чем та из воюющих сторон, которая не согласится на принятие вышеизложенных условий, будет считаться враждебною все трем державам»[42].

Рано или поздно политическое противостояние должно было вылиться в вооруженную борьбу и, в силу военно-политической ситуации, европейские державы решили «замирить» «турецко-египетский флот, находившийся в Наварине, под главным начальством Ибрагима-паши (сын известного Магмет Али-паши, первого вице-короля египетского, отложившегося от Порты в 1806 году)[43]. По словам А. П. Рыкачева, «Бог вселил мысль трем великодушным монархам спасти человечество и христианство от магометан, и флоты их явились остановить гордого пашу»[44].

Российская эскадра, прибывшая к Наваринской бухте, состояла из четырех кораблей («Азов», «Гангут», «Иезекииль» и «Александр Невский»), трех фрегатов («Проворный», «Елена», «Кастор») и корвета «Гремящий». Вот как описывает Рыкачев прибытие эскадры к месту сражения: «В 9-м часу утра, придя на вид Наваринской крепости, легли в дрейф у самого входа в бухту. Там из-за острова виден был лес мачт турецких судов»[45].

Ход Наваринского сражения достаточно подробно описан в монографиях, нас же интересует духовная настроенность членов экипажей накануне сражения. 7 октября 1827 года, за сутки до решающей битвы, судовые священники отслужили молебен, испрашивая помощи Божией в предстоявшем бою, который должен был ускорить освобождение православных единоверцев от «агарянского пленения». Вот как это происходило на корабле «Гангут»: «Стали служить молебен, во время которого была необыкновенная тишина, — пишет Рыкачев,— каждый искренно молил Создателя быть поборником за Святую церковь и человечество. Умиление было особенно сильно, когда преклонили колена и затем провозгласили многая лета императору, а на врага победу и одоление. Добрый наш отец Артамон окропил нас святой водой и давал нам целовать крест, уговаривая людей не бояться смерти за веру православную»[46].

Незадолго до начала сражения, 8 октября, к Наваринской бухте подошел еще один русский фрегат — «Константин», который занял свое место в «линии баталии». «Вслед за тем, — продолжает Рыкачев, — у нас в батарее показался священник в полном облачении с крестом и святою водою. Он увещевал не посрамить имя русского во брани с неверными, и каждый целовал знамение веры с умиленным сердцем, призывая в помощь Бога сил, и был уверен в справедливости нашего дела и победе, и не боялся смерти»[47].

Оставим историкам описание всех перипетий морского сражения, разыгравшегося в Наваринской бухте. Отметим лишь, что в ходе боя было убито 59 и ранено 139 русских моряков. «Корабль „Азов« очень много потерял людей и потерпел в своем корпусе. У нас на „Гангуте« также довольно убитых и раненых»[48], — со скорбью сообщал Рыкачев. Самые большие потери понес «Азов» (24 убитых); были убитые на «Иезекииле» (13 человек) и на «Александре Невском» (5 человек). Что касается «Гангута» то, как писал Рыкачев, «убитых у нас на корабле оказалось 1 штурманский кадет, 2 унтер-офицера и 11 рядовых, всего 14 человек»[49].

---

[42] Там же. С. 16.
[43] Там же. С. 48.
[44] Там же. С. 48.
[45] Там же. С. 46.
[46] Там же. С. 56–57.
[47] Там же. С. 59.
[48] Там же. С. 64.
[49] Там же. С. 70.

Корабельные священники, находившиеся на борту во время сражения, вели себя самоотверженно, утешая и ободряя моряков, а сразу же по окончании боя приступили к своим пастырским обязанностям. «После боя в 6 часов у нас пробили отбой и, возблагодарив в душе Всевышнего за дарованную славную победу и сохранение от разрушительного пламени, спустился я на кубрик, — вспоминал Рыкачев. — Там священник читал отходную по умершим, доктор резал ногу раненому»[50].

Но скорбь потерь, понесенных союзным флотом во время Наваринского сражения, не могла затмить радости по поводу одержанной победы, и на кораблях был отслужен благодарственный молебен, во время которого русские моряки «с восторгом пропели «Тебе Бога хвалим» и с коленопреклонением благодарили Его за неисчерпаемые милости и избавление от пожара. После молебна людям дали по чарке рома, приказали встать по пушкам, где они, поев сухарей, легли спать, оставив у каждого орудия по двух часовых»[51].

Одержав победу в Наваринском сражении, союзные эскадры исполнили свою основную задачу, после чего российская флотилия, «отслужив благодарственный молебен Господу Богу за Его великими милостями дарованную нам победу и панихиду по убиенным», 13 октября взяла курс на Мальту. Но память о Наваринском сражении русские моряки хранили в своих сердцах. В первую годовщину сражения, когда корабли, участвовавшие в битве, все еще находились у берегов Мальты, в 10 часов утра на „Азове“ подняли молитвенный флаг и по окончании благодарственного молебна, с кораблей сделали по 21-му выстрелу в воспоминание торжества Наваринской победы»[52].

Память о русских моряках, погибших в Наваринском сражении, также не была утрачена. В 1872 году на небольшом островке Сфактирия, прикрывающем вход с моря в Наваринскую бухту, был установлен монумент, у которого и решили побывать наши паломники. Утром 10 августа мы отправились к острову Сфактирия на флагманской лодье «Надежда». В тот день еще ничего не было известно о судьбе наших шхун «Вера» и «Украина». Впоследствии их экипажи были огорчены из-за того, что по незнанию миновали эту историческую гавань. Впрочем, отсутствие своевременной связи всегда досаждало нашим мореходам: в свое время А. П. Рыкачев записал в своем дневнике: «Мне было очень обидно, что я служу не на адмиральском корабле. Сколько новостей теперь там! А мы, ничего не зная должны теряться в догадках»[53].

Продвигаясь к южной оконечности острова, паломники могли видеть установленный на берегу обелиск «Санта Роза» в честь моряков союзных держав, погибших в Наваринском сражении. Ведь в этом бою союзники потеряли убитыми 174 человека, а еще 473 моряка было ранено. Высадившись на берег, мы начали пробираться сквозь заросли кустарника к памятнику в честь моряков, погибших в битве, а также хотели посетить мемориал, воздвигнутый в честь французских моряков. Но вскоре кустарник стал превращаться в настоящие джунгли, и мы вынуждены были вернуться на «Надежду».

Наша следующая попытка была более удачной: сойдя на сушу в центральной части острова, паломники обнаружили прекрасно ухоженную дорожку, которая вела наверх, где виднелся памятник русским морякам. Подойдя ближе, мы прочли надпись на мраморной плите:

---

[50] Там же. С. 63–64.
[51] Там же. С. 64.
[52] Там же. С. 282.
[53] Там же. С. 45.

I C + X C
Памяти павших в Наваринском сражении 8/20 октября 1827 г. и погребенных поблизости. Поставлен в 1872 г. начальником отряда С. Е. В. контръадмиралом И. Бутаковым, командиром, офицерами и командою клипера «Жемчуг».

Композицию этого мемориала завершал обелиск, увенчанный язычками пламени, застывшими в мраморе; надпись на обелиске гласила: «Русским морякам-героям, павшим в Наваринском сражении от советского посольства 20 октября 1960 г.»

Минуту молчания провели паломники у этого памятного места, а затем возложили букет цветов на мраморную плиту. Было заметно, что за памятником есть присмотр; навели чистоту вокруг него и мы, после чего водрузили на обелиске наш вымпел с надписью: **«9. 08. 91. Лодьи „Вера“, „Надежда“, „Любовь“ и яхта „Украина“. Паломничество вокруг света. Фонд народной дипломатии. Миссия „Золотой век“. 1991–1994 гг.»**

Наш вымпел занял свое место рядом с другим посланцем из России: 6 июля 1991 года здесь побывал экипаж научно-исследовательского судна «Витязь», и члены команды оставили здесь вымпел от Института океанологии АН СССР.

Прежде чем вернуться на борт лодьи, паломники посетили небольшую церковь, расположенную близ памятника русским морякам. Оконца в алтарной части храма, смотрящие на Наваринскую бухту, напоминают крепостные бойницы; в иконостасе — уже встречавшееся нами на Поросе изображение Божией Матери «Живоносный источник». Еще раз помянув за упокой наших моряков, паломники вернулись на борт «Надежды» и после осмотра Наваринской бухты, стали готовиться к отплытию. (Уже позднее, вернувшись на родину, мы узнали, что 21 октября 1991 года в Свято-Николо-Богоявленском кафедральном соборе Санкт-Петербурга была отслужена панихида по морякам — участникам Наваринского сражения.)

Снова наши лодьи проходят через узкий проливчик, ведущий в открытое море. Когда-то наши предшественники, так же как и мы, восхищались суровой красотой этих мест. Один из них, побывавший здесь в 1859 году, писал: «На следующее утро проходили мы мимо Наварина. Его гавань известна двухкратным уничтожением турецкого флота. Вход в бухту тесен и еще разделен надвое скалою; достаточно было бы поставить тут небольшую батарею, чтобы ни одно судно не могло войти; но турки, при беспечности своей и фатализме, вероятно, рассуждали, что флот, если суждено ему погибнуть, может быть уничтожен и неприятельскими выстрелами и бурей»[54].

Покидая Наваринскую бухту, каждый из паломников переживал, вероятно, чувство сопричастности к славной истории российского флота. Но к нашим восторженным эмоциям примешивалась еще и печаль: во время стоянки в гавани Пилоса пропал всеобщий любимец — кот Матроскин, бессменно следовавший с нами от самого Мариуполя. Позднее кто-то вспомнил, что видел, как его взяли на роскошную английскую яхту. «Не принял социалистического выбора», — шутили некоторые из паломников, не имевшие в кармане ни драхмы. Были и другие шуточные версии: ведь до августовского переворота 1991 года оставалось всего восемь дней, а животные задолго до катастрофы чувствуют ее приближение...

Закинф

Как бы там ни было, наши лодьи упорно двигались вдоль берега Пелопоннеса к северу, и утром 11 августа показались живописные бухточки острова Закинф, где

[54] Записки паломника (1859 г.). СПб., 1860. С. 29–30.

нам предстояло провести некоторое время. Закинф (или Занте) — первый на нашем пути остров, входящий в группу Ионических (или Ионийских) островов, и некоторые из них нам предстояло посетить. Обычно выделяют 7 главных из них: Закинф, Кефалиния, Итака, Лефкас, Пакси, Керкира (Корфу) и Китира (Цериго). История этих островов богата событиями: в эпоху раннего средневековья они входили в состав Византийской империи; с XII века перешли под власть норманнов из Сицилии, с XV века здесь правили венецианцы, в 1797 году они были заняты французскими войсками.

Русское консульство на Закинфе было закрыто, а вице-консул И. Загурийский арестован. По поводу захватнической политики Франции, пережившей революцию 1789 года, в тогдашней русской исторической литературе приводилась такая оценка: «Христианская вера и все священные узы человечества были Францией отвергнуты; она питала вражду ко всякому законному правительству и стремилась склонить другие народы к таким же переворотам и принятию чудовищных ее теорий; но, провозглашая равенство и свободу, совершала неслыханные злодейства и насилия, искала завоевания и угрожала войной всем державам Европы»[55].

Именно эти агрессивные и непредсказуемые действия революционного правительства Франции побудили российского императора Павла I заключить оборонительный союз с традиционным противником России — Оттоманской империей. «Вследствие необыкновенных событий, пред лицом общей опасности забыты были все вековые распри, и неукротимые враги веры Христовой призваны были к союзу для защиты этой веры против лжемудрствований республиканских»[56], — продолжает тот же русский автор.

Особый период в истории Закинфа связан с морской кампанией 1798–1799 годов, которую возглавил будущий адмирал Федор Федорович Ушаков. В союзе с турецким флотом российские корабли вытеснили французский флот с Ионических островов; по Константинопольской конвенции 1800 года Ионические острова получили статут полунезависимого государства. Была провозглашена Республика семи островов; согласно конституции, утвержденной Павлом I, республика получила свой герб. Описание этого герба находим в записках Павла Свиньина, относящихся к началу XIX века: «Герб ея есть лев в белом поле, который в одной лапе держит Евангелие, а в другой связку из семи стрел под крестом; на одной стороне изображено христианское летоисчисление 1800 г., а на другой — турецкое число эгиры (хиджры. — *А. А.*), соответствующей оному»[57].

Русские паломники посещали Закинф в разные периоды его истории, и это отражалось в их записках. Так, пешеходец В. Г. Барский побывал здесь в 1724 году, еще в период правления венецианцев. Его паломничество проходило навстречу нашему: от острова Кефалинии до Закинфа: «Июня же четвертого в Пяток, пред захождением солнца, нанявше за мзду кораблец мал, пустихомся в Закинф остров, понеже недалече отстояще, пловохом же день и нощь неблагополучно ради ветра и достигахом тамо в субботу по захождении солнца; пловуще, оставихом Кафалонею созади, одесную же недалече, яко за четиредесет миль, видехом брег морской, землю великую, именуемую Морея (Пелопоннес — *Авт.*), яже уже не под венецкую, но под турецкую належаше власть»[58].

---

[55] Скаловский Р. Жизнь адмирала Ф. Ф. Ушакова. Ч. 1–2. СПб., 1856. С. 203.

[56] Там же. С. 246.

[57] Воспоминания на флоте Павла Свиньина. Ч. 1. СПб., 1818. С. 251.

[58] Странствования Василия Григоровича Барского по святым местам Востока с 1723 по 1747 гг. СПб., 1885, Т. 1. С. 200.

В 1770 году на Закинфе находился адмирал Г. А. Спиров во время средиземноморской экспедиции российского флота. А в 1799 году Ионические острова номинально перешли под управление России; в гавани Закинфа обосновались корабли российского флота, с радостью встреченные населением острова. О симпатиях местных жителей к России свидетельствует характерный эпизод: в 1797 году, после того как французские войска стали приближаться к Закинфу, островитяне — приверженцы России, с возгласами «Да здравствует Павел I!» подняли над крепостью столицы русский флаг, что в те времена означало добровольный переход под покровительство иностранной державы[59].

Ко времени освобождения Закинфа от французов местные христиане составляли две общины; по словам капитан-лейтенанта Егора Метаксы, участника кампании 1798–1799 годов, на Закинфе в то время было два епископа: «греческий и латинский, суфраган корфиотского. Жителей считается 40 тысяч греческого исповедания и 5000 католиков»[60]. По словам того же автора, любовавшегося красотами острова с палубы своего корабля, на Закинфе «соборная церковь во имя Св. Николая Чудотворца, построенная у самой пристани, отличается перед прочими вышиною колокольни, на которой в ночное время горит огромный фонарь, служащий маяком входящим в порт судам»[61].

Помимо собора Св. Николая на Закинфе было множество других православных церквей; среди них большой известностью пользовался храм во имя Св. Дионисия чудотворца. Именно сюда и направились русские моряки во главе с Ф. Ф. Ушаковым на следующий день после взятия острова, чтобы присутствовать при совершении благодарственного молебна. Вот что говорится об этом событии в донесении от 10 ноября 1798 года: «Ружейной пальбой и звоном колоколов приветствованы были шлюпки, когда приближались к берегу; все улицы украшались картинами и шелковыми материями; во всех окнах выставлены были русские флаги, «белые с синим Андреевским крестом», и почти все жители имели такие же флаги в руках, беспрестанно восклицая: «Да здравствует государь наш Павел Петрович! Да здравствует избавитель и восстановитель православной веры в нашем отечестве!» На пристани адмирал принят был всем духовенством и старейшинами, жители повсюду встречали его с особенными почестями и радостными криками; по следам его бросали из окон цветы, деньги и конфекты... Женщины, а особливо старые, протягивали из окон руки, крестились и плакали»[62].

Вытесненные с Закинфа, французские войска покинули остров, но Наполеон не оставлял надежды на возвращение Ионического льва под власть галльского петуха. Пытаясь восстановить влияние Франции на Архипелаге, Наполеон в конце 1802 года заявил о принятии Католической церкви на острове под свое покровительство. (К этому времени Бонапарт заключил конкордат с папой римским, и политика французского правительства утратила антицерковный характер.) Вскоре после этого на некоторых Ионических островах в католических храмах были организованы публичные молебны за Французскую республику. Во время такого молебна в столице Закинфа была произнесена проповедь «в честь и славу всеми здесь обожаемого консула (Наполеона)». Это встревожило русское правительство, и че-

---

[59] Станиславская А. М. Политическая деятельность Ф. Ф. Ушакова в Греции (1798–1800 гг.) М., 1983. С. 107.

[60] Записки флота капитан-лейтенанта Егора Метаксы. Пг., 1915. С. 64.

[61] Там же. С. 61.

[62] Донесение от 10 ноября 1798 г. Цит. по: Скаловский Р. Жизнь адмирала Ф. Ф. Ушакова. Ч. 1–2. СПб., 1856. С. 204.

рез посланника в Париже А. И. Моркова Наполеону был заявлен протест и требование прекратить молебны[63].

В 1809 году англичане установили контроль над Ионическими островами, а в 1814–1815 годы острова по решению Венского конгресса уже официально перешли под протекторат Великобритании. В 1830 году после длительной борьбы против турецкого ига, было образовано греческое государство, но Ионические острова продолжали оставаться под управлением британской администрации. В эти годы российские корабли заходили в порты Ионических островов; на острове Закинф бывали и русские путешественники. Среди них — Владимир Давыдов, посетивший этот остров в 1835 году.

«Занте представляется путешественнику длинной, однообразной массой гор, идущих по самой большой части острова, с севера на юг. Гора Монтескопа, отделяясь от них, выдается довольно далеко в море, в юго-восточном направлении»[64], — писал он. В этих строках нет особого восхищения островом, с его «однообразной массой гор». И действительно, по сравнению с другими островами, прилегающими к Пелопоннесу, Закинф с моря может показаться не особенно примечательным. Но послушаем, что пишет об этом острове его уроженец — знаменитый греческий поэт Дионисиос Соломос (1798–1857):

Природа улыбнулась: над водой
Возник Закинф; небесных духов стая
Все время кружит, не переставая,
Над миртами, довольная собой.

Он словно весь пронизан красотой;
Бесплодья выжженных холмов не зная,
Украшен он от края и до края
Густой неувядающей травой[65].

Но вот, вместе с русским путешественником, мы приближаемся к гавани, около которой расположилась столица острова, носящая то же название — Закинф (Занте). «Город Занте, с возвышающимся над ним укреплением, имеет для приезжающих с моря, довольно величественный вид»[66], — продолжает В. Давыдов.

Правители, сменявшие на острове один другого, привнесли в облик города Закинфа — столицы острова, стилевое разнообразие. Храмы, воздвигнутые здесь, носят отпечаток венецианского стиля. На главной площади города, почти у берега залива, стоит сохранившаяся до наших дней венецианская церковь святого Николая «на моле». В течение многих лет эта церковь принадлежала гильдии моряков, которые назвали ее в честь своего покровителя.

Два сильных землетрясения — 1893 и 1953 года — разрушили много древних построек, и город утратил часть своего исторического облика. Вот что сообщал о Закинтосе архимандрит Порфирий (Успенский), побывавший здесь в мае 1854 года: «В городе нет ничего особенно замечательного, кроме немалой исторированной церкви Св. Дионисия Закинфского, почившего в 1624 году, и кроме малого храма близ замка, в котором чествуется образ Богоматери Златотворной — Пана-

---

[63] Станиславская А. М. Россия и Греция в конце XVIII — начала XIX вв. М., 1984. С. 177.
[64] Путевые записки, веденные в 1835 г. Владимиром Давыдовым. Ч. 1. СПб., 1839. С. 47.
[65] Соломос Д. Песни свободы. М., 1964. С. 154.
[66] Путевые записки... С. 48.

гия Хрисопиги, написанный на доске в осьмом веке. Мне очень хотелось видеть сей образ, но не удалось»[67].

Сегодня в храме Св. Дионисия, перестроенного после землетрясения, закончена роспись стен в византийском стиле. Рядом с храмом — колокольня, представляющая собой уменьшенную копию колокольни собора святого Марка в Венеции. Каждый год 17 декабря — в день кончины св. Дионисия, от собора, воздвигнутого в его честь, начинается крестный ход: мощи святителя, в сопровождении духовенства и множества богомольцев, торжественно проносят под балдахином в драгоценной раке по всему городу.

Главная площадь города носит имя известного греческого поэта Соломоса (сконч. в 1837 г.); недалеко отсюда находится мавзолей, где можно видеть бюст этого национального героя Эллады. «В Закинфе родился наилучший греческий поэт нашего (XIX. — *Авт.*) века Саломос, — отмечал отец Порфирий. — Соотечественники его особенно любят музыку. Их народные песни напоминают неаполитанские баркаролы»[68].

В 1849 году король Греции Оттон наградил Д. Соломоса Золотым крестом Спасителя за поэму «Гимн свободе», а в 1864 году первые строфы «Гимна свободе» переложенные на музыку композитором Н. Мандзаросом, стали национальным гимном Греции.

Д. Соломос был уроженцем острова; 8 июня 1798 года в церковной книге города Закинфа появилась запись: «Крещен сын благородного господина графа Николаоса Соломоса. Крестный отец младенца — его сиятельство А. Капнистис — нарек его Дионисиосом».

К этому времени материковая Греция — часть бывшей Византийской империи — все еще находилась под турецким игом. Падение Византии в 1453 году остановило культурное развитие страны. Огромная часть образованных людей, покинув территории бывшей империи, нашла приют в городах Запада. В течение долгого времени в завоеванной турками Греции трудно было найти сколько-нибудь значительные явления в искусстве и литературе, В то же время наблюдается расцвет литературы на Ионических островах, которые избежали турецкого владычества.

В своем творчестве Соломос первоначально ориентировался на Италию; это были годы юношеских опытов и первых успехов. Его стихотворения этого периода характеризуются обращением к Священному Писанию. Этот первый, «итальянский» период (1815–1821), закончился в то время, когда в Греции началось восстание против турецкого ига. С этих пор Соломос стал писать на новогреческом языке, доступном простому народу, и вскоре стал певцом восходящей свободы. Широко известны его стихи «на смерть лорда Байрона», — знаменитого английского поэта, который участвовал в освободительном движении. Байрон пожертвовал много средств на борьбу греков за независимость; он снарядил два военных корабля на защиту города Миссолонги, осажденного турками; там он и умер в апреле 1824 года Осада Миссолонги, расположенного на материке и отделенного от Закинфа проливом, произвела на Соломоса большое впечатление: до острова Закинф долетала канонада идущих в Миссолонги боев.

В течение ряда лет поэт трудился над поэмой «Свободные осажденные», в которой воспевал героизм двенадцати тысяч жителей города, сражавшихся против турок в 1825 году. Благодаря героизму защитников города и творчеству Соломоса, Миссолонги стал символом национально-освободительного движения Греции 1821–1831 годов.

---

[67] Порфирий (Успенский), архим. Книга бытия моего. Т. V. СПб., 1898. С. 250.

[68] Там же. С. 250.

Д. Соломос не дожил до воссоединения Ионических островов с Грецией. 9/21 февраля 1857 года его не стало. 10 февраля парламент Ионических островов объявил днем национального траура. Лишь только 7 лет спустя — в 1864 году, остров Закинф, как и другие острова Ионического архипелага были переданы Греции. Но и после кончины Соломоса его влияние на развитие греческой поэзии продолжалось. К этому времени уже сложились две поэтические школы Афинская — материковая, и Ионическая — островная, причем Соломос возглавил поэтов Ионической школы. К этому следует добавить, что Ионическая школа, имевшая более давние традиции, оказала влияние на творчество молодых поэтов Афин, а впоследствии — на развитие литературы новой Греции. А поэма Соломоса «Женщина с Закинфа» широко известна не только во всей Греции, но и за ее пределами.

...Пребывание на Закинфе подошло к концу, и вот снова наша флотилия, к которой снова присоединились «Вера» и «Украина», вышла в море. Долго еще за кормой виден остров Закинф, и паломники могут любоваться его красотами, которые воспел Соломос:

Над ним вершины головы подняли,
В долинах амаранты зацвели,
И розам ручейки напиться дали,
Он высится от волн до небосвода.
Чтоб люди видеть с высоты могли
Сколь совершенна может быть природа[69].

Слева по борту появилась Кефалиния: «Остров велик, многочислен и многолюден, изобилен в вино, хлеб и овощи»[70]. Но возможности посетить этот остров у нас не было, хотя недаром В. Г. Барский в 1725 году «замедлехом в Кефалонии месяц целый», поклоняясь местным святыням. Члены клуба «Полярный Одиссей» — неизменные участники паломнических акций стремились побыстрей увидеть остров Итаку — остров легендарного Одиссея.

---

[69] Соломос Д. Песни свободы. М., 1964. С. 154.

[70] Странствования Василия Григоровича Барского по святым местам Востока с 1723 по 1747 гг. СПб., 1885. Т. 1. С. 200.

Дом Зингера

Мариуш Вильк. Путем дикого гуся. Пер. с польск. И. Адельгейм. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2014. — 248 с., ил.

Мариуш Вильк, писатель и путешественник, почти двадцать лет живет на русском Севере. Соратник Леха Валенсы, один из лидеров «Солидарности», в 1989 году он уехал из Польши, работал в России в качестве журналиста (был очевидцем московского путча и абхазской войны). Переехал на Соловки, немало кочевал по Кольскому полуострову, обосновался в старинном доме в нежилой деревне Конда Бережная на берегу Онежского озера. Для него Север не географическое пространство, а особое состояние ума, свободного от всего лишнего: от баннеров и реклам, от навязанных мнений, от гаджетов, эсэмэсок, музычки из наушников и мусора из

СМИ. От всего, что ломает естественный ритм человека. Здесь можно день за днем, год за годом, наблюдая за движением изменчивой природы, уловить цикличность биологического времени. Здесь можно восстать против иссушающего ум механического однообразия, и, отказавшись от технических новшеств — водопровода, насосов, ходить за водой на озеро, поливать огород вручную, а зимой пешней прорубать лед в озере. Здесь жизнь идет вне времени. Здесь люди такие, как они есть, и никто не смотрится в зеркало, постоянно контролируя, каким его видят окружающие. Здесь он — не поляк, не католик, а человек. Этот мир Вильк называет Зазеркальем. Русскому Северу М. Вильк посвятил уже несколько книг. В эту книгу вошли три очерка? Эссе? Наверное, повествования. Это рассказ о Петрозаводске, где зимой «свет, вопреки обычным законам, падает не с неба, а подымается с земли, что придает редкую причудливость садам, бульварам и паркам (украшенным кружевами инея), зданиям, статуям и людям, освещенным снизу» — «Зеркало воды». Путешествуя по улицам и историческим закоулкам карельской столицы, что на протяжении трех столетий много раз меняла облик, М. Вильк не только рисует колоритный «портрет» города, расположенного на берегу Онежского озера, («Я пишу, как хожу, не торопясь, чтобы читатель успел увидеть то, что я наблюдаю, шагая»), но и воссоздает историю Заонежья, Железного Клондайка России. Он пишет о развитии металлургии на Севере, охватывая период от мифологии «Калевалы» до заводов царской России, о тайнах «Осударевой дороги» Петра I. И о К. Паустовском, что приехал в Петрозаводск по инициативе Горького писать историю Петровских заводов. И в результате создал литературную мистификацию под названием «Судьба Шарля Лонсевиля», имеющую мало общего с действительной судьбой инженера артиллерии наполеоновской армии, умершего в Петрозаводске летом 1816 года. Верный давно постигнутой истине — «Чем дольше я шатаюсь по свету, тем отчетливее понимаю: не важно, когда и откуда выходишь и куда направляешься, важно — кого встретишь на пути», — М. Вильк и здесь рассказывает об замечательных людях, с которыми сводили его дороги. Например, о М. Данкове, историке, научном сотруднике Карельского краеведческого музея, представителе новой русской историографии из первого поколения историков, поколения, над которым не довлеет бремя идеологии, и в отличие от дореволюционных историков, обладающих недоступной прежде документальной базой и неограниченным доступом к зарубежным архивам. Сюжетом другого повествования, включенного в книгу, является путешествие по Лабрадору вслед за другим писателем-бродягой Кеннетом Уайтом («Котлеты из карибу»). Это уже канадский Север. Суровые, но хрупкие пейзажи: «Боже мой, великий Маниту, до чего же безоружна эта земля! Устремившая в небо водные очи, каждым кустиком открытая порывам ветра, покрытая тонким слоем почвы, прошитой, словно кровеносными сосудами, корешками мхов и трав. Любой лопатой можно ее ранить, любым заступом разорвать, оголив до бесплодного песка и камня. Виднее всего это на обочине, где тяжелые бульдозеры оставили глубокие шрамы. Как защитить ее?» Но нет защиты, учения НАТО убивают все живое: мощные воздушные волны от низких полетов авиации рвут индейские вигвамы, выбрасывают стаи мертвых рыб, и в конце концов приводят к бесплодности и выкидышам у людей и животных; железные опилки, рассеиваемые в воздухе, чтобы сбить лазерные системы, выпадают в тундре металлическим снегом; сброшенные бомбы с цементом забетонировали целые районы тундры. И безуспешны протесты — за ученья европейцы платят канадцам хорошие деньги. Север Канады — это снова история, история англо-французского противостояния, трагическая история индейцев и эскимосов, чей разум был прозрачен, пока белые люди не привезли сюда огненную воду. А в заключение книги — про-

должение повествования о жизни в доме над Онего в заброшенной деревне Конда Бережная, в «Зазеркалье»: рождение ребенка побудило автора отправиться в самое большое путешествие — к пранчалам, заново осмыслить свои жизненные установки, «тропу» которой идет он сам и которая предстоит его дочери. Слово «тропа» является одним из ключевых для М. Вилька: тропа — это не улица, не тракт, не дорога, которую кто-то сделал до нас, это то, что мы создаем сами. Для Вилька каждая его книга — тропа. Книги М. Вилька, не путешественника, но странника («Путешественник смотрит на мир снаружи. А странник — изнутри») — чтение не обычное. Не случайно, одна из дипломных работ, Вильку посвященная, называется «Об интеллектуальном кочевничестве в прозе Вилька». Жизнь на Севере не означает изоляции от мира. Его собеседниками являются книги, не те, что пестрят на книжных полках магазина, а другие, побуждающие мысль: Конфуция, китайского философа III века Ван Би, австрийского писателя М. Поллака, швейцарца Н. Бувье, французского философа Р. Генона, поляка Р. Капущиньского, геопоэтов, певцов земли К. Уайта и В. Голованова.... Несть им числа. М. Вильк много ездит, он постоянный участник фестивалей «Удивительные путешественники». А его дом на Онеге давно стал пограничьем, где встречаются люди из разных миров, местные дяди Коли и тети Любы и заезжие из большого мира — такие, как посол Польши Ежи Бар или французская журналистка Анн Нива. Переплетаются линии дорог во времени и пространстве, неторопливо течет время. «След моей тропы — самый настоящий меандр: очередной поворот открывает неведомые горизонты, случайная встреча — новый круг знакомых, одна книга — дюжину других». По этой тропе М. Вильк ведет и своего читателя.

Марк Альтшуллер. В тени Державина: Литературные портреты. СПб.: Издательство «Пушкинский Дом», 2014. — 616 с., ил.

Почетный профессор Питтсбургского университета, доктор филологии, американский литературовед-пушкинист, Марк Альтшуллер убежден, что литература как существенная часть культурной жизни общества далеко не ограничивается одними горными вершинами. И без имен «не-корифеев» невозможно восстановить полную картину литературной и интеллектуальной жизни прошлого. К сожалению, пишет он, в изучении русской литературы долгое время преобладала тенденция обращать больше внимания на выдающихся писателей и деятелей. Особенно не повезло в этом отношении XVIII веку. У истоков бурного развития русской литературы (и в первую очередь поэзии), начавшегося в 1730-е годы, стоят три величественные фигуры: Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков. А замыкает литературу XVIII столетия грандиозная фигура Державина. А между тем, кроме этих, и еще нескольких имен, давно вошедших в золотой фонд русской литературы, всем известных и в свое время и позже, XVIII столетие подарило России по крайне мере несколько десятков поэтов, замечательных своим талантом, образованием, судьбой. Ныне они незаслуженно забыты. Трое из них являются героями этой книги. Объединяет не только хронология (они жили и писали в конце XVIII века), но и влияние на них самой мощной поэтической личности этого столетия — Гаврилы Романовича Державина. Так кого же М. Альтшуллер выводит «из тени Державина»? Это Ермил Иванович Костров (1755–1796) Талантливый поэт, последователь строгих правил классицизма, отдавший дань торжественным одам, он подарил русской словесности блестящие переводы Апулея и Оссиана. Перевод Апулея, долгое время оставался единственным на русском языке. Есть основания считать, что именно его читал Пушкин («В те дни, когда в садах Лицея, // Я безмятежно расцветал, // Читал охотно Апулея, // А Цицерона не читал...»). Е. Костров разрешил трудно-

выполнимую задачу: перевел первые шесть песен «Илиады» Гомера, избрав для этого александрийский стих. Колоритная и оригинальная личность, завсегдатай кабаков и борделей, он был очень хорошо известен в литературных и читательских кругах. Память о нем хранилась у потомков на протяжении нескольких десятилетий. Другой герой книги — Николай Семенович Смирнов (1767–1800), крепостной интеллигент, выросший в обеспеченной, интеллектуально развитой семье: его отец управлял «всеми вотчинами и имениями» князей Голицыных, занимался, в том числе, и книготорговлей. Желание стать свободным побудило Н. Смирнова бежать за границу, он попался, волею Екатерины Великой, смягчившей наказание, был сдан в солдаты в Тобольские воинские команды. Нашумевшая история нашла отражение в одной из глав «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева. С Радищевым пути Н. Смирнова впоследствии пересеклись в Сибири. В небольшом городке, каким тогда был Тобольск, Н. Смирнов вошел в круг маленький кружок интеллигентных, незаурядных людей, интересовавшихся литературой и склонных к сочинительству. Н. Смирнов, считавший, что «жизнь есть страдание» — автор трагических, пессимистических стихов, задушевных песен, переводов. О талантливом крепостном интеллигенте Н. С. Смирнове, мы знаем сейчас гораздо больше, чем его современники, слыхом не слыхавшие о ссыльном солдате и не обратившие внимания на несколько журнальных публикаций. Самым знаменитым (и именитым) среди героев книги является Николай Петрович Николев (1758?–1815). Современники почтительно величали его «русским Мильтоном», и всего каких-нибудь двести лет назад он занимал одно из самых почетных мест на русском Парнасе. О нем говорили, ему рукоплескали в театре, посвящали стихи. Он писал стихи и оды, злые памфлеты, выпустил «Собрание русских народных песен с их голосами», Он — автор комедий, комических опер, а также псевдоисторических трагедий в традициях драматургии Вольтера, но с современным, российским политическим подтекстом: «Пальмира», «Сорена и Замир», «Светослав». Его пьесы ставились, порой вызывали скандалы. Он был неизменным участником бурной литературной полемики 1780-х и 1790-х годов. Нападал на Сумарокова, вел литературную борьбу с Княжниным, с Капнистом, И. Дмитриевым, с кругом Фонвизина, противостоял самому Карамзину. Н. Николев играл ведущую роль в своем литературном кругу, в который входили остроумный и талантливый сатирик Д. Горчаков, Д. Хвостов, молодой И. Крылов. В то же время «скандальный» Николев умел ладить со всеми тремя царями, посвящал им хвалебные оды, а те одаривали его знаками внимания. Его слава стала угасать еще при его жизни. В книге предстает пестрый, разнообразный, колоритный пейзаж культурной жизни XVIII века. Здесь и загадки биографий героев книги, которые берется разгадать автор, и богатые на события судьбы, и отношения литераторов с сильными мира сего, связи личные и литературные, взаимодействие литераторов друг с другом — обмен колкостями и поощрениями, восторгами. М. Алтьшуллер пишет, о том, что думали о произведениях его героев друзья и недруги, современники, ближайшие потомки, среди которых был и Пушкин знавший творчество своих предшественников намного лучше, чем нам представляется. Точно также неискушенный (а может и просто невежественный?) уже наш современник не знает, как глубоко освоили российские литераторы XVIII века западноевропейскую литературу и драматургию, в том числе Вольтера, Расина, Корнеля. На страницах книги помещены стихи и песни, многозначительные посвящения, выдержки из переписки, воспоминания. М. Альтшуллер, анализируя пьесы, приводит обширные их фрагменты. Он дает возможность почувствовать читателю всю прелесть старины и аромат прошедшего и ушедшего XVIII века, помогает разобраться в уже недоступной для нас аллюзивной

поэтике классицизма. Помимо традиционного научного аппарата (именного и библиографического указателей) информационно насыщенная, аналитически богатая монография снабжена приложением, в котором публикуются редкие печатные и оставшиеся в рукописи произведения, рассмотренные автором.

Евгений Пономарев. Типология советского путешествия: «путешествие на Запад» в литературе межвоенного периода. СПб.: Изд-во СПбГУКИ, 2013. — 412 с.

Предмет внимания Евгения Пономарева, доктора филологических наук, — путешествия реальные, не вымышленные, особый жанр литературы, литературные произведения, описывающие действительные путешествия героев-рассказчиков, — травелоги. В отечественной науке этому жанру до недавнего времени внимание уделялось выборочно, историки, литературоведы изучали в основном дореволюционные источники. Классический пример — А. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву», впрочем, Радищев и не подозревал, что он автор настоящего травелога, сам термин появился лишь в начале XX века. А вот серьезным изучением советских путешествий 1920–1930-х годов в разные части света, путешествиями по СССР, а также путешествиями советских эмигрантов отечественные исследователи занялись только в последние годы. Травелог — это не только литературное произведение, но и документ эпохи, позволяющий получить уникальную информацию по истории литературы (и шире — в области межкультурных коммуникаций, истории идей, истории культуры). Избранный, межвоенный период — 1920–1930-х годы — это ключевая эпоха европейской истории и наиболее важный этап истории XX века. Время, когда, с одной стороны, остро ощущался пульс истории, с другой же, рушились все прежние ценности, и никто не знал, каков будет завтрашний мир. Визиты советских писателей на Запад можно расценивать как столкновение разных культурных пластов: устоявшегося капиталистического и нового, нарождающегося социалистического. Движение советского писателя на Запад было своего рода экспансией советских идей, актом политической и культурной пропаганды социализма, и чем протяженнее был писательский маршрут, тем серьезнее было его пропагандистское задание. Вместе с тем, попав в мир капитализма, советский писатель испытывал сложные чувства: он как бы соприкасался с прошлым, ощущая себя при этом человеком будущего. Раздвоение сознания и поведения писателя, указывает Е. Пономарев, одна из самых интересных тем, он прослеживает ее, сопоставляя травелог с (редкими) частными записями, которые писатель оставляет для себя. В географическом плане избранная для исследования литература включает в себя самый распространенный маршрут, обусловленный как давними культурными связями России, так и направлением советской внешней политики: Германия — Франция — Англия/США. Вместе с тем это маршрут движения социалистической идеи, движения к мировой (европейской) революции. Так, во второй главе, посвященной путешествиям первой половины 1920-х годов, преимущественно рассматриваются поездки в Германию: Германия в этот период — предреволюционная страна, в дальнейшем — главный европейский партнер Советского Союза, страна с легальной и влиятельной компартией. Третья глава — вторая половина 1920-х годов, это Париж, Франция, — страна славного революционного прошлого и мещанского, империалистического настоящего. Революционные потенции выявляются и там. Четвертая глава исследует путешествия 1930-х годов: капиталистическая Европа предстает в них как географическое единство. Революционные ожидания во всех странах связаны теперь с экономическим кризисом и приближением войны. А с 1933 года объединяющую функцию начинает

выполнять и фашистская угроза. Тема Америки (и дублирующая тема Англии) вынесены в отдельную, пятую главу: США (или Англия) — крайний Запад, капитализм в чистом виде. На периферии изложения во всех европейских главах появляются Италия, Испания (до середины 30-х годов), Бельгия, Голландия, страны Восточной Европы. Но они не слишком важны для советского травелога, так как не являются самостоятельными игроками мировой (европейской) политики. Менялись времена, а с ними — и интересы, и взгляды, и жанры. Пропагандистский очерк, путеводитель, репортаж... Так, из агитационного путешествия начала 1920-х годов, «пропагандирующего советский строй и образ мысли», к концу 20-х путешествие становится либеральным — «система оценок ... множится и теряет однозначность». Затем побеждает идеология, и «путеводитель легко превращается в антипутеводитель, пространство Другой культуры в пространство антиценностей». В 1930-е, в условиях разделения Европы на два предвоенных лагеря, «начинается эпоха тоталитарных путешествий», а «путешественник превращается в репортера, словом воюющего против ложных ценностей Запада» — в равной степени фашизма и либерализма. Е. Понамарев разворачивает текст несколькими параллельными линиями: путешествия 1920–1930-х годов — тексты воспоминаний; художественные тексты — тексты журналистские, очерковые; тексты, созданные для печати, — тексты, написанные для себя. Все это прочитывается и в отдельности, и в единстве. Привлечены (с той или иной степенью подробности) практически все существующие тексты 1920–1930-х годов. В качестве основных художественных текстов взято более двадцати произведений советских писателей, из которых подробно анализируются травелоги И. Бабеля, Б. Кушнера, В. Лидина, В. Маяковского, Л. Никулина, О. Форш, И. Эренбурга. Из архивных документов и неопубликованных текстов — письма А. Вертинского, дневниковые записи и записная книжка В. Инбер, записные книжки В. Лидина, разнородные материалы из архива Л. Никулина. Присутствует в исследовании и «советский географический роман», иными словами литературные, романизированные путешествия, и экскурс в историю создания русских дореволюционных путешествий, «травелогов». Воссоздавая недолгую, но солидную историю травелога, пристальное изучение которого началось в 1980-е годы в основном в американском (англоязычном) литературоведении, Е. Пономарев обращается к работам зарубежных филологов и философов разных направлений. Используя заметки из газеты «Последние новости», он показывает, как воспринимались на Западе советские писатели, приезжавшие туда в качестве агитаторов. В книге множество подробностей из области литературного быта и нравов советской России и западных стран. Данное исследование, не имеющее предшественников, дает возможность представить, как видели, воспринимали и отражали тот, ушедший мир советские писатели, как они мыслили и что чувствовали, чем руководствовались в своих поступках и суждениях, а значит, глубже понять и свое сложное прошедшее.

Жорж Бернанос. Свобода... для чего? Под. ред. и с предисл. Пьера Жиля; пер. с фр. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2014. — 288с.

Жорж Бернанос (1888–1948) — один из крупнейших французских писателей XX века. Русскому чтителю его имя знакомо мало, а во Франции Ж. Бернаноса почитают классиком, одним из самых больших писателей XX века. В сентябре 1938 года, в преддверии Мюнхенского сговора, он эмигрировал в Бразилию, сочтя, что атмосфера Франции стала нестерпимо удушливой для любого, кто мыслит свободно. Выступления в крупных бразильских газетах сделали его вдохновителем французского Сопротивления. В июне 1945 года он вернулся на родину, но, ощущая

повсюду душок подлой трусости — результат сделки с совестью, отказался от романного творчества и обратился к публицистике, выступал с лекциями. Сборник статей «*Свобода для чего?*» посвящен духовно-нравственным проблемам и перспективам развития Европы и мира после войны с фашизмом и атомных взрывов в Хиросиме и Нагасаки. Писатель, мыслитель озабочен тем, каким мир будет завтра. Он подверг суду всю европейскую цивилизацию, уверенный, что она может стать опасной, ибо стремится поработить человека, бросал стрелы и в сталинский режим СССР. Считается, что он предает анафеме технический прогресс, «машинную цивилизацию». Но его волнуют, прежде всего, не машины как таковые, а сопутствующее техническому прогрессу «обесценивание человека — феномен, сопоставимый с девальвацией денег», появление новой разновидности — человека экономического. Он предвидел, что грядет эпоха, единственным законом которой станет экономическая эффективность. «Навязанная техникой дисциплина понемногу если не уничтожила, то, по крайне мере, заметно ослабила свойственный личности защитный рефлекс по отношению к коллективу. Чтобы в этом убедиться, достаточно обратить внимание на важный факт, привычный и потому для нас почти уже не заметный: большинство демократий, начиная с нашей, осуществляют самую настоящую диктатуру. Они представляют собой экономические диктатуры в полном смысле слова». И неважно, какой режим в стране: «капиталистический либерализм, как и марксистский коллективизм, превращает человека в своего рода промышленное животное, подчиняющееся детерминизму экономических законов». Только дураки и болваны, заявлял он, способны называть цивилизацией завтрашний мир, «механизированный до такой степени, что государство, располагая несколькими рычагами управления, сможет присвоить себе абсолютную власть над всей человеческой деятельностью». Он считал, что в странах так называемой демократии отсутствует свобода мысли: государство и партии, пропагандистская машина определяют, как думать, какая несправедливость должна возмущать, а какая — оставлять равнодушным. Трагедией является воцарившееся безразличие к истине и лжи. В новых условиях сознание человека восстает лишь по команде. Делая ставку на безграничное развитие техники, человечество выбрало путь добровольного рабства и самоуничтожения, подчинения материальным интересам и отказа от духовных устремлений. Отсюда — неотложная задача: вернуть человеку духовность. И так как французская цивилизация была основана на понимании человека как разумного, свободного существа, то именно Франции, верил он, предстоит важная миссия: первой разоблачить привнесенную извне, возникшую неестественным путем цивилизацию. Он сознавал, что французская философская традиция находится в кризисе, больно переживал падение в мире престижа Франции после поражения 1940 года, продиктованного в значительной мере и меркантильными соображениями. И все же верил, что мир ждет от Франции новых идей. Ведь это Франция — родина первой «Декларации прав человека», это она провозгласила Свободу, Равенство, Братство, заговорила о свободе мысли. «Свобода... для чего?» — известная фраза Ленина, в которой выражено циничное отношение к свободе, отравившее сознание многих. Величайшую угрозу свободе Бернанос видел не в том, что ее могут отнять (ведь потерявший свободу способен ее отвоевать), а в том, что люди разучились любить и понимать свободу. Он размышлял о проблеме коллективного отступничества и духе тоталитаризма, об утрате свободы в процессе порабощения личности государством; анализировал не только феномен носителя власти, но и феномен жертвы, находящей для себя алиби в непротивлении. Он размышлял о патриотизме и национализме. Сегодня предостережения писателя звучат для всего мира более чем актуально.

Артем Рудницкий. Этот грозный Громбчевский... Большая игра на границах империи. СПб.: Алетейя, 2013. — 248 с. — (Польско-сибирская библиотека).

В второй половине XIX–начале XX веков в Центральной Азии и на Дальнем Востоке шла Большая — геополитическая — игра. Ареной острого противостояния России, Великобритании и Китая стал обширный регион: Афганистан, Пакистан, северо-западная Индия, часть Китая и Ирана и Казахстан, а также Средняя Азия (территория современных Киргизии, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана). В этой игре по обе стороны баррикад были свои герои, страстные, дерзкие пассионарии, готовые к сверхнапряжениям и жертвенности ради достижения поставленной цели. Среди этих решительных, напористых, отважных героев был и Бронислав Людвигович Громбчевский (1855–1926), выдающийся российский разведчик и путешественник польского происхождения, дипломат, военный аналитик и востоковед. «Человек гигантского роста и геркулесовского телосложения, который прошел весь Памир с небольшим казачьим конвоем и внезапно появился у самого порога британской Индии», — так писала о нем в 1891 году «Таймс». «Грозным» Б. Громбчевского прозвали англичане, которым он внушал немалые опасения своими дерзкими рейдами. Англичане тревожились за «целостность и сохранность» Индии, жемчужины британской короны, и не безосновательно: Англия — далеко, злой и ненасытный «медведь», Россия, под боком, рядом. Имя Громбчевского хорошо знали в Афганистане, Кашгарии (Восточном, или Китайском Туркестане). Легендами, в которых правда причудливо переплелась с вымыслом, окутан Канджутский визит Громбчевского. В пакистанской глуши, в краеведческом музее города Хунзы бережно хранится память о россиянине, который побывал там более ста лет назад. Он первым пересек Памир по сложному и опасному маршруту и пришел в Хунзу с севера. Господство над Памиром, претензии на который имели и афганцы (то есть англичане), и китайцы, имело стратегическое значение для упрочения позиций в этом регионе. Усилия Громбчевского сыграли свою роль в присоединении к России Памира. Он путешествовал по Кашгарии (Восточному Туркестану), Тибету, не один год провел в Китае, хорошо знал Японию. Не раз он ставил на карту свои личное благополучие и карьеру ради интересов государства. «Трудно сказать, кого в нем было больше — ученого, обогатившего отечественную науку результатами своих исследований, или искателя приключений, имперского агента под стать Лоуренсу Аравийскому», — пишет автор книги, Артем Рудницкий. Громбчевский был энциклопедически образован, обладал знаниями в различных сферах гуманитарных и естественных наук. Он изучал культуру, быт, историю народов региона, знал узбекский, таджикский, персидский языки. Он был штабс-капитаном, когда в 1888 году явился в Хунзу с казачьим отрядом, а закончил карьеру в чине генерал-майора. Многие периоды жизни Громбчевского, считает А. Рудницкий, заслуживают внимания исследователей, однако прославился он, прежде всего, своими экспедициями в высокогорные районы Гиндукуша, Памира, Каракорума и Гималаев. Об этом, главным образом, и идет речь в книге. И основное внимание уделено не вкладу знаменитого путешественника в развитие естественных и гуманитарных наук, а политическому срезу его биографии применительно к событиям Большой игры. А это — захватывающие эпизоды Большой игры, секретные операции, рискованные приключения, взаимоотношения с соперником, английским путешественником, разведчиком и ученым Ф. Янгхазбендом. Объектом внимания биографа является не только жизненный путь Громбчевского, но и российская история и политика последней четверти XIX — начала XX веков. В Большой игре не было «белых и пушистых», как и британская, так и русская политика опиралась на силу, обе сторо-

ны нарушали международные нормы, и каждый преследовал свои интересы — военные, торгово-экономические. Авантюрные планы пионеров-первопроходцев не всегда совпадали с точкой зрения официального Петербурга, рискованные затеи «инициаторов» зачастую шли вразрез с планами правительства, которое не желало «лишних проблем» на поле Большой игры и предпочитало не расширять территории, а осваивать то, что взяли. Громбчевский же считал, что Петербург выпускает победу из рук, не умея использовать присоединенные провинции. Доживи Громбчевский до наших дней, уверен А. Рудницкий, он наверняка был бы потрясен распадом СССР, тем, с какой легкостью новая Россия «освободилась» от Средней Азии и продолжает утрачивать там свое влияние. Поляк, чьи отец и дядя участвовали в польском восстании 1863 года, Громбчевский никогда не скрывал своего польского происхождения и католичества, но позиционировал себя по своим взглядам, по мироощущению как российского офицера и заботился о российских национальных интересах. Он не только осваивал для России обширные пространства неизведанных земель, но и был причастен к принятию политических решений международного и внутреннего характера на достаточно высоком уровне. Он пользовался благосклонностью членов царской семьи, включая Александра III и Николая II (последний не раз обращался к нему за советами), был на короткой ноге с военным министром А. Куропаткиным, вхож к таким государственным деятелям, как статс-секретарь А. Безобразов, министры внутренних дел П. Дурново и В. Плеве. Возможно, причиной недооценки его заслуг у нас явилось участие Громбчевского в Гражданской войне на стороне белых и последовавшая эмиграция в независимую Польшу. Под конец жизни он потерял буквально все: состояние, высокое статусное положение, здоровье. В Польше он написал несколько книг своих воспоминаний, ни одна из которых не была переведена ни на русский, ни на какой-либо другой из европейских языков. Значительная часть его военно-географических, исторических и этнографических работ и исследований остались в рукописях, и хранится среди 60 тысяч документов в архивах Русского географического общества в Санкт-Петербурге. Крупных работ о его жизни и творчестве не появилось ни в России, ни в Польше. Это первая монография, ему посвященная, включены в нее и главы из воспоминаний Б. Громбчевского «На службе российской».

Петр Толочко. Династические браки на Руси XII–XIII веков. СПб.: Алетейя, 2013. — 192 с. — (Bibliotheca Slavica).

Летописцы мало внимания обращали на бытовую сторону жизни русских князей, лишь изредка вспоминали о княжеских женах и заносили на страницы хроник крайне скупые свидетельства об их участии в событиях русской жизни. Вероятно, из-за скудости письменных источников или из-за предубеждения, что роль женщины ограничивалась преимущественно семейно-родовой сферой, оказалась обойденной в историографии и тема участия русских княгинь в общественно-политической жизни Руси. Но в летописях сохранились примеры, когда русские княгини были советниками порфирородных мужей, вовлекались в сложные междукняжеские отношения, возглавляли миротворческие посольства, выполняли регентские функции при малолетних княжичах. Их жизнь была такая же неспокойная, как у мужей: вместе они перемещались от города к городу, участвовали в военных походах, испытывали тяготы неудач в борьбе за лучшие столы. Из летописей следует, что княгини имели собственное имущество, основывали монастыри и строили церкви, были вполне правосубъектны. С их мнением считались, а нередко оно оказывалось и решающим. По крупицам извлекает Петр Толочко из древних

манускриптов — русских летописей, византийских, скандинавских, польских и чешских хроник, трудов Татищева — сведения о княжеских женах. Чаще их поминали по имени мужа — Святополчая, Святославичева, Володимерева, Мьстиславлея, Володаревна, Брячиславляя, Ярославлеи, реже по имени — Ксения, Олга, Верхуслава, Всеслава. Сестры, матери, жены, мачехи. В книге рассматриваются браки внутридинастические и междудинастические, все, о которых сохранились хоть какие-нибудь сведения. Благодаря первым древнерусский княжеский род представлял собой единую большую семью, члены которой были соединены многолинейной системой старого и нового родства. Через браки утверждало себя на Руси семейство Мономаха, они входили в далеко идущие планы Юрия Долгорукого. Браками часто завершались военные столкновения, браки способствовали разрешению конфликтов, консолидации русских княжеств. За каждым браком стоял политический расчет: возможность обрести высокого покровителя, легализовать права на лучшую волость, достичь положения старейшинства среди русских князей. Политические интересы обуславливали и междинастические браки: браки или венчали какие-то конфликтные ситуации между странами и являлись своеобразными актами ратификации мирных отношений между ними, или же становились прологом к союзным отношениям с целью заручиться поддержкой зарубежных родственников в борьбе с внутренней оппозицией. Этим руководствовались не только русские князья, но и государи соседних с Русью стран. Наиболее активными междинастические брачные связи русских князей были с сопредельными странами — Польшей, Венгрией, Чехией, половецкими ханствами, что объясняется и экономической заинтересованностью, и сложными внутриполитическими процессами внутри стран, а значит, и поисками союзников, и попытками уладить межгосударственные противоречия. Менее регулярными были связи с Византией, Скандинавией, Кавказом Померанией — из-за территориальной удаленности и отсутствия прямых экономических и военно-политических обязательств. Тема династических браков на Руси XII–XIII веков впервые стала предметом специального исследования, хотя и затрагивалась в разных трудах. Много любопытных, ярких подробностей. Но главное, обобщая собранный уникальный материал, П. Толочко делает немало выводов, отличных от устоявшихся в отечественной историографии воззрений, указывает на некорректность ряда общепринятых концепций. Так, он задается вопросом: а была ли Русь совершенно распавшейся в период так называемой раннефеодальной раздробленности? (Удивительно, но в исследованиях, особенно советского периода, посвященных раннефеодальному периоду, историки по существу не ставили под сомнение единство — несуществующее единство! других стран, в том числе и тех, с которыми Русь тесно взаимодействовала в продолжение столетий). По мнению П. Толочко, при внимательном изучении оказывается, что Русь не была абсолютно единой в период так называемой раннефеодальной монархии, как и не была совершенно распавшейся в эпоху раздробленности. И нельзя обособлять от других русских княжеств и древнерусского княжеского рода ни Полоцкое, ни Черниговское, ни Волынское княжества, ни Галичину. Вопреки закрепившейся в историографической традиции точке зрения, что полоцкие князья — извечные автономисты, жившие издавна своей отдельной от всей Руси государственно-политической жизнью, факты (а они приведены в книге) свидетельствуют, что половцы, как и другие княжества, находились в общей системе династически-семейных отношений. Нельзя и противопоставлять Южную Русь и Северо-Восточную, тем более приписывая этому различную якобы этническую основу, украинскую и русскую. В реальной древнерусской действительности, считает П. Толочко, не было никаких межземельных противостояний, как и союзов не

было. На Руси складывались временные коалиции князей (близких родственников), которые очень условно можно приурочивать к той или иной земле. Состав участников коалиций менялся от ситуации к ситуации. Очень часто вчерашние союзники становились противниками. И, наоборот, противники превращались в союзников. Нередки были случаи, когда князья одной ветви оказывались в разных лагерях. П. Толочко выступает категорически против тезиса историков советского периода о прогрессирующем упадке древней столицы Руси, преуменьшении ее роли. Отказ от ведущей, или даже просто самостоятельной роли Киева в политике в пользу отдельных городов и земель не отвечает действительности, считает он.. Киев, его князья в общественном сознании и Руси, и других стран, несмотря на политическую раздробленность Руси, являлись главными субъектами международных отношений, в том числе и в междинастических браках. А основным содержанием княжеских усобиц была борьба за лучшие столы и больше всего за киевский великокняжеский, он был вожделенной мечтой практически всех удельных князей. Наиболее завидными женихами и невестами и внутри страны, и за ее пределами, были дети великих киевских князей. Глубокая старина? Но история всегда играла важную роль в политике. И сегодня, констатирует П. Толочко, когда древнерусское историческое наследие оказалось в пределах трех суверенных восточнославянских государств, идея разделенности Руси стала еще более популярной, чем в советский период. Причем, разделенность эта утверждается не только для XII–XIII веков, но и для IX–XI. Историки каждой из стран озаботились поиском собственного исторического начала. Некоторые попытались даже реанимировать один из тезисов историко-юридической школы XIX века, согласно которому наша древность вообще не знала целостного государства, но всегда имела дело с множеством небольших государств. Во многом подобные выводы являются следствием совершенно неверного понимания существа междукняжеских отношений на Руси. Конкретное исследование, конкретные факты — княжеские браки как важная составляющая часть общерусского единства, не только семейно-родового, но и государственного, дает возможность по-другому взглянуть на историю Руси XII–XIII веков.

Публикация подготовлена
Еленой Зиновьевой

Редакция благодарит за предоставленные книги
Санкт-Петербургский Дом книги (Дом Зингера)
(Санкт-Петербург, Невский пр., 28, т. 448-23-55, www.spbdk.ru)

Contents

Prose and Poetry

Natalia Crofts. Poems • 3
Elena Kryukova. Bellona. *Novel* • 7
Yevgeny Popov. Poems • 118
Vladislav Fedotov. In Ostroumov's Clinic. The Bitten Apple. *Stories* • 121
Marina Garber. Man without a past. *Poems* • 132

Publicistic Writing

Adam Kuznetsov. The Ukrainian Time of Troubles in the Eyes of Clio • 138

Criticism and Essays

Vladislav Bachinin. «The Mystery of Lawlessness is already at Work». *Philosophical triptych*. I. The Cursed Century and Existential Catastrophe of Humanitarian Consciousness • 144

Nickolay Nabokov. The Old Friends and New Music. *Chapter from the book. Translation and notes by M. A. Yamschikov. Publication and foreword by Yevgeny Belodubrovsky* • 155

Petersburg Bookman

The Culture Year. Vera Zubareva. Mystery of the Garden. *On a poem by Bella Akhmadulina*. **Art of Reading.** Yulia Shcherbinina. Echotext as Will and Representation. **Truth of Art and Truth of History.** Naum Sindalovsky. Great Bastards. *Truth and Myths of Those Born out of Wedlock*. **Pilgrim.** Archimandrite Augustine (Nikitin). Russian Pilgrims at the Holy Sites of Greece. *Journey beyond Five Seas. Continuation. For the beginning see: Neva. 2014. № 7.* **The Singer's House.** *Elena Zinovyeva's publication* • 181–254

Издатель: закрытое акционерное общество «Журнал «Нева». Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18. Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9
Телефон: (812) 314-50-52; e-mail: nevaredaction@mail.ru; nevaeditor@gmail.com; nevaredaction@yandex.ru

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: http://magazines.russ.ru/neva/
Ресурс в сети Интернет: www.nevajournal.ru

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «Роспечать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276 и ИД «Экономическая газета» по объединенному каталогу «Пресса России», подписной индекс 42414.

Свежие номера журнала, а также отдельные номера за последние годы можно приобрести:
в Санкт-Петербурге — в магазинах: «Книжный клуб на Австрийской» (Каменноостровский пр., 13/2 (Австрийская пл.), тел. 232-3307), а также в редакции журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-4923); ***льготную подписку*** можно осуществить непосредственно в редакции журнала (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-4923).
В Москве: в редакции журнала «Знамя» (ул. Большая Садовая, 2/46, тел. (495) 699-4264)

За рубежом подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга» (117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230-2117, 238-4634)

Оптовая и мелкооптовая продажа: Санкт-Петербург: ЗАО «Журнал «Нева», e-mail: officeneva@mail.ru

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства www.nevajournal.ru

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34950 от 15 января 2009 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Учредитель: ЗАО «Журнал «Нева»

Подписано в печать 25.06.2014. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108 1/16. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 2800 экз. Заказ № 20.36
Издательство «Журнал «Нева»

Отпечатано по технологии CtP
в ООО «СЗПД-ПРИНТ»
188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Железнодорожная, 45 Б